Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ДВА МЕСЯЦА

№ 3

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1921

Гиз. № 2214. (Р. В. Ц. Москва) № 47. 25.000 экз.
16-я типография М. С. Н. Х.

«Болящий».

I.

Дело было в праздничный день, рано утром... Председатель волостного исполкома Фома Кирсаныч „сряжался“ итти на заседание председателей сельских советов, назначенное в этот день в помещении исполкома...

„Пост“ председателя волостного исполкома Фома Кирсаныч занял недавно: всего каких-нибудь пять—шесть месяцев тому назад и, как он сам выражался, „не успел еще насобачиться путем на этом деле“..

Его всегда и пуще всего угнетало то, что он непременно как „глава“, как, тоже по его выражению, „местная власть“ обязан был говорить речи на всех собраниях одним из первых...

Лет пятидесяти двух, небольшого роста, бритый с толстым носом, в коротком пиджачишке, в таких же „на-выпуск“ брючонках, которые он то-и-дело поддергивал левой рукой кверху, с толстыми короткими пальцами на руках, грызущий постоянно на этих пальцах, гнилыми зубами, как-то особенно по-собачьи приноравливаясь к этому делу, ногти — весь он, всей своей фигурой, похож был на старого барского холуя или же на прежнего „облаката“ у Иверских ворот...

До революции жил он постоянно в уездном городишке, выехав туда из деревни еще в молодости, служил в какой-то „управе“ писцом, получал „жалованье“, снимал на окраине у огородницы-мещанки квартиру, имел жену, изрядно выпивал, почитывал кое-что, выступал иногда на любительских спектаклях в ролях, которые обыкновенно идут на затычку, усердно посещал храм господний, любя церковное „благолепие“, пел на клиросе; к начальству своему и вообще к начальству был почтителен и даже изъявлял перед ним особенный „трепет“; в делах был аккуратен и жить бы ему „до гробовой доски“ на этом месте, если бы не она... не революция.

После революции он живо, впрочем, „приспособился“ на другое место, где и с е л, дожидаясь „Учредительного Собрания“, ругая большевиков, а потом, когда эти ругаемые им большевики забрали власть в свои руки и подавили всю нечисть, присосавшуюся к народному гашнику, он опять как-то сумел „приспособиться“ где-то не то в исполкоме, не то в отделе милиции.

Жизнь пошла другая, не та, что до революции, „желтенькая“ жизнь по его выражению, и жизнь эта ему, привыкшему к прежнему начальству, к прежнему „чего изволите-с“, привыкшему к выпивке и

к церковному пению и ко всему тому, что ему было дорого и мило, стала не по нутру. Он стал „нюхать“, стал приглядываться, где бы приспособиться получше и в конце концов обратил, так сказать, свои взоры на деревню, уразумев как-то чутьем, что теперь ему, бросившему когда-то эту деревню, настало время опять возвратиться в нее и занять там в местном исполкоме „пост“.

Все это ему удалось осуществить и проделать в короткое время. В исполком нужны были „люди“ и он без особенного труда, будучи знаком с председателем исполкома и в совершенстве зная и любя всю бумажную процедуру, на которой, как говорится, „собаку съел“, охотно взят был на службу в качестве секретаря исполкома.

Оглядевшись на новом месте, он начал пускать корни и ему нетрудно было скоро взять все в свои руки и стать первым лицом.

Тон в обращении с приходившими по делам гражданами мужиками и бабами, принял он особенный, начальнический, резко-лаконический, отрывистый, какой-то особенный хриповато-гнусавый: „тебе че-е-го?“, „Нну-у-у!“, „Не-е-знаю!“, „Много вас“ и т. п. и т. п.

Послужив секретарем, он вскоре опять „уразумел“, что для того, чтобы еще глубже запустить корни, надо „с д е л а т ь с я“ коммунистом, т.-е. войти в партию местной ячейки. Это он и проделал самым искусным образом, не взирая на протесты своей жены, клявшей, как и вообще это полагается, коммунистов на чем свет стоит и вполне убежденной в том, что коммунисты нечто иное, как антихристы, отступившиеся от господа бога, люди, от которых произошли и происходят все беды.

Проделав этот трюк и оставшись, конечно, тем, кем он был до революции, т.-е. в полном смысле хамом, признающим только свое, я, свою собственность, попов, царей, генералитет, начальство и нося на дне души „н а д е ж д у“ на то, что „а в о с ь г о с п о д ь д а с т“ и т. д., он добился того, что „выбран“ был, наконец, председателем волостного исполкома и на этом пока „почил от дел своих“...

Делая какие-то особенные гримасы, тараща глаза и хмуря брови, Фома Кирсаныч прежде всего тщательно выбрился, потом, надел поверх белой рубашки жилетку и, несколько раз поддернув по привычке левой рукой брюки, подошел к двери, приотворил ее, заглянул в сенцы и, убедившись, что нигде никого нет, затворил ее опять и запер на крючок.

Проделав это, он остановился посреди комнаты, напротив висевшего на стене большого „конфискованного“ у какого-то буржуя зеркала и, внушительно кашлянув и опять поддернув несколько раз под-ряд брюченки, заговорил, глядя на себя в зеркало:

— Товарищи, граждане! Волостной исполком, отдел народного образования и я, представитель местной власти, решили... гм!.. Н-да... решили...

Он помолчал, нахмурился, сделал жест рукою и начал снова:

— Товарищи крестьяне! Гмм!.. Нет, надо лучше, товарищи, граждане... Гм!.. Товарищи, граждане... Я, как представитель местной власти, совместно с исполкомом, конечно и в частности с отделом народного образования, заведующего которым товарища Свистунова вы видите перед собою, решили... что... что... Гм!.. что школы в нашей волости... Гм!.. волости... Н-да!.. волости... Гм! эти, так сказать, рассадники культуры... Гм!.. и... и просвещения... Я хочу сказать, просвещения наших детей... Гм!.. Гм!.. подчеркиваю: наших пролетарских детей, пришли

в крайне... пришли в крайне... Гм! Гм!.. в крайне... антинегегеническое состояние во всех отношениях... Гм!..

В это время за дверью в сенцах раздался какой-то подозрительный громкий шорох: точно кто-то царапался в дверь, но Фома Кирсаныч, увлеченный своим красноречием и различными позами перед зеркалом, не слыхал его...

А шорох этот за дверью производила жена его, курносая, пухлая, не молодая уже баба, почему-то постоянно носившая на своих щеках какую-то особенную пятнистую красноту, присевшая на корточки и наблюдавшая в замочную скважину за своим мужем...

— Господи, Исусе Христе,—делая большие испуганные глаза, с ужасом шептала она, облизывая кончиком языка углы пересохших губ,—что же это такое, а?.. Мать царица небесная... заступница... ма-а-тушка, спаси, сохрани его!.. наставь на путь!.. Рехнулся мужик... с ума сошел... обезумил!.. А все она, все она проклятая сделала!.. Она все... комуния. Ох, Господи Исусе,—всплеснув руками почти вслух, забыв осторожность, воскликнула она, наблюдая в скважинку,—что ж это такое?!!

А это „что ж это такое?,“ особенно поразившее ее, было вот что: Фома Кирсаныч, увлеченный речью и своим собственным видом в зеркале, присел как-то по-чудному на корточки и, протянув вперед руки со сжатыми кулаками, кричал, наблюдая свое отражение:

— Товарище, граждане! Я, как местная власть, совместно с отделом народного образования, призываю вас на борьбу с темнотою... Мы должны бороться... мы, народ-титан, сметем все, а свое возьмем... Мы... мы... Я и совместно отдел народного образования должны победить... Мы просим вас... Я хочу сказать, призываем вас соединиться и сплотиться воедино и ударить, как молотом, по голове гидру невежества!..

— Царица небесная, матушка! в ужасе шептала за дверью жена, наблюдая за ним, что ж это такое?.. сам с собой пирит зеркалом!.. Видимое дело — помешался!.. Что делать-то теперича?.. Владычица, научи!..

— Гым! гым!—рявкал между тем в комнате перед зеркалом потрясая кулаками Фома Кирсаныч,— гм! гм! Товарищи граждане, а теперь позвольте вас познакомить с текущим моментом, т.-е. я хочу сказать вообще о положении советской России и выяснить и... гм!.. выяснить... т.-е. я хочу, как представитель и, подчеркиваю, как первый представитель местной власти, должен, понимаете, граждане товарищи, должен, обязан, считаю своим священным долгом, разъяснить вам и, так сказать, окунуть вас и посвятить и выяснить текущий момент!..

Он опять, как и давеча, помолчал, тараща глаза сам на себя и обведя взором слева направо, приподняв несколько голову и как бы оглядывая сидящую перед ним аудиторию и сделав на лице какую-то особенную невинно-умильную гримасу, продолжал:

— Товарищи граждане! Я, как представитель местной власти, совместно с волостным исполкомом, прошу вас, если вы что не понимаете из моих слов, обращаться ко мне за разъяснением... Прошу вас, товарищи граждане, не стесняться меня... Смело прошу обращаться ко мне всякому, и я, как местная власть, на все ваши вопросы и недоразумения дам пояснения и разъяснения, которые недоступны вашему пониманию и которые пока находятся вне вашего кругозора.. которые... которые... я хочу сказать... так сказать пока еще вне сферы вашего понимания и понятия... Мой долг перед советской республикой, а равно также и мой пост, как представителя местной власти, обязы-

вает меня, накладает на меня, так сказать, священный долг, и я обязан понимаете, обязан сделать его, т.-е разъяснить вам все непонятное.

Он остановился, потер с удовольствием руками ладошкой об ладошку, точно грея их, и улыбнулся сам на себя в зеркало.

— Здорово,— сказал он,— я им, чертям дураломам, объясню... Я им вотру очки... хы, хы, хы.

И сейчас же, опять, сделав серьезное лицо, нахмурясь, продолжал:

— Товарищи граждане! объявляю вам, что положение вообще серьезно... Н-да!.. но... но... есть выход... в чем же этот выход, спрошу я у вас?..

Он вопросительно замолчал, глядя в зеркало, откуда глядело на него бритое, пухлое рыло, и то, глядевшее из зеркала рыло, и это, глядевшее в зеркало, были довольны обоюдным созерцанием...

— В чем же этот выход, спрошу я у вас, а?— снова повторил он и сейчас же воскликнул, стукнув себя кулаком левой руки в грудь,— выход здесь вот, во мне! выход в вас!.. Мы, мы... должны... я хочу сказать, обязаны все, я—как местная власть, а вы—как служители этой власти, т.-е. другими, я хочу сказать словами, сотрудники этой власти... Гм! гм!.. помощники... должны пещись и... и... я хочу сказать... сказать я хочу... Н-да!.. Гм!.. Гм!.. сказать... сказать...

Он запутался, не зная, что говорить дальше, и замолк, уставясь сам на себя в зеркало.

Стоявшей за дверью жене стало невтерпеж. Она воспользовалась его молчанием и громким шопотом произнесла в скважинку:

— Фома Кирсаныч, а Фома Кирсаныч! Что это ты, батюшка, делаешь, Христос с тобой? Что это ты за моду взял сам с собой пирид зеркалом разговаривать-то? Опомнись! Призови царицу небесную на помощь!.. Проси ее, заступницу, образумить тебя... навести на путь... Осетила тебя сатанинская сила камуния... тащит заживо твою душу в ад кромешный... Окстись!.. плюнь на все... окстись! возложи на себя святый крест... окстись!..

Фома Кирсаныч услыхал этот шопот и отпрянул от зеркала, торопливо, несколько раз под-ряд поддернув брюки.

— У-у-у, щука зубастая!— зарычал он по направлению к двери,— че-е-рт не нашего царя! Чего тебе надобно, сте-е-рве?! Минуты покою нету от вас чертей!.. Чего тебе? Нн-у!

— Отопри Христа ради!.. пусти... боюсь я!..

Фома Кирсаныч подошел к двери и со злостью откинул крючок.

— Н-уу чего?— спросил он, впуская жену,— чего надо? Сказано ведь было не беспокоить!

— Боюсь я...

— Чего?

— Тибя... страшно мне на тебя смотреть: как ты это сам с собой эдак вот перед зеркалом-то представленья делаешь... чисто с ума сошел... Кто бы чужой со стороны посмотрел — ужаснулся бы!.. Я уж не первый раз за тобой наблюдаю... сказать только все боюсь тебе... с другими уж советывалась насчет тебя... Намедни батюшке о. Ксенафонту сказывала про это, а он, дай Бог ему здоровья, говорит: „вот дык коммунист, говорит, твой муженек... какими делами занимается!.. Его, говорит, отчитывать надо...“ Ей-богу, не вру! так и сказал „в нем, говорит, нечистый сидит... гнездо свил...“

Выслушав это, Фома Кирсаныч побагровел и не то, что бы заговорил, а зарычал на нее, как раненый медведь:

— Гы-ы-ы, окаянная сила! Чтоб тебе издохнуть на этом месте!.. Кто тебя просил говорить-то это, а?.. Кто?! Осрамила ты меня!.. За-

резала!.. Убью на месте, стервоза окаянная! Идиот!.. У-у-у, чорт!.. Садану вот в рыло-то!.. Гы-ы-ы!.. просили тебя, дьявола, с языком-то, а? просили, а?.. Гы-ы-ы! Чурка еловая... лошадь! Нашла кому говорить, дьявол! Разнесет он теперича про меня по всей волости!

И, говоря это, он вдруг как-то сразу всем своим „нутром" понял, что поп действительно расскажет теперь про него, про эти его тайные выступления перед зеркалом, и он „местная власть", благодаря этому, сделается посмешищем на всю волость.

От этой мысли он похолодел и страшная злоба на жену овладела им.

— Гы, гы, гы! — бешено зарычал он, хватаясь за голову и бегая по комнате, — гы, гы, гы!.. Убить тебя мало за это окаянную из поганого ружья!.. шкура! бревно!..

И, остановившись перед ней, весь пылая злобой, страшный и действительно похожий на сумасшедшего, спросил:

— Так и сказал он: „в нем нечистый сидит... гнездо свил", а?

— Так, батюшка, так и сказал!.. Что ж я тебе врать, что ли, стану?.. Так и сказал...

И, видя, что муж молчит, жалобно продолжала:

— Жалеет он тебя... Сходил бы ты к нему, родной, покланялся, посоветовался бы с ним насчет себя... Худого он тебе не посоветует... ты то подумай: завси вить он перед господним престолом стоит... ему виднее... Может, с его-то речей образумился бы ты, бросил бы ерись свою, камунию-то эту... погубит она тебя! Помяни ты мое слово: вгонит она тебя, недоживши веку, в петлю!..

— Чо-о-рт! Анафема проклята! — опять зарычал, не находя больше что сказать, Фома Кирсаныч, — зарезала! Просили тебя, морду?.. тьфу!

Он харкнул и в изнеможении опустился на скамью.

— Что ж теперь будет, а? — воскликнул он. — Разнесет!.. расславит!.. проходу не будет! засмеют!

— Ах ты проклятая! — снова набросился он на жену, — ноиче собрание, как я теперича туда пойду-то, а?.. С какими глазами? Дура, чорт! ты бы то подумала: кто я, а?.. Кто-о-о?!! — И видя, что жена молчит, моргая глазами, заорал: — Я — первое лицо в волости!.. местная власть!.. председатель исполкома! Все во мне! Все от меня зависит, а ты что сделала, а? Да ты нешто и с попом-то вместе можете понять, для чего я собственно это перед зеркалом-то произвожу, а?.. Мо-о-жете?!!

— Нет, батюшка... А зачем?

— За-а-чем? — с презрением передразнил ее он, — вот тебе и зачем... Надо так!.. Учусь я... Говорить мне надо перед собранием... приучить себя надо... подготовить... не ошибиться бы... потому: кто я?! Как на меня глядят?! Всякое мое слово, всякой мой взгляд и жест должен быть не зря, а обдуман, потому я местная власть и все от меня исходит — и тепло и холод... Захочу сделать — сделаю! Захочу утопить — утоплю!.. Поняла?

— Страшна мне на тебя глядеть на эдакого-то, — жалобно проговорила жена, — боюсь я... Ну, как у тебя, спаси царица небесная, помрачение мозгов произойдет?.. Допреж ты такой не был... бывало и в храм Господний сходишь, попоешь там... с людьми с хорошими знался... сам граф бывало тебя хвалил, в пример двугим ставил за усердие за твое, а теперича на кого ты похож стал? Какие теперича твои поступки?.. Намедни я вон перед святыми иконами лампадку Николаю угоднику чудотворцу засветить хотела... маслица богова у меня осталось, берегла я на всякой случай, а ты на меня за это как

зыкнув... Не отскочи я во время — с ног сшиб бы, а за что? Господь-то вот и не подает нам... прогневили его... Намедни батюшка говорил в церкви: „не то еще будет... терпите, говорит, до время“, а как терпеть-то?.. Бросил бы ты, родной, камунию эту... ей-богу!..

— Бро-о-сил! — опять передразнил ее он,— бро-о-сить!.. Бросить, а кто-нибудь с умом поднимет... А жрать что будешь?

— Живут люди, как никак питаются. . без нее живы... Чего тебе противу своей совести-то иттить... Нешто ты взаправдашный коммунист, напустил, бог тебя знает зачем, ерись на себя... Окстись!.. плюнь на все... призови царицу небесную... наплевать... поругают — отстанут... без тебя много настоящих... шут с ними, пущай что хотят, то и делают, а ты в стороне будь... Мне-то через тебя мука мученская глядеть-то на тебя... истинно, что сатана в тебя вселился... Да уж диви бы по-настоящему, а то вить все ты противу сам себя делаешь... Люди-то и то чужие-то замечать стали смеяться... „продал, говорят, себя сволачь... примазался... сидит, говорят, как вошь на мужицком гашнике, впился“. Слушать-то тошно... ей-богу!

Фома Кирсаныч застонал даже как-то от этих речей, до того они были для него неприятны и тыкали, точно каким-нибудь шилом, прямо ему в нутро.

— Отвяжись,— со слезами в голосе воскликнул он,— дьявол!.. мучительница!.. Навязалась на мою шею — не стряхну никак... тьфу! Как был человек настроен хорошо — нет, устроила! Чего ты за мной подглядываешь-то, а? С любовницей я сижу здесь, что ли?

— Я чай тебе не чужая... жена законная...

— Чай, чай!.. Дура ты, а не жена... Чо-о-рт ты!.. Мне ли с тобой жить? Чего ты смыслишь-то?.. глядишь, как медведь в библию...

Жена обиделась и захлюпала...

— Знамо где уж мне... я, известно, дура, а ты умный... Я уж давно замечать стала, что ты на меня косыми не глядишь... рычишь как бык на кочку... а что я тебе сделала... му-у-читель!.. сколько ты из меня соку-то выпил... теперича нехороша стала... ненужна... поумнел... возгордел... А люди-то вон что говорят про тебя: говорят, ты со смотрительницей из приюта из детского связался то-и-дело тама торчишь заместо делов-то... мучитель! Не хороша я тебе стала... завел стерву... завел... завел, богоатступник!.. нехрись!.. Да погоди,— продолжала она, все больше возвышая голос,— ты думаешь Господь-то тебя не накажет? Накажет!.. за все тебе воздаст и за меня, и за обман твой!.. Смеются над тобой только... только и слов: „ну, как твой коммунист поживает?.. ты бы уж тоже с ним вместе в камунию-то шла... два бы сапога пара“... Приятно мне это слушать-то, а? „яловый, говорят, он у тебя коммунист“...

— К чорту! — заорал не своим голосом выведенный из терпения Фома Кирсаныч,— убью!.. За-а-а-режу!..

Он бросился к ней с поднятыми кулаками. Она, увидя его свирепое лицо, испугалась на-смерть, вскочила и, как-то смешно ковыляя и переваливаясь на ходу, как утка, побежала к двери...

— Убью!.. пришибу на месте! — топоча ногами, орал ей вслед Фома Кирсаныч...

II.

Весь переполненный злобой, какой-то взъерошенный, фыркающий носом как еж и нервно поддерживающий брючонки, вышел Фома Кирсаныч из хаты, чтобы итти в исполком...

Итти до места службы надо было побольше версты, в бывшее барское имение, где и находился исполком, занимавший помещение в большом „господском“ доме.

А в это время, когда Фома Кирсаныч вышел, в церкви „отошла обедня“ и, как раз, навстречу ему, шел крестный ход, направлявшийся в поле, где должно было произойти молебствие по случаю засухи...

Молебствие это организовали бабы, собравшие попу по три яйца со двора да деньгами несколько тысяч.

Процессия двигалась прямо на Фому Кирсаныча. Впереди шли девки и несли иконы, за ними два бородатых мужика несли „херовы“ (хоругви), а третий, тоже бородатый,— большой крест... Впереди всех шел подросток-мальчишка с фонарем в руках...

Девки и мужики кричали, первые тонкими пронзительными голосами, а вторые хриплыми басами: „заступница усердная, мати господа вышнего“... За ними толпой двигались „граждане“ мужики с обнаженными головами, бабенки, ребятишки... На колокольне в это время усердно „наяривали во-всю,“ и звон этот, сливаясь с визгом несущих иконы девок, как-то особенно странно и дико нарушал тишину и прелесть только что еще недавно проснувшегося, вставшего от сна и неуспевшего еще путем умыться, утра...

Фома Кирсаныч, увидя эту процессию, сразу почувствовал и понял, что „попал“... Свернуть ему куда-нибудь в сторону было нельзя да и неудобно, ибо скажут: „ишь побежал... испугался, нехристь проклятый“, а остановиться и пропустить мимо себя эту плывущую ему навстречу „святыню“ и не снять с головы картуза — страшно: „оторвут вместе с гововой“... Как тут быть? Если снять картуз, то могут узнать товарищи и осмеют после, а не снять—могут изувечить „православные“.

— Тьфу!— мысленно плюнул он,— вынесла же меня нелегкая сила не во время... Что делать?..

Процессия между тем, надвинулась на него вплотную. Мимо уже прошел мальчишка с фонарем, скосивший на него глаза и как будто спрашивающий этими глазами: „Что же ты в картузе-то стоишь“...

За мальчишкой „перли“ девки, несущие приложенные верхним концом к выпяченным грудям и поддерживаемые снизу, на ладошках рук,— иконы. Эти „вылупя бельмы“,— как выразился про себя Фома Кирсаныч,— глядели на него, и ему уже ясно и понятно стало, что он должен снять картуз, иначе будет плохо.

Нехотя снял он картуз и, нахмурившись, стоял и ждал, когда шествие проследует мимо него.

Прошли девки с иконами, мужики, бабы, опять мужики и, наконец, позади всех, староста церковный с каким-то ящичком под мышкой.

Поравнявшись с Фомой Кирсанычем, он остановился, ехидно улыбнулся и сказал:

— С праздником, Фома Кирсаныч!.. Наше вам!.. Куда иттить изволите?

Фома Кирсаныч надел картуз и сердито буркнул:

— На службу!

— Да вить сегодня словно кабы праздник,— начал староста,— работать-то вроде как бы грех?.. Вы уж и то,— продолжал он,— устали себе не знаете... Когда ни посмотришь — все вы за делом... Этак вить и надорваться можно... Лошадь, можно сказать скотина, и та отдых имеет... ей-богу-с!!

— Я не лошадь.

— Правильно!.. Это точно... извиняюсь... В исполнительный комитет изволите иттить?..

— Н-да!..

— А мы вот помолебствовать надумали... Не пошлет ли царь небесный дождичка... не обрадует ли?.. Женщины наши, бабы-с пригласили пастыря... по парочке яичек ему... Думается, Господь не оставит... неужли же самдели прогневили мы его до конца?.. Ишь сушь какая стоит... травы сели, яровое село... Ваше как нащет этого мнение?

— Предрассудок!

— Стало быть вы, извиняюсь, не верите?.. Гм! прискорбно это от такого человека слышать... А вить от кого же, смею спросить, коли не от царя небесного, и засуха и дождь?.. Все вить в его руках!..

Фома Кирсаныч ничего не ответил и хотел итти дальше своей дорогой, но староста остановил его опять своими словами, которые ошпарили Фому Кирсаныча, как кипятком.

— А вот вить ваша супруга, Пелагея Никоноровна, другого на этот предмет взгляда: они лично от себя пожертвовали шесть штук-с! да акрамя этого поминанье подавали за ваше здравие... Просили подать о здравии болящего раба божия Фомы, т.-е. о вас... Я подал-с... На божественной литургии пастырь наш возносил за ваше здравие мольбы-с... Лично они мне сообщали намедни о вашей болезни...

— Об какой болезни?!— воскликнул Фома Кирсаныч.

— Быдто на вас, как они сказывали, находить стало вроде как помраченье мозгов...

— Какое „помраченье мозгов"?!—воскликнул, опять весь холодея, Фома Кирсаныч,— врет она!

— Не знаю-с... Но только мне известно, что они и священнику об этом говорили... лично его просили об вас... Не верите ежали, лично удостовертись от него... Вон они едут...

— Где?!— испуганно спросил Фома Кирсаныч.

— А вон от храма-то господня... Подвода за ними наряжена, везти их на молебствие... Сами они итти на своих ногах не в состоянии по поводу своей комплекции... утомительно для них... грузны очень... мы подводу нарядили, до места значит...

Действительно, он говорил правду: от церкви двигалась к ним повозка, в которой сидел, очевидно, уже увидавший их, поп о. Ксенофонт.

Фома Кирсаныч растерялся и, не зная, что делать, молча глядел на подвигавшуюся повозку, чувствуя, между тем, как всего его коробит и как ему, хотелось бы в эту минуту сгинуть куда-нибудь, провалиться скрозь землю.

Повозка подвигалась все ближе и сидевший в ней поп, здоровенный и по росту и по объему, издали еще, сняв соломенную шляпу, приветствовал Фому Кирсаныча поклонами.

— Здравствуйте, Фома Кирсаныч, здравствуйте, дорогой мой,— кричал он, еще не доезжая,— рад вас видеть!.. О-о-о-чень рад!..

А когда поравнялся совсем, то крикнул сидевшему в передке и правившему лошадью мальчишке: „Стой! тпру!". И, перекинув через грядку телеги здоровенную ножищу, слез на землю и, поправив широкий рукав ряски, подошел к Фоме Кирсанычу, протянул руку и, как-то особенно радостно улыбаясь, сказал:

— Еще раз здравствуйте!

Фома Кирсаныч промычал что-то в ответ, освобождая свою руку из руки о. Ксенофонта, которая поместилась в ней, как какая-нибудь детская ручонка.

— Куда шествовать изволите?— спросил поп, глядя на него маленькими „медвежьими", смеющимися глазками.— Небось на службу, вершить и править... и праздника-то на вас нет!.. Переутомитесь, ведь, родной мой... нельзя так...

И помолчав немного спросил:

— Ну, а как здоровье?

Фома Кирсаныч опять что-то буркнул в ответ и покосился по сторонам, боясь и думая, что не увидал бы кто-нибудь из товарищей, идущих в исполком, его, „местную власть", разговаривающего с попом.

— Радуюсь вашему здоровью!— продолжал между тем поп,— радуюсь!.. А я ведь было испугался за вас... ей-ей!

— Чего?— сердито спросил Фома Кирсаныч.

— Да как чего?!— воскликнул поп,— прибегает ко мне намедни ваша уважаемая супруга вся в слезах и говорит мне, что с вами что-то неладное происходит... Что вы будто бы заперлись и один сами с собой разговариваете и кричите, стоя перед зеркалом и наблюдая себя в оное... выделываете какие-то манипуляции и жесты... бормочете... Все это она, по ее словам, видела и слышала, наблюдая за вами в щелку, и прибежала ко мне, прося помочь вам... Ну, а я, конечно, посоветовал ей, с своей стороны, обратиться к врачу и, признаться, видел его вчера сам и сообщил ему об этом со всеми подробностями... А вы вот, как оказывается, уже поправились... Приятно видеть... поздравляю!.. А, признаюсь, напугала она меня... Очень напугала!.. Я подумал, что с вами что-нибудь от переутомления умственного... от напряжения... Доктор, я думаю, по всему вероятию, зайдет к вам...

И опять, помолчав и все так же смеющимися глазками глядя на Фому Кирсаныча, продолжал:

— Всем уже известно об этом и все, с кем я ни говорил, думают, что от переутомления с вами нехорошо... Советую вам отдых, от души советую!.. Ну, а пока — всего хорошего! некогда мне... молебствуем вот... Ну да, впрочем, вы на этот счет... молчу, молчу, молчу!.. Не мое дело... Ильич,— обратился он к старосте,— садись, поедем вместе!..

— Всего хорошего!— еще раз, уже усевшись на место, крикнул поп.— Поправляйтесь! Вы человек нужный... цвет и украшение нашей волости... хы, хы, хы!.. Очень рад вас видеть в таком виде, а то, понимаете, все, с кем ни поговорю, сожалеют о вас и ахают... Супруга наша предполагает даже, что вы хы, хи, хи! будто бы того-с... свихнулись!.. Меня-то она напугала ужасно, да и всех-то тоже... А все оказывается вздор... Вы, оказывается, вовсе не болящий, как она говорила... Какой же вы „болящий"—хы, хы, хы!.. „болящий!.." Н-ну, еще раз: будьте здоровы!.. Петька, погоняй!!.

Петька чмокнул губами, крикнул: н-оо! и — лошаденка, облепленная недававшими ей покою, пока она стояла, слепнями, рванулась с места почти что вскачь.

Взбудораженная колесами пыль обдала Фому Кирсаныча со всех сторон.

— Гы, гы!— прорычал он злобно, и вместо того, чтобы итти в исполком, повернул назад домой...

Запыхавшийся, страшный, с налитыми кровью глазами и лицом, застал он, явившись домой, жену свою в чуланчике, в сенцах, где она, сидя на полу, перебирала картошку.

— Ты что же это, дьявол, сделала-то, а?..— заорал он, бросаясь к ней.

Она, увидя его в таком виде, ахнула, всплеснула руками и отчаянно заволила, вообразив, что он окончательно „спятил"...

— Караул!.. батюшки, помогите!.. батюшки, отцы родные... с ума сошел... **батюшки!..**

— Гы-ы-ы! — рычал Фома Кирсаныч, стараясь схватить ее за глотку, — гы-ы-ы, стерва!..

Он схватил-было ее, но она увернулась, вырвалась и выскочила за дверь, успев захлопнуть ее за собой!

— Караул!.. батюшки!.. караул! — раздалися через минуту ее вопли где-то уже там на улице.

. . . .

А Фоме Кирсанычу, слушающему эти вопли, казалось, что вопит не она, а вопит кто-то сидящий в нем самом и вопит не „караул", а — „кончено!.. кончено!.. кончено!!..."

С. Подъячев.

Мокей.

Деревня — насквозь беда.

М. Горький.

I. Малая соринка.

Мокей Семеныч обмерз. Застоялась Кенарка, седока поджидая. Елозит Кенарка правым глазом по хозяину, а он — король крестей, рукав в рукав запихнувши, калачиком на облучке, шапка в четыре угла — и первый угол свис к носу; заснул нос, и Мокея закрутила дрема; сопит нос в жесткий ус, сапожную щетку, а может и не нос, нос-то: ма-аленький. Выпить не прочь, однако.

Мороз обжимает ломкие снега, а человека схватит и удушит. Вот Мокею — и он в пользу; такая служба раньше была мокеева: — у важного барина при карете на запятках выездной лакей. Известно — городская гульба все зимой, да ночью. Прохлаждаются господа хорошие у барынь или дам, как хочешь... и театры тоже... А Мокей жди...

Привычка. Мокею мороз — перина.

Мокей с барином запросто, завси: конечно, секретные дела, — надо барину, — чтобы полюбовно; а вышло от дружбы с каретным барином полная неустойка. Перекинулась к нему от барина дурная, — что поделаешь, — и у Мокея гнилая дурь по суставной кости пошла, — к носу тоже. Мокей простой мужик: ла-ад-но. А у носа и нет носа, прости Господи, — пуговка. Такие дела...

И от чего это прилапает? Соринка малая или иное что?

Питер вьюжный, важный, сытый, зимою, - белый кот сибирский; разузорены хитрым кружевом фонари и карнизы. Городовой — запорошенная тумба. А на одиноких панелях голые женщины в седых снегах жалко выплясывают под ручку с жирными драконами. За окнами, кисею дернув, моргнет лукавый женский зрак, поежится на улицу и — опять к нагретым пахучим подушкам.

Ах, веселый Питер, кружевной.

— Слушай.

Мокея бьют по плечу.

— Слушай.

Вздернулся на облучке крестовый король. Выглянул с армяка, шуба около медвежья. Нет, — дракон. Зелен мученический глаз. Нет, — шуба. Да кто же?

— Что дерешься?

— На Забалканский, к Быкам. Да скорее...

И не торгуясь, прячется медведь за полость. А голые женщины бегут сзади и по-собачьи плачут.

— Махом.—Подбирает король вожжи. Вспоминается Мокею у Быков ночная „Ягодка".—Не кабак, царская ранжерея. Паром душу вышибает; да к сороковочке рататуй с яичком.

По раскату скрипят санки. У них одна песня: к экипажнику на побывку,—малая починка.

Медведь пьяненький, на-чай очистится,—как пить дать.

— Т-ты, скорее, малый.

Мокей жует языком: а там рататуй с яичком.

Медведь бьет по загорбку сутулый армяк, стряхая с него скробкий снег.

— Скоре-ей. Тебе, я говорю, извозчик.

Мокей вожжей взад-вперед; а сам — молчок. — С такими всегда надо тихо. Мокею ведома вежливость. Кенарка печатает копытами по ледному насту, хруп-легонько,—похруп.

Шуба, Мокей и Кенарка плывут по каленым простыням без зацепок, ше-елка. И лошади не порча, и к „Ягодке" пристанешь — там рай. И баба, может, есть к случаю, честь-почесть...

Хорош кружевной Питер, а что нос, известно кабацкий гнус, — веселое житье, никому не противно.

— Что я тебе, дьяволу, говорю; поедешь скорее?!.

— Тпру,—охнули санки с досады.

Мокей нагибается к полости.

— А тебе что? Лететь надо. Ты мне Кенарку ростил? Лететь хочешь. Ну, лети.

И, отцепив крючок, подымает добротную из лезлого меха.

— Ну, лети.

— Ах, ты...—и еще, и еще растрясывает бисер шуба. Визг катышем бежит по улице, хватаясь за тумбы, ухватил одну, и белая тумба рядом с шубой хлопочет. Кувыркает посвист драконий. Номер желательно тумбе записать, да замерзли руки. Все замерзло у тумбы; и медали примерзли к груди, утром, наверно, с мясом оторвет их. Вот тебе и „Ягодка". Участок тут, а не „Ягодка". Тумба держит Мокея и чешет ему загривок черной селедкой, круто посыпая солью.

Веселый Питер, кружевной.

Здорова бить тумба, а и Мокей не трус, ночью не докличутся; Мокей размахнулся, сжав варегу, да как локоть болью пронзило—и видит Мокей: тетка Феня ловит в печи чугуны быстрехонько ухватом, ровно блох.

— Заспал, а я-было будить собралась...—Думаю,чего бунтует мужик.

Разгоняет сон Мокей, локоть почесывая. Как его морока обвела. лежит он на печном голубце, накалилися доски, баба ковыряет уголь, жаром дует споднизу. В валены обулся Мокей и сходит.

— Закрутило меня сном, ну-у.

Приник глазом к оконью.

— Да как явственно... Ишь, матери, тишь какая, на ведро должно позывает. Да как явственно. Будто я, знаешь, в Питере...

Жалко Мокею старого: как в Питере извозом промышлял. Бывало: и барин сердится, и „Ягодка"... осушишь казенную, что под орлом двуклювым,—веселый человек. А тут... потей за сохой, в сенокосье же рубаху хоть выжми. То ли... да если бы не они, не эти новые уставщики, ходил бы он в Питере. Нет, порядок иной, чтобы ровный постав каждому. А что из того: канительная жизнь, сумятица.

И ездил бы Мокей до сих пор в Питере, сворил с тумбой. Участок? А что участок,—мешал он им? Смешно. Участок,—первое дело. там обозначат что и как,—верное дело, хорошее дело. Вот нет участка и верности нет.

Мокей не любит говорить,—и с кем в деревне ему говорить?—бестоющий народ. Мокей пальцами разговор ведет.

— Фе-ня,—с хрустом накалывает пальцами Мокей. Баба уж знает: щипчиков просит мужик.

— Думаю я, Мокей, про сестру... как она за тебя пошла?

— Ну и пошла... Ты чего?

Ерошит под пуговкой сапожную щетку,—такие выдались усищи,—чай пить мешают.

— Да и пожила...

— Ну и пожила. Хватит,—ну... Ты чего опять про глаза ее? Все помрем. Хорошо и померла. А то радость,—слепой быть.

Банный лист липкий, — тетка Феня, языком шершавым нутро пролижет.

— Бросилось сестры, Мокей, в глаза.

— Ну,—бросилось... Ну?

Зачал выбивать бараний таратах.

— Ироды. Я у вас, я — все, все—я. Не заразительно понимаешь, ну...

— Люди калякали...

— Люди, люди... Житье,- тормоз. Едите, пьете...

Мокей топотом на крыльцо, так бы и сенцы в щепы, да в разметку бы злыди вороха, что притаились к плинтусу.

— Домузычится такая, ну—глядь...

Изба у Мокея ядреная, боровик с хрустом,—подборный лес, а за избой бревенный заплотник. Помаргивает изба на Кучичи и на всю округу очень резонно помаргивает: не место, мол, мне здесь; не о чем с вами разговаривать.

Любуется Мокей строением:—надежное дело.

Мимо Вася соседский с возом.

— Мокею Семенычу,—и солдатскую Васину фуражку ветром сдувает истово и озорно.

— Васенька, да ты, друг, на побывке, что ль? Ну, Питер-то живет?

Смех кипит блином поджаристым на Васиных губах.

— Ах, ты,—шипунок. Хорошо, говорю тебе, в Питере-то?

— Сам понимаешь, Мокей Семеныч; куралес такой, страсть вздорно. Опять насчет житья могу сказать, вредное житье... Балансу нет.

— Ну везде. Повела пурга везде. А мы-то покряхтываем. Ну, брат, я скажу...

Мокей серьезно, как Отче наш.

— Фармазонская штука. Понял?

— Где нам, Мокей Семеныч, партейное дело.

— Верно, я говорю. Это, брат, старая история. Фома с балалайкой. Вон Олешка Сельдяев мои полфунта песку сахарного украл. Это у них сбор.

— Какой?

— Да уж такой; они, коперативные, знают. Ух, ну доберусь я. Украли, мать честная. Прихожу это о прошлый месяц домой, свесил, ровно сметано полфунта. Выдача у нас была. У них, брат, свой вес, общественный.

— Ка-ак, брат, новые порядочки живут, да.

Попрощались, руку сунул Мокей,—карты сдал.

— Такие дела... А, Васенька, помнишь?.. Схлопотать обещал эту штуку, ну та-ак.

Щелкнул Мокей Семеныч.

— Будет отец, заграничного образца леворверчик любо.

— Ну-ну, я, знаешь, его в сундук, да на замок, будь надежен.

И, кивая, на избу:

— Спокойно... Ихнему новому букварю не нам учиться. Понять не могу, отчего нынче всему такая разборка, червоточина какая, малая соринка или иная ржа, а все жрет, плодущая. А с этим...

Мокей щелкает пальцами.

— Я его на замок — и спокойно. Сунься, — как который я с ним по старому правилу, ну...

Еще раз простились.

— Я брат, Вася, с тобой нараспашку, потому ты — родная душа, питерской.

II. О том и о сем.

Мокею только и дела: Кенарку холить и яблок оберегать.

Ходит вокруг Кенарки, что король крестей за дамой. Гриву расчешет, смоляной зуб перечтет, — не хорошо, — старится кобыла. А краса та же: во лбу малая звездка и на задней правой ноге по щетку бело.

Справная кобылка, чего греха таить, пегая, — молоком томленым облитая, посмотришь, — розовая пенка, так вот слюнки текут.

Ходит Мокей по саду, дубинкой потукивает, стережет от ребят свои яблони. И не сад может у Мокея, а персицкий заговорный янтарь — желтый налив. От прелого листа загустел воздух, пчелы мед гребут лопатами.

— Порядок — главное. А бить? Бить не надо. Надо по порточкам почикать, нравоучения ради, розгой.

И хоть пахуч до щекотки сад, и мелузгают у ребят на глазу медовые наливы, да бросишь всякую утешную сласть, ежели мокеева розга чуть не кандовое дубье; не дай Бог на выучку напороться.

А Мокею каждый сучок потной яблоньки любим, родное тело, родной, мокеевский пот; оторвешь, и Мокею больно, — точно его, мокеев палец, сломлют.

Было так. Наступит когда перекорливая на деревне пора, подворная дань овоща всякого и молочных скоп (Совету отдавали положенное по правилу) — Мокей и в сапожную щетку свою не дует, отплевывается, да перед жителями хорохорится.

— Давай, давай. Они-то дали?

И, на всякие лады перефасонивая, топорщит ус.

— Я, брат, рад. Я им ни картофинки ни одной, на ни вот — хоть чутельную порошину чего, ничего не дал им, колотырщикам, сборщикам этим нашим. На, — выкуси.

Но тут, на-днях и с Мокеем неаккуратный оборот вышел, отлучился в Свиягу Мокей, а за недачу молочного порциона корову со двора и сняли; а до Совета двадцать верст трактом. Изустала ленивая мычунья — и, когда Мокей выхлопотал ее из Совета, подпиской себя обязав, обратно не идет, а ковыльком клонится комолая; пришлося Мокею корову на подводе домой доставлять. Вначале и слушать не хотел; спасибо Фенька и прочий хозяйственный люд умолил Мокея:

— Поклон не укор, а хозяйству крепь.

Так и вышло.

А нынче Мокей мятелит меж яблонь, нашептывает наливным молодкам жалобицы о фенькиной проруxе, о коровьих убытках.

— Скочило в копеечку.

Но главное не в деньгах, а больно зряшные проторы, не дело. И про реворьверту, Васькин дар, отшибло совсем память; реворьверта в коморе, за мудреным замком, не сразу откроешь. А надо бы...

— Ну, доберусь, до-оберусь.

Как у солнца на зиму к закуте поворот, так и готовится к посту земля; пора летние игры бросить, про труды забыть—лезь в могилу, накрывайся белой смертной одеждой. А перед таким подвигом надо чистой предстать; и моется земля в три ручья небесной водой, сдирает узорный игряной наряд, скоблят осенние слезы нажитой румянец,—и молит о спасении смурая вдова.

Этот год вызудил мокееву силу, занедужил Мокей и телом и головой. С виду будто крестей король, гордость та же, а в нутре червь—не та масть.

— Да ведь также... Крутоверт, понимаешь, и тоска.... Ах, брат.

Руками всплескивает.

— Да ведь я бы, да Кенарка, какие мы по зимам чудеса делали. Я на месте не могу, мне передвижение, образованный класс мне нужен... А машины, брат, в Питере по трактирам спирали закручивают... Господи.

Так—по осени страдает Мокей и вдобавок еще страшный слух: подводы требуют, война рядом, на военную надобность; к подводе—лошадь.

— Ну, дела...

И втолковывают Мокею соседи: поработаешь, мол, и довольно. Чего реветь? Надо помочь, не дать — возьмут сами. Проработаешь—и лошадь при себе; рас-чет.

У Мокея норов—боров.

— Бал-ловать... Он мне растил Кенарку, иль нет? Растил?—И упрямо бьет спорщиков дюжей бранью, слово за словом, раздельно и истово, как свечки ставит перед иконостасом.

Разговору-грому много было, а потом стишали. У мужиков нюх: послабление нашего фронту.

Пошел по улице Мокей дерзить в открытую.

— Па-годи, ну—доберусь... я их, сяких...

И крутит Мокей из пальцев петлю, языком причукивая.

— Бе-ез мыла. Потому, где мыло? Давал он нам коросту содрать иль нет?

В одно утро, когда ветер-хлопотун, вея нежной порошей, со стоном зарывал покойницу, на деревню пришли воины в погонах. А ихнее начальство, молоденький, бледный — первая пороша, золотом наплечным ласкает. Чик и чак по деревне, страшной попых, с плеча рубит, где попадя, будто на минут—на один сила зашла. Мокей уж у начальницкой избы в круги щучится. Призвали его. Смекает Мокей: строго — часть. И хорошо Мокею — вспомнил сердитого барина, туманную „Ягодку". Здесь разборку определяет, воздастся...

— А что, ваше благородие, по поводу врагов, могу мигом...

— Кто?—и вытаскивает молоденький из карманчика серебряный карандаш, а лицом жаден—и не писать, а будто пить собрался, испеpетомившись. На плечах у него подрагивают от свету золотые стрекозы.

— Перво дело, ваше благородие, была у нас выдача песку... харного... Пришел домой, думаю: дай проверю вес. А безмен хоть кого спросите, без обману. Свешаю, думаю...

Сердятся золотые плечи.

— Ты, батька, дело мне говори.

— Вот он дело-то и есть. Я, ваше благородие, только и вну соседям: было, говорю, верное дело.

— Бестолковщина, Бож-же мой; фамилии назови...

Норов крепок у Мокея,—обращение знает, что и как.

— Ах, ты серчать? Ну, так, ваше благородие, я пойду.

И выскребывают сапогами к сеням, на ходу ероша усы свои пожные, оправляя королевскую шапку... обидно... Уж на улице нули его вестовые.

Чинно на лавку, рядом с собой усаживает Мокея блескун-нача ник. Посмотрев на взбитую сапожную щетку, хочется молоденьк засмеяться, уж и подбородок у него дрыгает.

— Я, папаша, не обижайтесь... Нам некогда.

— Так и я, ваше благородие, по порядку все...

— Но кто, кто?

— Так и говорю... Свесил я песок, полфунта слизано. Дел Ну—а чья работа? Известно, Олешки Сельдяева, кооперативного. руки.

И молоденький, натужась, грохануал. Не выдержал вспыжен мокеевой речи, встопорщенного уса. Открывается пред ним двер выходит мистрис Керри (звали ее домашние Кера Марковна), за ничная нянька, рыжая и ясная фыркунья—настоящий тульский са вар. И представляется ему: вот бы эту даму, эту самую, как под ст бы ее Мокею,—какая б вышла козырная пара.

А Мокей губами перечмок:

— Что за невнятица у барина... и дух есть... словно бы...

И щелканул Мокей пальцами.

— Того он, заложил малость.

III. Аук.

Полки ельнику колются и ольховая зарость дрожит под су красным ветром, нагревают себе животы свияжские полевые пусто

А ты, моя потная Рассеюшка, смаялась от солнцу, но и лю тебе вольные пожары. А и кто из нас, русских, не любит тебя, кого твоего наряду; печальна — слякостной слезой, пригожа — лет жаром. По долам гуляют, празднично выпяляся, овсяница, кукол молочами. Рядами сочными богатится пырей, жабрик—прихлеба у его кубарится. В ярком гульбище июльская земля, дозревая, преет

Стомила теплынь Мокея, слабеет от пота он; и не знает, лучше—морозный костодер или прелое лето. Вспоминаются: снеж пороша, поручьичи стрекозы. И жалко, жалко... Порхнули стреко помаркивая; согнал их с молочных полей красный ветер.

Феня оводом жалит Мокея.

— Добычу взял, оклепал тодысь Олешку на погубу, за полфу мужику кранке; а нынче где они, любезные твои? Ух, подпекут тебя у

— Ну—и подпекут, ну?

— Они-то стрекуном, а наши сердются, отквитка будет тебе.

— Ну, наши. А не блуди. Порядка ради.

— Порядочки—мужику за полфунта пропасть. Засудят тебя, кей, ух—засудят по новому порядку-то.

Измаяла баба, день и ночь один гудешь.

— Засудят, кранке тебе.

И сон у Мокея нехороший пошел. Сегодня целую ночь обжимался бредом, шею чос одолел; рукой раздавил — клопяным пахнет; а потом, во сне видит по подушке стаяли стеклянные клопы—летучие жигуны. Больно страшно.

Утром Мокей уж к яблоням; ветер тарахтит, бросая наземь дозрелое, но не манит Мокея наливной плод, ищет Мокей по проточинам клоповой травы для извода постельной гади.

Соседу даже жалобно глядеть.

— И с чего ты, Мокей, охудал... вона как.

— Порядки-то... зачахлишь.

А соседу уж и смешно.

— Лошадку-то поведешь? Опять ведь требовают.

— А он мне ростил Кенарку? Нет: А по весне, когда я болен был, навестил меня? Он мне сказал: как поживаешь, мол, Мокей Семенов? Нет. А теперь кадычит, теперь ему дай.

И, подбоченясь, ярится Мокей:

— Ну, а нынче у меня ничего нету.

Крепко зазнал Мокей, как ему от повинности отбояриться; голем ходит.

— Нету... Способ есть такой.

Такой способ выдумал: Кенарке в кормушку вместо овсяного взвару солому накладывать.

Когда повели скотину на осмотр, мокеева Кенарка в землю мордой тырк да торк,—не годящий работник.

— Что ж она у тебя... не кормишь, что ли?

Елозит Кенарка розовым глазом по хозяину, очень тоскливо подслушивает, а Мокей супится.

— Больна, видишь.

Отпустили Кенарку,—куда такую; а Мокей радешенек, идет, что из туманной „Ягодки", во хмелю кренделя лепя.

— Ну, и откормим тебя ва-ажно. Прямо Кенарища будешь чистая.

У ворот уж кнутом хлещет тетке Фене.

— Засыпай овсу, браковку веду, ну.

За столом, взасос цикорным наваром надуваяся, не наглядится Мокей в румяный самовар.

— Ну, что это? Я пополнел будто, Феня.

Лег на голбец, ноги свесил.

— Ну, теперь у нас лад и умиротворение.

И ерошистым голосом тетке Фене подмигивает.

— А суда тоже не жди. Вынюхал, брат, в Совете все. Мимо нас суд проехал. Ну—что? Говорил я...

Отвалился Мокей к каленым доскам, тулуп подостлал, потянулся, разминая наболевшие суставы.

Славно, до того славно. Рядом сидит тетка Феня, иль не тетка Феня,—а моложе, важнее, жирнее; тычет Мокея в нос пальцем.

— Что это нос у тебя защемило, кавалер.

Мокей к бабе тянется, щекочет у нее под мышками, баба хохочет, и машина трактирная круглыми песнями захлебывается.

Ах, пьяный Питер, кружевной.

Едет Мокей мимо чугунных старых домов, в небе звездятся зеленые окна, а дома на них скалятся черными зубами. Забавно Мокею, что сердится сзади седок и бьет Мокея по загорбку; а Мокею не больно, но щекотно, щекотно страсть.

— Уставай, слышь ты.

Удивляется Мокей: опять баба... баба в тетку Феню обернулас а седока нет. Фенька грозится.

— Да вставай же ты, дрыхало, очнись; Кенарка-то, говорю, пс дохла; ух, убил ты ее соломкой своей.

Спрыгнул Мокей с голбца, поясницу чешет, сон отскребывая.

И в жарком хлеву, все еще жмурится Мокей от сахарных сно никак еще невдомек бабий вой,

— Аукнулось тебе за поклеп.

Смотрит Мокей на Кенарку, свернулась та в стойле розовой пен кой томленой,—не дышит.

— Ну, не мне, да по крайности и не им. Я хоть рад.

Ночью не спится Мокею на печи, изгладил постель на лавке, а сна все ж нет, душу-думу—блохи кусают, бередя сон.

— Кто зачинщики? Они же... Не они мне холили-поили...

А только зазорно Мокею. Нехорошее дело, смешное дело. Теперь по улице сопливец всякий изгаляться станет над ним: как он скотинку свою от повинности сберег. И глотай издевку, да без поперха.

— Как, мол, способ твой? Действует ли?

Скажи, пожалуйста, какое дело!

Весна заручится, на Егорья табун выгонять свяченой водой окроплять, а Кенарки, копя-игреня нету... И соседи истыкают Мокея пальцами.

— Нет, не дамся на остуду. Всех покрою. Пойду другим ходом. Мол, нечаянно убил лошадь; грех, мол, такой. Застрелю ей голову. Оплошка, брат, бывает. Ну... а бабе накажу, нишкни.

Приспичило Мокею, до утра нет терпенья дождаться, полез в сундук за васиным даром, чтобы теперь же, ночью пойти в хлев и прострелить мертвую голову. Новым ходом дело-то обернется. Ну. Вытащил дых-дых на ствол, обтер пот бережно.

— Ну, кранке, брат... Надо мной не погогочешь...

Прячет Мокей хитрую усмешку в сапожный ус. А пистольный ствол смеется, ухарски поблескивая в темках синей серной спичкой.

— Нажму... и вот так—ну!

Паром обдало,—вспыхнула изба,—и разом задуло спичку.

Тишина.

Тетке Фене, лежа на печи, снится: что она разбила горшок, и Мокей нравоучения ради крепко-крепко, больно-больно кулаком саданул ей под самое сердце. Да так, что не двинешься, не охнешь даже: „Матушка-Заступница"... А из темных сенцов пробирается неслышно сестра-покойница и пальчиком манит к себе Феньку.

Ник. Никитин.

Волк.

I.

Низкий свод, как мантия греха. В бесцветном камне и синезеленой плесени вкраплены люди. Роком или стальным законом? Серые щупальцы через мертвые пятна окон судорожно чертят контуры. Тени вкамененных людей сонно ползают и дрыгают руками.

Маленькая беленькая девочка тихонько плачет у корыта с грязным вонючим бельем.

— Замолчишь ли ты, паршивая? Замолчишь ли ты, паскуда?

В черном углу стонет седая тень, а рядом гармоника:

— Ох, скорее бы, скорее бы пришла б ты и взяла бы меня ты... о, прелестная смерть!

А под окном над сапогом качает сокрушенно голова. И размышляет голова:

— Соль купил за 30, прикупил на 20, а продам-то я, а продам-то я—ведь вот смекалка! А старик помирает—не помрет; да, ну его! Мешает!

Тут Федька Гвоздь явился. Федька стал горбатый. У Федьки в волосатой руке зажат кусок—восьмушка хлеба. И шевельнулись тени, раздувая ноздри, а Федькина восьмушка угрюмо полетела в угол.

Седая тень закашляла, седая тень руками заворочала, как сломанными граблями.

— Ох, грешно, кидаться хлебушком! Ох!

— Заткнись!—лихо Федька бросил точно крендельком.

— Заткнусь, батюшка, скоро...

А из глубины камней тоненький, приплюснутый голосок выскочил змейкой к Федьке:

— Богохульник проклятый, крест пропил, окаянный!

— А вот здорово бы было—со всего света собрать кресты и крестики деревянные, медные, железные, золотые да пропить их за здоровье ваше, подвальная шпана!

Голова над сапогом вскинулась:

— А кому нужно их, кресты-то?

Федька присвистнул.

— Удивительно ли? Чай, найдутся бедные богатеи... Ну, а где Ванька?—пошарил он красными глазами по темным углам.

— Спит Ванька.

— Эй, Ванька, вставай!

— Ну что? Чего тебе?—ленивое сонное выползло.
— Иди сюда, дурень.
Дверь охнула и в подвал вползла каракатицей торговка, похожая на женщину.
— Ох, окаянные, ох, изверги!
В куче тряпок щеки, как ломти арбуза.
— Ох, анафемы ненасытные, коммунисты! Отобрали все дочиста.
— Ах, бедная,—сказал Федька,—разве это порядок? А порядок новый такой—дураки торгуют, умные воруют.
Длинный, косматый, обшарпанный Ванька сплюнул и, запустив корявую руку за пазуху, принялся ловить блох с большим чувством.
Мертвые пальцы из крохотных окон душили Федькино горло и он крикнул:
— Плевали на вас плевали... и все вам мало.
— Поймал!--полновесно бухнул Ванька.
— К чорту вашу яму и вас всех к чорту! Уйду я!
— Ох, пришла, родимые, пришла смерть...
— Брешешь, старик! Вычитал в книжке я раз—„В битве кровавой брат губит брата". Сие верно, аминь!
— Злодей, молчи!—резнула камень-баба.—Дай помереть старику.
— А мне что? Пусть помирает. Нам не по пути! А вот гармония, дура, почему замолчала? Это при старом режиме только богачи под музыку издыхали...
— Ох, страшно мне, страшно...
Над седою тенью склонились другие и шепчут.
— Ванька, почему мне не страшно?
Краснобурый с острыми клыками нежно лизнул Федькину руку и понюхал острые колени Ваньки.
И захотелось Федьке кинуть звонким и злым:
— Эх, братия, шантрапа подвальная, сегодня декрет есть новый. Приказано коммунистов откармливать, пока не будут семи пудов весом, а беднякам отведен миллион десятин земли под кладбища.
Кувыркнулись словечки и упали на черные лохмотья без звона.
— Кончился старик,—громко сказали и деловито.
— Теперь идем, Ванька.
— Куды?
— Узнаешь.
Свернувшись комком, покатился Ванька за Федькой.
Во дворе было такое:
— Нож с тобой?
— Нож-то?
— Ну, да, нож.
— Да, есть...
— Ну, идем!
— Куды?
— Хочешь денег? Много денег!
— Все равно...
— Ну, так делай, что скажу.
— Все равно...
По коленам Ваньки ударил холодный страх. Но желтой угрозой ожег Федькин взгляд.
— Так не хочешь?
— Ну, ладно...
— Смотри—не пожалею.

И пошли трое к Загородному. Умиленно вилял пушистым хвостом Краснобурый.

Снег мягко хрустел. Дымчатое небо.

У магазина золотых вещей Федька остановился, вгляделся в темную впадину и толкнул вперед Ваньку.

Поверх очков черные глаза старика еврея их пронзили.

— Часы покажите.

— Какие?

— Золотые.

Краснобурый рванулся, зажмурив глаза.

Федька через прилавок душил старика и приказал Ваньке:

— Бей!

Ванька, протянув руки, оледенел.

— Бей, сволочь, ножом!

Ослепнувшее сознанье Ваньки металось, как пламень разбитого фонаря в осеннюю вьюгу. И вдруг машинально, повинуясь гипнозу, Ванька вонзил нож в худой живот старика, извивавшегося, как рыба на крючке. Старик размяк, как тряпка, выпучив глаза.

Хлопнула дверь в задней комнате. Шаги. Молчанье. Девушка. Ужас рук.

Краснобурый взвизгнул, поджав хвост.

Старик скатился с прилавка.

Побежали. Ванька по Загородному—длинный, лохматый, обшарпанный. Федьку же схватил инстинкт и толкнул в первую дверь. Книжная лавка, набитая посетителями.

— Дайте что-нибудь об анархизме.

И уж почувствовал на себе крючки бессчетных, ехидных, всезнающих глаз, упорно и отчаянно глядел вверх на полки, страдая до тошноты.

Женский, долгий крик прорезал ровный шум улицы и острием вонзился в Федьку. Его схватили, вытолкали безвольного на улицу, затем все побежали, бежал и Федька, пока не наткнулся на кучку рычащих людей, окруживших Ваньку. Инстинкт отшвырнул Федьку в сторону и повел тихим шагом прочь, уговаривая не бежать.

Где-то на тихой уличке стоял Федька, прислонившись к стене и тяжело дыша.

— Вам плохо?—участливо спросили.

Федька дико ухмыльнулся, озираясь.

Каменные углы и кубы до угрюмого неба и в небе. Они упадут сейчас, сомкнутся, раздавят... Ползли минуты, как раненые на смерть солдаты в брошенном снежном поле.

Федька поплелся бесцельно и опомнился только у дома, где двуногие нюхали свежую кровь, и пять слов встали на дороге:—на дворе комиссариата его прикончили.—Он понял и больно улыбнулся.—Один страшный круг замкнулся. Жизнь Ваньки точка. Его жизнь, Федьки, охватила весь мир и проглотила все интересы. Неужели самое драгоценное погибнет?

Обыватель, проходя мимо, сказал:

— Судьба!

Федька сказал:

— Я буду жить, буду... Но некто, знающий стальные пути, похлопав Федьку по плечу снисходительно, шепнул ему:

— И ты точка.

— Потому что я гадина?

— Потому что безглазый.

— Потому что я убил?

— Не сумел убить.

— Но я должен был убить?

— Не знаю.

— И я погибну?

Но уже никто не ответил.

Два ребенка спешили куда-то, обогнав Федьку. Один из них деловито сказал другому:

— Вот здесь во втором дворе лежит.

Дети шмыгнули в ворота; Федьку безотчетно потянуло за ними. Через закоулки и проулки пришли к стене.

Знакомая лохматая голова, запрокинутая на снег, бледнозеленая с черным пятаком во лбу. Глаза лениво щурились как на солнце, а рот кричал, кричал, пенясь розовым.

Стоя в толпе, прикованный к Ванькиной голове, Федька впервые за последние годы ощутил ужас. Это было отвращение к самому себе, вставшее во весь рост в пустом доме, где только что один краснобурый рыскал. Ужас сорвал забитые ставни и двери с петель и в дом хлынул свет.

— Что же, пусть меня судят люди. Пойду объявлюсь,—подумал Федька и тут как сквозь сон услыхал точно издалека женский голос захлебывающийся:

— Я-то с самого начала была ведь... Повели наверх... Народу-то!.. Заперли... родственники купца пришли... выдайте... с удовольствием, не приказано... дверь ломать... упирается... и я помогла... приволокли... плачет, точно в самом деле невинный... помолиться просит... А у родственника пистолет... молись... на колени встал... родственник сзади... Ах, Господи!.. Ну, и поделом ему!

Растолкав толпу, Федька приблизился. Как мороженное яблоко лицо, вечная слеза в щелках глаз и ноздри—две жадные пасти.

Женщина злобно смотрела на труп. А Федька рядом, тяжело дыша. И скрестились их взгляды.

— Что-й-то глядишь так?

Но тут свершилось новое для Федьки.

— Мне стыдно,—сказала, хихикнув, женщина и прикрыла высохшими коричневыми руками яму живота, куда ползли груди, как два выпотрошенных удава.

Толпа закричала:

— Просим, просим!

Женщина гикнула и засеменила ногами с закрученным штопором пальцами. Застучали костяшки. Угольки в щелках глаз. Два желтых зуба прищемили фиолетовый язык.

— О-го-го! Быстрее! Вейся!

Вьюном завертелась женщина, мочало на голове веером, брызги зеленой слюны.

Глубокая жалость к самому себе охватила Федьку и он пошел прочь, упираясь глазами в землю.

Прошлое тащилось навстречу.

Яма дворницкой, пьяный отец, пьяная мать. Ругань—канва дня, смрад—канва ночи и вечный террор порки. Благодетельница барыня, гимназия, серебряные пуговицы, филипповские пирожки с вареньем 5 копеек, праздничные мечты быстротечные, а за ними скорпионы: „дворницкий сын“, запрятанная боль и свирепый отпор. Бутылка отца—манящий яд. Из шестого класса вышибли по доносу маленьких скорпионов. И тоска, тоска—река в половодьи... Контора—бумажный застенок. Бегство. Размах полей, гипноз бесконечных дорог, случаи и

люди, города и все тоска и все бутылка... Неожиданные люди, светлые и трезвые дни, и опять затменье—хоровод: бутылка, книги, „руки вверх". Охота: сегодня я, а завтра меня, и злоба. Решетка. Февральский пожар сжег тюрьмы, но их пепел породил новые преступления. Великий октябрь, сметая все старое, изувечил Федьку по дороге...

Чернело небо Петербурга, зажигались нестройные огни, шелестели вереницы пешеходов. Долгие часы улицы, слишком долгие для тоски, и на Неве белый снег, манящий успокоением. Ночной покой—белое бескрайное, белое безысходное и одиночество, кричащее на город, и страх заброшенного на лед под заревом города.

В первую же ночь под аркой Дворцового моста после убийства Федька едва не повесился, но его спасло ощущение голода, и он убежал от черных провалов между балками. Он был рад первому прохожему, как рада бездомная собака случайному хозяину.

Злые часы ползли, как пифоны, и ранили, жглия дом, мутили полынью отчаяния.

II.

Из моря мути и яда вдруг выглянули забытые давно серые глаза, большие, ласковые. Где-то на углу у разбитого, острыми пулями революции окна магазина это случилось.

— Федор! Федор!

И на миг все недавнее провалилось сквозь землю.

В голубом просвете летняя лужайка за городом.

Массовка. Открытые лица—надежда и тайна в глазах. Свора синих нагрянула—выстрелы. В лесной глуши хруст ветвей, частое дыханье. Федор уводит Раису по тайной тропинке через болота, через золотые зайчики и изумрудные огни. Так начались ясные дни дружбы и мечтаний о далеком справедливом для всех. Волнующие споры при закрытых наглухо ставнях и смелые походы на завод и казарму. Но наскочили черные визжащие вихри, кося живые ряды. Оторванный блуждал Федор и скоро упал.

Еще завершение круга.

— Да, это я!

— Какой вы?? Какой вы...

— Договаривайте,—прошептал Федор.

— Я не знаю ничего, но мне уже больно.

— Вы так же чутки, как прежде...—сказал Федор и сейчас же с болью жестко вскрикнул:—мокрица я!

Вечером того же дня у Раисы. Простая комната, где много книг, и интеллигентная рука видна на всем. Согретый лаской и уютом сам себе дивился Федор.

Раиса сказала ему проникновенно:

— Вы должны были вернуться...

Была исповедь, мятущаяся, как серый волк в кольце белых борзых: белые, стремительные, гибкие удары и свирепый жесткий ответ, с каждым мигом краснела все больше белая волнистая шерсть и слабели мускулы серого дикого клубка.

И наконец упал волк.

Но жив волк.

— Волк будет жить, но ему наденут намордник,—сказал знающий стальные пути.

— Но где же исход?—вскрикнул Федор.—От самого себя разве уйдешь?

Раиса сжала обеими руками виски.

— Да, Федор, революция психики невозможна. Но медленно, медленно, иногда может быть огромными скачками волк превратился в собаку.

— А что же значит, когда коммунисты хотят революционизировать психику?

— Это значит отнять у волка лес и дать ему дом.

Повела Раиса Федора на завод.

И потянулись дни новые, размеренные... Циферблат часов—рамка жизни.

Говорили станки, шептали ремни из минуты в минуту одинаковое, звон металла глушил мысль. Шевелились в ночи красные щупальцы кошмарных дней, но все тише, все реже, хотелось спать, спать... И наконец сон пришел.

Это были дни человека молота.

Слитый иль спаянный, но был он живой—грудью инертного блока стали. Где-то на другом конце сидела голова и двигала стальной блок нервным шевелением, а Федор, раскрыв могучие плечи, бил и плющил, бил и плющил, бил и плющил... И он не чувствовал преград в коротком беге своих ударов. Федора лицо застыло—но ни боль, ни грусть, ни смех, ни страх, ни скука, а ровное, гладкое, в глазах дно видно, и дно чистое. Раиса это хорошая знакомая, немного похожая на наставницу, заставляет читать и думать, но это ни к чему. Улицы Петербурга,—дорога из комнаты в завод и из завода в комнату. Ночные выстрелы у железнодорожных складов—сверчок на печи. Люди—предметы, как фонари и гайки. Газеты и политика—оберточная бумага. Но шопот приводных ремней, и Раиса, и сверчок на печи, и гайки, и оберточная бумага,—ничто не проходило бесследно. Гномы труда пробрались незаметно в голову Федора и стальными молоточками и топориками наводили там порядок, пока он спал.

Так было долго.

И было бы дольше, еслиб...

Кристаллы льда часто рождаются от прикосновения нежных молекул воздуха.

Федора же ударили.

Жить было голодно, жить было мучительно. Каждый кусок хлеба люди вырывали с боем из завязавшихся в нудный клубок вездесущих очередей.

А бабы в очередях, обозлившиеся, ныли, зудили, пилили:

— Это коммунисты придумали очередь.

— Чтоб нас изморить.

— Чтобы себе брюхо набить.

А темным людишкам только того и надо было, подхватили сплетню, обмазали ее клеветой и пустили в торговый оборот по всем закоулкам и проулкам, площадям и на заводы пробрались.

Давно слышал Федор толки такие!

— Да ну их!

Но другие иначе:

— А почему в самом деле голод? Пусть-ка дают всего вдоволь!

И остановились станки на заводе, печи потухли, ядовитые белые листки посыпались, а за ними следом и мессии в пиджачках явились.

Кричали мессии исступленно:

— Главный корень зла в обмане таится.

— Прозрейте! у большевистских правителей дубинка-то царская, а речи-то голубиные, а пасти-то акульи...

— ...Зачем же дело стало? Бросай станок, валяй бить опричников.

Но тут не стерпел Федор.

— Пустите-ка меня.

И стал говорить.

Говорил он бессвязно, махал волосатыми жилистыми руками, но гномы, засевшие у него в голове, работали отчаянно, так что искры летели из-под топориков и неуклюжие слова загорались правдой.

— Нет, вы уйдите лучше с нашей дороги, да по добру, по здорову, а не то я работать хочу.

— Форсунка молчит, станок вон мой стоит, а надо, чтоб день и ночь он вертелся. Я жрать хочу! Я жить хочу! И самый крохотный винтик на моем станке дороже мне всей вашей политики.

Но закричали Федору:

— Да не твой станок, не твой...

И протянул им Федор руки свои стальные:

— А это мое?

Молчали все.

— А у вас руки ваши? А ну-ка, братцы, сплетем все руки в одну, да кулаком по затылку вот этим.

И многие увидели гигантский кулак, пробивший крышу завода, простершийся в высь до облаков.

После, когда смута на заводе кончилась, Федор повидал Раису. Вошел с новым в глазах и сказал прямо:

— Хочу теперь все знать.

— Я ждала вас.

— Значит, это должно было случиться?

— Это неизбежно, Федор.

Наступили горячие дни, и, казавшееся вчера еще безразличным, все застывшее задвигалось, открывая неожиданно волнующие формы.

Но скоро на востоке сгрудились зловещие тучи, раздулись непомерно, двигаясь к сердцу новой России. Москва кинула тревожный клич. Жребий пал Федору итти.

Закопошились сомнения, потянули назад невидные цепкие, плодящиеся как микробы. Всколыхнулась со дна осевшая было муть. И другое было врожденное, вечно сильное: страх за свое существо.

— Не могу я итти!

Другие засмеялись враждебно.

— Сплетем все руки в одну! Хи, хи!

— А кто ты такой? Рабочий ли ты?

— Шкура-то дорогая твоя, скажи!

Федор угрюмо молчал.

И Раисе пошел сказать:

— Не готов я. Видно, погани еще много во мне. Боюсь.

Как мать, тогда она ему:

— Надо заставить себя.

И Федор заставил.

Грозно и весело вились по ветру красные знамена. Нестройными рядами шагали рабочие в куцых пальтишках с винтовками кое-как. Но строги темные лица и тверды взгляды—в них решимость до дна. Плохо играли рваные музыканты, но не смеялся никто.

По разоренной стране катился поезд на восток, спешил, расталкивая всех. А на бесконечных станциях слышались темный шопот и шипенье призывавших, как бога, распухшую издохшей жабой тучу.

Лежали на тряских нарах бок-о-бок. Сосед Федора Петрас спросил его раз:

— Почему ты все скучный?

Огрызнулся Федор.

— С чего быть мне веселым?

— Ты не хочешь туда?

— Кому охота?—отозвался кто-то.—А иначе нельзя.

Наконец фронт.

Белые близко.

Ночью, выгружаясь на темной платформе, услыхали оруди выстрелы. Пели Интернационал, не видя друг друга, и высоки пел вместе. Было жутко и торжественно.

Шли колонной бодро под хвойными сводами, потом челове человеком крепко связанные. Надвигалось неизбежное: для одни нятное, для других должное, для иных чужое.

Страх летал над Федором невидной назойливой птицей, уд шей по черепу острым ядовитым клювом.

Где-то впереди в ночи или за гранью ночи лежало безобр чудовище Неизвестности.

Чужие вокруг или свои в лабиринте несметных колонн? З дившиеся ли в ночном лесу или знающие свой путь? Не лета над черепом каждого из них птица с ядовитым клювом? Может у каждого была своя яма в детстве, свой бунт бессилия и разгу лодости, свой грех зрелости, свои поздние порывы к свету и те лес дальше? Или иначе, или цельнее они?

И свое ли там было, там в ярком огне заводских печей, в лесте приводных ремней, в говоре монотонном станков и в гр руке, взметнувшейся к небу?

Неразрешимые вопросы опутали сознание Федора колючей с ной сеткой. Он не мог понять, что везде было свое: и в яме ницкой, и с Раисой, и на Загородном, и у молота, и здесь в лесу он не мог чувствовать в крадущемся шорохе людей и звяканьи ков о ветви неумолимого: нельзя не итти.

Так прошла долгая ночь.

На рассвете они лежали в цепи в березовом молодняке и ку нике. Через прорехи тумана виднелись контуры изб на синев простыне неба. Потом выскочило из-за края равнины солн медно-красными иглами пронзило верхушки березок. Откуд прилетела первая пуля, пролетела мимо тихо, игриво насвист по-змеиному.

— Вот оно!—сказал себе Федор и поглядел на соседа в латыша Петраса.

Петрас, приподнявшись слегка, голубея глазами, всматрив спокойно вдаль. Он был непроницаем для Федора.

И вдруг запели кусты. Со звоном, треском, хлюбаньем и ви злые шмели набросились на тоненькие березки. Лишь коснув листка или ветки, взрывались шмели.

Щелкали бичи смерти.

Прозрачный воздух утра ломался, как стеклянный, и звенел, пел упоенный.

Один в цепи, не выдержав вихря пуль, бросился назад, но час же скатился на траву, ужаленный на-смерть, не вскрикнув.

Бесконечность лежал Федор, лежал беспомощным червем, вившись всем телом в землю, не шевелясь и с закрытыми гла ждал в великом страхе неизвестного.

Это был огненный сон. Каждый миг впивался в сознание, к на сердце раскаленным оловом.

Но вдруг что-то властное и сильное, сильнее страха смерти, его оторвало от земли.

Петрас громко сказал:

— Вставай, трус! Ты не слышал команды?

Безотчетно повинуясь, Федор увидел сперва бурые дымки, выскакивающие из травы в двух шагах от него и дальше... меж кустов и по лугу. Дымки прыгали, дымки танцовали.

Дальше увидел других, как он, подымавшихся, согнувшись, и вдоль цепи бежал командир, ругаясь. Это было обычное, понятное, даже бодрящее, а в глазах командира—чужая непреклонная воля,—в ней может быть спасение.

И поднялась цепь.

Отчаянно ринулись вперед.

И Федор бежал. Бежал, крепко держа винтовку: нельзя было не бежать. Надо было добежать куда-то, где нет визга пуль.

Потом перевернулось все. Федор сам был страшной пулей, несущейся без сознания с хрипом в груди.

Впереди окопы и люди.

А! Это те, что держат неизвестное в своих руках.

Он и Петрас первыми вскочили в окоп.

Федор увидел руки... руки, протянутые к нему, молящие...

Лишь на миг остановился в своем отчаянном беге Федор, увидев жалкие руки, но Краснобурый, зарычав, поднялся на задние лапы. И, ослепнув, с остервенением Федор вонзил свой штык в живот человека, протянувшего к нему руки...

В этот момент что-то садануло его по голове, все тело до пят пронзив болью. Мохнатое черное надвинулось на глаза.

Наступил покой.

III.

Через день на платформе перед санитарным поездом начальник отряда обходил раненых, лежавших на носилках.

Он подошел к Федору.

Что-то шепнули ему.

— Вы, товарищ, держали себя героем вчера.

Федор молчал.

— Можете, товарищ, выздоравливать спокойно, мы отбросили белых.

Тогда Федор едва слышно прошептал бескровными губами:

— Я не хотел убивать.

Начальник снисходительно улыбнулся, а доктор сказал:

— Ему нужен абсолютный покой.

Мих. Шимкевич.

Мы.

Действующие и участвующие:

Крестьяне:

Прошка — „Над нами кверх ногами"
Трифон Паленый, член Совета
Савел, член Совета } Бедняки.

Костычиха
Аграфена } Солдатки.

Марья, жена Прошки.

Кирсан Добросовестный, член Совета
Кирилл Трофимыч, член Совета
Выгода, член Совета
Яков Кольцов, член Совета
Семен Часовня } Середняки.

Агафон—Бычьи губы, предс. Совета
Бегом Богатый, член Совета
Климентий Назарыч } Кулаки.

Поп.
Дьякон.
Псаломщик.
Крутояров—помещик.
Десятник.

Рабочие и мастеровые:

Илюшка Капустин
Федор Вихров } Молотобойцы.

Платоныч
Красивый
Кузьмич } Рабочие.

Степан Ерофеич
Иван Оловяной } Мастера.

Работницы:

Ольга.
Старуха.
Машка Белуга, жена Оловяного.

Подростки:

Пашка Рябой—сапожный подмастерье.

Курун
Андрюшка Горбыль } Ученики.

Раненый.

Слѣбодские обыватели:

Домовладелец.
Задуй-Заплюй, инвалид труда.
Адя-Бадя, нищий.
Прошка, дезертир.
Аксинья.
Дарья, жена Красивого.

Деревенские мужики, бабы и ребятишки. Рабочие и работницы. Красноармейцы разных национальностей. Офицеры и солдаты неприятельской армии. Санитары. Граждане.

КАРТИНА ПЕРВАЯ.

Сельская улица концом упирается в речку. Справа — пицо новой большой избы с крыльцом, вывеска «Лопуховский сельский Совет». Под окнами рыдван без колес, большие запакованные ящики, бревна.

Гуторят с десяток мужиков.

Семен. Вот и машины. А то машины, машины...

Трифон. Балабонили, как за язык повешены.

Агафон (из окна десяткому). Лупан, бей другорядь. Ровно задавило чертей.

Десятский бьет в чугунную доску. Не торопясь, по одному и кучками сходятся мужики, здоровкаются.

Семен. За деньги иль как?..

Савел. Купил ба село, да денег-то голо.

Аграфена. Болезна... Все мается Марфутка-то?

Костычиха. Какое—скоронила вчера.

Выгода. Не велик убыток. От парнишки какая ни на есть выгода, девка што...

Семен. Лишний рот—всего в ей и мозгу...

Костычиха. Все одно жалко... Каждо дите — нашего бабьего сердца кусок... Вам, мужикам, того не понять.

Аграфена. Попробуйте породите—узнаете...

Семен. Кто-кто, а Костычиха тужить не будет, еще народит—молодая...

Костычиха. Нет уж. Родила, родила, да и чадило выбросила чорту на кадило. Будя.

Голоса: Скоро, што ли?..
Начинать пора...
Коего лешего!..

Агафон (из окна). Счас, счас—за писарем услал...

Костычиха. За отпеванье поп не берет деньгами. „Хлеба, слышь, давай". Отнесла останный коровай...

Выгода. Как хочешь, так и клохчешь...

Костычиха. А работник попов Митрошка увидал утрось меня на речке да и говорит: „Хлеб-от твой поп поросенку выкинул"...

Аграфена. А-а, пес! Зажрался...

Савел. Хотела угодить Богу, да угодила краюшкой-то поповскому поросенку в корыто...

Из Совета на крыльцо выходит Агафон.

Агафон. Ну, граждане, крестьяне, товарищи, приступим...

Голоса: Вали, вали!..
Выкладывай!..
Послушам!..

Агафон. Из волости стало быть отношение, тоись нащет хлебной и мясной разверстки...

Голоса: Эх-хе-хе!..
Опять за то же!..
Припасли, наработали!..
Сукины дети, дармоеды!..
С мужика дери три шкуры—обрастет!..

Агафон. С тридцатки по шешнадцать пудов, а со всего общества, стало быть, восемь тыщ...

Голоса: По шешнадцать!.. Не мыслино...
Мужики, хлеб—от чего ноне был...
От колосу до колосу не слыхать голосу...
В долах сопрел, на огорках выгорел...
У меня сам-сам дай Бог...
Опять и обмолот неправильный...
Разбой!..
Не дадим, да и все тут!..
Согласу нашего нет...
Так и писать приговор от общества...
Нет нашего на то согласу и—шабаш...

Агафон. Разобраться надо как и што...

Голоса: И разбираться нечего...
Слыхали. Нам дают чего?
Соли, дегтю, гвоздей!..
Согласу нашего нет...

Савел. Жметесь, жалко... А раньше господ кормили—не считали...

Голоса: Голова, последнее выгребают!..
Нече сухое сено ворошить...
Вы по себе, мы по себе...
Брали-брали!..
Хлеб-от он раз в год родится...

Костычиха. А самогонку пошто глохтите?..

Яков. Это ты оставь—самим животы подвело...

Климентий Назарыч. В амбарах мыши с голоду дохнут...

Выгода. Всех кормить—никакой выгоды нет.

Яков. Много их тут понаберется жрать-то... Пусть передохнут кои, на всех и земля родить не поспеет.

Аграфена. Вон, Климентий жеребца мукой кормит...

Климентий Назарыч. Шкура, на чужой стог вилами не показывай. Свое наживи...

Трифон. Наживать нам было неколи... Мы за вас страдали, кровь лили.

Костычиха. У меня самого семой год нет, сгиб.

Солдатки: Что им рыланам!..
У нас почесть ни у кого мужиков в дому нет!..
Куда не повернись—одна...
В мызг уездились...
Без разгибу, без отверту...
Ай в них душа, а в нас ветер...

Агафон. Бабы, прекратите прения—заткните глотки!..

Прошка. Д-да.. Пришей кобыле хвост!

Климентий Назарыч (солдаткам). Вам хошь масло лей на голову, все будете говорить деготь... Свиньи некультурные!

Савел. Вы же сами понимаете, на кого идет ваш хлеб.

Голоса: Обувай собаку в лапти!..
Погодьте, отрыгнется вам мужичий хлеб!..
Нет нашего согласу.
Выходит дело борона...

Агафон. Как-жин, граждане, в хлебе отказываем, что ль?.. Стало быть, резолюция нужна...

Голоса: Никакой ризалюции не надо.
Ни дадим и—шабаш!
За нее, за лизарюцию-то... н-да...
Сено есть так козы...
А ежели отряд?
В колья возьмем...
Такое дело: иль сена клок, иль в бок.
Никого не боимся, пока козел ногой не топнет.

Солдатки: Когда-нибудь нахапаетесь...
Врете, отдадите да и с нами поделитесь...
Повытрясут из вас пыль-то...
Подпорят шкуры...

Агафон. Бабы, без преньев!

Прошка (Климентию). Ты сколько огреб! Пятнадцать тридцаток. И помалкивай в тряпочку.

Климентий Назарыч. В своем гашнике блох считай. Пятнадцать... Что ж такого, один не съем.

Костычиха. Съесть-не съешь, да за свой хлеб норовишь всю деревню купить.

Солдатки: Почем ноне хлеб-от?
Какие наши добытки...
Ты хлеб ешь, а он тебя...
Ишь и рыло в сторону воротит...
Ему и речь твоя противна, как нищему гривна...

Прошка. Им революция, нет—ништо.

Бегом Богатый. Какой ты, Прошка, человек!.. Ни кола у тебя, ни двора, а туда же: ле-во-рю-ция! Э-э, дурья башка, и совсем это тебе не к лицу...

Трифон. Прошу слова.

Голоса. Будя, слыхали.
Не на дураков напал.
Уши прожужжали... Дегтю бы нам, да одежи.

Савел. Поносите Советскую власть: то нехорошо, другое негоже, а кто нас образил, людьми сделал. Кто дал землю, права?!

Агафон. Не об этом. Об хлебе надо говорить.

Голоса: Ишь, анахема, куды гнет!
Земля... Что земля!..
Слабода, га!
Зёмля, земля!
Треплет языком, что овца хвостом!

Агафон. Угодно ли собранию, стало быть, выслушивать оратора?

Голоса: Долой!..
Наслушались, блевать тянет!..
Об деле надо!..

Савел. Скотина, хлеб—все наживное.

Голоса: Как жа, свет в окошки.
Вилами по воде.
Ежли разобратьси...
Наше дело потрафлять.
Не дошагнешь—плохо, перешагнешь—плохо.

Трифон. Добром не хотите, бить вас будут, а хлеб все-таки возьмут.

Прошка. Чихать смешаетесь.

Савел. Граждане!

Голоса: Бить!..
Уж не вы ли кой грех?
За то, что кормим вас..
Не бить нас надо дураков, а убивать...

Трифон. Надо будет, так и мы побьем, по-свойски, по-родновски.

Прошка. Спуску не дадим.

Савел. Граждане!..

Голоса. Ах, так!..

Скачут на двух телегах Кирсан Добросовестный и Кирилл Трофимыч.

Кирилл Трофимыч. Беда, мужики!

Голоса: А што?..
Аль не ладно?..
Какие такие дела?..

Кирсан. Ды к што ж... Ездили мы, значит, в город...

Кирилл Трофимыч. Верно, ездили...

Кирсан. Все увозят оттель, комиссары бегут... Выковыриваются, значит...

Кирилл Трофимыч. Через Суходол, слышь, белы прут, с союзниками, с машинами с эдакими...

Голоса. О-о-о, брат!
Ага!
Помоги им царица небесная!

Яков. Опять мобилизации пойдут.

Семен. Красны с белыми дерутся—серого по шее бьют...

Кирилл Трофимыч. Машины, гыт, никакая сила, ни што не держит: ни леса, ни горы. Наскрозь так и идут, так и косют.

Агафон. Похоже сюда гнут, денька через два, гляди, нагрянут.

Голоса: А можа и раньше.
Знамо раньше.
С машинами-то само собой раньше.
Оно упять-таки ежли рассудить...
Чижельше не будет.

Трофим. Рано закаркали... Отряд надо сбирать.

Савел. Товарищи!..

Голоса: Опоздали, други милые!..
Будя, поизмывались!
Камуния!!.

Кирилл Трофимыч. Мужики, счас в горсть плачем, не заплакать бы нам в пригоршню?!.

Гвалт.

Занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ.

За занавесом радостный и торжественный колокольный звон. Хор сильных голосов горланит:

Тебе, Бога, хвалим,
Тебе, Господа, исповедуем,
Тебе, предвечного Отца, вся земля величает,
Тебе вси ангели,
Тебе небеса и вся силы,
Тебе херувими и серафими непристанными гласы взывают,
Свят! свят! свят Господь Бог Саваоф,
Полны суть небеса и земля величества славы твоея!..

Занавес поднимается.

Та же сельская улица. Во главе шествия двигается кучка празднично разодетых кулаков и кулачишек с блаженно-умиленными сияющими рожами. Несут хоругви, хлеб-соль и царский портрет. За ними по пятам поп с дьячком и псаломщиком «в полной упряжке». Толпа. Полковник со свитой и офицер верхами во главе казачьей сотни.

Тебе преславный апостольский лик,
Тебе пророческое хвалебное число,
Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство,
Тебе по всей вселенной исповедует святая церковь...

Подъехав, полковник слезает с коня и подходит под благословление.

Поп. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Офицер. Сотня, стой! Вольно!

Поп. Велика премудрость Божия... Послал наказание за великие грехи наши, а теперь, видя смирение, шлет избавление.

Полковник. Н-да...

Поп (идет по рядам казаков и кропит «святой» водой). Да будет благодать Божья на вас, дети мои!

Кирсан. Айда-ка, сват, — без нас обойдется.

Кирилл Трофимыч. И то правда.

Оба уходят.

Агафон (подносит хлеб-соль). Ваш снясь, как мы и как стало быть вся анперия.

Полковник. Ага. (Казаку.) Возьми.

Казак. Рад ста ва-ва-ва-сто.

Полковник. Коммунисты есть?

Агафон. Дозвольте ва-ваше доложить...

Полковник. Ты кто?

Агафон. Приседатель Со-совета.

Полковник (свите). Полсотни горячих!

Казак и черкес. Рады ста ва-ва-ва.

Агафон. Дозвольте слово.

Черкес. Малчэ, сабака!

Агафона уводят.

Поп. Согрешишь с ними истинно... А насчет коммунистов н извольте беспокоиться.

Полковник. Д-да.

Поп. Были у нас тут три разбойника. Один убежал, а двоих.

Климентий Назарыч. В холодной сидят.

Полковник. Привести.

Выгода. Э-э-э, х-харашо-с, приставим.

Убегает.

Полковник (офицеру). На Торбино и Репьевку выслать разведку Выставить караулы. Много не пить. Поняли?

Офицер. Слушаю-с.

Полковник. Ступайте. Н-да.

Офицер. Сотня, смирно! Лев плеч, вперед, кругом арш!

Удаляются.

Полковник. Ф-фу, жарко. Квасу!

Голоса: Сее минуту.
Со всей нашей радостью.

Несколько человек шарахаются в стороны потом возвращаются. За квасом бежит Яко Кольцов.

Поп. Может, ко мне чайку откушать зайдете?

Полковник. После.

Поп. Как угодно-с... Молебен прикажете?

Полковник. После.

Поп. Ваша воля.

Поп, дьякон и псаломщик уходят. Хоругви царский портрет уносят. Возвращаются казак черкес.

Негромкие голоса: Строгий...
И хвост трубой...
За то ждали...
Шутить не любит...
Одно слово: енерал...

Полковник. Жарко... Подать стол и стул!

Климентий Назарыч. Микешка! Серега!

Трое скрываются в Совет. Нерешительно п- додвигаются бабы, скачут ребятишки. Из Совета выносят стол, скамейку, стулья. Ставят в х-лодке, под окнами.

Климентий Назарыч (картузом угодливо трет скамейку). Присядьте, высковблародие.

Аграфена (бросается полковнику в ноги). Кормилец! Батюш... Шестеро мал меньша. Муж на войне сгинул.

Голоса: Гляи, гляи...
Безбоязна. .
Ох-ох-ох-о...

Полковник. Тебе чего, баба?

Аграфена. Хлебца. Ребятишек пожалей.

Полковник. Не торгую. Ха-ха. Проваливай.

Аграфена. Мал меньша... Крупельны...

Казак (стегает плетью). Слушай приказу!

Голоса: Ай, родимые!
У-у, аспид, креста на те нет...
Распустил чуб-от...

Казак и черкес. Бабы, проваливай, без рассужденьев! Убирайся!

Бабы и ребятишки отступают. Яков Кольцов приносит квас в большом блюде.

Полковник. Почему мутный?

Яков. Не сумлевайтесь, блюдо из-под святой воды.

Голоса: Вот тык вот!..
Медалей-то скока...
Сумей и ты заслужи...
Пуговицы-то как сверькают...
А усы-то, усы-то, девоньки...

Полковник. Как живете, мужички?

Голоса: Живем—онучки жуем...
Не жись, маята одна...
Ох, не молвить...
Поддосок нет, дегтю, соли...
Коммунисты сказать...
Мы, гыт, голодны...
Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть...
Как можно...
С нашими народами...
Иконы в училище...
Ежли впрямь...
Озорство одно...

Полковник. Жидовский гвалт. Ежли что—молчать! Без крику. Подавайте заявления. По форме. Да.

Голоса: Тащут...
Га, га, га!...
Милачки!..

По улице ведут избитых и связанных Прошку и Савела. За ними ревущая Марья с грудным ребенком, за юбку цепляются плачущие детишки. Возвращается поп, одетый по-домашнему.

Голоса: А-а!..
Всю деревню задавили...
Всем орудывали...
Грабители!..
Со свету сживали...

Бабы: Болезные... Как их издудыркали...
Примут горя гореваньица...
Не бай, девка...
Мужики-то как остервенели...
Марья-то, Марья-то...

Голоса: Убить их и—концы в воду...
Короткий разговор...
Давно пора...

Полковник. Это и есть коммунисты?

Голоса: Они самые...
Убить их...

Поп. Истинные дьяволы во образе человеков.

Полковник (Прохору). Имя, фамилье!..

Прошка. Ваша милость, простите.

Полковник. Имя, фамилье!..

Прошка. Прохор Копейкин.

Марья. Яви божеску милость... Сдуру он. Заставь Бога молить

Полковник. Какими делами занимаешься?

Прошка. Крестьянством.

Голоса: Грабежом, а не крестьянством.
Кровопивцы—голоштанники.

Марья. Будь отцом родным, прости... По дурости он, не со зла

Полковник (Марье). Сопли не распускать. Уходи.

Марья. Люди его самустили... О-о-о!

Казак. Слушай приказу. Провались, пока цела.

Полковник (на Прошку). Как и что и по какой причине... Докладывайте.

Голоса: Я... У меня...
Мать перемать...
Годи: пусть Климентий скажет...
Ну-ну...
Начисто надо...
Писаря бы скликать на час...

Климентий Назарыч. Был у меня хлеб, пудов дваста...

Голоса: Был, был—всякий скажет...
Мою корову-то схряпали, расскажи...
За Антипку слово замолай...
Как-жин так, а я-то...
Стой, Тишка, глотку не дери...
Дай сказать человеку...

Климентий Назарыч. Нагрянули они, выгребли до скретинки, да на меня же контрибуцию, да меня же в прорубь макать.

Голоса: Разя закон...
А моя корова!
Чего с него возьмешь—горсть волос...

Прошка. Винюсь, ваше благородие... Спустите на первой...

Марья. Пискуны-то, отец, что я с ними буду делать?

Прошка. Семья с голоду.

Голоса: Свой хлеб-от продавали, а наш жрали...
А теперь чего гнет...
Попал волк в собачий полк—лаять не лай, а хвостом виляй...

Полковник. Выпороть и повесить!

Казак и черкес. Рады стараться, ва-ва-ва.

Марья. Ваше благо-о-о-оооо...

Прошка. Старики, прошу прощения... Призрите семью.

Прошку уводят. Марья с ребятишками за ним. В толпе баб всхлипывания.

Полковник (Савелу). Ну?

Голоса: Тоже собака...
З одного коленкору...
Давно об нем веревка плачет...

Савел. Вольно брехать—ваша сила.

Полковник. К-ха. Мерзавец, подбери брюхо.

Савел. Нече мудровать, убивайте скорее.

Полковник. Как стоишь, скотина! Р-раскорячился!

Голоса: Это, ваше благородие, главарь по всей округе.
За матку ходил...
Коновод...

Полковник. В чем виноват, суконное рыло?

Савел. Вся моя вина в том, что бедняк я и за бедноту всегда грудью стою.

Полковник. Пад-лец!

Поп. Скотина безрогая... Ему хоть плюй в глаза, ваше степенство, утрется—„Божья роса".

Полковник. Народ грабил по своей воле или по приказу?

Савел. По приказу пустого брюха.

Голоса: Он свое гнет.
Черного кобеля не вымоешь до-бела.
Жулики, сукины дети...

Поп (Савелу). Вы бедняки зеваете: „Мало да мало"... А того не разумеете, что кто праведен да Богу угоден, тот съест хлебца кусочек, выпьет водицы глоточек и сыт бывает и не ропщет...

Голоса: Вот как по-писаному...
Бога забыли...
Погрязли, можно сказать...
Э-хе-хе...

Поп. Кто жаден да завистлив, тот бочку воды выпивает, за-раз быка съедает, а сыт не бывает... Почему такое?

Савел. Брось, батек, в лапоть звонить—на то колокола есть.

Возвращаются казак и черкес.

Казак. Так что готово, ва-ва-ство.

Полковник (бормочет). Дегенерат. Полная атрофия религиозного и нравственного чувства. Явные признаки вырождения.

Голоса: Вишь, богохульник...
Лубочны зенки...
Ни страха в нем, ни стыда...

Полковник. Выпороть и повесить!

Савел. У-у-у, гады!

Савела уводят.

Полковник. Еще кто?

Голоса: Окромя, кажись, не объявлялось.
Ды-к обнакновенно у нас...

Полковник. Не два же человека всю деревню оседлали...

Голоса: Ежли разобраться...
Быть знамо были...
Гришка Осьмушкин...
Антон Рыжий...
Антон што, вот Алешка, тот пес.
Кум?! Ни-ни, воды не замутит...

Полковник. Всех сюда. Для допросу. Буду справедлив. Пусть не боятся.

Голоса: Они, вашество, не коммунисты.
В Совет выбирало общество.
Люди ничего.

Полковник. Разберу. Живо!

Часть мужиков уходит. Другие попятились, совещаются. Поп с ними. Полковник один.

Полковник. Подлецы! Холуи! Мерзавцы! Свиньи! Мужланы! Прохвосты! Канальи! Вахлаки! Хамы! Остолопы!..

Возвращается казак.

Казак. Готово, ваше ва-ва-ва.

Полковник. Повесили?

Казак. Так точно, ваше ва-ва-ва. Выпороли, повесили и выбросили на навозные кучи.

Полковник. Молодцы!

Казак. Рады стараться, ва-а-а-ааа!

Полковник. Хм! Успел выпить?

Казак. Для храбрости, ваше ва-ва-ва...

Полковник (тихо). Э-эм... На ночь приведи ко мне девку.

Казак. Слушаюсь.

Полковник. Талья и формы... Чтобы все на своем месте. Понимаешь?

Казак. Так точно, ваш-во, очень даже понимаю: живой я человек.

Полковник (подходит к мужикам). Помещики у вас были?

Голоса: Как не быть...
Нестер Палыч Крутояров...
На колокол пожертвовал...
Пекся об нас, благодетель...

Полковник. Н-ну!

Выгода (указывает за деревню). Вон в энтом лесочке ихняя усадьба стояла.

Полковник. Где же ваш Крутояров?

Климентий Назарыч. Раскуделили... Известно—темный народ.

Поп. Своей пользы не разумели.

Семен. Сам убежал. Семью перебили, а управляющего повесили в том самом лесочке.

Выгода. Усадьбу сожгли. Добро растащили, нитки не оставили.

Бегом Богатый. Шутка сказать: восемь деревень громить ходили, скопом.

Полковник. Вы тоже громили?

Климентий Назарыч. Что вы, ваше степенство.

Яков. От нашего общества почесть и не ходил никто.

Бегом Богатый. Оно из голытьбы-то и шлялись которые, да мы за них не ответчики.

Семен. Лежебоки, штоб их громом расшибло!

Полковник. Ну, а вы? А?

Голоса: Што вы, ваше величество...
Слава те Господи... свово добра за глаза...
Нас, вашество, самих обграбили...
В раззор разорили...

Костычиха (полковнику). Горланы-то те, родимый, очки втирают.

Полковник. А? Как?

Голоса: Поклепы возводишь...
За такое и под суд можно...
Втемяшилось, окстись...
Известно баба... Нече е слухать...

Полковник. Мол-чать! (Костычихе). Что?

Костычиха. Все хапали, а эти храпоидолы многолошадники так больше всех.

Голоса: Заткни хайло!
Она у нас, ваше блао-родие, из таковских...
С дурцой...

Полковник. Да!..

Костычиха. И скотину и все добро господское по жребию делили.

Бегом Богатый. Митяй, дай ей, суке, по загривку.

Костычиха. У дяди Клементия меренок-то гнедой чей? Помещика Крутоярова... (Вытоде.) У тебя бычок-от чей? Тоже Крутоярова. (Бегом Богатому.) А тебя, старый чорт, сноха в чьем паплиновом платье форсит...

По улице на тройке катит Крутояров. С ним вооруженная стража.

Голоса: Сам...
От на грех нелегкая несет...
Эх, держись православные...

Некоторые сперва сдергивают шапки, потом разбегаются.

Полковник. Смирно, грабители. Куда... Тревогу!..

Крутояров. Честь имею представиться — Нестер Павлович Крутояров, местный помещик и дворянин.

Полковник. Очень, очень приятно.

Трубач играет тревогу. Вылетают казаки.

Занавес.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.

Кузнечный цех. Работа в разгаре. Пышут горны, ляпают стопудовые молоты. Дю-[illegible] кувалды. Перекликаются ручники. Из-под крыши свешиваются хоботы кранов. Бойкая и веселая суета.

У ближнего горна шестеро: Илюшка Вихров, Платоныч, Красивый, Степан Ерофеич и Иван.

Илюшка. Ге! Дуй! Грей! Давай углей!

Платоныч (подает). Бей, не робей!

Илюшка со Степаном Ерофеичем куют. Платоныч держит нагрев. Красивый подправляет. Иван и Вихров покуривают в стороне: смена. Остывший кусок Платоныч сует в горн.

Степан Ерофеич. Раскатился что-то наш Илюха. Не к добру...

Платоныч. Чадо.

Иван. Гвоздь малый.

Степан Ерофеич. Женить нам его надо, — вишь ржет, как жеребец стоялый.

Илюшка. Гляди, старик, железо не перегревай, губы не развешивай, вари-давай. Ударю для смеху!

Платоныч (подает). Ори! Ай к спеху?

Куют.

Иван. Поешь ты, парень, складно. Да годи — белые ужо придут, они вас всех прихватят...

Степан Ерофеич. Ладно! Хватит!

Доковали. Иван и Вихров сменяют Степана Ерофеича и Илюшку.

Платоныч. Вчера, чу, заняли Свешной.

Степан Ерофеич. Один конец... Нам все равно.

Красивый. А Советская власть? А профсоюзы? . .

Иван. Ботай языком по пустому пузу... Революция надоела всем давно.

Платоныч. У них, слышь, иропланы да танки.

Иван. Мать ее так! А это что за жизня—хуже жестянки.

Илюшка. Бросьте гавкать, сучьи ваши рты. Все уши прожужжали.

Платоныч. Что те взорвало? Попала под хвост вожжа ли, али оса ужалила?

Иван. Тоже: равенство... Воля...

Степан Ерофеич. Нам бы хлеба поболе.

Красивый. Знач, продаете свободу за кашу да за щи?

Вихров. Чего там... Хамкай, не хамкай, и придут, так не будет слаще. Вот поглядь...

Степан Ерофеич. Чаще! Жамкни! Погладь.

Ольга и старуха вносят железную полосу и бросают у стены.

Иван. Тетенька, пролила. Миленька, просыпала!

Старуха оглядывается под ноги. Кузнецы гогочут.

Старуха. У-у, дьяволы... Углей, что ль, обожрались?

Платоныч. Всяко б射ват, и у девки муж умират, а у вдовы жив остается.

Илюшка. Ну, Ольгунька, ходи поживее, гляди веселее, нос кверху, грудь вперед!

Старуха. Айда, чего с ними!

Илюшка. Приходи в обед—дело есть.

Ольга. Ладно.

Старуха и Ольга уходят.

Платоныч (сует Вихрову кулак в бок). Белые придут, так тебя первого повесят.

Вихров. Уйди к чорту! Дам вот в рыло.

Иван. Бей без отверту, пока не остыло.

Красивый (Платонычу). А тебе разя праздник?..

Платоныч. Она, слабода-то, кому мед, а кому—горька редька.

Доковали.

Вихров. Х-хух... В глазах темно... Чортова наша работа... В глотке спеклось, ссохлось... Ну, ни вздохнуть тебе, ни охнуть.

Иван. Бойся — руки отсохнут, брось, не работай, припала забота. С работы-то лошади дохнут.

Вихров. То ли у нас в деревне. Как вспомню да подумаю — теперь сенокос, я чай, а тут знай кувалдой...

Красивый. Балда.

Вихров. Знай кувалдой маши...

Илюшка. Машины надо выдумывать: полегчает.

Иван. Наше ли дело думать: на то есть ученые.

Красивый. А у нас головы из олова, что ль, то ль карчаги глиняные?..

Илюшка. Кому и выдумывать, как не нам? Об своем-то деле почище всякого ученого имеем понятие.

Гудок.

Степан Ерофеич. Шабаш. Кто за обедом?
Платоныч. Федькин черед.

Вихров, схватив бак, убегает. Остальные умываются и рассаживаются.

Илюшка (выводит углем на стене: „Каша", „Соха"). Гляди!
Платоныч. Чо?
Степан Ерофеич (читает). Каша. Соха.
Илюшка. А-ха-ха-ха...

Входит Ольга.

Степан Ерофеич. Чорт, да ты никак писать выучился?
Илюшка. Просвещаемся. (На Ольгу.) Вместе в школу грамотности ходим.
Платоныч. Куда годишься?
Ольга (Илюшке). Я и Анку смутила, тоже записалась.
Илюшка. Скоро всех силком учить станут.
Красивый. Это не плохо.
Степан Ерофеич. Чох-мох.
Иван. Никогда такого тесненья не было на нашего брата, на рабочего. Ну, там на щет хлеба ли и на щет всего иного прочего.
Красивый. Мы-ста, да мы рабочие. А давно ли ты рабочим стал? До войны трактир держал, и прикусил бы язык покороче.
Иван. И совсем не твое это дело.
Ольга (Илюшке). Вчера брательника на фронт угнали... О-хо-хо. Что-то теперь будет!
Илюшка. Ничего не будет. Белых сюда не допустят.
Красивый (Платонычу). Погоди, старик, и тебя в училищу потащут. Кольцо в губу, на цепь и джа-джа дживала... Ха-ха-ха.
Платоныч. И без ученья век-от прожил, да слава тебе, господи, сыт был.
Красивый. А таких упрямых в салотопенных котлах будут вываривать.
Ольга (Илюшке). У Сашки Атаманьчика вечерка нынче. Пойдешь?
Илюшка. А ну их. Опять пляска будет, драка. Надоело. Поедем лучше на лодке покатаемся иль в биескоп сходим.
Степан Ерофеич (подходит к ним). О аз, о буки, о престрашные веди... (Читает.) Собака лает. Корова мычит.
Платоныч. Не ученье это, а баловство одно. Всякий дурак знает, что собака не мычит, а корова не лает.

Вихров приносит обед. Садятся.

Илюшка. Садись с нами.
Ольга. Спасибо, побегу, заждались, должно.
Платоныч. Ну, выученики, когда же меня, старика, на свадьбу позовете! Уж, чай, поди спетажились.
Ольга. Ха-ха... Что ты, дедушка? Ни сном, ни духом.
Платоныч. А-а-а, сорока, сорока... Ни сном, ни духом.
Илюшка. Да уж погуляем... Куда кривая не чупрыснет.

Ольга со смехом убегает.

Илюшка (за ней). Погоди.
Платоныч. Пятки мнет... Огонь парень, хоть и с дурью.
Иван. Опять вода с водой... С чего тут силе быть?
Вихров. Хворыздай знай.

Платоныч (Илюшке). Садись, алхимандрит, все выхлебали.

Илюшка. Не будь Советской власти, кто бы нас, чертей чумазых, учить стал?

Степан Ерофеич. Учут в обруч прыгать, да по три дня не жрамши быть.

Илюшка. Где же взять? Разруха.

Красивый. Только бы проложить дорожку: все исправится понемножку.

Иван. Исправится из кулька в рогожку.

Илюшка. Чего разгалделись, как галки? Али соскучились об хозяйской палке?

Вихров. Нече в ступе воду толчи. Нашел—молчи и потерял—молчи.

Илюшка. Теперь тому подперло под само некуды, кто, скажем, раньше жил богато, кто владел и серебром и златом, кто наши крохи греб лопатой. А мы всегда дышали в однодышку, как рыба на кукане, всегда бывало пыль одна в кармане, а все добытки шли купцу в кубышку.

Красивый. Брось, Илька, их не просветишь!..

Степан Ерофеич. Слов нет, до хорошего дожили.

Иван. Хлеб-то: опилки с пылью.

Подходит Кузьмич.

Кузьмич. Вы все ругаетесь, ровно наследство делите.

Красивый. Да вон у трактирщика с нашего пролетарского хлеба брюхо лупится.

Кузьмич. Он эдакий-то спорее: укусишь на копейку—разжуешь на рубь.

Илюшка. Нам голодать не привыкать стать... Перетерпим, передышим...

Вбегают вооруженные матрос, красноармеец и Кустодеев—рабочий этого завода.

Матрос. Товарищи, в город ворвались белые.

Красноармеец. Мы отступили, сила не берет.

Весь цех сбегается.

Голоса: Не под масть...
Домой надо бежать...
Чего тут?..
Того гляди...

Матрос. Как же, братишки, стоять надо. Они... в бога, в божемят, в кровь, в сердце, в святых угодников...

Кустодеев. Иха власть несет нам штык, нагайку и виселицу...

Голоса: Чего глядеть?..
Хорошего не жди...
Бородку притачивают...

Красноармеец. Баряжки криками радости встречали белых, цветами засыпали... А в лужи нашей крови плевали и приговаривали „Собачья кровь“...

Кустодеев (Илюшке). Мы побежим по цехам. Действуй тут.

Кустодеев, матрос, красноармеец убегают. Вбегают рабочие, работницы, среди которых Ольга и Машка Белуга.

Машка Белуга (мужу). Айда домой... чорт их тут разберет!
Илюшка (сбрасывая фартук). Идем, ребята, схлестнемся...
Голоса: Прыток больно...
Молодечество выказывает...
Всю обедню испортили...
Хуже не будет...
Мать...
То-то...
Не хуже мы людей...
Стыд, страм...
Вишь моду взяли...
Пьянствуют да воруют...
За них голову подставляй...
Красивый. Не за них. Сами за себя, за рабочую революцию.
Ольга. Илюша, береги себя.
Илюшка. О-о. Меня не возьмет ни дробь, ни пуля.
Ольга. И я с тобой.
Илюшка. Ну-у! Молодчина!
Голоса: Мы голодны, раздеты, разуты...
Ежли вам надо—идите...
Да на шею толще наверните...
На кой здались...
Дураков поищите...
Хватайте, в чекушку тащите...
Под ноги мните. Рвите...
Давите. Топчите...
Убей—не пойдем ни за что на свете...
С голоду мрут наши дети...
Поиздевались—будет...
Мы тоже люди ..
Мы совсем обессилили...
Будь, что будет...
Не обуть, не одеть...
А дети, дети...
Эти хитрости да мотки навязли в зубах.
Ни штанов, ни рубах...
Руки коротки...
Ребя, чего же мы ждем?..
Идем. Идем...
Не хлынет с неба счастье дождем.
Идем, айда, идем...
Илюшка. Они заняли город. Они идут сюда...
Голоса. Они идут сюда...
Илюшка. Чтобы нашей рабочей кровью залить улицы, чтобы вновь закабалить нас и детей наших.
Голоса: Да, да...
Расписывай по собаке картинку...
Сыты были...
Сыты ли?
И свиньи сыты, да!

Тревожно и беспрерывно ревут гудки, заводские и пароходные.

Красивый. Трусость никого не спасет... Нас может спасти только победа.

Голоса: Ежли да всем, да грянуть дружно...
Подвертывай туже...
Больно нам нужно...
Где мы возьмем оружье?
К оружью!
Товарищи, к оружью!

Илюшка. Должны свое сказать мы „да"—„нет" ли.

Голоса: Знамо нече путать петли.
Да...
Нет...
Созвать бы нам заводский комитет...
Семья, детишки, вот кабы...

Кузьмич. Мы больше не рабы—вот наш ответ.

Рев гудков постепенно усиливается.

Илюшка. Ребята! Кто духовой! Удалой! Боевой! Вы-хо-ди-и! (В сторону саботирующих и колеблющихся.) Их не слушай! На них, на... не гляди! Выходи! Там на баррикадах мы решим: чей мир...

Кузьмич. Смелость города берет.

Илюшка (потрясая красным стягом). Клянемся святым красным знаменем, ни шагу назад! Только вперед!

Большинство рабочих в энтузиазме что-то кричат, жестикулируют. Гудки заглушают все голоса. Кидаются к выходу.

Занавес.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Слободка. Перекресток двух улиц.

Судачат обыватели.

Домовладелец (бежит). Слава те, Царица Небесная... Матушка Заступница... Идут.

Голоса: Ай пра?
Отколь ты как нахлыстанный?
Говори путем...
Сподобились, голуби мои, дождались...
Сон мне надысь, куманька... Быдто летит это змей огленный!

Домовладелец. В городе-то, на Дворянской-то, и-и-и...

Голоса: А што?
Митрь Митрич, как те Бог спас?
Ну-ну...

Домовладелец (убегая). И-и, Царица Небесная, Заступница, Богородица, Троеручица...

Адя-Бадя. За гриву лошадь не удержали—за хвост не удержат.

Задуй-Заплюй. Наше дело телячье—поели и в хлев.

Аксинья. Вокзал, грят, сгорел, званья ня сталось.

Дарья. Батюшки. А у меня деверь в депе!..

Адя-Бадя. Архирейский дом, сказывают, провалился. Быть беде

Аксинья. Утрысь все в собор анафемы пуляли.

Прошка. Да уж скорее бы, как ни-как...

Дарья. Ты все в дезертирах состоишь. Моли Бога, кадеты придут, какое ни на то, а облегченье будет.

Задуй-Заплюй. Можа казенки откроют?
Аксинья. Кто про што, а шелудивый про баню.
Прошка. Жди от кошек лепешек, от собак пирогов.
Адя-Бадя. Все по ветру пустят, быть беде.
Голоса: Резать будут.
Воды бы запасти.
Горький час пришел.
Наказанье Господне.
На душе-то и боязно, и радостно.
Задуй-Заплюй. Хлеб-от почем ноне стал, и все, чего ни коснись...

По улице несутся Пашка Рябой, Курун и Андрюшка Горбыль.

Пашка. Хлещиха в погребе задохнулась.
Голоса: Угораздило...
Чорт с ней...
У меня на ней капусты полведра...
Прошка. Откроет хозяин магазин—опять прикащиком буду.
Задуй-Заплюй. Самый клей... прикащик гривну хозяину в ящик, полтинник за голянищу. Это дело не в пример лучше войны.
Пашка (Куруну). Ну пойдешь, говори?..
Курун. Я—я...
Андрюшка. Я—я... лежачей корове на хвост наступил...
Курун. Там стреляют, боюсь...
Пашка. Эх, баба.
Андрюшка. Белого пришьем, шпаллер и сармак себе.
Пашка. Оденемся. А сапожки достанем со скрипом, мягки—но: хоть за щеку клади.
Курун. А звенеть они будут?
Пашка. Оглушат: тень-дзень, тень-дзень. А девки за тобой табуном.
Курун. Ладно. Идемте.
Пашка. Уговор дороже денег, чур...
Аксинья. Идут, батюшки!

Все шарахаются. К перекрестку подходит вооруженный рабочий отряд. Обыватели возвращаются.

Голоса: Свои...
Мотри с заводу...
О, Господи, вот дураки...
Пашка. Дяденька, возьмите нас.
Отрядники: Вояки: нечего сказать.
Кто вам будет сопли вытирать,—у нас нянек нет...
Подростите малость.
Да это никак Ваньки Оловянного сын.
Андрюшка. Я сильный, одной рукой пуд поднимаю.

Из толпы мать берет Андрюшку за руку и, награждая шлепками, уводит.

Адя-Бадя. Быть беде—собаки воют.
Задуй-Заплюй. Сбесились. Куда идут? Зачем идут? Сбесились...
Голоса: Далеко ли, товарищи?
Аль жить надоело?
Отрядники: В лес за ягодками собрались: за грибами за поганками. Ха-ха-ха...
Аксинья. Дарьюшка, твой-то идет!
Дарья. Где?.. Ах, пес, ошалел, Митрошка...

Красивый. Эк грохнулась, как над покойником.

Дарья. Митроша!..

Красивый. Ни на век ухожу... Ну, подерусь. денек - другой — вернусь.

Дарья. Митроша, убьют тебя... Чует мое сердечушко, Митроша!

Красивый. Э-эх, бабья ваша нация...

Дарья (хватает за ноги). Пожалей ты меня да дите малое... Не ходи, Митроша!

Отрядник. Не плачь, баба, затевай пироги, к утру вернемся.

Красивый. Пусти, пусти... Эх, назола...

Прибегает Андрюшка,—после короткого совещания с Пашкой и Куруном все трое бросаются в догонку за отрядом. Уже за сценой отряд затягивает «Дружно, товарищи, в ногу». При первых словах песни опускается занавес.

Занавес.

КАРТИНА ПЯТАЯ.

Бой на площади города. Белые отходят. Слышится далекое «ура». Наступает редкая цепь красных.

Илюшка. По золотопогонникам!.. Пли!

Раненый подросток (падая). О-о-о... Красные-е, вперед!

Перекатывается недалекое ура.

Илюшка. Вперед, товарищи! Ура-а!

Цепь бросается в штыки.

Бойцы: Ура-а-а!..
Даешь город!..
Рви кадетню!..
Ура-а-а!..

Вслед за отступающими белыми, как вихрь, проносится наша конница. Надвигаются сумерки.

Наблюдатель (с крыши). О-го-го-го-оо... Пошло-о, по-шло-о-о-о...

Ведут пленных.

Бойцы: Гляди, пленных ведут...
Хреновские вы вояки...
Не терпите...
Раскуделили...
В расход их пустить и шабаш...
Не стоит рук марать...
Вишь, они и так ровно помоями облиты...

За конницей громыхают запряжки легкой артиллерии. Выстрелы замирают в отдалении. Быстрым маршированным шагом движутся колонны пехоты. Оркестр исполняет Интернационал. Дружно гремит боевой гимн.

Улицу быстро заполняет толпа городской бедноты, ремесленников и мелких служащих. Подхватывают гимн.

Рабочий из толпы. Да здравствует Рабоче - Крестьянская Красная армия!

Перекатывается могучее ура. Из толпы кидаются, обнимаются и целуют красноармейцев.

Ночь. Выделяясь на зареве пожарища войска все идут, идут...

Занавес.

Артем Веселый.

„Золото“.

I.

Пароход „Кречет“ третьи сутки шел по бесконечным перекатам. Команда, двигавшая его, в помощь работавшей полным ходом машине, шестами и стрелами, выбивалась из сил.

Под днищем отчаянно скрежетала крупная галька. Машина то останавливалась, то бешено срывалась на полный ход, отчего „Кречет“ дрожал, как в лихорадке.

Моросил мелкий, холодный дождь. Ветер гоготал в береговых горных проходах, выл в снастях, сильными порывами тряс стекла рубки, забирался под кожуха колес и ныл там жалобно и нудно. По реке бегали барашки,—белые гривки на черных волнах.

Волны мокрыми ладонями плотно шлепали в борта, всхлипывали и откатывались с злобным шипением.

Берега ушли в туманную, слезливую даль, клочья туч давили маленький железный островок, который цепко держала река, как бы смеясь над тягостными усилиями людей, стремившихся оторваться от ее жестоких ласк.

Капитан „Кречета“ Терентий Акимович, только что сменившийся с вахты, которую он делил со своим единственным помощником, сидел в рубке и пил душистый горячий чай.

Его красивое лицо в рамке черной бороды, в которой протянулись отчетливые нити седины, было бледно и сумрачно. В умных глубоко запавших глазах горел холодный, злой огонек. Он не спал уже почти трое суток.

В рубке тепло и чисто. Сверкающий белизной скатерти стол, яркий электрический свет, весело фыркающий самовар, тарелки с холодными закусками, все это, возбуждая аппетит, создавало уют.

Дверь рубки широко распахнулась, в нее ворвался холодный ветер и брызги дождя, вошел штурвальный Семенов.

— Ну?—вопросительно уставился на него капитан.

— Прикажите якорь бросить, Терентий Акимович, сил никаких нет. Работаем почитай 5 часов, трех сажен не прошли. Команда с ног сбилась. Опять же погода...

— За „Быстрым“ якорь бросим, сказал я тебе русским языком. К ночи перекат перейти надо.

— Не пройдем к ночи, когда...

— А я говорю надо! Понял?—одернул его капитан.—Ступай. Поставь двоих стрелы приготовить.

— Каторга, а не жизнь!—хлопнув дверью, произнес Семенов.

— Хуже каторги, друг любезный,—произнес вслед ему Терентий Акимович. Там—в карцер, а здесь—на дождичек.

— Подите-ка на верх,—обратился он ко мне,—послушайте, как они меня благословляют: Семенов запевалой, остальные—хором. Лексикон богатейший. Нигде кроме не услышите.

— А вы почему это полагаете?—спросил я.

— По опыту,—засмеялся капитан.—Нельзя в такую погоду и при такой работе не ругать капитана. Природа гонит дождь и ветер, а я их гоню на дождь и ветер. Сами посудите. Невозможно не ругаться. Благословит сплеча по матери капитана, душе облегчение и работа спорей.

— А почему вы, в самом деле, не остановитесь здесь? Ведь до затона все равно не дойдете? А здесь рядом деревня, можно зимовать.

— На перекатах зимовать не принято—раз. Стоим мы прямо под падью, из которой и гонит всю эту мерзость,—указал он на дождь и ветер,—два. За „Быстрым" на берегу зимовое и дрова. Поэтому надо итти.

— Но ведь вы отчаянно треплете корпус, он уже течет.

— Он и без того достаточно растрепан. А для ремонта нужна хорошая стоянка, а она за „Быстрым"—следовательно, итти все-таки нужно.

— А если команда откажется?

— По отношению к команде у меня нет „если", а есть приказания, которые должны исполняться...

— Но если, все-таки, очевидно, что пройти нельзя.

— Прикажу,—по сухому месту потащат.

— Ну, уж это...

— Глупо,—перебив, докончил капитан,—самодурство или... еще как там? Может быть и так. А итти все-таки надо,—закончил он упорно.

Я замолчал, чувствуя бесцельность возражений.

Капитан встал, широко и аппетитно зевнул, сбросил бушлат на диван, налил себе крепкого, черного, как деготь, чаю и посмотрел на меня смеющимися глазами.

— Я, знаете ли, иногда чтением чужих мыслей занимаюсь,—как-то невпопад произнес он.

— Ненужное занятие,—сухо возразил я.

— Ну, не скажите. Вот сейчас, к примеру, вы сидите и думаете: „капитан „Кречета", старый ссыльный, каторжанин-политик, гнет рабочих в бараний рог", и это вам противно.

— Совершенно верно,—согласился я,—но что из этого следует?

— О! Очень многое насчет liberté, égalité, fraternité[1]).

— Что же именно?

— Вы давно в Сибири?—ответил он вопросом.

— Нет.

— Считаете себя туристом или в дебрях сих пребывать думаете... дондеже?..—продолжал он допрос.

— Думаю последнее.

— Богатым быть не хотели никогда?

— Не успел еще захотеть.

— Ну, так еще захотите, а я хотел.

— И не стали?

— Совершенно верно. И это хорошо.

— Почему же хорошо? Недостигнутая цель жизни,—это не всякий переварит.

---

[1]) Свободы, равенства, братства

— Именно поэтому и хорошо. Вразумляет. Вам это трудненько понять. Хотите пояснения?

— Весьма!

Капитан взглянул на часы.

— Время позднее, спать я сейчас неспособен,—следовательно, можно философствовать. А это лучше всего за едой,—произнес он и позвонил.

Появился матрос.

— Скажи, чтобы ужин давали,—приказал Терентий Акимович.

— Хорошо,—сухо ответил матрос.

— Презирает,—засмеялся капитан.

— В Сибири вы недавно,—начал он,—человек молодой, собираетесь обосноваться в тайге, так разрешите мне изложить вам кое-что практическое, что в дальнейшем избавите вас от необходимости удивляться и возмущаться во многих случаях жизни.

— Готов слушать хоть всю ночь,—ответил я.

Меня интересовало, что обычно сухой и молчаливый капитан разговорился.

— Предварительно,—спросил он, —вы марксист, если не ошибаюсь?

— Да.

— Содержимым этого шкафа интересовались?—и он указал на большой книжный шкаф у стены рубки.

— Интересовался и довольно внимательно.

— Я тоже. Это к тому, чтобы избавить вас от сомнений в моей „марксистской компетенции",—иронически подчеркнул он.—Когда повествую, не люблю вопросов и уклонений. Все, что в этом шкафу, а здесь соль мысли, основательно проштудировано мною в зимовках на „Быстрых", „Еловых" и прочих местах и теперь меня уже не интересует и тем более не питает,—проговорил он и приказал расставлявшей прислуге посуду,—„Портвейн 211 бутылку откупорить надо".

Прислуга, накрывши на стол, ушла, мы остались одни.

II.

— Пришел я в Сибирь,—продолжал капитан,—в ваших летах, но по другой дорожке. Вы экспрессом, а я по Владимирке. Как вы, был молод, крепок физически, нравственно и теоретически. Жизнь в Сибири не казалась мне страшной. Наоборот—подкупала новизной. Я слышал много о Сибири и знал, что энергичный человек может здесь найти если не все, то многое из того, чего он хочет. Я был тогда социал-демократ, до каторги работал в большом фабричном районе, знал нашего пролетария глубоко и ясно. Но идеалистом не был. Курса я не кончил, но знал во всяком случае не меньше и не хуже, чем и окончившие.

Аттестат, который дала мне тюремная администрация, был не из блестящих,—я не терплю чинопочитания, а потому попал в сибирские дебри сразу очень глубоко.

Я был способен к какой угодно работе. Мог работать физически, мог учить, строить, вести коммерческое дело. Когда молод, не боишься всех этих „не знаю" и „не смогу", они возникают позже.

Вскоре после моего прихода в волость, я поступил в партию, которую подбирал какой-то молодчик на приисковую работу. О ней я тогда не имел никакого понятия. Но все-таки пошел. Это давало хлеб, во-первых, и было интересно, во-вторых.

Прииск, на который я попал, небольшой и небогатый. Случилось так, что моему хозяину я выбил зубы за его несдержанный язык и

остался работать у еврея-торговца, снабжавшего хищников-самоходов всякого рода продуктами, инструментами, вообще всем тем, что необходимо старателю в тайге. И спиртом между прочим. Я не антисемит, но хозяин мой был подлый, мерзкий, ноющий. Я возненавидел его за трусость и жадность. Стал я заведывать у него складами.

А рядом с хозяином я сразу заметил одну весьма примечательную фигуру.

В этом толстеньком, маленьком, безобразном человеке, с лицом Квазимодо, сидел какой-то очень сильный бес. Эстиз, так звали его, вел закупки для всей довольно обширной торговли моего хозяина.

Хозяин боялся Эстиза, а он уверенно и смело разорял его. Сам имел уже кое-какой капитал.

Вскоре после моего поступления, через полгода этак, Эстиз открыл свое маленькое дело.

Отсюда собственно и начинается история.

III.

В одно прекрасное время Эстиз, снявший уже помещение и начавший торговлю, как-то вечером зазвал меня к себе, и за чаем мы проговорили с ним всю ночь.

Эстиз был человек далеко не словоохотливый, но в эту ночь он много говорил.

Первое, что я понял, это то, что я нужен ему в его планах. И очень нужен.

Первым вопросом, который задал мне Эстиз, было:

— Вы хотите стать богатым человеком?

Я ответил ему довольно пространно, что целью моей жизни не являлось и не является стремление к богатству.

— Я не считаю богатство идеалом, для чего оно мне? — ответил я.

— О, напрасно. Богатство—сила, поэтому я хочу иметь миллион.

— Для чего? — спросил я.

— Для того, чтобы иметь два.

— А дальше?

— Дальше, чтобы иметь четыре, затем восемь и так далее, — ответил мне Эстиз.

— Ну, а где же пределы, где цель, осмысливающая эти один, два, четыре, восемь?

— Пределы, цель, смысл? — спросил Эстиз. — Надо сначала иметь деньги, их добыть, а потом уже искать смысл и цель, на что эти деньги употребить. Сейчас я могу об этом только мечтать, а первые шаги должны быть завтра, мечты не переплавляются в золото.

— Ну, а каковы же ваши хотя бы мечты? — поинтересовался я.

— С этого места, где я сижу сейчас, говорить по телефону с Петербургом, выехать туда в прекрасном пульмановском первоклассном вагоне со скоростью 120 верст в час. Видеть здесь вместо сосен трубы, много труб; чем больше их, тем больше золота. Оно даст мне силу власть, почет, возможность работать, возможность заставлять других работать...

— И эксплоатировать их? — перебил я его.

— О да! Без этого невозможно. Людей нужно эксплоатировать. Нужно заставить их работать.

— Но они не хотят этого, они будут протестовать.

— С ними нужно бороться во имя их же блага.

— А именно?

— Именно?— переспросил Эстиз.— Именно то, что я вам говорю. Скажите, разве, имея миллион, вы не смогли бы построить могучую партию? Для этого нужны деньги, нужна нелегальная работа, типографии, пропагандисты, за деньги можно купить то, что нужно для борьбы с капиталом.

— Пропагандисты не покупаются за деньги, думайте о чем говорите!

— Совершенно верно, но ведь и пропагандисты хотят есть, они работники, их нужно содержать, не так ли?

— Наживать капитал, чтобы бороться с капиталом, это парадокс, если не сплошная ерунда.

— А почему вы так думаете? Ведь, вы еще не знаете отрицательных примеров. Ну, оставим об этом. Насильно не полюбишься.

— Мил не будешь...—поправил я.

— Это все равно. Давайте ближе к делу. Мне нужен хороший, верный помощник. Такой, как вы. У меня есть деньги, немного денег. Давайте работать. Заработок пополам. Хотите? Это для вас, я думаю, хорошее, выгодное дело. Бросайте Менделевича и давайте работать со мной.

— Работать я не прочь, хотя бы и у вас. Менделевич мне, откровенно, противен. Но ваша философия мне не по плечу. Считайте меня лучше вашим работником.

— Хорошо,—подумав, ответил Эстиз,—но вы подумаете?

— Это не изменит положения,— ответил я, и мы расстались.

Через неделю я был уже управляющим вновь возникшего предприятия Эстиза.

IV.

Над нашими головами топот усилился, послышались дружные крики, по корпусу пробежала тяжелая судорога, а через минуту шум сразу затих, машина заработала ровнее, шлепание колес стало размеренно спокойным.

Капитан усмехнулся.

— Сошли. Невозможное оказывается возможным и было нужно. Идемте на верх.

Мы вышли на палубу.

Дождь перестал. Река была черна, как сажа, на невидимых во тьме берегах глубокими струнными вздохами тревожилась тайга.

На куске палубы, освещенном висевшей на борту электрической лампочкой, качалась серая фигура матроса с наметкой в руке и доносилось протяжное:

— Четыре! Три-и! Два с половиной-ой!

— Под табак!

Пароход жался к берегу, на правом борту вспыхнул прожектор, вырывая из мрака неуютный, пологий берег, и через несколько минут на берегу вынырнуло из тьмы зимовье и кладки дров вокруг него.

Капитан поднялся к -рупору. Бросили якорь, протянули чалки, установили стрелы, суматоха улеглась. Матросы ушли ужинать, с кормы доносились их придушенные усталостью голоса.

На палубе остался лишь вахтенный, бесформенной кучкой прикурнувший около якорной цепи, тускло блестевшей, как свившаяся в кольцо огромная змея.

Мы сели на шканцах, и капитан продолжал:

— Вы сейчас думаете о том, что странно, что я разговорился. Говорю я с вами и поучаю вас, если позволите, лишь потому, что

терпеть не могу идеализма. Изучил и проверил многолетним опытом. Около золота, для которого и возле которого жизнь человеческая очень дешева, идеализм нечто вроде наручников. А единственное, что дает здесь крепость и упор, это свободные руки и в буквальном и в переносном смысле слова.

— Без всяких обязательств?— спросил я.

— Обязательства?— переспросил капитан. — Для того, чтобы обязываться и выполнять обязательства, вы должны существовать и за это бороться. Это ужасно просто, но это основное и определяет все остальное. Понятно?

— Повествуйте дальше, — ответил я неопределенно.

— Иронизируете?— заметил капитан.— Это хорошо.

— Так вот. Осенью к нам пришли приискатели, которых мой новый хозяин снаряжал на золото. Стали рассчитываться за все взятое ими. Здесь я постиг сибирскую золотую арифметику. Арифметика— идеальная. Десятикратная стоимость всякой дряни, взимавшаяся с них, считалась характеристикой умственной ограниченности и меня и моего хозяина. Рассчитались, договорились о том, что для партии нужно будет на весну, и расстались.

Зима проходила в поездках, переписках, сношениях. Мы закупали, заготовляли, рассчитывали. За зиму, почти половину которой мне пришлось провести в передвижениях, я узнал и полюбил сибирскую глушь, могучую девственную природу, бешеную скачку в морозные, дивные ночи, полюбил простую, ясную логику жизни.

Понял, что такое золото, хищничество, погоня за этим металлом. Видел людей, именно людей, которые были достойны этого звания. Могучие представители человечества. Смелость, решительность, не бесшабашный, а холодный, ни перед чем не останавливающийся расчет. Это основная их черта. Мораль, кодексы законодательства для них звук пустой.

— Мое — мое и твое — мое!— такова их краткая философия.

Выразительно и твердо.

Блестящие соратники и опасные, хитрые, смелые и сильные враги. Но их нельзя не уважать.

За зиму я не прочитал ни одной строки.

Мы читаем по бедности жизни там в центрах, где много и лишних, к слову сказать, книг. Здесь была книга жизни, интересная, яркая.

Только здесь я узнал, что значит борьба человека с природой, самим с собой и друг с другом.

Это не то, что мы „там" называли борьбой. Не то мизерное, пятачковое: мансарда, голод, холод и слова, слова, слишком много слов.

Здесь это было проще, глубже, значительнее. Здесь нужно было буквально цепляться за жизнь до боли в мускулах, стискивать руки, чтобы не слететь под откос с этой крутой красивой горы.

Там мысль, здесь физика, там слово, здесь дело, там убеждение, здесь сила, крепкий кулак, презрение к смерти, при случае нож, когда нужно — револьвер.

Я оценил свою физическую силу, закалился, скоро приспособился ко всему, что вообще называется местными условиями.

Испытал, что значит пьянеть от мороза, когда пробуждается в душе что-то нами давно забытое, задушенное лощенностью городской жизни.

Ямщики иногда отказывались ездить со мной, я стрелял в пути неожиданно для ямщика, чтобы испугать лошадей. Что-то величе-

ственное есть в том, когда знаешь, что вот на раскате ты вылетишь из саней или разобьешься, или завязнешь в снегу, или влетишь в воду на перекате, останешься абсолютно один среди снега, тайги и 50-градусного мороза с почти верным риском замерзнуть.

И в конце концов то, что ты бросаешь этот вызов и что ты все-таки жив, все-таки существуешь, изгоняет из души чувство страха и подымает самого себя, утверждает сознание своей силы, становится всем, чем живешь. Я часто ездил с деньгами, два раза в меня стреляли. Оба раза без ущерба для меня, но один раз с ущербом для стрелявшего или стрелявших. Это был первый случай, когда я убил человека.

И это было так естественно здесь, что об этом мало и говорили. Заехал урядник, выпил бутылку вина, испортил лист бумаги и все.

Многие люди повторяют одну глупость. Считают, что цена жизни в Сибири очень невелика. Это глубоко неверно. Здесь-то и начинаешь оценивать жизнь среди опасностей, лишений, враждебной природы и людей. Ценность жизни повышается невероятно. Поэтому сибиряк горд и независим. Поэтому идеалистическая розовая водичка для Сибири—деликатес неподходящий. Вам придется с ним расстаться.

Осознайте простую истину: во-первых, не давайте никому наступать себе на ногу и, во-вторых, в известных случаях, если вы не оторвете ближнему его голову, то он оторвет вашу. И я не видел еще ни одного идеалиста,—а видел я их много,—который бы готов был доставить ближнему своему это удовольствие. Здесь люди становятся умнее.

Однако, ближе к делу.

Я увлекся своей работой и забыл о моем разговоре с Эстизом. Он напомнил мне о нем однажды, вручив мне помимо жалованья довольно крупную для меня сумму денег, мой пай по его условию,

Деньги я взял. Часть их послал товарищам на каторгу, часть своим родичам, сидевшим впроголодь в „культурном центре“.

И вскоре после этого произошло то, что повернуло руль моей жизни и погнало ее по иному руслу.

V.

Произошло все очень просто и для меня неожиданно. Поздней весной, вскоре после того, как мы отпустили в тайгу прошлогоднюю партию старателей, Эстиз предпринял ряд шагов.

Я узнал, что он поставил заявку где-то на реке Кордонной. Что это была за заявка, где была эта Кордонная, я не знал, да и мало интересовался. Дело было слишком обычное. За эту заявку мною было уплачено от имени Эстиза что-то около 200 рублей. Но то, что делал он сейчас, было немного сложнее. Первым долгом он пригласил инженера. Это было для меня понятно. После нескольких заездов пристава, выпившего огромное количество вина, у нас в конторе в одно прекрасное утро появилось десятка полтора хорошо вооруженных стражников. Эстиз объявил мне, что нужно собраться в тайгу на новую заявку, подготовить продукты, средства передвижения, оружие и проч.

Я задал ему вопрос:

— А для чего нам 15 лишних ртов—стражников?

В тайге всякий лишний рот на счету.

Ответ был прост и короток:

— Для охраны прииска, во-первых, да и вообще путешествие по тайге вещь серьезная, тем более, что с нами было очень много ценного для приискателей.

Ранним утром, когда скованная легким морозцем земля звенела под ногами, наша экспедиция тронулась в путь.

Мы шли в поход на тайгу, за ее тайной, за ее золотом. Шли спокойно, уверенные в своей силе. Под нами были крепкие, литые сибирские лошадки, мы были хорошо вооружены, снабжены, и рождалась глубокая, знаете ли, такая твердая вера в человека, в его силу, гений. Лишь бы только он был смел, горд и свободен.

Я впервые от торговых и коммерческих операций шел к золоту, в самые недра тайги, и в этом была прелесть неизведанного, немного жуткого и потому еще более манящего.

Путь был тяжелый, природа умеет отгораживать свои тайны от всепроникающей воли человека. Но все, за исключением меня и инженера, были коренные сибиряки, закаленные и острые как сталь, как бы нарочито созданные для борьбы с дикой природой.

Через две недели мы были уже у цели.

. Это была глушь, которой вы не видали и, возможно, не увидите.

Круто отогнувшиеся концы реки убегали за скалы, поросшие мелкой порослью. В поле зрения оставалась полоса реки версты в три, на правом берегу огромный, нависший над рекой утес, на левом — ряд диких гольцов.

И над всем этим нависало какое-то сумрачное, злобно затаившееся спокойствие, державшее нас все время как-то настороже.

Этот утес и был заявкой Эстиза.

Мы расположились на отдых и только тут я заметил, что здесь кроме нас были уже люди.

Кто это мог быть?

Эстиз куда-то исчез, оставив на мое попечение караван.

Дело было к вечеру. Солнце быстро закатилось. Спустилась холодная весенняя ночь.

Зажгли костры, раскинули палатки, подоспел ужин, для крепости хватили по чарке спирта, а ближе к ночи явился Эстиз и тотчас же пригласил меня и инженера к себе.

То, что он сообщил нам, сразу ввело нас в круг золотого тумана, злобной борьбы человека за золото друг с другом.

— Наша заявка захвачена старателями. Их более 60-ти человек. Они вооружены. Я говорил уже с ними. Без борьбы с заявки они не уйдут. В эту ночь или мы нападаем на них, или они нападут на нас. Добром нам отсюда не уйти, и я предпочитаю нападать,—это даст нам преимущество, хотя их вчетверо больше.

Постановка вопроса была настолько ясна, что колебаться и рассуждать было некогда.

И вот здесь-то перед лицом смертельной опасности я понял, что значит любить жизнь. Подумайте сейчас остро и полно, чтобы это охватило вас всего, что я стою с револьвером у вашей каюты и через минуту вас уже не будет, никто не узнает о вашей гибели, она никому кроме того, кто вам ее принес, не будет интересна.

Эти берега, скалы, вода хорошо умеют хранить тайны.

Представьте — и вы поймете мое настроение. Я не рассуждал о том, плохо или хорошо то, что мы задумали сделать. Нет. Философия ушла, остался голый страх смерти, безумная, до боли в мускулах, надежда жить и страшное напряженное ожидание опасности, которую нужно отразить.

Мы решили нападать. Первые выстрелы принадлежали нам.

В маленькой долине под горой, как звезды в черной тьме, ярко горели пятна костров. Около огней маячили фигуры часовых и редкие тени у костров говорили, что и там не спят. Первыми тремя выстрелами были сняты часовые. Сибиряки хорошо стреляют.

А потом. Потом два—три часа хорошей жаркой перестрелки и все было кончено. Силы были слишком неравны. У нас до 20 казенных магазинок, у них едва 10 берданок, да два десятка дробовиков.

Но все же это были храбрые ребята. Человек 20 их осталось на месте, остальные разбежались. Прииск был наш.

Неправда ли просто, очень просто?

Голос капитана прозвучал такой злобой, что я невольно вздрогнул.

— Устранили 20 конкурентов на жизнь. На 20 единиц стало меньше опасности потерять свою.

Закон! Выживает наиболее сильный; иначе: у кого лучше винтовка и вернее глаз. Естест-вен-ный отбор. Кажется, так это называется?

Но дело сделано и рассуждать, как сейчас, тогда было некогда. Туман. облако дела, заволокло собою все, и опомнился я только на рассвете, когда все было кончено.

VI.

Я помню только два момента. Первый выстрел по „ним". Они засели в землянке и... когда мы убирали убитых, их было больше 20 человек.

Я не помню их лиц, но одно врезалось мне в память — это подковки на сапогах одного из них. Он как бы спал, а подковки тускло поблескивали на сапогах.

Утро было уже. Я ушел в тайгу. И здесь в мертвой тишине, где, казалось, каждое деревцо молилось великому всходившему где-то там из-за края земли солнцу, тут только лицом к лицу с природой, младенчески чистой, нежно улыбавшейся солнцу, я понял, какое великое преступление я совершил. Я—убийца! Во имя чего? Во имя того, чтобы дать Эстизу право на золото? А почему не им? Но бывают в жизни моменты, когда человек не должен ни спрашивать, ни отвечать, а делать. Потом он поймет, для чего это нужно и почему вышло так, а не иначе.

И мне потом многое стало ясно. Все, что до сих пор оставалось позади, сразу сковалось в цепь, последним звеном которой был сегодняшний день.

Я сломал зубы об ствол винтовки и удивляюсь только тому, почему у меня не мелькнула мысль о самоубийстве? Если бы это было, я не разговаривал бы с вами. Но этого не случилось.

Капитан умолк. Вода журчала где-то далеко-далеко. Донесся слабым эхо и замер где-то колокольчик, потом зазвенел где-то очень близко и снова умолк.

Тайга спала. Стояла мертвая тишина, в которой ухо чутко ловит каждый шорох и слышно, как бьется сердце, и яснее все то, что живет где-то глубоко в душе и родится только в величавой тишине непробудной ночи.

Капитан молчал, опустив голову на руки. Его могучая фигура как-то оплыла, ослабела под гнетом тяжелых воспоминаний.

— Дальше?— как-то глухо нарушил он молчание.

— Дальше все пошло, как по маслу.

Я остался там, где каждый камешек, каждое пятно прииска, все напоминало „о них". Некоторые из оставшихся в живых остались работать на прииске. Каждый день, встречаясь с ними, я видел в глазах у каждого укор и глухую злобу, сдерживаемую моей силой.

Я знал, что живу среди тех, кто с наслаждением всадит мне нож в бок. Я умел укрощать их. Как я это делал, не нужно спрашивать: о нельзя рассказывать.

Я хотел бы, чтобы вы попали в такую „непромокаемую", как здесь выражаются. Вы тогда проверили бы свою силу и поняли бы, что такое человек, когда он каждую секунду готов к нападению. Все мускулы — сталь, родится звериный инстинкт, лисья хитрость, удивительное чутье опасности. Вас не застанут врасплох. Но все это тяжко непомерно. Почему я не ушел?

А куда было итти? Из тайги единственной варначьей тропой верхом, где иначе как шагом не проедешь? Это значило бы итти на верную смерть. А я любил жизнь еще больше и... боялся смерти, боялся, дрожал и жил, оскалив зубы.

И только через девять месяцев я вырвался из этого ада. Серебро на моей голове — это вынесено оттуда. И оттуда же я вынес презрение к людям, ненависть к ним. Их уже не за что было любить.

Они—жадные, злые рабы, готовые поклониться вам в ноги и убить вас из-за угла.

Я вспомнил, в минуты проблеска сознания, среди беспробудного пьянства, все то, что в этом шкафу, все, что читал, чему верил, чем жил раньше.

О, насколько мудрее всех творцов был я.

Я знал людей!

Не в цифрах, предположениях, теории, выкладках, а просто, ясно, до гнусности оголенно.

Нельзя писать книг о жизни! Это смешно!

Описать жизнь, открыть ее в книге,— это задача, равная тому, что ощипать по листочку всю тайгу всей Сибири.

И я с той поры верил только себе, только в свою силу, в свою мысль. Ибо знаю, что если сам не выплывешь, то никто не вытащит, разве подтолкнет, чтобы расчистить себе дорогу.

Я пил дико, беспробудно. Пропил десятки тысяч денег, доверенных мне Эстизом. Он зачел мне их как мой пай и отвел от золота, посадив на пароход.

Вот уже шестой год, как я капитанствую. Таскаю всякую дрянь вверх и вниз и дрессирую свою свору. Лучших матросов вы не найдете нигде.

Они хорошо знают меня и шутить не расположены.

Вот в какой мир пришли вы. Помните всегда, что здесь вы только сами по себе. Но... постарайтесь все-таки не извериться в людях, если сможете. Жить не любя тяжело — это понял даже я капитан „Кречета". Это вы запомните и постарайтесь не забыть!

А пока спокойной ночи!

Капитан быстро встал и широкими шагами пошел на корму и скрылся в сгустившейся тьме.

Потянул ветерок, заморосил мелкий холодный дождь. Река зашипела ехидно и зло. На берегу загудела тайга. Казалось, что природа проснулась после короткого сна и беспокойно ищет в непроглядной тьме что-то безвозвратно потерянное, не находит, злится и плачет холодными слезами.

В. Плетнев

Байтас.

из киргизских восстаний.

Как только из-за большого озера выплывает утреннее солнышко и еще неуспевшие испариться росинки заиграют серебряными огоньками, Алей, коренастый, черноглазый киргиз, уже стоит у моей юрты и, выколачивая в дверь ее, напевает:

— Вставай, знаком, вставай—солнце встало... Ашать пора...

— Сейчас, Алей, сейчас... Встаю...

— Давно пора... Погода большой будет... Много сделаешь работ...

Каждое утро в переносном досчатом домике Алея, который стоит у моей юрты,—мы совершаем чаепитие. В убранной коврами комнатке тепло и уютно. Утреннее солнце слепительными лучами врывается в домик и веселые зайчики начинают пестреть всюду.

У юрты давно уже ждет запряженная в тарантас маленькая, лохматая, бойкая лошадка. Бойко фыркая, не стоит на месте, неугомонная, рвется в степь...

— Стой, Куколь, стой, милый,—ласково треплет по гриве Алей.—Сичас поедем, сичас...

И лошадь, точно поняв уговоры Алея, подняв гордо голову, начинает радостно ржать, широко раздув большие, влажные ноздри и бить еще росистую землю копытом... Стоит только сесть в легкий тарантас, как Алей встанет, вытянет вожжи и крикнет здоровым голосом, звонко, по-утреннему:

— Но, милай—живей...

И маленький Куколь, словно ветер, взмахнет, как птица крылом, своей густой гривой и полетит. Тихо, плавно, торжественно полетит навстречу утреннему солнцу, навстречу простору. И серебристая от росы степь плывет быстро-быстро мимо. И радостным эхом на ржанье откликаются золотистые дали.

И далеко где-то откликнулся на ржанье жеребец из вольного киргизского табуна.

А Куколь мчится все вперед и вперед. Гордо занесена голова и длинная грива крылом машет привет утреннику...

Каждый раз, когда мы подъезжаем к Саба-кулю, большому степному озеру, на бугре высоком встречает нас громадный мшистый камень. Утром, когда земля еще кутается в ночных туманах, и вечером—в синих сумерках, камень кажется издали—как-будто на кургане стоит богатырь и смотрит в даль. Ждет кого-то...

— Алей, что это за курган такой?.. Жуткий как будто...

— Зачем жутко? Здесь большой красота есть. Знаешь, вот это озеро, Саба куль по-нашему, а по-вашему, ежели перевести, будет Озера Утра и курган этот—могила Байтаса.

— Киргиза богатого?

— Разве богатым место в курганах? Совсем нет. Кладем в них людей сильных—батырей... Видишь этот? Большой. Всю степь до Тобола пройди, а такого не найдешь. А зачем так? Затем, что Байтас—большой человек. Если бы людей ценили по росту, то мы с тобой были бы вот какие, а Байтас вон какой. Видишь вон туча плывет. Вот он какой был. Встал бы—всю степь собой закрыл... Это большой батырь был, большой... Хочешь расскажу тебе?..

— Обязательно расскажи...

— Вот рука... Но, милай... Но... Лети!..

Как лента, игриво бежала дорога вперед и маленький Куколь выбивал по ней копытом крапинки узора.

Кругом смеялась алмазами росистая зардевшаяся степь...

— Выйди, знаком, в степь, глянь на нее, а потом погляди в небо. Голубое оно, широкое, где край ему? Нет ему края. Так и степь, как небо. Без конца краю! Слыхал, знаком, про Большую Реку, так от ней до Арала великого тянется степь. А дойди до Арала—иди столько дней, сколько у тебя волос на голове... И вольная наша была степь. Видал, знаком, орла над степью? Вольная птица,—ой вольная птица. Любит волю. И степь была вольной. Земли были черные, как темная ночь осенью, а ковыль родился выше роста человека. И табуны носились по ковылю, как кузнечики в траве. Такой сильный ковыль был. И много было табунов. Много! И много диких, красивых гордых жеребцов ржало в них. И сколько их—сколько звезд в небе. Вот теперь появились города каменные в степи, а тогда были вольные коши. Коши без конца. За кошами в Байрам джигиты съезжались и пир был, большой был. Сколько быков съедали, сколько кумызу пили! А скакали джигиты и стрелы, как тучи, покрывали небо. Была потеха. Большая потеха!

Видал озера наши—большие озера были—повысохли. Дичи в них было тьма-темь. Реки кишали рыбой. Но никто не трогал ни птиц, ни рыб, Аллах посылал в табунах большой урожай...

И пришли годы. Нехорошие годы. Старые киргизы помнят их. Из-за большой реки появились белые люди. Приходили по одному, приносили подарки разные и ханы давали взамен им богатые овчины, меха, лучших жеребцов своих... Муллы ходили по кошам и говорили:

— Худо будет... Богатые якшаться начали с неверными. Аллах видит это. Аллах не простит этого. Быть грозе над степью!..

А старый Алаш, который играл так хорошо на домбре и пел старые песни, бросил домбру и ходил повесивши голову.

— Играй, Алаш!..

Алаш грустно качал головой.

— Не о чем играть... Черные птицы закружились над степью. Скоро явятся стаи черных птиц и закроют для вольного киргиза солнце... Закроют...

И заплачет тогда киргизская степь...

... Словно старый Алаш в книге судеб вычитал. Померкло солнце для вольных киргиз. Налетели стаи черных птиц. Через Великую Реку перешло тьма-темь невиданного воинства...

И старые киргизы вспоминают, что когда они были молодыми джигитами и делали удалые набеги за Большую Реку,—не видали столько у белых людей воинов.

Перешли Большую Реку и ужас вселился в степь... Табуны жеребцов ржали—плакали в арканах у победителей... Коши, богатые коши были разграблены. А киргизские девушки были опозорены...

... С тех пор степь перестала быть вольной. Наехали толстые люди с ясными пуговицами и начали переписывать киргиз. И сколько киргиз ни бежало далеко в широкие пески к великому Аралу—везде находили и писали о них в книгах.

Старый Алаш говорил тогда вольному народу:

— Бойтесь этой книги. Эта книга великого рабства...

И опять сбылись слова старого Алаша. Кто был записан в книгу, каждое лето, как только степь покрывалась ковылем, отдай лучших баранов своих, лучших жеребцов своих в дань пришельцам...

Бывало каждый киргиз выйдет в степь—и куда ни глянь, все его земля, а теперь в степи накопали курганов малых, позвали старейшин и заявили им:

— От этого конца до другого твоя земля, а за ним наша...

И на присвоенную землю наехали большие обозы.

О, Аллах!.. Горечь покрывает нашу душу, скорбь омрачает лицо наше. Зачем ты отвернулся от нас и даешь оскорблять твою землю?..

Земля!.. Великая киргизская святая земля, зачем тебя оскорбили, зачем взбуторажили острыми железными лопатами твое девственное лицо? Белые люди изрыли степь и насеяли каких-то трав. А осенью из трав получали зерна, обращали их в белой песок и ели...

К зиме, там, где были коши наши, появились деревянные странные жилища, непохожие на наши юрты. Пришельцы назвали их „избами".

Гибло тысячами вольное киргизское племя...

Что делали старые богатые ханы?.. Богатые ханы—славные джигиты, что в Байрам метко стреляли птиц в голубом небе? Что говорили муллы в кошах? Эх-хе-хе... Богатые ханы бросили свои юрты, настроили себе „избы", одели—кто одежды пришельцев, кто одежды с ясными пуговицами. Сыновья—молодые джигиты метко стрелявшие только птиц, ослабли их теперь луки—уехали в большие каменные города пришельцев за Великую реку. Приезжали „начальниками" к родному народа и еще труднее дышалось киргизу от них. Если пришелец брал барана—„начальник" брал десять. А муллы говорили:

— Аллах так положил... Так надо... Слушайтесь начальства...

Забыли видно они, что степь была, как орел, вольной и никакого начальства не знала.

Но многие старые киргизы не забыли и видели, как люди с ясными пуговицами возили муллам серебро. И они еще звонче звали киргиз к повиновению...

Аллах совсем отвернулся от нас. Наступили еще страшнее годы.

Весной солнце огнем сожгло степь и все лето не было дождей. Проклятье приняла земля и не рос в те годы ковыль и скот ходил голодный и падал от измора.

А зимой пришли страшные неизведанные болезни и начали косить и людей и животных. Умирали киргизы. А живущие были обречены на голод.

И многие из киргиз ходили в становища к пришельцам и просили есть. Пришельцы палками гнали их, натравляя на них собак... А кому давали есть—сторицей брали потом скотом.

В те годы, страшные годы, много киргиз продались им на работы. И много меньше стало табунов. Было сколько звезд в небе — осталось сколько пальцев на руках. И были табуны только у ханов, а у простых киргиз вовсе не было табунов. И многие славные джигиты ушли в пастухи к ханам, в работники к пришельцам или уезжали за Великую реку. В Байрам не было больше потех. Умерли старые потехи. Умерли старые джигиты. Куда девались старые степные киргизские песни? Отчего не играет домбра старого Алаша?

Нечего играть, нечем хвалиться...

Куда девались добрые старые киргизы?.. Где вы — отзовитесь?

В широкой степи киргизской у великого Мустафа-хана служил в табуне бедный джигит Байтас. Родители Байтаса были в работниках у пришельцев. В дни праздников Байтас приходил в гости к отцу и видел, как пришельцы издевались над киргизами.

Болеющей душой Байтас приходил к хану и, представ перед его светлые очи, говорил:

— Великий хан земли степной, владетель множества табунов лучших жеребцов, властелин огромных стад лучших овец, да ниспошлет Аллах благословение свое на тебя, отверни лицо свое и взгляни, как живут народы твои. Зачем пришельцы их обижают? Зачем заделали их рабами своими? Куда девались табуны наши, где наши необъятные степи?..

Взглянул грозно Мустафа-хан на пастуха своего Байтаса, острые молнии засверкали в очах, и изрек властелин богатств больших:

— Кто ты, Байтас? Ты пастух моего стада. Слышишь, пастух, какое имел ты право притти к своему властелину и указывать ему путь. Аллах создал небо и землю, богатых и бедных. Бедные должны терпеть, так Аллах положил. Уйди, гордый пастух, уйди не оскверняй моих очей...

Молча со скорбью в сердце ушел Байтас к табуну... Думы, как птицы степные, вольные замелькали в голове.

Аллах создал небо и землю?.. Неужели он создал богатых и бедных?.. Нет...

И понял Байтас, что богатых и бедных создала алчность. Богатые, как степные волки, рыскают за добычей. И какая бы это ни была добыча: свои ли киргизы, пришельцы, матерые волки не разбирались.

Ненависть глубокая, кровная ненависть запылала в сердце Байтаса.

И решил он.

В аулах весть разнеслась. С тревогой и злобой говорили об ней богатые, с радостью и огнем мести бедные. А муллы, те муллы, которые говорили, как только появились пришельцы:

— Худо будет, богатые стали якшаться с пришельцами.

Эти муллы теперь кричали всюду:

— Горе головам безрассудным... Горе... Да проклянет Аллах дни их! Дерзость большую возымели нищие пойти против богатых, против начальства, ниспосланного Аллахом. Горе вам, безрассудные головы, горе...

Но весть неслась, как степной ветер.

Слышали старые киргизы, слышали джигиты, что гроза надвигается. Гроза избавленья.

По аулам ходили люди и говорили, а старые киргизы головами качали на мудрые слова.

— Слушайте, слушайте, честные киргизы,—говорили посланцы: — Что стало с вами? Где ваши земли, где скот? Отчего вы дрожите перед богатыми и перед людьми с ясными пуговицами? Оттого ли, что они грабители? Что ограбили они вас,—отобрали вам принадлежащее? Поглядите кругом. Степь впала в рабство. Или вы еще верите сказкам ваших мулл? Откройте ваши глаза, откройте уши. Осмотритесь, прислушайтесь к правде... Эй, вы старые, славные джигиты, где вы? К нам, старые джигиты!..

В аулах меньше стало киргиз. Куда уходили—никто не говорил.

А за большим Чабар-куль (озером) ночами зарево стояло и слышны были ржанье и стон. В тихие вечера, кто близко был, слышны были вольные киргизские песни. Кто не черств был душой, в ком жила еще вольная степь, понимал эти песни и молил Аллаха о победе..

В богатых аулах встревожились ханы. Байтас, гордый пастух Байтас, кто может простить это?—думали ханы, прислал сказать:

— Ханы—сребролюбленники, хищные волки, возьмитесь за руки с вашими новыми начальниками и уйдите из степи. Не позорьте ее! Киргизская степь была и хочет быть вольной. Не уйдете,—вот слово джигита, завтра война.

Ханы тревожились и себя утешали:

— Далеко-далеко есть белый царь пришельцев, он не отдаст нас на съедение степной голотьбе, а пришлет свое воинство...

А Байтас, гордый красивый джигит, горящее свободное сердце— объезжал таборы свои перед битвой и говорил:

— Джигиты вольные, завтра идем. Помните: мы или они. Богатые или бедные...

И джигиты крепче приросли к седлам, а в глазах горели давно забытое молодечество и удаль. Загорелые руки крепче сжимали луки...

Быть грому и молнии над степью...

Быть!..

... Помните ли вы, киргизы, тот год? Помните ли?..

С богатых ханских пастбищ исчезали целые табуны лучших жеребцов. Красными огнями озарялось по ночам небо. Горели поселки пришельцев. Не одна ханская дочь побывала в руках у удалых джигитов.

А Байтас говорил:

— Кровью напою степь, трупами усею ковыль, а степь будет вольной...

Кто видал в те поры Байтаса, тот не забудет его. Величественный, стройный, а глаза, как горящие угли, и где проедет на своем драконе—жеребце, там все оживает. Там все загораются местью против богатых.

И если вчера в огне было пол-степи, завтра озарится—поднимется вся степь.

Старые ханы, богачи степи, собирали пожитки и уезжали с пришельцами...

Солнце взошло над степью...

И помнят джигиты, как на кургане высоком сидел на гордом жеребце Байтас, окруженный джигитами удалыми, а мимо проезжали воины... Солнце золотило степь...

В то утро степь просыпалась вольной...

По аулам степным вольная жизнь потекла. Выходи киргиз за коши, море-ковыль ему кланяется. А в аулах всем народом выбирались аульные. Откуда выросли джигиты удалые? Старый Алаш вскнул

пыльную домбру, вздул молодым дыханьем налет годов и заиграл. Отчего проснулись в груди Алаша старые, захватывающие степные сказки? Отчего?.. А как солнце начнет умываться в алмазах-росах ковыля, жеребцы по-старинному торжествующе ржут... А женщины? Байтас созвал Большой Круг. До Аралы гонцы доезжали. Сзывали храбрейших джигитов. На Большом Круге как самоцветы заиграли слова Байтаса:

— Вы, джигиты, вольные, гордые птицы степные, послушайте мою речь. Почему, когда я в степи рыскал, я встречал птиц, встречал зверей. Каждый самец имеет одну самку. Почему каждый вольный джигит имеет много жен, а жена имеет только одного джигита... Мы—как птицы свободные, а сердца наши рабские. Эй, вы, сыны ветра, растопите свои сердца, перестаньте покупать за калым себе жен. Если огонь горячий, как солнце сжигающий, зажжется в сердце, зажгите огнем другое сердце. И в пожаре горите оба! Два сердца, как орлы в небе, как орлы клекочут, ранят друг друга и становятся голубями. Киргизы, сбросьте с жен своих покрывала... Если звезды на небе красивы, то глаза наших женщин на открытом лице дважды прекраснее. И завтра, когда с востока прилетит рассвет, я увижу, что мое слово исполнено.

В тот день был пир. Нет, не пир, послушайте, как спел об этом старый Алаш.

... Орлы слетались—орлы играли. Перья-стрелы джигитов по небу носились. А над степью тучи повисли, дым от костров: жеребцов, молодых кобыл в котлах варили. А кумыз рекой лился. Бубны гремели, а киргизы, как лани, с косами, как змеи, а глаза, как осенняя ночь, плясали. Кружились, сжигали, а взгляды жгли, как солнце, весеннюю землю. Была потеха! Земля смеялась копытами жеребцов, а ветер плакал уныло. И куда ни глянь—коши, коши. Не закрывай глаза— не скроешься от нашего праздника, не закрывай уши—не уйдешь от песен степных...

Вот что было...

Ведь и солнце меркнет и луна бывает тоже что гаснет... И погасли неожиданно вольные дни. Старые джигиты—старые орлы степные говорили Байтасу: Ты, наше солнце, не гляди в грязь, а то на челе твоем отразится оно. Послушай, солнце наше, голос старой степи, не протягивай руку гордым ханам.

Не послушал Байтас верных речей и весть дал:—Старые гордые ханы!—народ прощает ваши грехи, вы такие же киргизы, как и мы, идите обратно в степь и мы вам тоже дадим место в степи. Только клятву дайте, будьте как мы...

... Вечером к юрте приполз старый киргиз. Лицо, как камень, мохом покрытое, а волоса, как ковыль после лета горячего Приполз к юрте Байтаса и на слово попросил. Вышел джигит-победитель.

— Послушай, сын мой,—начал старик,—послушай старого, дряхлого, что я тебе скажу. Не делай задуманного, отмени весть. Я помню старое вольное время, я знаю, отчего оно ушло тогда? Я знаю, кто заковал степь? Ты хочешь позвать волков в степь? Ты перегрызи девяноста пяти из ста им горло, а пятерых пусти... Ой, ой не могу, кровью сердце старое заливается,—отмени весть...

Взглянул с улыбкой Байтас и сказал:

— Старый джигит, ты добрый киргиз, но старый... Старый, а потому ничего не знаешь...

И бился старик о землю, царапал ковыль и плакал. Плакал — выл, как волк в осеннюю ночь. Жутко было.

— Ой, быть снова ночи над степью!.. Быть!..

... И пришли старые волки в степь... Побитые, хвостом виляя, с покорной. И клятву дали в новолуние. Байтас поверил им. И мудрейшим из них дал места правителей...

Старые волки — старые хищники. Снова овцы стали исчезать из вольного стада. Снова, где можно, старые волки показывали клыки свои. Вспомнил Байтас слова старика, да поздно было. Гонцы с границы примчались и донесли:

— Как тучи темные от края неба до края, так велики полки белого царя. Как гром в небе гремит, так гремят их луки. И где покажутся пришельцы, там ханы с поклоном встречают, а сыновья их джигиты седлают коней и едут в помощь им гасить восставшую степь.

И снова гонцы за гонцами.

Хан Чабар-Куля со слугами народ теснит! Хан Сыс-Куля джигитов вольных перерезал.

Запылала степь. И если тогда было зарево, теперь стало небо изрыгающим огонь. Если тогда был плач — теперь трепетала в рыданьях вся земля...

Шаг за шагом отдавали свободную степь храбрые джигиты. Кровью поили жаждавший от летних засух ковыль...

По следам кровавым хищные волки, обнюхивая, тащились и щелкали клыками.

А в одно утро стада и звери бежали навстречу. И отсюда шло войско. В кольцо змеи попали джигиты...

Собрались в круг печальный и речь повели! И нечего было говорить. Старый Алаш, любимец Байтаса, покачал седой головой, на глазах блеснули бессильные слезы, размахнулся со всей силы, ударил о камень домброй, в щепы распалась. А старый уперся руками в подбородок и горько заплакал. Байтас по плечу потрепал:

— Эй, Алаш, о чем плачешь? Волков не разжалобишь? Да не услышат они слез, а пусть донесется до них лязг мечей...

И джигиты, как вихрь, помчались на грозные тучи...

Как орлы среди мелких птиц, как пух по поднебесью разлетался, — разлетались пришельцы. Разлетались и снова слетались, снова сжимали. Рыдала земля, хмурилось тучами солнце, не хотело смотреть. Ветер убегал — не хотел слушать. Велика степь, много сил в ней и всю силу скопила она в кучке джигитов...

С песнями и радостью они умирали.

Бились, как демоны ночи — в ужас приводили полки.

Падали, падали джигиты.

И когда великое сердце степи — Байтас — увидел, что нечем ему биться, — решил кончить. Воткнул в землю меч острием кверху и грудью упал.

Забился, как орел, а запекшиеся его уста шептали:

— Умираю я, но дело мое не умрет...

С проклятьем бросили в яму труп великого бойца пришельцы, зарыли и тысячи копыт набили следы...

Ханы пиры задавали. Братьев хищных встречали. Проклинали народ, добивали оставшихся орлов...

... Но были джигиты, старые верные джигиты — сыны степи. Те откопали Байтаса, снесли на курган. Песни степные ему пропели, с почетом схоронили. А на бугре этом камень большой поставили.

Большой-большой. Чтобы каждый видел. А написать ничего не написали. Написано в сердце киргизском. Только не во всяком, а в тех, кто волю любит. И написано вот что:

— Киргизы, не умерло мое дело. Ждите настанет час. Если не здесь, так за Великой рекой. Сердца вольные загораются местью. Ждите—ждите... Скоро час мести!..

Вот что рассказал мне киргиз Алей, вот что записал я в свою книгу о степи.

Пришел час мести! Пришел!..

Когда я уезжал из аула, киргизы провожать меня вышли. Все жали руку и говорили:

— Ты красный, и мы рады. Мы долго вас ждали!.. Долго ждали...

И дождались...

Евгений Федоров.

Пустыня.

(История одного похода.)

I.

Горизонт моря, позлащенный заходящим солнцем, ослепительно горел огненной полосой.

К скалистому пустынному берегу причаливали шлюпки и оставляли там в лохмотья одетых серых людей—арестантов.

Буйно шумели волны Каспия, и лодки не доходили до берегов; в волнах прибоя камни явно выступали наружу; арестанты раздевались—кто сбрасывал рваные коты, кто обнажался до пояса; сшибаемые с ног разъяренной волной, люди направлялись к берегу. Ветер, холодный и острый, резал лица, щипал и дергал тело, заставляя его сжиматься и дрожать, точно жестокой зимой.

А вдали стоял чистенький военный пароход с чистенькими офицерами. Они с холодными шашками наблюдали, как с трапа спускались арестанты, дрыгая ногами в воздухе; было смешно, что они сразу не попадали в качающуюся шлюпку.

Потом шлюпку отчаливали; ее поднимало на самый гребень волны, бросало в пропасть, кидало и швыряло в глубокие складки моря, старавшегося проглотить несчастных.

Но старшина лодки был опытный моряк с прочными руками и верным глазом: в нужную минуту он колол и резал грудь буйной волны, разбивая ее силу и ярость.

На берег выгружали почерневших, желтых, бледных с серыми лицами людей.

Они радостно выскакивали из шлюпок, бросались в брод, взбирались на берег. Камни резали их ноги, но не чувствовалось боли.

На пустынном полуострове Бигдаш собралось до четырехсот человек политических арестантов—„смертников", „вечников", долгосрочных каторжников и просто бывших заключенных.

Так, „белые", отступая от портового города Петровска и не желая оставить очевидцев совершенных ими зверств, не желая оставить грозных мстителей на случай ожидаемого прихода „красных", решили избавиться от опасных людей: часть перестреляли, а часть выбросили, как вредный сор, на голый безлюдный берег, где надеялись уморить несчастных без хлеба и пресной воды. План был жестокий, но верный.

Первое впечатление после выгрузки—охватившая всех общая радость: свобода, нет тюрьмы, нет ночного зова в поле для последней расправы...

Наступили сумерки. Море грозно шумело. Ветер, как зверь, рыскал по пустыне, ища добычу и, схватив кого-либо из нас, арестантов, терзал жестоким холодом.

После бурной радости полученной свободы возникли тяжкие вопросы:

— Куда итти? Где дорога? Где находимся? Есть ли пресная вода? Эти слова предчувствием будущего звучали среди нас.

— Как быть с женщинами, с детьми?

Они были с нами; среди нас были и калеки: один на костыле, другой безногий, передвигавшийся на коленках.

Стали мы друг друга расспрашивать, кто знает дорогу — хоть куда-нибудь; есть ли аулы, или кибитки в пустынях... И ответы давались то молчаливые и грустные, то беспечные и неверные, и это вносило хаос и смутную тревогу в наши охмелевшие от полученной свободы головы.

А сумерки уже надвинулись с моря на нас. Волны одна за другой катились вдаль и таяли в мутной свинцовой пелене и оттуда уже не возвращались; глаз терял очертания моря и небес.

Из толпы выделялись голоса:

— До города Красноводска семьдесят верст. За двое суток дойдем без воды.

— Нет, до города Красноводска — двести верст; без воды никак не дойдем.

— Товарищи, без проводника и десяти верст не сделаем.

— Берегом моря пойдем.

— Да, но берегом кружиться долго.

— Зато верно.

— А как женщины, дети?

— Поведем под руки, понесем на плечах!

— А если заблудимся? — говорили робкие и осторожные.

— Но тут все едино пропадать с голоду! Надо итти! Идем!.. Кто за нами? — кричали горячие молодые головы.

— Братцы, — заговорил вдруг громче всех человек с седой бородой в длинных сапогах.

То был отставший от своей партии рыбак, направляющийся к себе на промыслы.

— Послушайте мое слово: первое — не горячитесь, со смертью не шутите, а и пешком вам никуда не добраться. В пустыне ни куста-кустика, воду знают лишь кочующие туркмены, а до города Красноводска вам четыреста верст пути и то кто дорогу знает. Без воды никак тронуться в путь нельзя. Послушайте-ка мой совет: ждать вам тут, пока я доберусь до промыслов, подниму рыбаков, да в лодках до Кули-Маяка мы вас доставим; а там вам уж близко... Не пускайтесь в пустыню! Здесь нет жилья... Не мало из вас песком да ветром занесет... Да что же это такое, братцы, с вами сделали? — не выдержал старый рыбак своего сухого делового тона, полного трезвых предостережений.

Голос его дрогнул, и он, познавший много бед в жизни, готов был заплакать, увидя вдруг смертную беду человеческую, нависшую над столькими головами.

Эти его последние слова много повредили делу. Некоторые усумнились в его искренности и его мужестве.

И неугомонная, буйная и нервная толпа начала складывать свои пожитки.

— Братцы, ждать нечего. Спасенья здесь нет. Вперед!—раздались дружные голоса.

— Вперед!

— Вперед!..

Нашелся среди этой разноплеменной массы текинец, который 20 лет назад проходил эту пустыню с кибитками. И вот, как пчелы к матке, ринулись арестанты к текинцу, и, махая, жестикулируя, повторяли одно слово: „Красноводск".

Текинец одобрительно кивал головой и бормотал что-то по-своему, но что означала его речь, никто не знал.

Кто-то толкнул его в плечо, отчего он подался вперед, — и вся шумная разноголосая толпа, повинуясь движению передового, тронулась за ним. Впереди—самые здоровые и нетерпеливые, за ними—спокойные и выдержанные. Сзади медленной поступью плелись старики. Вперемежку пятном выделялись женщины.

В самом хвосте ковылял калека-матрос на костыле.

Мальчишки то забегали вперед, то заходили в сторону, то юрко ныряли в толпу.

На месте остались женщины с малыми детьми, больные и жиденькая группа решивших ждать спасения от рыбаков. Оставшимся каждый великодушно отдавал часть провизии из своего скудного запаса.

Между тем на пустыню быстро надвигалась ночь. Кругом до горизонта распростиралась ровная скатерть песков. Текинец зорко оглядывался по сторонам, устремляя вдаль пронзительный взор, нюхал воздух, глядел в небо, разыскивая звезды на темном небосводе; дремавшие инстинкты и память стали пробуждаться в его неясном сознании.

Беспорядочной массой на ходу люди окружали его со всех сторон. Каждый торопил, расспрашивал дорогу; шли бодро, быстро, лихорадочно; полученная воля вселяла надежду, рождала буйную, неиссякаемую энергию; все устремлялись в неведомую, неизмеримую даль.

Заметно растягивались в ленту. С каждым часом эта лента удлинялась; хвост уставших все более суживался, но связь держали...

Вдруг задул норд-ост; справа загудело море, свинцом опустилось небо; сразу стало темно и холодно. Густыми клубами поднялся в воздухе мелкий песок, заплясал вихрь на пустынном приволье, обдавая арестантов едкой пылью, острой как стекло. Она резала в глаза, забивалась в рот, в нос, в уши, сушила губы, обжигала горло. Каждый стал думать о воде, но ее не было у нас ни капли. Замолкли голоса самых уверенных, и люди медленно шли, до колен погружаясь в мягкий, чистый, перемытый морской песок; холод леденил тело и поощрял отставших. Но темная беззвездная ночь и унылые завывания ветра, задувающего песком глаза, заставляли думать об отдыхе.

— Товарищи, отдохнуть бы маленько, — раздались грустные голоса слабевших.

— Разве тут отдохнешь? Пропадешь от холода. Ведь нет ни куста... Огня не разложишь!

И злой окрик, как хлыст, стегал и подгонял слабых.

Ночь заносила тревогу в самые мужественные сердца. Для того, чтобы сохранить теплоту, нужно было итти и двигаться, и двигаться без конца.

Стала мучить жажда и утомление, усталость начала охватывать целые группы. Отставали люди, и, словно подкошенные, сваливались возле песчаной косы; ветер заглушал стон падения и сразу наметывал

кучу песку, засыпая полуживых людей. Они думали только об отдыхе... кружилась голова, клонило ко сну—и они засыпали истощенные под сугробом навеки. Ветер собирал и воздвигал им братскую могилу—песчаный бурун, обвевал, облизывал его бока и с торжествующим хохотом бежал догонять бредущую еще толпу.

Сам проводник начал уставать, сбиваться, часто изменяя направление, потом неожиданно останавливался, садился и махал всем рукой, показывая на небо:—нужно ждать до утра.

Остановились на первый привал.

Там люди сгибались, точно калеченные, опускались на землю и ложились рядами у подножья песчаного холма; плохо их грели лохмотья, зубы их выбивали судорожную дробь.

И лишь только улеглись эти люди, как ждавший этого момента ветер взлетел на самый гребень буруна и стал скатывать оттуда густые волны холодного острого песку; ветру нравилась эта затея: он бегал взад и вперед, плясал как бешеный, сбрасывая с буруна все новые песчаные волны; потом набросился на впавшую в забытье кучку людей, начал хлестать их по лицу, по их непокрытому телу и завыл победно в просторах степей Закаспия...

Так мы провели первый день свободы, первый день похода, потеряв пятерых усталых из нас.

II.

Под утро поднялся еще более сильный ветер. Заспанные, окоченевшие люди дрожали и стонали от холода и жути.

Холод и ветер готовили всем им могилу.

Вдруг один из лежащих вскочил и закричал безумным голосом на всю пустыню:

— Товарищи! Вставайте! Умираем! Никто живым не останется... Гей, братцы, вставай!

Толпа застонала, но никто не поднимался.

Первый вставший стал бегать и кружиться вокруг полумертвых людей; одних толкал, других поднимал, третьих жалобно просил.

Но умирал голос одинокий, и заглушал его ветер диким порывом.

Тогда первый вставший подбежал к проводнику, стал его просить и речью, и мимикой. Понял ли текинец его речь—неизвестно, но сейчас же поднялся, отошел в сторону и долго рылся в песке. Потом подошел к уснувшим людям и выбросил кучу найденного верблюжьего помету; отыскал острые и колючие, как стальные иглы, кусты саксаула, обломал несколько веток и зажег огонь. Понемногу вокруг него стали собираться арестанты; на изможденных страдальческих лицах появился луч надежды, луч жизни.

Наступал день. Ветер стихал. Люди начали встряхиваться и собираться в путь. Они снова вытянулись в ленту и размеренным шагом, по-верблюжьи, стали один за другим подвигаться. Пустыня дала уже первый урок ходьбы. Никто уже не торопился, не горячился, там, где мертвая степь раскинулась на безверстное расстояние, надо умеючи ходить, и люди подвигались медленным, упорным шагом. Путь был неизвестен, и люди хитрили, экономя свои силы.

На ясном, чистом небе выступило солнце, оно пригревало пешеходов. Ни человеческих следов, ни дороги по-прежнему не было видно; пески да раковины; они покрывали пустыню густым слоем на всю

бесконечность уходящих в даль равнин. Попадаются огромные буруны в виде правильной четырехугольной гробницы, величиной в шестиэтажный дом; на минуту залюбуешься тонкой работой ветра-скульптора, неуловимо нежной рукой обласкавшего их; какая полировка и точность граней. Человеку-зодчему не под силу подобная работа. Вот красота, мертвая красота пустыни.

Некоторые из бредущих останавливались, чтобы посмотреть на это дивное творение, но большинство людей, опустив головы, уныло брели, не глядя. Редкие из нас не поддавались тяжести похода. Такие были. Они шли в передних рядах. Обладая нечеловеческой силой, они точно везли и тянули за собой усталую массу, точно запряженные в длинный тяжелый воз, они везли его, задыхаясь.

И, зайдя к ним в ряды, я чувствую прилив бодрости, которая исходит от сильных, что увлекают и задарают усталых. Подтягиваюсь и я.

В первой шеренге среди полногрудых и крепконогих идет смертник Мухин.

Худенькая фигура, большая голова, прямой нос с очками; когда-то готовился стать ученым, но тюрьма вперемежку с партийной работой никак не давала досуга для науки.

Мухин тихо ковылял, смотрел по сторонам, нюхал воздух, рассматривал мелко-зернистый песок, раковины и шел все время в первых рядах.

— Не устал, Мухин?

Он раньше внимательно смотрит, подумает, а потом скажет:

— Усталость—вещь относительная. Надо только отвлечь мысль. Вот ходи и не думай, что идешь, тогда ходьба обратится в монотонное движение.

— Да, но для движения нужен запас сил.

— А это уже не твое дело. Запас сил дает само тело само по себе; оно в целом у каждой клеточки по атому отнимет силу и приложит ее туда, куда надо, и движение будет весьма продолжительное. Главное—отвлечь внимание и думать о постороннем. Вот я теперь и думаю:—откуда здесь столько ракушек, таких чистеньких и отшлифованных. Ведь море далеко отсюда. Не было ли это место когда-то дном моря—Каспия?

И Мухин стал нам рассказывать то, что он читал когда-то о передвижении моря и материка; речь его лилась плавно и лениво, экономно, без интонации и ударений. Толпа продолжала делать гусиные, маленькие шажки, точно она совершала прогулку с любимым маститым учителем.

Степь ничем не разнообразилась; безмолвие, тишина; степь бледносерая от раковин, ровной скатертью залегла далеко кругом.

Было пустынно голубое небо: ни облака, ни птицы. Царил мертвый, торжественный и жуткий покой, который давил и пугал отставших в одиночестве.

Люди перестали разговаривать. Голод и жажда, зной и усталость изменили черты лица, избороздили их складками, покрыли их морщинами.

И когда я останавливался на минуту и пропускал группу людей за группой, пару за парой, я ясно видел отчаяние в глазах.

Но отчаяние не тупое, равнодушное, а упорное, лихорадочное, предсмертное, наполненное последней надеждой.

И вот уже третьи сутки мы шли, палимые зноем и жаждой, и мы не находили ни одной капли воды.

Туркмен взбирался на бурун, раскапывал песок, искал чего-то в пустынной дали и настойчиво все указывал в одном направлении. Но кто из нас мог предполагать о существовании воды там, где нет ни куста зелени, где солнце и ветер выжгли все влажное?

Предсказания рыбака стали сбываться. Цепь наша растянулась уже на несколько верст.

Передние, подбадривая, передали по цепи, чтоб отставшие не беспокоились, и что к вечеру соберутся все.

Вдруг текинец обратил наше внимание на какие-то следы. Все стали присматриваться. Да, несомненно,—верблюжьи следы, старые, или полузасыпанные.

Одна из наших групп отошла в сторону и тоже нашла следы, но уж не одни верблюжьи, а козьи.

Позвали текинца; от радости он завизжал-засмеялся и более энергично стал что-то говорить.

Пошли по новым следам. Шли час, два, три...

Текинец хмурился, мы загрустили.

Близился вечер. Днем, идя по следам, еще была надежда найти воду, зато ночью на наши головы опускались разом все пытки.

Стало темнеть, начал поддувать холод; небо стало сплошь бледно-синим, однотонным и однообразным; песок покрылся серыми тенями: ракушки снова появились под ногами. Вдруг из дали, позади нас, раздался далекий жалобный, тихий стон и в гулкой тишине он четко плыл и звучно раздавался по пустыне.

Скоро мы ясно услышали, что крик исходит из нашей цепи. И столько болезненной жалобы и отчаяния было в нем, что все сразу остановились.

Последние наши ряды, под влиянием усталости и жути надвигающейся ночи, начали стоном и мольбой просить передних остановиться, ибо уже почувствовали смертельный ужас—навсегда остаться в песках.

Их мольбы были услышаны, и из ряда в ряд, из группы в группу стал раздаваться дикий и жалобный, просящий вопль:—Остановись!!.

Вся пустыня огласилась плачущим эхо, точно выл и плакал израненный зверь; и до поздней ночи растянутая и местами разорванная цепь полумертвых, обезумевших от страданий людей складывалась в одну огромную, бесформенную кучу; люди подходили и падали. И когда эта масса заснула, то мнилось, что эти люди уже не проснутся более; густая ночь покрыла их мраком и смешала, сравняла их с песком.

Мертвая тишина не оглашалась ни одним звуком, точно проклятие залегло над этими степями и умертвило в них все живое.

III.

На четвертые сутки степь пошла холмистая, и мы чаще выбирались на буруны и смотрели вдаль; попадались следы верблюдов и коз; это обещало нам возможность спасенья, так как указывало на присутствие воды в расстоянии нескольких дневных переходов. Но мы могли взять неправильное направление.

Из нас выделилась группа „следопытов", которые не должны были терять этого найденного следа.

Текинец же упорно и часто взбирался на бурун и острым глазом степняка обыскивал—высматривал пустынный горизонт.

Наконец, однажды он с торжествующим криком стал нам указывать на торчавший в стороне длинный предмет и повернул цепь в сто-

рону холма, где на песчаном бугре торчал длинный шест. Но мы уже так изверились в возможность спасения, что „следопыты" предложили всем не итти в сторону, боясь потерять драгоценные следы, а вместе с ними и связь с жизнью.

Так и поступили. Следопыты остались, а толпа потянулась к высокому холму.

Вскоре мы услышали громкий победный рев:

— Вода!.. Вода!..

Нашли колодезь, холмами ие бурунами защищенный со всех сторон от заносов. И только шест, как маяк, указывал на его существование проходящим караванам.

Люди с грязно-кровавой корой на губах пили влагу жизни, пили и... плакали.

Но больше всех торжествовал текинец. Как дитя, он визжал, прыгал от удовольствия и сознания, что он спас всех и себя самого от смерти.

Мухин философствовал:

— Вот и награда за наше испытание.

— А могло и не быть,—подумал кто-то вслух.

— Тогда нужно было бы продолжать отвлекать свои мысли от воды.

Все добродушно улыбались, слушая стойкого философа Мухина.

Тем временем люди утоляли жажду, промывали глаза, то плескали воду в лицо, то нежно касались ее губами и жадно пили, пили-целовали.

Это место было названо Колодцем Надежды. Здесь устроили дневку и поедали последние крохи пищи, какие у кого были; впереди вставал призрак голода. Но люди уже не боялись.

Думали озабоченно о том, что не во что набрать воды для запаса, ибо „белые", выбрасывая нас в пустыню, не говорили нам об ужасах жажды и голода и не снабдили ничем, обрекая нас на гибель. Но некоторые все же ухитрились стащить с парохода кое-что из нужных запасов и вещей, в том числе и два ведра. Их наполнили драгоценной влагой.

Люди с умилением и тоской распрощались с Колодцем Надежды и снова тронулись в путь.

Теперь приступил к ним новый враг, жестокий и лютый—голод.

Сильные и выносливые бахвалились, что, если будет вода, можно итти еще три дня; но слабые слушали это с большим страхом.

Воду несли бережно, как прежде носили святые дары во время крестного хода. Люди безнадежно двигались и смотрели по сторонам, под ноги, ища что-нибудь такое, что можно было бы есть.

А есть и глотать мучительно хотелось. Кривился рот и судорожно сжимались челюсти.

Солнце огненным решетом влезло на купол неба и струило оттуда ручьи ослепительной лавы на головы ослабевших и теряющих рассудок людей.

Вода была скоро допита; зной увеличивался по мере того, как продвигались южнее.

Теперь уже не было строгой связи в толпе идущих людей. Масса разорвалась, и ее прихотливые лохмотья резко выделялись на белом саване песков, ярко и щедро освещенных солнцем.

Потеряв связь, люди стали еще беспомощнее; они разбрелись кучками по разным дорогам и направлениям; каждая кучка давала своих отставших, и задние ряды шли произвольно, то за той группой, то за другой.

А голод всех их подгонял хлыстом.

Каждая группа дала своего предводителя.

Пустыня покрылась беспорядочными, многочисленными следами, сбивая в конец слабых и отставших.

Падали люди, по два, по три, и, падая, они глазами, горящими и безумными, то просящими, то злыми, глядели вслед уходящим. И обреченным никто не мог помочь. Их покидали и забывали.

Но, вот, к ним прибывало еще 3—4 человека, потом еще и еще,— получалась партия, находился предводитель; снова люди оживали, шевелились, болезненно охая, раскачивались измученным телом, трогались и шли по спутанным следам необитаемой, бесконечной пустыни.

А зной горел зловещим пламенем и накалял песок до ожога.

Только головная группа, под предводительством текинца, мужественно пробивалась вперед, черпая силу из каких-то неведомых источников.

Вот среди передовых стройный, высокий, чеканящий шаги грузин— Ираклий Хелаев, учитель и друг народного героя Персии Кучук-Хана, организатор первых дней революционных вспышек и первых боевых отрядов Персии. Но выдали его англичанам продажные власти Персии, и он попал в тегеранскую тюрьму, а оттуда, как русский подданный, был сдан русским „белым" властям. Горячий, вспыльчивый и пенистый, как вино своей родины, Хелаев исколесил всю Персию, ища вольных стрелков для своей дружины и друзей для своего дела. Нежный и красивый точно женщина, он в тюрьме мог каждого из смертников приласкать, ободрить; теперь он внимательно и любезно следил за товарищами, поддерживая бодрость у слабевших.

С ним рядом—батько каспийских рыбаков—Елисеев. Спокойный и тихий, как море в штиль, он неутомим лениво-упорным движением катился без передышки все вперед, да вперед; Елисеева знают рыбаки всего Каспия; их союза он вождь и председатель.

Позади его на два шага—штурман—Борхударов. Боец-партизан, морской волк, этот был грозой для „белых", доставляя из Астрахани орудие повстанцам. Но ударил час—поймали Борхударова, и хотя с пустыми руками, после того, как орудие он потопил в море, но для острастки все же дали ему сто шомполов и двадцать лет каторги.

Для него этот поход как очередной шторм, который нужно осилить.

Словно чуждаясь, шагая в стороне, изгибаясь как кошка, прямо выступал индусский офицер Муртузалли. Это был один из последних могикан группы Гикалло,—Гикалло, неуловимого бойца в горах Дагестана, грозного для войска „белых"; как сокол падал Гикалло на головы врагов и клевал выбранные жертвы. Индус—офицер—Муртузалли был его ближайшим соратником; черный как смола, с блистающими белизной зубами, он был осужден на вечную каторгу.

Не отстает в пути и Колька Рябой—ростовский вор и бандит; спящего он может одеть, раздеть и вывернуть ему не только карманы, но и всю одежду наизнанку, не потревожив мирного сна.

Рядом с ним—знакомый уже нам, начинающий геолог—Мухин. Изучая природу, он попал в тюрьму, как автор проекта „О социализации недр земли".

За этими людьми тянется группа из пяти рабочих мускулистых, привычных, сильных, уравновешенных; они всю дорогу говорят и спорят об организации производства.

За ними бредет с котомкой и палкой, точно с пакетом за пять верст, арестант по имени Каин - бродяга, по документам енисейский мещанин Михаил Кривоберезов.

Пришел он из Сибири в начале 1905 года; скитался много по Руси, приобрел друзей и был верным и незаменимым организатором и начальником связи при партии социалистов-революционеров; мог проникнуть куда угодно; для него не существовали ни цепи фронта с дозорами и секретами, ни контроль по железным дорогам.

Еще дальше за этими испытанными героями шагали и другие бойцы... У каждого своя история, у каждого много сильного и героического в прошлом. Огонь мятежа и свободы горит неугасаемым пламенем в их взорах.

А отставшие плелись, шатаясь, в разных направлениях, идя по неверным и ложным следам, углубляясь все дальше в пески, дальше в пропасть.

IV.

Напала на людей лютая болезнь—тропическая малярия. Под палящими жгучими лучами солнца люди с бледными лицами, с воспаленными, перекошенными глазами тряслись от холода. Ноздри их раздувались, челюсти выбивали частую дробь; „трясучка" охватывала все лицо: прыгали губы, нос, щеки, и тело подергивалось крупной дрожью. Только воспитанная веками воля человека мешала им завыть дикими голосами, выражая великую тоску и жуть.

Вечером приступил с невероятной силой голод.

Мухин подал счастливую мысль:

— А что, други, — сказал он, вдруг остановившись: — Ведь в пустыне, по-моему должно быть что-нибудь живое... Землеройки, примерно, ящерицы, черепахи?.. А черепахи кладут яйца в песке...

Все обступили Мухина, заглядывая ему в глаза, в рот.

— Так, вот, друзья, надо рыть песок. Айда искать яйца ящериц, черепах!..

С этими словами Мухин подошел к сыну пустыни — текинцу — и стал показывать пальцами движение черепахи на песке, а потом показал на свой рот и задвигал челюстями. Текинец его мгновенно понял и энергично похлопал Мухина по голове.

Люди, как жуки, расползлись в разные стороны и на четвереньках засновали взад, вперед, тщательно взрывая песок, обыскивая скудные колючие кусты. В результате поисков были пойманы какие-то насекомые серого цвета, похожие на громадных тараканов, убили десятка два ящериц и притащили пять живых черепах. Быстро наломали колючек, связали их для жару в пучки и разложили огонь.

В мозгу, как раскаленный уголь, горела мысль о еде. Бросили в огонь черепаху и смотрели с лихорадочным вниманием. Черепаха запищала и высунула из железного, непроницаемого панцыря лапы, намереваясь спастись бегством; ей обрезали лапы и снова бросили в огонь; эффект вышел поразительный: щиты разнялись, животное в страшных муках умирало неслыханной в пустыне смертью. Но броня прочно приросла к телу, пришлось ее разбивать камнями и кусками вылущивать мясо, которое было жестковато, со сладким привкусом, похожее на курятину.

Пойманная добыча вместе с огнем стала возвращать людям потерянную силу и тепло.

Вслед за голодом пустыня выпустила для беспощадной борьбы с людьми жажду. Зной сушил мозг и прокаливал насквозь весь организм, и ни капли влаги клеточки не могли добыть из прожженного тела; в последних потугах раскрывались поры и закупоривались песком. Но люди подвигались вперед.

Когда солнце стояло в зените, вдруг раздался возглас:

— Товарищи, вон море и темные пятна... Наверное жилье!

— Где, где?—Многие заволновались и стали пристально глядеть по указанному направлению.

— Да это не море, а соляная коса,—слышались разочарованные голоса.

— И не коса, а верблюды... вон там кочевники! Но почему они не движутся?

— Постой, братцы, я посмотрю,—предложил Мухин.

— Может, еще пару очков наденешь? — весело шутили над ним те, кто был уверен в реальности виденного.

— Да, что-то виднеется,—подтвердил и Мухин,—но странно, почему это так высоко от земли?.. И будто совсем не на земле?..

— Стало быть, — не на небе и не на земле, — сказал Канн-Бродяга,—где же это?

— Увы, товарищи,—сказал печально Мухин, пристально вглядываясь в видение,—это не на небе и не на земле, а в воздухе... Это—мираж!.. Игра природы... кроме песков ничего нет впереди!

Пустыня нанесла очередной удар.

Но люди не сдали.

Мы шли вперед... Нас было семьдесят пять из четырехсот.

V.

На шестой день мы действительно увидели море,—то был Кара-Бугасский залив.

Перемена вида нас подбодрила, и к вечеру мы были у залива. На берегу виднелась кибитка-чум.

Чтобы не напугать приходом такой большой толпы, выделились пять человек с текинцем во главе; подошли к кибитке.

Она представляла огромный плоский чан, сделанный из холста; маленький полог, вместо дверей, вверху отверстие для дыму, а издали—точь-в-точь как пирог-бабка на сковороде.

Текинец заговорил с вылезшим из кибитки киргизом. Скоро они поняли друг друга, и киргиз приветливо закивал головой, мигая косыми хитрыми глазами.

Все сидели на полу. Ребятишки, как мышенята, зорко и тревожно поглядывали на невиданных посетителей из-под полога.

Мы только и слышали „якши" да „якши".

Киргиз скоро со смешком поманил нас пальцем, и мы влезли в узкую дверь-щелочку.

Нам подали крепкого кислого верблюжьего молока, и хлебнув по ложке, мы вспомнили о товарищах.

Тогда мы знаками объяснили киргизу, что мы отдадим всю одежду и деньги, лишь бы накормили всех наших товарищей. Киргиз, понявший наше предложение, отрицательно замотал головой; страх появился у него на лице, и киргиз испуганно глядел в даль степи, отыскивая глазами рать голодных людей.

Мы стали настойчиво просить его, умолять. Загорелась в глазах у нас дикая вспышка голода от великих страданий. Кочевник стал соображать что-то и наверное решил, что с голодными надо лучше поладить.

Моргнув глазами, он сказал „якши" и указал на степь; соглашение было достигнуто.

У кибитки мы решили сделать дневку, точно узнать, где мы и поджидать тех из товарищей, которые выйдут к заливу.

Вечером следующего дня прибыло еще несколько групп, но большая половина отставших затерялась в песках и пропала без вести.

VI.

Кара-Бугасский залив представлял для нас непреодолимое препятствие, так как „белые", предполагая, что некоторые из освобожденных доберутся до этого места, прислали накануне военное судно „Часовой" с приказом: арестантов не перевозить ни паромом, ни лодкой и не снабжать продовольствием.

Мы стали убеждать хитрого киргиза помочь нам, но он упорно мотал головой. Пришлось прибегнуть к самоуправству. Мы сами погрузились на паром, отдали многочисленные запутанные „концы" и тронулись к противоположному берегу под неистовый гвалт и стрельбу азиата.

И, вот, снова перед нами были пески и безводная дорога... Снова люди растянулись в ленту, сначала прочную, густозвенную. Шли бодро, даже весело; был запас воды и хлеба, но больных стало больше, и воду пришлось отдавать главным образом им, обрекая здоровых на жестокие испытания.

За заливом местность стала меняться. Через два дня пути почва обратилась в громадную каменную равнину, без кустов, песков и раковин. Местами по этому каменному полю была разлита застывшая лава, цвета чугуна; даже видно было волнообразное движение окаменевшей жидкости.

Отсюда началось царство камня. Он вырастал в холмы, бугры, образуя цепи,—то начались отроги Кавказских гор.

Но зато камень же однажды утешил нас: в одном месте мы нашли воду, настоящую родниковую воду, вытекающую узенькой тоненькой струйкой бог весть из какой расселины; струйка стекала узеньким шнурком в выточенный ею водоем.

Это был для нас настоящий клад. Как язычники перед божеством, мы становились на колени, опуская низко головы, погружали рот в пресную воду...

И—опять в дорогу...

В тихом удручающем безмолвии мы шли до сумерек. На привал дошла только передняя колонна, и то значительно поредевшая.

Пустыня собралась с силами и ударила по всем больным и слабым.

Эту ночь Мухин плохо спал. Новая, неотвязчивая мысль не давала ему покоя. Он что-то соображал, проверял свои мысли и, что-то задумав, сказал сам себе „один выход и остается",—с этим он заснул под утро.

Утром, когда подтянулись отставшие и все собрались, чтобы тронуться в путь дальше, на середину вышел Мухин и сказал:

— Слушайте, братцы,—я дело скажу. До города мы все равно не дойдем, так как теряем людей все больше и больше. Так дальше итти нельзя. Что с того, что дойдут двадцать, а четыреста погибнут? Надо искать выхода: пустыня пожирает наших товарищей каждый день, каждый час; ряды наши редеют, число больных увеличивается, мертвых кидаем в пути. А если мы все погибнем, какой смысл нашего пути? Кто расскажет потом, как мы умирали, чтобы наши братья,

живущие за этой пустыней, могли отомстить за эту великую нашу жертву?..

— Правильно!.. Но что же делать? Мы беспомощны... — горячились люди, не понимая, к чему клонится речь оратора.

Когда стало тихо, Мухин продолжал:

— А делать мы должны вот что: пусть налево выйдут самые здоровые и выносливые, у которых ноги не покрылись еще язвами и животы от голода не приросли к хребту. Направо пусть станут больные и слабые, а по середине пусть остаются те, кто ни силен, ни обессилен.

Так и поступили. Сильные и выносливые стали влево, больные отделились вправо, а что „ни те, ни другие", остались на месте. Все с удивлением и затаенным вниманием в упор глядели на Мухина, ожидая, чем все это кончится.

— Вам сильным, — начал он снова звенящим голосом, — задача такая: итти и добраться до города Красноводска, во что бы то ни стало! С вами отправляюсь и я. Если будем итти до тех пор, пока сердце биться перестанет, то уверен, что большинство из нашей группы дойдет, наверное дойдет до Красноводска, а оттуда пошлет верблюдов за остальными товарищами... Вы же, слабые, не смейте двигаться дальше ни на шаг! Я вижу уже—крадется за вами смерть, и только ждет, пока споткнется кто-нибудь из вас... Ждите нас на этом месте. Последние силы сохраните на борьбу с голодом и жаждой; пока помощь получите, бережно расходуйте последний остаток ваших сил.

Лица у всех стали проясняться. Оживление легким ветром шевелило складки и морщины темных лиц, точно все были уж в самом деле у пристани.

Люди почувствовали также, что это уже последнее испытание, и с гордостью смотрели на Мухина.

— А вы, последние, – продолжал он, — вы, „золотая середина", будете „золотой дорогой". Мы вас расставим живыми вехами на всем пути, чтобы можно было узнать и разыскать всех отстающих. Подвигаясь вслед за нами, ослабевшие из вас, группами будут оставаться и, таким образом, устроим живую, или полуживую цепь, по которой придет ко всем помощь, ибо жить — так всем жить, или все мы умрем! Этот последний выход только и остается для спасения, друзья мои... И так уже много товарищей отстало, а подумали ли мы об их спасении?

— Да мы еще сами-то не спасены! –оправдывались из толпы.

— Знаю, знаю... Итак—больным оставаться всем, а остальным — вперед!.. Прощайте, товарищи! Надейтесь — выручим! Берегите силы! Не ходите далеко на разведки — собьетесь. Воду ищите меж камнями. В последний ход!—скомандовал Мухин, и был он похож на настоящего военноначальника.

Теперь уже не боялись за судьбы отставших. Старались только равномерно их распределять по пути. Головная колонка шла полным ходом, и цепь, построенная по плану Мухина, растянулась к вечеру на 20 верст. Но то уже была цепь сознательная, организованная, строго обдуманная.

Тяжко было итти. С каждым часом выделялось три-пять человек, которые тихо опускались на степной каменный ковер и болезненно улыбались, как выздоравливающие дети, вслед уходящим. А те приветливо махали руками, и шли все вперед, оставляя очередную веху.

К дневному привалу из „золотой середины" убыла уже значительная часть; остальные крепче сомкнулись и продолжали путь. После

каждой оставляемой „вехи“ Мухин что-то шептал и крутил головой: видимо, его тревожили результаты, которые получались от выполнения его плана. Он опасался, что не хватит людей, чтобы довести цепь до „якоря спасения“.

На третий день после ухода от залива Мухин стал замечать выбывавших из головной колонны, но зато с радостью отметил, что из „середины“ стало получаться подкрепление. Цепь растянулась уже не на один десяток верст.

Много месяцев спустя мне рассказывали, что от этого похода тревожный гул-молва передавался по разбросанным кибиткам. Киргизы никак не могли понять, что это за люди, что за поход, и принимали их за проклятых Аллахом, с которыми опасно встречаться, ибо наведут порчу на людей и животных; а потому, завидя их, киргизы немедленно складывали кибитки и снимались, уходя в глубь степей.

На четвертый день головная колонна стала совсем маленькой. Зато́ на горизонте начали рисоваться горы — пустынные, дикие, изломанные в мрачном рисунке.

Еще одно усилие, еще два-три перехода—и вот мы будем у цели.

Но когда окончательно иссякают силы, когда каждая клеточка отдаст последнюю энергию и умирает, тогда эти финальные переходы становятся роковыми: самые выносливые падают, самые сильные устилают трупами дорогу и самые добрые отчаиваются.

Лишь Каин-Бродяга с ничтожной группой не сдавался. Однажды, заметив, что Мухин вот-вот споткнется и упадет, он горячо сказал.

— Братцы, пойду я один, вы отдохните.

Но Мухин не дал этой опасной и заманчивой мысли разлиться по отуманенным головам.

— Не слушайте его... Не верьте его силам,—прервал он Каина.— Он упадет—и мы погибнем.

Но сам Мухин уже не мог держаться на ногах и, склонившись на одно колено, потом на другое, сомкнул глаза и крепко тотчас же заснул.

Совет Каина дружно отвергли, и хотя около Мухина образовалась изрядная кучка павших в изнеможении, все же одного Каина вперед не пустили.

Теперь люди уже не шли, а карабкались; тело изогнулось, как у горбатых; ноги дрожали и, как деревянные, медленно переступали, волочась по каменистому грунту. Головная колонна обратилась теперь в шеренгу, шеренга — в ряд, последний — в группу в количестве 7 человек.

Не доходя до города верст двадцать, грохнулся и захрапел с кровавой пеной у рта текинец.

Но город уже был виден, хотя глаза плохо различали его: красные, воспаленные, засыпанные песком и загноенные, они отказывались служить.

VII.

Это случилось днем, на десятый день похода. Группа, странных на вид, людей вошла в город Красноводск.

Черные, обгорелые лица, с глубоко запавшими глазами, кровоточивые струпья на губах, грязно-кровавые пятна на обнаженном теле, расширенные зрачки и горевшие безумием глаза обращали на себя общее внимание зрителей; босые, изодранные, израненные, утыканные занозами ноги этих людей оставляли кровавые следы, прилипая к горячим камням.

Их окружила молчаливая, испуганная и встревоженная толпа. Молчали и они, потеряв речь. Раздались крики: „Аллах! Аллах!..“

Поднялся шум, смятение.

Сознание вернулось к первому Каину и, увидя человека со звездой на шапке, он подошел к нему и, как удавленный, стал выжимать изо рта букву за буквой, слог за слогом, фразу за фразой, боясь, что не сможет, не успеет все объяснить;

— Мы из Пет-ров-ской тюрь-мы... вы-бро-си-ли нас „белые“ в пу-сты-не... всех че-ты-ре-ста че-ло-век... дош-ло ше-сте-ро... Высылайте верблю-дов к Ка-ра-Бу-гасс-ко-му зали-ву, с во-дой и хле-бом... Спа-си-те то-ва-ри-щей...

И тут же упал красноармейцу на руки.

Пятеро же его товарищей, дослушав с выпученными, немигающими глазами до конца речь Каина и находя, что сказано все ясно и нечего больше прибавить, сейчас же присели на карточки—и заснули.

. . . .

Всех шестерых отнесли в больницу.

План Мухина блестяще удался. Две недели возили верблюды живых и мертвых; последних находили много в стороне от цепи, затерянных и засыпанных песками.

Красный город радушно принял полумертвых больных героев.

Проводя бессонные ночи, склонялись к изголовью женские лица товарищей-сестер и стирали с их обожженных пустыней лиц кровь, пот и грязь, умеряя бред и помогая им бороться в последней схватке за сохраненную ценой таких страданий жизнь.

Валентин Тамарин.

«За други своя».

I.

Устало сердце жизни вторить
Сегодня так же, как вчера;
Не для него горели зори
И зажигались вечера;
И стлалась в дымке рос молочных,
Сгоняя выплаканный снег,
По зеленям тугим и сочным
Голубизна взыгравших рек;
Под звоны радостной капели
И гроз сверкающий напев,
Крещенный в солнечной купели,
Встает хлебов янтарный сев;
И в полдень, нежащий и тихий,
Ковром ложится пелена
От розовеющей гречихи
И от синеющего льна;
Колосьев гнущихся и зыбких,
Растет взволнованный прилив,
Вплывают солнечные рыбки
В затон позолотевших нив.
И только сердце с жизнью розно,
В ярме скитальческой сумы,
Не верят яви знойно грозной
И снам прощающей зимы.

Пробудиться лишь на миг,
Позабыть про день изжитый,
Услыхав над пашней взрытой
Журавлиный переклик;
И поверить—сразу, вдруг,
Так, совсем, как верят дети;
Что в наивном первоцвете
Замкнут жизни вещий круг;
Что счастливым быть ты мог,
Если—„да"—ромашка скажет,
И сирень капризно свяжет
Два цветка в один цветок...

Поверить сразу, взвиться солнечно
Над зыбью спутанных путей,
Когда земля охватит полночью
Сердца распятых на кресте;
Когда заблещет звездной лестницей.
На темной сини светлый шов,
Заплыть на тонком полумесяце
В прорывы редких облаков,
И, вспомнив братьев обездоленных,
И сораспятье крестных мук,
Сомкнуть нежней и богомольнее
Кольцо освобожденных рук;
Прославить заревыми гимнами
Там, высоко, встающий свет,
В одном неизреченном имени,
Которого чудесней нет.

И опять снова обескрылены,
Видно были слишком тяжки,
Опять, опять изменили вы,
Мои стихи;
Над каждой строкой я плакала,
И все же она не та,
Сердце пустое звякает
Погремушкой шута.
Выпустить сердце пленное,
Нужен иной огонь,
Чтоб ветер через вселенную
Мчал, как необъезженный конь.
От звезд, от надмирной пристани,
Где уголь зари истлел,
Перелетами быстрыми
В туманы, к влажной земле;
Понять и принять грядущее,
Последним из всех Предтеч,
И „слово" живое, сущее,
В бессмертную плоть облечь

А на земле иное созидание,
Иные храмы строит человек;
Стальных стрекоз немолчное жужжание,
Стальных коней неукротимый бег;
И, вышней мощью, в синие пустыни,
Над нами брошенный горящий диск,
На пустыре разрушенной святыни,
Гранитный освещает обелиск,
Страстные дни пред Пасхой, накануне
Последних достижений и побед,
Когда услышим гимны на трибуне
И проповедь Нагорную вослед;
И Медный Всадник в призрачные ночи,
Когда туман серебряный висит,
Припомнит сам, что он—чернорабочий,

Забыв, что был царем всея Руси...
И этой жизни сердце радо вторить,
Былые сны навеки отозвав.
Не всем ли нам зажглись иные зори,
Останутся ли мертвыми слова.
Так бейся в лад согласный и содружный,
Чтоб каждый стих любовью прозвучал,
И серп луны, блестящий и ненужный,
Смени на символ творческих начал.

II.

Давно минувших дней наследство,
Печаль и неизбытый страх,
Мое безрадостное детство
В чужих неласковых руках.
Но, тем сильней и затаенней,
Я в приближавшейся грозе
Ждала друзей потусторонних
Единственных моих друзей;
Когда голубоватый вечер
Сгущал окрестные леса,
Мне слышались в хлеву овечьем
Неведомые голоса;
И в комнате, в закатном блеске,
Прикосновеньем чьих-то рук,
И колебаньем занавески
Мне говорил сошедший друг;
Но если я, со сладкой дрожью,
Рассказывала тайну встреч;
Бранили выдумкой и ложью
Мою взволнованную речь...
Ты, взрослый, чувствующий тонко,
Ты видел ли когда-нибудь
За ненормальностью ребенка,
Недетскую большую жуть,
Не знал ли горького смущенья,
Когда, подняв к иконе взгляд,
Просило для тебя прощенья
Тобой избитое дитя...
И все ж мне жаль забытой детской,
Лучей, дрожащих на полу,
И русой Кати Волченецкой,
Тихонько плакавшей в углу
Зеленый светлячок лампадки,
И мученичества черта
У маленькой галлюцинатки,
Так часто видевшей Христа;
Он приходил таким знакомым,
Совсем родным, как старший брат,
Когда заря цвела за домом
В дыханьи утренних прохлад,
Когда в лугах покров туманный
Старалось солнце побороть;
А он внимал молитве странной —

Помилуй дьявола, Господь.
Но проходили дни и реже,
С собой в нездешний мир маня,
Моя таинственная нежить
Спускалась утешать меня.
И новый друг, рукою Кати,
Едва умевшею писать,
Стал ученической тетради
Певучие слова вверять;
И с ним иных друзей не надо;
Он закрепил окраску слов,
В глухом колодце Петрограда,
В квартире у Пяти Углов,
Все радостней, непостижимей
Пестрел узор его игры;
Лиловым было брата имя
И темно-розовым – сестры,
И за тоскливой панорамой
Недельных дней, лучом святым
Субботний день—свиданье с мамой,
Светился ярко-голубым;
Минуты горечи и гнева
Он сжег на жертвенном огне;
И радость мерного напева
С тех пор сопутствовала мне;
Забыло сердце боль и жалость,
Себя от жизни утаив;
И снами явь моя казалась,
И явью были сны мои;
Но в эти дни, когда над новью
Идет освобожденный плуг,
К живой земле меня с любовью
Призвал неизменивший друг.

III.

Мы половодье проглядели,
На льдинах не видали трещин,
И нам казалось, что без цели
Шальная влага из окон хлещет;
Когда гроза гремела ближе,
Мы и дышать не смели громко;
Людская зыбь несла обломки
Разрушенных дворцов и хижин;
И в набегающем прибое
Девятый вал мы не узнали;
Для нас октябрь пахнул весною
И серый день был солнцем залит;
Услыша праздничное пенье,
На миг встревоженные сдвигом,
Мы вновь склонялись к старым книгам
И призывали вдохновенье;
И разгадали слишком поздно,

Что не было пустой игрою,
Когда народ трибуны строил
И нес на флагах новый лозунг...
Он звал и ждал иной поэмы
От нас жрецов освобожденных,
Но пели мы, к призыву немы,
Все тот же мир, в луну влюбленный;
Когда кругом упали стены,
Нас вдохновляли те же страсти,
Семья, уют, мечты о счастье,
Своя любовь, свои измены.

—

Водопадом осиновых листьев серебряных
Осыпаются прошлого будни усталые.
Нитью шелковой скреплены
Яркие капли—кораллы.
      Воскресенье.
Душно и тесно
Одному—кипарисные четки минувшего
Перебирать надоевшими пальцами
Над душой, в пустоте затонувшею.
      Кто сжалится.

—

Это—„я".—В зеркале видишь
Глаза, ресницы и волосы,
Губы хжатые в едкой обиде,
Тонких морщин набежавшие полосы,
Это—„я"... и в другом зеркале—книги стихов.
Образов, рифмы и строчек,
Певучих и четких,
„Я"—непохожий на прочих,
Гневный, и кроткий...
Плакать готов?
Обидели снова,
      Оскорбили
Грубым и колющим словом...
Горечью гнева исполненный, ты ли...
Что же—немного поплачем,
      Чуть-чуть,
И простим оскорбляющим.
Новое солнце взошло, и новые встретим удачи...
      Твердым и любящим будь,
Мудрым и знающим...
А за окном песнь воскресенья, расцвета... Не так ли
Весной пробуждаются к жизни и ручей, и цветок...
      Сердце каждой радужной каплей
            Влейся в широкий поток:
В общем, живом, созидающем круге,
Как солнечный колос налившейся ржи,
      Склонись у небесной межи,
            Мое отзвеневшее „я".
Пусть вознесется вскипающий стих.

Загораясь, любя и скорбя.
    Не за себя,—
За других,
За други
    Своя.
Видишь,—непаханных нив, незастроенных улиц простор,
Гром уходящий последним раскатом гудит...
Бьется одно огромное сердце в груди...
Поднятый к солнцу молитвенный взор,
Слезы твои, и улыбка, рыданье и смех—
    За всех.

Екатерина Волчанецкая

Старец.

I.

Каждое утро и каждый вечер
проходишь ты
мимо окна моего—
на работу.
Волос твой в серебре,
и время морщинами
взбороздило лицо.
Я знаю:
твои ладони
жестки и грубы...
Пальцы пропитаны пылью
и пеплом металла
изъедены
в ряде годов.
Сейчас эти пальцы
жестки и грубы,
как черствая корка черного хлеба
на праздничной трапезе
бедной твоей.
Лицо твое
наподобие книги,
где время
знаки магических слов
начертало.
Морщины—эпиграфы
дням отошедшим.
И повествуют
один и тот же рассказ...

II.

Молодость...
Молодость твоя протекала
без солнца и смеха.
Где грудь отравляла
свинцовая пыль,
и в синем сумраке
ночью и днем
вспыхивал лампы огонь—
там юность твоя уходила.

Твой век —
печальная, жуткая повесть.
Из мастерской в мастерскую,
с завода — в завод
блуждал ты,
покуда не понял,
что всюду горек
хозяйский хлеб.
Ты стиснул зубы
и голова глубже
осела в плечах.

III.

... Ты видел,
как жена твоя
исхудала,
сгорбившись круглые сутки
над корытом, за стиркой.
В единой коморке
стояли сырость и пар
от развешенного для сушки
белья полотнищ.
Круглые сутки
милые крошки твои
в смрадной гари
хирели и чахли...

IV.

... Ты испытал злосчастье безработицы,
когда
со стола исчезала
даже черного хлеба корка,
и в детских ресницах
иссякли последние слезы.
Ты знаешь...
Это было,
когда твоя старшая девочка
вышла вечером в улицы, полные блеска огней,
просить под окнами —
большими и яркими —
хлеба.
Не знал ты тогда.
Как заговорщики,
твои родные
таили несчастной уход.
... Пьяный матрос,
за пустые деньги,
купил ее первую
улице
подаренную ночь.
... Утром, когда рассвет
несмелым шагом
переступал порог, —
ты понял все.

Тяжелой рукою,
с тяжелым проклятьем,
ты бил
пришедшую с улицы
дочь,
и монеты,
с звенящим вздохом,
из хрупких пальцев ее
сыпались на пол.

V.

Были минуты,
когда
хотелось тебе уйти,
убежать,
убежать от себя самого.
Пристанищем верным
казался тебе
тогда
первый трактир
с открытыми настежь дверями,
где красных огней фонари
широко раскрытою пастью
хихикали нагло:
— Наидешевая радость!
— Двугривенный порция!
— Не откажите зайти.

VI.

Теперь,
как астра
в осеннем саду,
белеет твоя голова.
Близкие
кто—на чужбине,
кто—в яме могильной.
Каждое утро и каждый вечер
проходишь ты
мимо окна моего—
на работу.
Волос твой в серебре,
и время морщинами
взбороздило лицо.
Граждане,
только что мимо окна моего
прошел
апостол седой, апостол труда.

VII.

Поэты,
не угодно ли вам
почерпнуть вдохновенья
для самых красивых поэм,
какие едва ли
когда человечество слышало?

Ваятели,
все бульвары и парки
вы осквернили
идолами
в честь тирании,
ее палачей и вассалов.
Смотрите:
перед вами
один из крупнейших героев.
герой безымянный.
В бронзу и мрамор
его бы бессмертие
вам претворить.

. . . .

VIII.

Один небезызвестный поэт:
— Люблю я
неба лазурь,
горизонты и солнце.
Я знаю,
в какой истоме дышат
первые гвоздики,
а также и то, как березы
в белых рубашках,
зеленых шапках,
в майские ночи
танцуют кадриль
вокруг душистой черемухи.
Я знаю
сладость страстных губ
под сирени кустом,
когда уплывают дни настоящего,
дни прошедшего,
словно ветром подхваченный дым...
Я знаю героев,
светящих в истории
ярким светочем;
также героев,
над которыми веют тени грехов,
таких грехов,
что кровь застывает в жилах
и разум меркнет
при поминаньи имен их.
Здесь красота, хоть и жуткая,
но титанической полная силы.
А вы хотите,
Чтоб я воспел
этого старого, грязного типа?
Тысячи раз
я видел его
у дверей кабаков.
Нет.

Я предпочел бы
расклейку
цирковых афиш
для негров
в Буэнос-Айресе.

IX.

Ваятель:

— Я эстет.
Воплощаю я в мрамор
лишь красоту.
Видали ль в салоне искусств
мою Афродиту?
Хмельным вином пьянит
под резцом пробудившийся мрамор.
И бронза моя
лишь для крупных людей, для великих имен,
под шагами которых
содрогаются дали земные.
Слушайте! Слушайте!
(не знаю, как величать вас:
господин, иль товарищ)
Видали ль
Наполеона из бронзы
в весенней выставке?

X.

Музыкант:

— Ох, не могу, не могу, —
воспитан я на гармонии.
Где же созвучье теперь?
Я не могу не терять равновесия,
если каждый день
трещат за окном пулеметы,
а ночью
Чека
ружейными залпами
разрывает покой...
Что сделали вы
для искусства?
Даже
вчера еще,
в комиссарьяте,
отказали мне в выдаче ордера
на флакончик духов.
Что сделали вы
для искусства?

XI.

. . . .

XII.

Из городских предместий,
подвалов, казарм и ночлежек,
мы—
певцы и солдаты революции—
идем.
Мы те,
кто новейшее слово свое
Республике
посвящает,
лежа ничком в окопах сырых.
Мы те,
кто находит новые образы,
новые звуки
там—
где над днем умирающим
шествуют медь и огонь.
Мы те,
кто на улицах,
и твердой поступи,
в бурном ритме
ищет аккордов иных,
неслыханных маршей.

XIII.

Долой бронзовых Наполеонов!
железных Бисмарков!

На всех перекрестках, бульварах, парках и скверах мы воздвигаем новые памятники.

Слава тебе, Седой.

Утром и вечером проходишь ты мимо окна моего на заводы Великой Коммуны. Я не спрашиваю о твоем имени. В тебе я вижу сотни.

Тебе, величайшему из великих, первый памятник!

Чем велик Александр, который однажды лишь жаждал в пустыне? — Во сто крат величавей и больше ты, кто исходил пустыни лишений и голода.

Слава тебе и моя поэма— тебе!

Р. Эйдеман.

(Перевел с латышского P. Sviris).

Сухмень.

А вечером истомно пахнет гарью,
За сизым лесом пышет небосклон:
Опять сулит на завтра желтотравью
Все тот же утомительный циклон.

И сосны будут совещаться глухо
С обрывками ползучих облаков
Всю ночь, всю ночь, и будет биться муха,
Жужжа и жалуясь, в оконное стекло.

Постукивает дятел деловито;
Камфарный запах хвои и грибов:
Стальная Волга кажется сердитой,
И мрачны лысины пожухнувших лугов.

В июле, утром палевым и зябким,
В урочный час тоскует пароход:
С надречной мглой дымок играет в прятки,
И—тонкий вопль над немотою вод.

Какая невеселая отрада—
Жить в этих опаленных деревнях,
Гонять в бестравье алчущее стадо
И плакать на обветренных полях.

И на земле такие же морщины,
Как на лице у здешних стариков.
Не оттого ль извечная кручина,
Что не запомнят незасушливых годов.

У этих стариков недоумелых—
Исконная покорность и испуг.
Одна печаль—полей осиротелых,
Неисцелимая привычка и недуг.

В одной земле—вся жизнь и все желанья,
И не понять отважных сыновей—
Какая власть, какие ожиданья
Уносят в город с дедовских полей.

И ночью ткут опасливую думу
О знаменьях неведомой войны
И шепчут в печку домовому-куму:
Не насылал недобрые бы сны.

Клавдия Лаврова

В засуху.

Люди и природа истомились зноем.
Задыхались в солнце, в буре и пыли.
Это было в мае—позднею весною,
В хмельно-знойном мае—радости земли.

Было знойно-душно. На полях без неги—
Разъедало солнце трещины земли.
И желтели нивы хрупкие побеги,
И дымились в полдень, словно ковыли.

День сменялся ночью, полною кошмаров
Выл голодный ветер в мертвых пустырях,
А на горизонтах зарева пожаров
Застилали небо, сея жуть и страх.

Умирала вера в жизненные силы,
Слабла напряженность воли молодой
Словно их большое солнце иссушило,
Словно развевал их „бури дикий вой".

Но сегодня в полдень—в день последний мая—
Там, на горизонте, с юга, в мутной мгле,
Выросла скалою туча дождевая—
Вестница благая жаждущей земле.

Все росла, бросая тень завядшим нивам,
Заслонила солнце спущенным крылом...
Вдруг под самым солнцем грянул мощным взрывом.
Потрясая воздух, гулкий вешний гром...

Дождь спустился тихо светлой полосою,
В жаждущую землю долго-долго лил...
Это было в мае—позднею весною,
В хмельно-знойном мае—радости земли.

Антон Пришелец.

Женщина.

Я—зерно, гниющее, страдая.
На закланье я иду,
Кровь души с роптаньем отдавая
За грядущую звезду.

Я была березкою пугливой,
Трепетавшей на ветру,
И цветком вплетенным прихотливо
В сладострастную игру.

Тяжело израненной рукою
Путь скалистый прорезать,
Я хочу с рыдающей тоскою
К неизвестному воззвать:

— Боже, Боже, сильными убитый!
О, воскресни для меня!
Я слаба; я ранами покрыта!
Голос дрогнет, зазвеня.

Обреки бессильную, как прежде,
В ласках милого стихать,
Иль предай монашеской надежде
На иного жениха.

И враги мне вкрадчиво зашепчут.
— Ты бессилием сильна;
Слышишь, птицы яркие лепечут?
Ты из них одна.

Береги бледнеющие лилии,
Руки нежные свои;
Их законы мира сотворили
Для одной любви.

Но до сердца стыд меня пронзает,—
Пусть я горестно ропщу.
Созревает женщина иная,
Я в себе ее ращу.

Я—зерно, гниющее страдая.
На закланье я иду.
Я ропщу, но все же умираю
За грядущую звезду.

Анна Баркова

* *
*

Не смотрите на меня. Я смешная;
На мне смешной и убогий наряд.
Ах, слишком многое, верно, знает
Ваш насмешливо-хмурый взгляд.

Обручилась с мечтаньем покорно я
И краснеет смешное лицо...
Но часто хочется в заводь черную
С дерзким смехом забросить кольцо.

Потаенным кольцом не хочу я
Приковаться незримо к нему.
Кольцо со смехом в песок затопчу я
И с гневом голову я подниму.

Анна Барнова

Печаль.

Дрожит вагон. Стучат колеса.
Мелькают серые столбы.
Вагон сожженный у откоса,
Один, другой... следы борьбы.
Остановились. Полустанок.
Какой? Не все ли мне равно?
На двух оборванных цыганок
Гляжу сквозь мокрое окно.
Одна—вот эта, что моложе—
Так хороша, в глазах—огонь.
Красноармеец—рваный, тоже—
Пред нею вытянул ладонь.
Гадалки речь вперед знакома:
Письмо, известье, дальний путь...
А парень грустен. Где-то дома
Остался, верно, кто-нибудь.

Колеса снова застучали.
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делить ни с кем я не хочу.
К чему? Я сросся с бодрой маской.
И прав, кто скажет мне в укор,
Что я сплошною красной краской,
Пишу—и небо, и забор.—
Души неясная тревога
И скорбных мыслей смутный рой—
В окраске их моя дорога
Мне жуткой кажется порой.
О, если б я в такую пору,
Отдавшись власти черных дум,
В стихи оправил без разбору
Все, что идет тогда на ум,—
Какой восторг, какие ласки
Мне расточал бы вражий стан,
Все, кто исполнен злой опаски,
В чьем сердце—траурные краски,
Кому все светлое—обман.

Не избалован я судьбою.
Жизнь жестоко меня трясла.
Все ж не умножил я собою
Печальных нытиков числа.
Но полустанок захолустный...
Гадалки эти... ложь и тьма...
Красноармеец этот грустный
Все у меня нейдет с ума!
Дождем осенним плачут окна.
Дрожит расхлябанный вагон.
Свинцово-серых туч волокна
Застлали серый небосклон.
Сквозь тучи солнце светит скудно.
Уходит лес в глухую даль,
И так на этот раз мне трудно
Укрыть от всех мою печаль!

Полесье, 13/IX 1920 г.

Демьян Бедный.

Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад.

(Воспоминания.)

Кроме известной книжки Тара (Тахтарева) и отчасти Махновца, нет почти, если я не ошибаюсь, сколько-нибудь связных воспоминаний, посвященных этому интереснейшему периоду нашей революционной истории; периоду, когда марксизм, как идейное течение, пробивал себе дорогу в умы революционной молодежи, и когда рабочее движение, выходя из подпольных кружков на широкую дорогу стачечной борьбы, становилось общепризнанным фактором общественной жизни.

Мои личные воспоминания, относящиеся к этой эпохе шумной идейной борьбы марксизма и народничества и первых шагов массового рабочего движения, обнимают период времени с осени 1894 г., когда я, уже будучи убежденным социал-демократом, поступил студентом в петербургский университет, и до весны 1897 г., когда я был арестован по делу петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса" и на пять слишком лет, проведенных в тюрьме и Якутской области, был оторван от практической революционной работы.

Этими воспоминаниями я и собираюсь теперь поделиться с читателями.

I.

Учебный год 1894—1895 г.г. начался в Петербурге под знаком большого оживления. Перелом в настроении русской интеллигенции, вызванный страшным голодом и холерой 1891—1892 г.г., с каждым годом сказывался все сильнее. Появлялись и множились революционные кружки. Большинство из них примыкало к группам „молодых народовольцев", кое-чему научившихся за время, протекшее после разгрома старой „Народной Воли" и считавших себя последователями научного социализма. Незадолго пред тем разбита была полицией организация „Народного Права", ставившая себе целью борьбу за политическую свободу, за конституцию и отказывавшаяся на время от пропаганды социализма. Среди всех этих групп и кружков появились и первые, немногочисленные социал-демократические группы, ведшие кружковую пропаганду среди рабочих.

В широких кругах студенчества о них очень мало знали, так как держались они замкнуто, с пренебрежением относясь к студентам и „интеллигенции" вообще (хотя сами состояли из студентов и бывших студентов) и необычайно ревниво оберегая свою „конспирацию" от

всякого соприкосновения с „филистимлянами“ из легкомысленной, неопределенно революционной и теоретически неоформленной молодежи.

Я же имел несчастье окончить гимназию с золотой медалью и, кроме того, вместе со всеми гимназистами своего выпуска и в том числе с знаменитым впоследствии артистом Качаловым, ухаживал за опереточной примадонной. Поэтому у суровых и аскетических социал-демократов своего родного города (Вильны), где я впервые вкусил от марксистского древа познания добра и зла, я навлек на себя сильное подозрение в карьеризме, во-первых (медаль), и в недостойном социал-демократа легкомыслии (ухаживание за актрисой), во-вторых.

Поэтому при поступлении в университет я никаких рекомендаций к питерским с.-д. группам не получил и должен был свою революционную карьеру делать, так сказать, собственным горбом, без всякой „протекции“. Не имея доступа к нелегальным рабочим кружкам, я целиком погрузился в кружки студенческие. Этим я еще больше повредил себе в глазах „старших“ с.-д., но зато приобрел множество знакомств и связей, которые впоследствии, в моей нелегальной работе, очень мне пригодились.

Для более близкого знакомства с передовым студенчеством в целях пропаганды идей марксизма, я, кроме студенческой кассы и землячеських кружков, вступил в оригинальное общество, которое могло существовать лишь в тогдашней России: „Нелегальное общество распространения л е г а л ь н ы х книг в народе“. Оно насчитывало много десятков членов из разных высших учебных заведений Петербурга и номинально занималось рецензированием дешевых народных изданий и составлением из них библиотечек, которые отсылались народным учителям и учительницам. Но главная сущность этого общества состояла, конечно, в привлечении зеленой молодежи, среди которой там велась усиленная революционная пропаганда. Заседания этого „общества“ и его отделений превращались таким образом в кружки пропаганды и саморазвития, где происходили шумные споры и где сталкивались между собою в борьбе за влияние на студенческую массу разные направления общественной мысли того времени: либерализм, народничество, „культурничество“, уже отживщее толстовство и, наконец, юный марксизм.

Студенческая масса в общем была настроена резко оппозиционно: об этом достаточно заботились деляновские гимназии. Характерно, что в университете, где настроение было наиболее неопределенным и где было множество „белоподкладочников“, т. е. аристократов или пшютов, после смерти Александра III из 3.000 студентов нашлось всего 700 чел., которые подписались на венок, при чем многие делали это определенно из боязни попасть в разряд „неблагонадежных“ (в Москве студенчество было еще радикальнее: там подписной лист разорвали и самая подписка не состоялась). А вступление на престол Николая в октябре 1894 г. вызвало ряд „бессмысленных мечтаний“ не только у земских либералов и писателей: оно всколыхнуло и всю студенческую массу в своего рода „петиционной кампании“ (петиция о реформе высшей школы). Начались собрания, которые разгонялись и переписывались полицией. Но на первых порах полиция, еще не уверенная в курсе нового царя, была настроена благодушно; когда, например, на одном большом собрании на Васильевском острове, где нас, студентов и курсисток, собралось больше 300 чел. и куда явился с большим нарядом сам начальник охранного отделения Секиринский, один студент назвал себя Николай Александрович Романов, а другой—Б и н о м Н ь ю т о н о в и ч Г и п е р б о л а, полиция лишь растерянно записывала

эти странные имена. Впрочем, позднее, почувствовав почву под ногами, полиция при новых разгонах требовала документов, прибавляя „больше вам Гипербол не будет". Но аресты и высылки начались только в январе, когда „курс" политики определился вполне и царь произнес свою первую знаменитую речь о „бессмысленных мечтаниях".

На многих из собраний, созванных по поводу петиций, прения принимали более глубокий политический характер, и там снова скрещивали шпаги разные направления среди студенчества, содействуя его политическому оформлению.

Среди передового студенчества, посещавшего кружки и собрания, распространялась и нелегальная литература. Это были заграничные издания „кружка народовольцев" и летучие листки лондонского „фонда вольной русской прессы", а также издания провалившейся незадолго пред тем в Смоленске типографии „народоправцев" и Петербургской группы „молодых народовольцев", типография которых (сперва в самом Питере, а затем под Питером, в Лахте, где она и была захвачена полицией летом 1896 г.) работала исправно и выпускала летучие листки и даже брошюры. Среди всей этой литературы, отчасти революционно-народнической, а отчасти даже полулиберальной (народоправцев и лондонские издания Степняка-Кравчинского), заграничные марксистские брошюры Плеханова и сборники „Социал-демократ" составляли чрезвычайную редкость и передавались из рук в руки, как сокровище, только марксистам. Поэтому более широкая революционно настроенная часть студенчества узнавала о марксистах, этой „новой породе" людей, только по рассказам, да еще из знаменитых статей Михайловского в „Русском Богатстве", где, как известно, марксисты делились на „пассивных" и „активных"; при чем „пассивные", по мнению Михайловского, должны были со спокойствием фаталистов созерцать совершающийся исторический процесс, в частности разорение русского крестьянства, а „активные" должны были с о д е й с т в о в а т ь этому процессу, строить фабрики и радоваться даже неурожаям, гонявшим голодных и разоренных крестьян из деревень в города, под иго капитала.

Правда, осенью 1894 г. вышла известная книга Струве, но из нее массовый читатель-интеллигент усвоил лишь последнюю фразу: „оставим нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму", и эта фраза, повторяемая на все лады, содействовала в наивных умах изображению марксистов в виде прямых агентов и слуг капитала.

Когда я приехал в Петербург молоденьким студентом, полным революционного марксистского задора, я прямо был поражен отношением передового студенчества к марксизму. Наибольшее количество марксистов было в технологическом институте, и там они уже тогда пользовались известным влиянием. Исходя из марксистского принципа, что „бытие определяет сознание", мы объясняли это тем, что технологи имеют дело с промышленностью, а потому более восприимчивы к учению Маркса. И, действительно, как раз тогда окончили или кончали технологический институт будущие известные с.-д.—Кржижановский, Радченко, Чернышев и другие, и у них оставались последователи. В университете же преобладало расплывчатое народничество (на разных женских курсах пользовалось влиянием то или иное течение нередко в зависимости от близости к соответственному мужскому высшему учебному заведению). Отдельные марксисты, недавно окончившие университет, как В. И. Ульянов (Ленин), А. Н. Потресов, П. Б. Струве, были оторваны от студенчества и не оставили, повидимому, никаких прочных кружков. А те „салонные" марксисты, которых я за-

стал в университете и которые ораторствовали на собраниях, как будущий кадетский адвокат Миятов или мой земляк, впоследствии скромный сенатский чиновник Ставрович, мало были способны привлечь молодежь революционной стороной марксизма. Поэтому на марксистов смотрели в лучшем случае, как на чудаков, их пренебрежительно похлопывали по плечу („ах, вы, марксист этакий!“), насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков и т. п.

Понятно, марксисты в долгу не оставались и это создавало часто враждебно-обостренные отношения. И настоящим голосом из подполья, голосом, полным злобы на „легальную“ и „салонную“ публицистики, травившие марксистов, как каких-то выродков в семье благородной русской интеллигенции,—голосом, полным сдержанной революционной страсти, прозвучала появившаяся осенью 1894 г. анонимная брошюра (принадлежавшая перу Н. Ленина)—„Кто такие друзья народа и как они воюют против соц.-демократов“. В трех толстых тетрадях, изданных на гектографе (всего, кажется, в 50 экз. и больше, насколько мне известно, не переиздававшихся) давалась отповедь всем тогдашним богам и божкам народнической публицистики: Михайловскому, Южакову, Кривенко, Николаю —ону. В этом, если не ошибаюсь, первом литературном произведении Ленина уже сказались все будущие особенности его полемической манеры: заслуженные „властители дум“ всей революционной молодежи бесцеременно назывались „лакеями“, „царскими холопами“ и т. д

Но хотя отдельные полемические перлы несколько коробили нас, молодых марксистов, все же брошюра дала нам большое моральное удовлетворение, а научно-статистический багаж, которым она была снабжена, давал нам материал в спорах с народниками и в повседневной пропаганде среди студенчества.

В этой обстановке впечатление разорвавшейся бомбы произвела появившаяся к новому году книга Бельтова „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“. Трудно передать теперь, спустя 25 лет, то необыкновенное волнение, ту поразительную встряску, тот огромный умственный сдвиг, которые вызвала эта книга. Впервые перед широкой аудиторией была изложена в достаточно прозрачной эзоповской форме вся глубоко-революционная и всеохватывающая философия марксизма, и притом изложена необычайно увлекательным, блестящим языком. Читая ее, я, юный 20-летний марксист, уже руководивший на родине гимназическими и рабочими кружками, чувствовал, как словно крылья вырастают на спине, испытывал настоящий восторг огромной умственной победы, одержанной дорогим мне направлением. Как-то инстинктивно сознавалось, что результатом этой воистину исторической книги будет та революция в умах, которая предшествует революции на деле.

И, действительно, эффект книги Бельтова был прямо волшебный. Она сразу повернула симпатии лучшей, наиболее мыслящей и чуткой части еще неопределившегося студенчества в сторону нового учения. Люди буквально в одну ночь становились марксистами. Правда, увлечение это не могло быть прочным, но в данный момент оно создавало вокруг марксизма благоприятную атмосферу, заставляя даже многих старших представителей народничества пересмотреть свое отношение к русскому марксизму и в то же время идейно подготовляя наиболее активную часть студенчества к будущей практической работе в качестве пропагандистов и организаторов рабочих кружков.

В частности, мне лично удалось именно в этот период обратить в марксизм довольно обширный кружок студентов и курсисток, из которого вышли впоследствии такие активные с.-д., как покойный

Н. Ф. Богданов (умер от чахотки в ссылке в Иркутской губ.), Лохов, брат и сестра Неустроевы и много других. Первым признаком этого „обращения" было то, что знакомая мне группа молодежи, смастерившая гектограф и печатавшая на нем толстовское „В чем моя вера", бросила это непроизводительное занятие и стала, по моему настоянию, печатать „Манифест коммунистической партии".

К этому же времени, т.-е. ранней весной 1895 г. относится моя первая неудачная попытка самому выступить на литературное поприще в качестве марксиста. Под влиянием статьи Николая—она в „Русском Богатстве"—„Апология власти денег, как признак времени", где он, разбирая книгу Струве, обвинял марксистов в прислужничестве к капитализму, я написал статью „Маленькое примечание к большому спору". Она была резко полемической, претендовала на остроумие и язвительность (распропагандированным мною студентам она нравилась). Но, между прочим, насколько я помню, в ней были критические замечания о книге Струве, предвосхитившие некоторые мысли статьи Тулина-Ленина, появившейся полгода спустя (о том, что у Струве, в его отношениях к капитализму, не чувствуется классово-пролетарского отрицания его). После бесплодных попыток поместить эту статью в один из толстых журналов, хотя бы в виде письма в редакцию, я храбро отнес ее в цензурный комитет, чтобы издать ее самому.

Через две недели я, конечно, получил вежливый отказ, при чем мне было заявлено, что в толстом журнале она бы, может быть, прошла, но разрешить ее отдельное издание немыслимо. Я рукописи так и не увидел больше и очень был бы рад, если бы она отыскалась в архиве петербургского цензурного комитета.

В заключение, для характеристики интеллигентских настроений и переживаний этих месяцев, считаю полезным привести ходившее в то время по рукам шуточное стихотворение. Оно принадлежит неизвестному автору, который одинаково насмешливо относится к обоим враждовавшим направлениям:

Старый друг народа [1])
В вечность отошел.
Уж ему на смену
П. фон-Струве шел.
Но творцу вселенной,
Богу вышних сил
Сам Базиль степенный [2])
Грамотку вручил.
Грамоту читая,
Сжалился творец,
Она-Николая
Ниспослал отец [3]).
Плачут все марксисты,
Сам фон-Струве взвыл.
Но из-за границы
Бельтов прикатил.
Много матерьялу
У него нашлось,
И субъективистам
Плохо тут пришлось.
Даже сам Кареев,
Старый водолей,

[1]) Слово „друг народа" стало популярным после брошюры Ленина.
[2]) Василий Иванович Семевский.
[3]) Вышеупомянутая статья Ник[illegible]на.

Подобравши тогу,
Спрятался скорей,
Ни гу-гу, ни слова,
Хоть бы что черкнул!
Только Михайловский
Бельтова ругнул.
Да Базиль степенный,
Разобрав монизм,
Объявил, что лучше
Понял он марксизм [1].
Юные марксисты,
Задирая нос,
Гордо утверждали,
Что решен вопрос.
Но судьба злодейка
Снова горе шлет.
Кто же мог подумать,
Где она их ждет?
Долго ожидали
Маркса третий том.
Наконец он вышел.
Что же было в нем?
В новом третьем томе
Автор утверждал,
Что в агрикультуре
Вреден капитал.
Мелкое ж хозяйство,
Хоть и не беда,
Но в ассоциации
Видится нужда [2].
И тогда Яроцкий [3]
Начал утверждать,
Что общину нашу
Нужно поддержать.
Связь-де земледельца
Нам с землей нужна.
Русская ж община
Очень тут важна.
— Как же «капитал»-то?
Думает марксист.
— Ведь теперь выходит,
Маркс—идеалист!
От него отречься
Я готов тогда
И свою теорию
Дам вам, господа.—
Так себе марксисты
Волновали кровь,
А субъективисты
Ликовали вновь.
Публика ж не знала,
Как кого понять,
И к творцу послала
Грамоту опять.
— Эки ротозеи!
Бог им отвечал:
Как вы не найдете,
Кто б вам указал.
Вы пойдите к Струве.
Он вам разберет,
Маркс ли виноват тут,
Иль Яроцкий врет.

---

[1]) В речи, произнесенной на традиционной студенческой вечеринке в день университетского праздника, 8 февраля.

[2]) Шуточно искаженная цитата из Маркса, с которой носились народники.

[3]) Прив.-доц. политич. экономии, народник, популярный среди студентов.

С высоты небесной
Так творец вещал.
И... второй том Струве
Нам пообещал [1].

Между тем, в то время, как на поверхности общественной жизни, среди студентов и литераторов продолжались ожесточенные споры о „судьбах капитализма в России“, был шум и „гремели витии“, внизу, в настоящем „подполье“, от которого я все еще был отрезан, шла незаметная, кропотливая, но упорная работа социал-демократической пропаганды. Даже группа „молодых народовольцев“, во главе которой стояли тогда Ергины, Прейс и Белевский (впоследствии известный публицист Белорусов), а также доктор Фейт, начинала усваивать некоторые марксистские истины и в своей непосредственной пропаганде среди рабочих в сущности немногим отличалась от с.-д. А сами с.-д. кружки именно тогда, весной 1895 г., отчасти под влиянием вышедшей в Вильне брошюры „Об агитации“, стали от метода кружковых занятий с рабочими, где основательно проходилась политическая экономия и общая теория марксизма,—переходить к непосредственному воздействию на массы, на почве злободневных, практических нужд и требований. В то время, как я, насытившись пропагандой среди студентов, „искал рабочих“ и пытался завязывать случайные связи, по большей части мало удачные, до меня дошло глухое известие, что где-то за Невской заставой, этом питерском Сент-Антуанском предместьи, была забастовка и что там появились „листки“ или прокламации. Вместе с брошюрой об агитации, от которой я был в восторге, это известие подействовало на меня в высшей степени возбуждающе; и, уезжая на первые каникулы домой, я твердо решил с будущей осени во что бы то ни стало добиться доступа к „настоящей“ революционной работе, по сравнению с которой моя работа среди студентов, где я стал довольно популярным и приобрел славу заядлого „спорщика“, казалась мне самому почти что пустой забавой, несерьезным времяпровождением.

И действительно, летом в Вильне тамошние „лидеры“ соц.-дем. (Кремер, Средницкая, Исай и Любовь Айзенштадт), мои бывшие руководители по гимназическим кружкам, убедились из бесед со мною, что их опасения насчет моего „карьеризма“ и „легкомыслия“ пока не оправдались, что я за эту зиму умственно вырос и окреп и рвусь к революционной работе. Тогда они переложили гнев на милость и познакомили меня с Ю. О. Цедербаумом (Л. Мартовым), который тогда кончал в Вильне срок гласного надзора и собирался уехать в Питер. Наша встреча, по тогдашним конспиративным правилам, произошла на улице, в одном из бойких и грязных переулков еврейского квартала. Разговор был короткий и незначительный. Ю. О. дал мне свой питерский адрес и просил заходить. Но на меня это знакомство произвело сильное впечатление, так как меня свели с революционером, которого до тех пор от меня „прятали“. Это был знак „высокого доверия“, и я уезжал в Петербург полный самых радужных перспектив.

---

[1] В этом стихотворении метко высмеивается стадность студенческой массы, которая была на распутьи, «не знала, как кого понять» и тоскливо искала новых прочных авторитетов, взамен старых «друзей народа». В конце стихотворения бог окончательно указует на Струве, и впоследствии он вместе с Туган-Барановским и стали теми авторитетами, которым, по тогдашнему выражению, курсистки «в рот смотрели» и за которыми они ходили табунами на всех студенческих балах и вечеринках.

II.

Оказалось впрочем, что на этот раз моя работа среди студенчества, на которую весьма косо смотрели старшие „конспираторы", ибо она создавала „суетную" популярность и преждевременно делала человека известным охранке, так что знакомство с ним было даже опасно „настоящим" революционерам,— на этот раз эта моя работа и популярность, которые создали мне обширные связи во всех высших учебных заведениях Петербурга, сослужили мне службу. Теперь, с осени 1895 г. уже не я искал „законспирированных" с.-д., а меня начали искать, со мною желали знакомиться.

В это время в Питере существовали, кроме ряда одиночек, ведших, так сказать, кустарную пропаганду среди рабочих, три более или менее оформленные с.-д. группы пропагандистов, работавшие отдельно друг от друга, хотя они иногда сталкивались в одних и тех же рабочих кружках. Это была, во-первых, группа Ленина, или „стариков", иначе, „литераторов", как их тогда с почтением называли (Ленин, Кржижановский, Радченко, Старков, студенты Ванеев, Сильвин и другие; позже к ним присоединились Мартов, Ляховский, в близких отношениях к ней были и некоторые тогда еще „легальные" марксисты, как Потресов). Затем, группа И. В. Чернышева (в большинстве технологи), иначе „желторотых", по молодости большинства ее членов, или еще „петухов", вследствие задорного тона ее руководителя. Наконец, мало оформленная группа Тахтарева (главным образом, студенты-медики, в том числе Катин-Ярцев, впоследствии, в 1917 г., член плехановской группы „Единство").

Так вот, обе первые группы, особенно группа „стариков", наглухо законспирированная, оторванная от всякой внешней среды, кроме немногочисленных рабочих кружков, с которыми она имела дело, крайне нуждались в технической помощи (квартиры для собраний и свиданий, печатание воззваний и т. п.) и в денежных средствах. А я мог в широкой степени доставить и то и другое. И из обеих этих групп поступили предложения познакомиться со мною. Представителем первой группы явился Сильвин, который назначил мне свидание у общих знакомых, польских социалистов, в кружок которых я, как виленец, следовательно, некоторым образом, гражданин „исторической" Польши, вступил еще весной. Из разговора выяснилось, что мои студенческие связи и особенно распропагандированные мною в марксизм новые адепты обоего пола могут доставить любое количество технических помощников всякого рода. А что касается средств, то и их легко добывать из специальных отчислений с благотворительных студенческих вечеров. Действительно, с этих пор, по масштабу тогдашней работы, в деньгах больше у группы недостатка не было.

Что касается второй группы, то я познакомился с самим Чернышевым и стал у него бывать. Там я встречался со злым гением этой группы, зубным врачом Михайловым, оказавшимся впоследствии агентом охранного отделения. Это был первый встреченный мною „провокатор", и он произвел на меня неприятное впечатление своей развязностью и хвастливым тоном. Несмотря на ходившие о нем темные слухи то о поданном когда-то покаянном прошении на высочайшее имя, то о какой-то растрате общественных денег, Чернышев и его группа с фанатическим упрямством держались за своего Михайлова, всячески его защищая. Дело в том, что группа „молодых" соперничала со „стариками" в количестве связей на фабриках и заводах, а главные связи доставлял именно Михайлов, смеявшийся над излишней

осторожностью и поражавший всех той „храбростью", с какою он, не боясь полиции, завязывал знакомства среди рабочих. Поэтому им очень дорожили, и лишь впоследствии, когда Михайлов „провалил" своих покровителей, они, уже сидя в тюрьме, поняли, где был источник его „бесстрашной" готовности рисковать.

Мне предстоял таким образом выбор, к какой из двух групп примкнуть, какой из них помогать всеми своими связями и личным участием. Я остановился на „стариках", которые мне внушали уважение именно своей большей „конспиративностью", т.-е., как мне казалось, деловитостью, своими литературными талантами (кроме автора брошюры о „друзьях народа", начинающим писателем был, как мне было известно, и Мартов) и, наконец, своими связями с заграницей и Плехановым. В эту осень вышел знаменитый, ярко составленный марксистский сборник со статьями Плеханова („Утис"), Струве, Ленина (Тулин), Потресова и других. Этот сборник, толстый том, был сожжен цензурою, но около ста экземпляров удалось извлечь тайно из типографии, и они разбрелись по всей России, разнося первое после Бельтова талантливое и сильное марксистское слово.

В статье Тулина [1]) я немедленно узнал автора „Друзей народа" и, кроме того, с радостью и гордостью нашел ряд своих собственных мыслей, изложенных в вышеупомянутой статье, так безвременно погибшей в цензуре.

Спустя 2—3 месяца появилась новая книга Плеханова (Волгина) „Обоснование народничества в трудах г. Воронцова", и идейное торжество марксизма в умах интеллигенции было обеспечено.

Более медленно и туго подвигалась с.-д. пропаганда среди рабочих, а меня крайне огорчало, что я все не получал „кружка". Но дело в том, что, благодаря кружковому характеру работы, связи расширялись медленно, и интеллигентов-пропагандистов было больше, чем объектов этой пропаганды, организованных в кружки рабочих. Приходилось ждать „очереди". Кроме того, впоследствии, когда ко мне уже обращались с просьбой „дать рабочих", я убедился, как это бывает иногда трудно, как неудобно передавать уже установившиеся знакомства новым людям. Но тогда я и огорчался и возмущался и готов был приписать эту „волокиту" продолжающейся „травле" моих друзей-виленцев.

Зато мне удалось оказать группе „стариков" услугу в деле „реформы техники". Типография была тогда только у народовольцев и нам казалась недосягаемой мечтой. Правда, с ними, как я узнал позже, группа Ленина вступила в деловые сношения, и они должны были напечатать первый номер с.-д. газеты „Рабочее Дело". В их же типографии были изданы впоследствии 1—2 с.-д. брошюры, в том числе превосходная по своему агитационному подходу брошюра Ленина (без имени автора) „О штрафах". Но для текущей агитационной литературы не было другого средства, кроме традиционного студенческого гектографа, который, вопреки своему названию („гекто"—значит сто), давал обыкновенно не больше 50 экземпляров.

От знакомого студента-народовольца я получил „секрет" только-что тогда появившегося „нового изобретения Эдиссона"—мимеографа. Я тотчас сообщил о нем Мартову, и мы вдвоем в моей студенческой комнате на мимеографе моего собственного изготовления, с „восковкой" (тогда это называли „трафаретом"), написанной мною от руки крупными

---

[1]) А. В. Луначарский в своих воспоминаниях („Великий переворот") говорит почему-то о „книжке Тулина". Такой никогда не было.

печатными буквами — отпечатали первую прокламацию такого типа к только-что забастовавшим тогда рабочим путиловского завода, выставившим экономические требования. Это была уже настоящая „нелегальная работа", и я был несколько утешен за отсутствие рабочего кружка. По сравнению с гектографом мимеограф, с легкостью дававший 600—800 экземпляров, казался нам чудом искусства, и мы в моем студенческом кружке называли его „переходом к машинному производству" и решили приняться вплотную за организацию этой усовершенствованной „техники". Я образовал группу работников на мимеографе, которая навострилась так, что работала легко и быстро, добывала нужные приборы и краску, и в течение полугода я таким образом стоял во главе этого своеобразного „технического аппарата". При этом я специализировался на самом печатании оттисков, восковки же, писанные на машинке, доставлялись мне из другого „законспирированного" места, каким (об этом я узнал лишь впоследствии) была квартира Ф. И. Дана, тоже в это время „введенного в работу".

Но все это было значительно позднее; теперь же путиловская забастовка, вспыхнувшая в конце ноября или начале декабря и появившиеся прокламации переполнили чашу терпения питерской охранки и она решила „ликвидировать", выражаясь позднейшим термином, с.-д. организацию.

6-го декабря на традиционном студенческом балу собралась „повеселиться" и „отвести душу" вся группа „стариков" с Лениным во главе. Кроме Мартова и моего земляка д-ра Ляховского, я был знаком с Сильвиным и с С. А. Гофманом (впоследствии, после ссылки, он, повидимому, ударился в мистицизм и вернулся в православие). На вечере я добыл большую сумму денег (характерно для нашего тогдашнего отношения к Михайловскому, что, обратившись к нему на этом балу за деньгами, мы, группа студентов, не решились сказать, что это в пользу путиловских стачечников, а пробормотали что-то о бедной цюрихской студентке; Михайловский, впрочем, по-джентльменски ни о чем не спрашивая, протянул туго набитый бумажник, и я скромно вытащил четвертной билет, за что на меня взъелась окружавшая его свита курсисток-народниц). Настроение было у меня хорошее и приподнятое. Мартов должен был познакомить меня со „стариками". Но тут, часа в два ночи, появились подозрительные признаки в виде шпиков. Мы наскоро спрятали собранные деньги, и публика разошлась. А на следующую ночь целый ряд „стариков", в том числе Ленин, были арестованы. Это был первый большой „провал" марксистов в Петербурге, и он произвел сильное впечатление на „общество", показав, что полиция смотрит на „активных" марксистов несколько иначе, чем Михайловский. При этом аресте захвачена была и рукопись газеты „Рабочее Дело". Тотчас после того остатки группы, с Мартовым во главе, оформились, как „Союз борьбы за освобождение рабочего класса", и изданные на мимеографе прокламации, обращенные к рабочим фабрики Лебедева на Выборгской стороне, и еще некоторых, появившихся 1-го и 2-го января 1896 г., впервые подписаны этим отныне историческим именем.

В ночь с 4-го на 5-ое января арестованы были Мартов, Ляховский и ряд других с.-д., в том числе несколько выдающихся рабочих (Бабушкин). Гофман, к которому я пришел на утро после ареста, был в полном отчаянии, считая, что все погибло. На меня же, наоборот, провалы подействовали возбуждающим образом. И, действительно, с этого времени с.-д. работа не только не заглохла, но все более расширялась, становилась, главным образом, агитационной.

В феврале вспыхнула забастовка на табачной фабрике Лаферм. Собравшуюся во дворе толпу рабочих и работниц разгоняли водой из пожарной трубы. Произошли аресты. Это вызвало брожение и на других табачных фабриках. „Союз“ выпустил прокламацию к лафермовцам и ко всем рабочим табачных фабрик, едва ли не наиболее забитому и темному слою рабочих. Прокламации мы подбрасывали у ворот фабрик, всовывали выходившим из фабрики рабочим там, где не было никаких связей. При этом не обходилось без забавных курьезов. У одного из разбрасывавших прокламации, если мне память не изменяет, у В. К. Сережникова, отвалилась привязанная борода. Другого выходившие с фабрики работницы приняли за нахального Дон-Жуана, подняли шум, чуть не избили. Впрочем, все обошлось благополучно. „Союз борьбы“ становился понемногу известным среди питерских рабочих. Листки его писались простым языком и выражали наиболее наболевшие требования и нужды рабочих. Политики они не касались, лишь изредка упоминая, что полиция на стороне хозяев.

В это же время, приблизительно в конце марта, мне удалось переполошить питерскую охранку неожиданной агитационной экспедицией в Сестрорецк. Один из моих знакомых студентов, впоследствии автор известных учебников географии, Г. И. Иванов, узнал от приезжавшего к его квартирной хозяйке сестрорецкого рабочего, что на тамошнем оружейном заводе царят ужасные порядки и что среди рабочих глухое недовольство и озлобление против главного мастера. Выспросив и записав все подробности, Иванов сообщил их мне. Мы немедленно составили агитационный листок, где предлагали сестрорецким рабочим организоваться и примкнуть к питерскому „Союзу“. Листок был тотчас же издан на мимеографе, за подписью „Союза“, разложен по конвертам, и я, вместе с Гофманом, оставив „прощальные“ письма с „завещанием“, отправились в Сестрорецк. Там мы предварительно изучили местоположение, а потом, когда стемнело, прошли по обеим сторонам главных улиц и рассовали наши конверты по завалинкам, возле колодцев, за ставнями, подчас нарочно подальше, чтобы листки попадали в руки рабочих в течение нескольких дней, все время будоража и волнуя их. Окончив свою работу, мы пожали друг другу руки, поздравили с успехом и в 2 часа ночи с последним поездом вернулись в Питер.

Мои приятели студенты, предупрежденные мною, что я отправляюсь в „опасную“ экспедицию, ждали меня на студенческом балу в немецком клубе на петербургской стороне. Увидев меня целым и невредимым, они на радостях напоили меня до положения риз.

А эффект наших листков был поразительный. Рабочие были необычайно взволнованы. В течение месяца только и разговоров было, что о „листочках“. Полдня рабочие даже бастовали. А полиция переполошилась и испугалась. На завод пригнали казаков, и долго еще по Сестрорецкой жел. дороге ловили каких-то мифических „студентов“.

Между тем за это время я перезнакомился с большинством уцелевших членов „Союза борьбы“: сестрами Невзоровыми, Зинаидой и Софьей, веселыми и жизнерадостными, в комнатку которых на Васильевском я заглядывал чаще, чем это позволяли „правила конспирации“ (за что меня не раз журили), с покойной А. Якубовой, типом подвижницы, с Инной Смидович, а также с „доверенным лицом“ Союза, его казначеем и хранителем „связей“ С. И. Радченко (тоже ныне покойным), который меня привлекал своим ясным умом, медлительным характером и добродушным хохлацким юмором; наконец, с женой его Любовью Николаевной и позже других с Ф. И. Даном. Вместе с тем

я втягивал во всякого рода техническую работу все большее число моих личных знакомых, распропагандированных мною студентов и курсисток.

Забавно было видеть, как, приходя на какую-нибудь „передаточную квартиру", обложенные со всех сторон прокламациями и сильно вследствие этого пополневшие, мы, отворачиваясь в присутствии представителей другого пола, выгружали из недр своих чуть ли не стопы свеже отпечатанной, пахнувшей краской бумаги, сразу приобретая свой естественный вид.

Особенно кипучей стала эта техническая работа пред первым мая (тогда 19-го апреля). В первый раз в Петербурге с.-д. организация выпускала массовый первомайский листок. Большой проект такого листка, где подводились итоги питерскому рабочему движению за истекшую зиму и делались определенные политические выводы,—предложил я, с тем, чтобы листок этот успел быть напечатанным в народовольческой типографии. Но владельцам типографии этот проект не понравился, и они отказались его печатать. Тогда наскоро был кем-то написан новый, более короткий листок (на четырех страницах писчего листика) и издан на мимеографе в количестве свыше 2.000 экземпляров [1]). Для того времени это было чрезвычайно много. В течение нескольких дней весь организованный мной „технический аппарат" работал, не покладая рук.

А затем наступил момент распространения. Всеми возможными способами, и через знакомых рабочих и непосредственно разбрасывая и рассовывая прокламации, мы распространили их на 40 фабриках и заводах. Таким образом „Союз борьбы" выступил впервые с широкой политической агитацией, с лозунгами политической свободы и борьбы за социализм [до сих пор, как я уже упоминал, листки „Союза" вели лишь экономическую агитацию и, по тактическим соображениям, чтобы не „отпугивать" рабочих, в вопросах политики отличались большой осторожностью; исключение составил выпущенный еще в декабре листок, написанный р а б о ч и м (И. В. Бабушкиным) и носивший название: „Что такое социалист и политический преступник?"].

Выпустив и распространив майский листок, мы ч у в с т в о в а л и, что сделали большое революционное дело. Разразившаяся спустя полтора месяца великая забастовка ткачей и прядильщиков, у которых брожение началось и не прекращалось и м е н н о п о д в л и я н и е м п е р в о м а й с к о й п р о к л а м а ц и и и ждало лишь повода, чтоб проявиться в активной форме,—эта забастовка показала наглядно и нам и всему миру, что наше чувство не обмануло нас. Но—уже в тот момент, еще до забастовки, некоторые из нас, помоложе и поэкспансивнее, свое собственное, бурное, революционное настроение и радость по поводу удачно проведенного „дела" переносили наивно на весь окружающий мир: нам казалось, что все кругом уже насыщено революционным электричеством. Помню, я шел раз с М. А. Сильвиным в один из ярких солнечных апрельских или майских вечеров по набережной Невы, и Сильвин, передавая то настроение, которое наполняло нас обоих, с глубоким убеждением сказал: в воздухе пахнет революцией, „гидра революции поднимает голову". И хотя более трезвым людям мы могли казаться смешными фантазерами, хотя спокойный чиновничий Петербург менее всего, повидимому, мог внушать такие фантазии,—история подтвердила еще раз, что очень часто правы бывают необузданные

---

[1]) Из напечатанных недавно в журнале «Творчество» воспоминаний Н. К. Крупской я узнал впервые, что этот листок был прислан из тюрьмы Лениным.

мечтатели, а не уравновешенные скептики: весну и лето 1896 г. можно считать началом новейшего революционного периода, началом подлинной предреволюционной эпохи...

III.

Увлекаемый инстинктивным революционным предчувствием, что назревают события, я забросил свои университетские дела, не сдавал экзаменов и решил это лето не уезжать на каникулы домой, а провести его в Питере. И это питерское лето, которое так любил Достоевский, с его духотой и вонью, с его постройками и ремонтом мостовых и тротуаров, и в то же время с его нервными белыми ночами и дивными закатами,—останется навсегда одним из самых ярких воспоминаний моей жизни.

Какова была в это время организация „Союза борьбы"? Я затруднился бы ответить на этот вопрос. Сам я все еще находился, как потом стали говорить, „на периферии" организации [1]). Но думаю, что никакой прочно оформленной центральной группы в то время не было, что разные вопросы агитации и организации решались от случая к случаю теми более старыми членами „Союза", которые почему-либо в данный момент оказались вместе. Так, напр., решен был вопрос о сестрорецкой прокламации и экспедиции.—Летом, когда часть членов разъехалась и в то же время начались аресты, был момент, когда в Союзе было „бабье царство", когда ответственные решения принимались 2—3 женщинами, особенно З. Невзоровой и А. Якубовой. Отдельным членам и группам организации предоставлялась во всяком случае большая инициатива и самостоятельность.

Официальное знакомство с распропагандированными рабочими я получил через Ф. И. Дана, который был вообще „моложе" меня в организации. Он свел меня с рабочим Балтийского завода Соловьевым, тогда одним из самых интеллигентных питерских рабочих, но впоследствии, после ссылки совершенно исчезнувшим с политического горизонта. Через него я потом возобновил и расширил большинство наших рабочих связей 1896—1897 г.г. Но тогда, летом 1896 г., особенно во время забастовки приходилось сплошь и рядом завязывать случайные знакомства на улице, в портерных и т. д. Особенно легко это удавалось делать на Обводном канале, возле Новой Бумагопрядильни, где толпилось по вечерам множество рабочих и куда я не раз совершал экспедиции с моим земляком, молодым членом „Союза" М. А. Лурье (впоследствии в 1903—1906 г.г., довольно видным большевиком), с которым мы в то же время в больших размерах организовали печатанье на мимеографе.

Повышенная чувствительность и нервная атмосфера во время забастовки вызывали взаимное доверие и облегчали эти случайные знакомства. И из этих встреч мы не раз узнавали о положении и настроении на той или иной фабрике, тут же записывали требования, немедленно писали прокламацию и сами же ее печатали; и лишь за „санкцией" приходилось разыскивать на дому, или на условленных „нейтральных" квартирах кого-нибудь из „старших" или „центральных" членов „Союза".

---

[1]) Здесь уместно будет отметить, что самое слово «периферия», которое приобрело такое прочное право гражданства в русском революционном жаргоне, вышло именно из ближайшего мне студенческого кружка: мы все были большие почитатели проф. Лесгафта, который на своих лекциях по анатомии очень любил употреблять слова «центр и периферия» (т.-е. окружность), и мы стали их применять на том эзоповском языке, которым мы говорим в своих студенческих комнатах, «конспирируя» от хозяек.

Вообще же обыкновенно после каждого „провала" члены организации, находившиеся на „периферии", автоматически приближались к „центру", т.-е. занимали более ответственные посты и принимали на свой страх более важные решения.

И в этом отношении историческое лето 1896 г., с его лихорадочной и необычайно широко развитой деятельностью, с его многочисленными арестами, подобно битвам в военной карьере, быстро подвинуло многих членов „Союза" по „служебной лестнице" революции.

О самой стачке ткачей и прядильщиков (тогда еще слово „текстильные" рабочие не было в употреблении) писалось довольно много, поэтому я на ней подробно останавливаться не буду. Как известно, поводом к ней (о длительном брожении, вызванном, по словам рабочих, нашим майским листком, я уже писал; и, действительно, забастовка началась именно там, где случайно наш листок был лучше всего распространен) послужила неуплата рабочим за праздничные дни по случаю коронации Николая. Но к требованию уплаты за экстраординарный прогул тотчас присоединился целый ряд местных требований, вызванных особенностями эксплоатации той или иной фабрики,—как общее требование—сокращение рабочего дня.

Забастовка началась в конце мая на фабрике Воронина в Екатерингофе, а к началу июня она уже охватила весь текстильный Петербург, т.-е. не меньше 30—35 тысяч рабочих обоего пола (даже официальное правительственное сообщение, выпущенное после забастовки, называло цифру в 25.000). Эти цифры, по тем временам ошеломляющие, быстрота распространения забастовки, однородность требований и особенно организованность, сознательность и выдержка, проявленные рабочими, все это, как громом, поразило все так называемое русское „общество". Только-что произошла в Москве страшная ходынская катастрофа. Новое царствование, как стали потом говорить в народе, „пошло по крови". И когда не замолкли еще придворные коронационные торжества и балы, ни капельки не смущенные тысячными жертвами Ходынки, а интеллигентное „общество" раболепно и позорно молчало, эта многотысячная стройная забастовка тех самых пролетариев, над которыми, как над надеждой марксистов, еще совсем недавно так весело смеялись народники всех сортов, оказалась единственным голосом, свидетельствовавшим, что в новом царствовании не все обстоит благополучно. Это был поистине первый подземный удар того грозного и страшного землетрясения, которое двадцать лет спустя поглотило романовскую династию и затем потрясло до основания весь капиталистический мир.

Неудивительно, что застигнутое врасплох правительство совершенно растерялось в первый момент, что полиция беспомощно толклась на месте, переходя от угроз к увещаниям и обратно, а то и просто не вмешиваясь в ход забастовки. Неудивительно, что весь Петербург буквально только и говорил о забастовке, явно сочувствуя рабочим и с чувством тайного уважения глядя с проезжавших мимо конок на пустые и безмолвные громады фабричных корпусов.

Ну, а мы, „юные марксисты", на этот раз не только „задирали нос", мы были буквально пьяны от радости и гордости. Это, ведь, был наш экзамен на аттестат зрелости, на право существования рабочей социал-демократической партии в России. Это было торжество марксизма, ответ, данный десятками тысяч серых питерских рабочих на пророческие писания Плеханова во мраке 80-х годов, подтверждение его уверенности и бодрости, так сверкавших с каждой страницы книги Бельтова...

Помню, раз, в начале июня, придя на Выборгскую сторону в квартиру Радченко, я застал Любовь Николаевну Радченко и Аполлинарию Якубову, кружащимися от радости по комнате в дикой пляске. Этот инстинктивный непосредственный порыв лучше всего выражал те буйные чувства, которые нас всех тогда переполняли.

Но после первого порыва радости, после первых маленьких листочков с простым перечислением требований забастовщиков, надо было приниматься за огромную, лихорадочную агитационную и организационную работу, которую принесла с собой забастовка. И работа закипела.

Она облегчалась тем, что на этот раз не мы искали рабочих, а они искали нас, жадно искали „студентов" для формулирования требований, для организационных советов и особенно для „листочков" „Союза", которые пользовались огромной популярностью. Наша популярность и доверие к нам рабочих возросли до необычайных размеров, когда на вторую неделю забастовки мы стали кой-где раздавать собранные нами деньги. Приятной неожиданностью оказалось для нас то открытие, что к началу забастовки у рабочих, совершенно независимо от нашего „Союза", уже была какая-то самочинная организация, что у них появился зародыш боевой стачечной кассы и что самая забастовка распространилась так быстро и организованно по всему Петербургу, благодаря специальным ходокам-агитаторам, посылавшимся рабочими с одной фабрики на другую. Радовались мы и проявленной рабочими сознательности в выставлении ими, в качестве главного требования, сокращения рабочего дня до $10^1/_2$ час., и тому здоровому организационному инстинкту, с каким рабочие не поддавались на полицейскую провокацию, вели себя скромно, не пьянствовали, много сидели дома.

К устной агитации в широких размерах нам, членам „Союза" интеллигентам, приходилось мало прибегать. Ее вели сами рабочие на фабричных дворах и загородных массовках. На нас лежала зато вся работа по печатной агитации. И эта работа была колоссальна.

В течение двух недель забастовки мы выпустили на мимеографе около 25 прокламаций, в том числе несколько общих ко всем ткачам и прядильщикам Петербурга и ко всем вообще питерским рабочим. Местные прокламации мы выпускали в количестве 200—800 экз., общие— до 2.000. Были дни, когда надо было напечатать и распространить целых три прокламации сразу. И тут, как нельзя более пригодился мой „мимеографический отряд". В пустой буржуазной квартире, которую занимал упоминавшийся мною М. А. Лурье (квартира принадлежала его родственникам, уехавшим на дачу), в огромном проходном дворе дома Тарасова между Фонтанкой и Загородным и недалеко от Обводного, этого главного центра забастовки, — мы установили мимеограф и работали непрерывно, нередко днем и ночью, при чем один по очереди отсыпался на диване, а трое работали. Один подымал раму и прокатывал валиком, другой вынимал отпечатанные листы, третий прокладывал их пропускной бумагой. Для более быстрой их просушки мы втроем устраивали живую пирамиду, т.-е. влезали друг на друга, для большей тяжести, и превращались в живой пресс, который топтал ногами стопы бумаги, с прослоенной между листами пропускной. Эти стопы покупались каждый раз в другом магазине, тайно проносились в форме подушек на животе и спине и так же уносились в готовом виде на „передаточную квартиру" или прямо на фабрику.

Забастовка окончилась, как известно, моральной победой рабочих. Им обещали „рассмотреть" их требования. В то же время она впервые

связала по-настоящему „Союз борьбы“ с рабочими массами и дала нам множество прочих связей. В сильной, прочувствованной прокламации „К обществу“, рассылавшейся нами по почте по ряду адресов известных либеральных писателей и общественных деятелей, мы констатировали зарождение новой могучей политической силы в России. А правительственное сообщение о забастовке вынуждено было упомянуть о прокламациях „Союза борьбы“ и сделало нас таким образом известными всей России и всему цивилизованному миру. Заседавший в то лето международный социалистический конгресс в Лондоне с восторгом приветствовал выступление на историческую арену русского пролетариата, а английские рабочие прислали денежную помощь и приветственное письмо на адрес „стачечного комитета“.

Но одновременно со всеми этими радостными фактами наступала и полицейская расплата. Начались аресты. Надо было сплачивать ряды, создавать более оформленную организацию. С другой стороны, сила „Союза“ и его популярность притягивала к нему остатки разгромленной еще зимой группы Чернышева и других групп и одиночек, работавших среди рабочих. В результате в Шувалове, под Питером созвано было большое организационное собрание всех наиболее активных с.-д. работников Петербурга. На это собрание попал и я. Из деятелей „Союза“ были уже арестованы З. Невзорова, Шестопалов, Сильвин и ряд других. На собрании были, насколько я помню, С. И. Радченко, Ф. И. Дан, а также выдвинувшийся во время забастовки своей энергией и преданностью „легальный“ молодой адвокат Бауэр, вскоре после того арестованный, отбывший ссылку в Иркутской губ. и без вести погибший в 1905 г. в Харькове, повидимому, во время декабрьского восстания. Были Тахтарев и Катин-Ярцев, из группы Чернышева— Ленгник и, кажется, Митров, впоследствии депутат 2-й Госуд. Думы. Собрание прежде всего занялось взаимной информацией. Незадолго пред тем нам прислали из Вильны первый большой транспорт заграничной с.-д. литературы, и это тоже импонировало всем „кустарям“ и одиночкам с.-д. работы, лишенным связи с заграницей. Затем выяснилось, что никаких серьезных тактических разногласий между нами и другими с.-д. группами нет. В результате решено было все существовавшие до сих пор группы слить в один „Союз борьбы“.

Это было приблизительно в июле 1896 г. На этом собрании мне сообщили, что у некоторых арестованных на допросах спрашивают обо мне. Чтобы я „своих“ шпиков не передал другим, решено было, что я должен на время уехать из Петербурга. Увы, те, что меня предупреждали и настаивали на моем отъезде, в частности Ф. И. Дан, как оказалось, были так же близки к аресту, так же на виду у охранки, как и я.

В августе произошел второй летний „провал“ Союза, на этот раз страшно разрушительный. Арестованы были Дан, Лурье, Бауэр, Ленгник и множество других интеллигентов и рабочих. Организация была разгромлена. А я, благодаря отъезду, не только уцелел, но мог работать наиболее интенсивно, интересно и разносторонне еще целых 8 месяцев. В данный момент, воспользовавшись невольным „отпуском“, я уехал в Вильну, а оттуда — на всероссийскую выставку в Нижний-Новгород, где российский капитализм справлял свой первый большой праздник и доказывал свою „зрелость“ к политической жизни, где купечество, как бы подчеркивая трусость и дряблость русской буржуазии по сравнению с первым мужественным выступлением рабочего класса, робко высказывало пред Витте свои первые политические притязания.

IV.

Когда я, в начале сентября 1896 г. вернулся в Петербург, я нашел форменную пустыню на месте так бурно кипевшей летом организации. Из всех активных работников старого „Союза“ на-лицо был только я, да еще муж и жена Радченко, стоявшие в стороне. Оставались надежды на возвращение кой-кого из студентов, не бывших летом в Петербурге, в том числе близких к Сильвину—Л. Попова и В. Сережникова, да на Якубову, уехавшую в свою Вологду. Почти полностью сохранился и мой студенческий кружок, которому в эту зиму предстояло приступить к активной работе. Из бывшей группы Чернышева уцелел, кажется, один Митров. Группа Тахтарева, к счастью, почти не пострадала. Надо было всех их разыскать, надо было возобновить связи с уцелевшими рабочими, надо было выяснить, сохранилась ли касса и наша драгоценная печать, специально заказанная мною еще весной в Вильне (в то время добыть печать организации было делом не легким—в Питере у нас связей среди резчиков не было).

Среди всех этих поисков и забот я однажды случайно встретил в театре А. Н. Потресова и страшно ему обрадовался. Потресов цел, значит, сохранились связи с Плехановым, с легальными марксистами, с питерскими литературными кругами, вообще с „обществом“. Мы с Потресовым были почти незнакомы, раз встретились на вечеринке 8-го февраля 1896 г., и он вряд ли меня помнил. Имея это в виду, чтобы преодолеть в нем естественные сомнения и недоверие к почти незнакомому студенту, я решил „взять быка за рога“ и огорошить его всяким отсутствием „конспирации“. Подойдя к нему и напомнив о нашем знакомстве, я сразу спросил его: „цела ли касса и печать, бывшие летом у Бауэра?“ (я знал, что Бауэр был его личным другом). „Жив ли Степан Иваныч?“ (Радченко) и т. д. В то же время я сказал, что имею связи с Вильной, следовательно, с транспортами заграничной литературы, что у меня сохранились кой-какие связи с рабочими и есть довольно много помощников-студентов.

После первого момента колебания А. Н. Потресов бросил всякие сомнения и так же обрадовался мне, как я ему. Оказалось, что и касса, и печать, и Степан Иваныч уцелели. Соединение наших связей дало возможность быстро восстановить организацию.

Прежде всего надо было заявить о себе и друзьям, и врагам. Надо было дать знать и рабочим, и „обществу“, и охранке, что мы живы, что „Союз“ разгромлен, но не умер и собирается удвоить, удесятерить свою работу. Нужен был, следовательно, листок. Но на какую тему? И в общей политической жизни и в рабочей среде царило глубокое затишье. Тогда мне пришло в голову, что около года тому назад, осенью 1895 г., впервые окончательно сформировалась та группа, которой предстояло стать всемирно-известной под именем „Союза борьбы“. Годовщина „Союза“—вот прекрасная тема для политической прокламации. Прокламация была написана мною, и для обсуждения ее собралась новая „центральная“ группа: Потресов, Тахтарев, я и покойный Иваньшин (впоследствии известный рабочеделец), которого я до тех пор не знал и который, впрочем, скоро не то отошел, не то уехал (его привел Потресов). После краткого редакционного обсуждения и некоторых поправок, прокламация была принята, издана, распространена и таким образом „Союз“ официально вступил в новую полосу своего существования.

Зима 1896—1897 г.г., последняя, которую я провел на свободе, интенсивностью революционной работы вознаградила меня вполне за то долгое отстранение от непосредственной пропаганды и агитации среди рабочих, которому я подвергся первое время своей студенческой жизни.

В качестве наиболее активного из „старших" членов союза (теперь я уже попал в „старшие") я сделался фактически его руководителем. Рядом со мной был первое время Тахтарев (вскоре эмигрировавший за границу — это был первый эмигрант из среды молодых с.-д.), а из „стариков" Якубова. В отдалении мы берегли С. И. Радченко, как „мужа совета", как человека, на котором лежала „благодать" первой группы „стариков". Впоследствии постоянным членом центральной группы сделался Катин-Ярцев. Изредка на заседания этой группы приходила еще одна представительница „старшего поколения" Н. К. Крупская (будущая жена Ленина), преподававшая тогда в рабочей вечерней школе за Невской заставой.

Впрочем, центральная группа (т.-е. то, что теперь называют комитетом) и тогда не было вполне оформлена организационно.

Для решения вопросов практически-местного характера агитационного и организационного, созывался обыкновенно один состав группы (то, что мы теперь назвали бы собранием ответственных организаторов или пропагандистов). Вопросы же более общие, так сказать, „высшей политики", сношения с другими городами, с заграницей, обсуждение обще-литературной агитации, — все это входило в компетенцию, если можно так выразиться, „сверх-центральной группы", состав которой менялся, но где часто важнейшие вопросы решались вдвоем С. И. Радченко и мною.

К декабрю наши связи среди рабочих не только достигли летнего уровня, но значительно превзошли его. Схема организации складывалась без всякого устава, как-то сама собой и представляла в зародыше то, что потом стало организацией по районам. Во главе каждого района стоял ответственный представитель, входивший в центральную группу, знавший всех распропагандированных рабочих своего района и раздававший небольшие кружки отдельным младшим пропагандистам. Впрочем, кружки обыкновенно держались не долго и были скорее кружками агитации, чем пропаганды: с одной стороны, одиночные аресты слишком часто разрушали начатую работу; а с другой, самое время уже не было приспособлено для спокойной, длительной пропаганды: оно становилось нервным, тревожным. Поэтому важнейшую часть нашей работы составляло завязывание все новых связей с фабриками и заводами, организация летучих кружков пропаганды и, по прежнему, издание и распространение агитационных листков, которые в этот период носили гораздо более ярко выраженную политическую окраску.

Моим собственным районом был Васильевский остров. Здесь и на Голодае у меня были отдельные знакомства и кружки на всех сколько-нибудь крупных предприятиях, особенно, конечно, на Балтийском заводе, этой тогдашней нашей „революционной цитадели", наравне с Путиловским и Обуховским. Но, кроме того, через своих василеостровцев я непрерывно заводил связи с их земляками или товарищами в целом ряде других районов и нередко подолгу оставлял их за собой: таким образом бывал я и на Обводном, и в Коломне, и на Выборгской, даже за Московской заставой.

Всякое путешествие к рабочим обставлялось большими предосторожностями. Меняя внезапно вагоны конок, вскакивая или соскакивая

на полном ходу в пустынном месте, мы избавлялись от действительных или мнимых сыщиков (слова „филер" тогда еще не знали). Я выходил обыкновенно в штатском пальто и студенческой фуражке, держа в кармане дрянную шапченку из поддельных барашков. Где нибудь в воротах или пустынном переулке, вступая в заветный „рабочий район", я быстро менял головной убор, пряча в карман смятую студенческую фуражку. При этом я поднимал воротник, глубоко засовывал свою предательскую бороду и... сам становился похожим на шпика.

На этой почве у меня даже бывали иногда приключения, которые лишь по счастливой случайности кончались для меня благополучно. Раз я, ожидая знакомого рабочего у ворот его квартиры, делал, как говорят французы, „свои сто шагов". В это время проходила толпа рабочих, обратила на меня внимание, заулюлюкала и заставила меня скрыться. В другой раз, не застав своего рабочего дома, по совету его жены я пошел дождаться его в портерной в том же доме. Портерная была полна рабочих. Я сел в углу, взял бутылку пива, бессменный „Петербургский Листок" и, держа его перед собой, не читал, а выглядывал из-за него по сторонам, чтоб не прозевать своего приятеля. После я узнал, что мое нелепое поведение чуть не кончилось для меня весьма печально: хозяин портерной, который, оказывается, сочувствовал рабочим и ненавидел полицию во всех ее видах, указал на меня некоторым теплым ребятам, и со мной уже готовились расправиться, как вдруг вошел мой рабочий, радостно приветствовал меня, поздоровался и тем рассеял нависшую надо мной грозу.

Большинство рабочих, с которыми мне лично приходилось иметь дело, представляли из себя довольно серый элемент, то, что потом стали называть „середняками".

Наиболее сознательные, наиболее интеллигентные рабочие, вышедшие из прежних кружков пропаганды, где с ними подолгу и систематически занимались, или сидели в это время в тюрьме или же отошли в сторону, не понимая новых форм движения и третируя свысока „серую" массу, от которой они далеко ушли вперед, благодаря своему образованию, и в быстрое политическое развитие которой они не верили. Это были духовные „белоручки" среди рабочих, им скучно было возиться с листками, подымать возню „из-за пятака", „из-за кипятку" и т. п. Одним из немногих исключений среди таких рабочих был упомянутый выше Соловьев; но и он был мало активен, его приходилось толкать. Тем не менее, когда у нас стал вопрос о включении, или, как потом стали говорить, „кооптировании" в центральную группу кого либо из рабочих, мы могли остановить свой выбор лишь на том же Соловьеве.

Зато среди „середняков" попадались настоящие самородки: живые, активные, прирожденные агитаторы и организаторы. Массовики, с которыми нам приходилось иметь дело, огорчали нас своим отношением к „Союзу борьбы": они смотрели на него, как на какую-то благотворительную организацию, которая почему-то желает добра рабочим; и мне стоило много труда убедить таких рабочих, что „Союз" — это они сами, это совокупность всех сознательных рабочих Питера. Впрочем, их недоверие к этому объяснению имело основание, ибо „Союз борьбы" был тогда в самом деле не организацией рабочих, а организацией для рабочих, организацией с.-д. интеллигентов.

Отношение большинства наших рабочих к нам, интеллигентам, было восторженно-благодарственное. Мы для них были все же добрые господа. Но среди некоторых из них, наоборот, проглядывал скептицизм и недоверие к этой интеллигенции, доходившие порой до скры-

той враждебности. Особенно врезался мне в память один чернорабочий Балтийского завода, у которого я часто бывал (жена его работала на табачной фабрике Лаферм, и я убивал двух зайцев). Это был оригинальный тип, очень мало начитанный, но мысливший самостоятельно и поражавший меня часто своими меткими и язвительными суждениями. Он брал от интеллигента все, что мог, но относился к нему с холодком и с недоверием к его революционности. Помню, раз я ему читал или рассказывал биографию Лассаля, и единственное, на что он обратил внимание, что его задело в этой биографии, это, что Лассаль, по его словам, „вел развратную жизнь". Ему хотелось унизить Лассаля в своих глазах, хотелось указать на противоречие между его идеалами и личной жизнью. Позже, когда мы оба сидели в тюрьме, этот рабочий (я, к сожалению, забыл, как его звали) неожиданно переслал мне „через волю" обширное послание, где с горечью писал об интеллигенции, как о людях, которые на спинах рабочих хотят добиться политической свободы в своих личных или групповых интересах. Словом, развивал в зародыше ту теорию, которая появилась несколько лет спустя в обработанном виде у Махайского. Между прочим, в этом своем обвинительном акте он указывал на то, что мы, интеллигенты, ходили к рабочим на квартиры и требовали к себе доверия, тогда как сами не доверяли рабочим, скрывая свою настоящую фамилию и не приглашая к себе на квартиру.

Были случаи, когда, под влиянием таких размышлений, а отчасти провокаторских науськиваний жандармов, рабочие в тюрьме приходили к убеждению, что все интеллигенты—предатели, и, встречаясь с ними после одиночки в пересыльной тюрьме, эти рабочие первое время угрюмо от них отворачивались. Такой случай произошел с видным питерским рабочим Шаповалом, на которого страшно сильное впечатление произвела в предварилке книга Вермореля „Деятели 1848 г.", где страстно бичуются измены и предательства интеллигентов, вождей демократической партии. Товарищам (Лурье, Ленгнику, Сильвину и другим) стоило больших усилий рассеять в нем его мрачные мысли.

Но мне тогда были приятнее рабочие с **таким** уклоном мысли и такой подозрительностью, чем большинство, смотревшее на интеллигентов чуть ли не с благоговением, как на высшие существа: в скептицизме и подозрительности первых я видел зерно здорового классового недоверия, которое получило лишь неправильное развитие. Я охотно развивал пред рабочими ту мысль, что задача марксистской интеллигенции сделать себя ненужной, самоупраздниться, т.-е. поднять рабочих до такой высоты, чтобы они больше не нуждались в учителях, советчиках и организаторах из интеллигенции.

В описываемую мною эпоху это, впрочем, оставалось еще недосягаемым идеалом. Наоборот, несмотря на непрерывный рост наших связей на фабриках и заводах, число интеллигентов, главным образом, студентов и курсисток в „периферии" Союза, по всей вероятности, все еще превосходило число организованных в кружки рабочих, и многие из этих интеллигентов подолгу ожидали возможности осуществить свое заветное желание—получить рабочий кружок.

Из имен, которые мне приходят на память, назову Надежду и Лидию Цедербаум (сестер Мартова), Н. Баранскую, Конкордию Захарову, Е. Тулинову (впоследствии жену Потресова), далее, уже упоминавшихся мною Неустроевых, Богданова, Лохова (который потом одно время был довольно видным „рабочедельцем"), Садикова, ушедшего с головой после моего ареста в чистую науку, Солодилова, Скорнякова; был еще длинный ряд студентов и курсисток, работавших на мимео-

графе, разносивших прокламации, исполнявших роль почтальонов, дававших свои квартиры для собраний, — имена которых в данный момент ускользнули из моей памяти. Незадолго до моего ареста в нашей „периферии", в качестве пропагандиста, появился Бауман, позднее известный искровец, убитый в Москве черносотенцами в октябре 1905 г. по выходе из тюрьмы, а также — не то, как член „Союза", не то как посредник в наших сношениях с вновь появившейся группой, зародышем будущих соц.-революционеров — известный Акимов-Махновец.

Много было у „Союза" и „сочувствующих" из среды „общества": адвокатов, врачей, писателей. Из последних назову покойного Гарина, с которым я познакомился еще в конце 1895 г. и который охотно давал деньги в пользу „Союза", а также Вересаева, которого я в лицо не знаю до сих пор, но на квартире которого в его отсутствие я бывал не раз, так как там собиралась, в особо важных случаях, наша „сверхцентральная" группа.

V.

Зимой 1896—1897 г.г. приехали в Петербург и пробыли там довольно долго основатели и руководители виленской группы с.-д. и всего еврейского рабочего движения Литвы и Белоруссии, организовавшегося летом 1897 г. в „Бунд", — мои старые знакомые и отчасти учителя — Кремер и Средницкая. Я свел их с Потресовым, Л. Н. Радченко и Якубовой. Это была первая, после годового перерыва, официальная встреча питерского „Союза" с другой важнейшей и старейшей в России с.-д. организацией. В то же приблизительно время, в январе мы получили в первый раз за все время существования „Союза" письмо от Плеханова. Привез его прямо из Женевы некий Гуревич, впоследствии широко известный в Западном крае как тов. Негоев, а в эмиграции после 1905 г. как тов. Буров, ближайший соратник Г. Чичерина по меньшевистскому заграничному бюро.

Письмо Плеханова представляло исписанный вдоль и поперек листик почтовой бумаги и почти сплошь состояло из жалоб на Тахтарева, который выдавал себя заграницей за уполномоченного „Союза" и занимался, по мнению Плеханова, несуразной примиренческой политикой, пытаясь слить все заграничные группы, до народнических включительно. Это послание было для нас, „центровиков" Союза, целым событием, как непосредственное обращение к нам „самого" Плеханова, хотя мне лично тут же впервые бросилось в глаза несоответствие между Плехановым — теоретиком и идейным вождем, и тем несколько мелочным человеком, каким он себя выказывал во внутри-партийной политике.

А у нас, между тем, в самом Союзе назревали первые тактические и организационные разногласия, зародыши всех грядущих фракционных споров и расколов, которые Плеханов, может быть, почувствовал в лице Тахтарева. Часть нашей центральной группы (Катин-Ярцев и Якубова, а раньше и Тахтарев), недовольные нашим „централизмом" и тем, что они называли „опеканием рабочих", высказывались за большее привлечение рабочих к активной и руководящей работе. При этом они иногда доходили до крайних увлечений, утверждая, напр., что лучше п л о х а я п р о к л а м а ц и я, н а п и с а н н а я р а б о ч и м, чем хорошая, но сочиненная интеллигентом. Они требовали создания особой центральной группы из одних рабочих, без одобрения которой не предпринимался бы ни один ответственный шаг „Союза". Более широкие круги распропагандированных рабочих предполагалось объеди-

нить тоже в особую организацию при помощи специальной „кассы", устав которой вырабатывался Катиным-Ярцевым.

К этим организационным новшествам, из которых вырос будущий „экономизм" и „рабочемысленство" (напомним, что во главе „Рабочей Мысли" 1901—1902 г. стояли именно Тахтарев и ставшая его женой после побега из ссылки за границу Якубова), я относился скептически, так как видел их искусственность в тогдашних условиях и, может быть, даже бессознательную демагогию.

Но в них, тем не менее, было много здорового. Мы, ведь, не только мало-развитых рабочих, но даже близких к нам интеллигентов-пропагандистов никогда не посвящали в важнейшие дела „центра", и это продолжалось еще год после моего ареста, когда выборы на первый съезд партии были произведены 3—4 лицами, ближайшими к С. И. Радченко, а вся „периферия", по „конспиративным" соображениям, о съезде и не подозревала.

Этот наш внутренний спор вскоре сделался предметом оживленной дискуссии при нашем свидании со „стариками", основателями „Союза", о чем ниже. Пока же они не мешали нашей агитационной и организационной работе, которая протекала прямо лихорадочным темпом. В начале января часть текстильных рабочих, раздраженная той медленностью, с которой „рассматривают" их летние требования, снова объявила забастовку. На этот раз, под влиянием нашей агитации, к текстильщикам из сочувствия примкнули некоторые крупнейшие металлические заводы, как Александровский чугунный, Невский, отчасти Путиловский. Забастовка не привела ни к каким непосредственным, реальным результатам. Но она наглядно показала рост общеклассовой, а не только профессиональной солидарности питерских рабочих, и это одно было огромной моральной победой. Разумеется, забастовка эта еще более усилила нашу агитацию, выразившуюся в ряде листков.

В это время нам пришлось даже выйти за пределы Петербурга. В Костроме вспыхнула забастовка на ткацкой фабрике Зотовых. Рабочие держались уже вторую неделю с большой стойкостью, хотя уже начинали голодать. Тогда мы послали костромским рабочим, через посредство местных интеллигентов, немного денег и приветственный листок от имени питерского „Союза". С этой почетной и „опасной" миссией я отправил в Кострому мою молоденькую приятельницу О. В. Неустроеву, для которой это было своего рода „боевым крещением" в ее будущей с.-д. работе. Наша прокламация и присланные нами деньги произвели в Костроме эффект необычайный. Забастовка окончилась частичной победой.

Усиление нашей деятельности снова поставило на ноги полицию. В декабре был арестован Потресов, и у него на квартире был взят Туган-Барановский (тотчас, впрочем, отпущенный), а также подававший большие надежды, в качестве молодого члена „Союза", интеллигентный солдатик, О. Иванов, о дальнейшей судьбе которого я не знаю. Помню его псевдоним „Манин", взятый им в честь знаменитого венецианского революционера.

В начале января, по возвращении из Вильны, куда я съездил на несколько дней и откуда привез большую корзину заграничной литературы, случайно во время обыска у арестованного Скорнякова был захвачен и я вместе с А. В. Неустроевым. Нас продержали в охранке несколько часов, пугали продолжительным арестом, но после безрезультатного обыска на квартире (по счастью, я накануне успел опорожнить привезенную мною корзину) отпустили ночью. При личном обыске мне удалось почти на глазах у охранников спрятать экзем-

пляр только что выпущенного нами листка, еще неизвестного охранке. В юмористических стихах, сочиненных тут же на Гороховой, под замком, в ожидании своей участи, я подробно описывал этот арест и обыск и рассказывал, как

Долго няньчились со мной
Дворники—три грации.
Не нашли лишь за спиной
Смятой прокламации...

После ареста Потресова, который был автором прекрасного распространенного нами листка—„Ответ английским рабочим" на их приветствие и денежную помощь забастовщикам, мне пришлось стать единственным „литератором" „Союза борьбы". Если не ошибаюсь, все прокламации, выпущенные за этот период, вплоть до моего ареста были написаны мною. Исключение составил лишь доставленный нам из тюрьмы и изданный нами язвительный ответ Ленина на циркуляр Витте фабричным инспекторам, где Витте говорил об опасностях „социального движения". Кроме прокламаций, нами был выпущен, в январе или феврале, первый номер газеты „Петербургский рабочий листок" (на восьми больших страницах, на мимеографе, в 300—400 экз.). Он содержал ряд статей общеполитического содержания, а также посвященных зимним забастовкам и несколько корреспонденций и весь, от первой строки до последней, был написан мною, вплоть до корреспонденций с заводов, которые составлялись мною „со слов рабочих".

В марте был мною же составлен 2-й номер, где, помню, была большая статья „Три дня", посвященная 19-му февраля, 1-му марта и 1-му мая. Но этот номер уже не был издан в Петербурге, а послан за границу и, в несколько переработанном виде, напечатан уже после моего ареста.

Большим событием в жизни „Союза" и в моей личной было наше свидание со „стариками" в начале 1897 г. (кажется, в феврале). Перед тем, как отправить их в ссылку, на 3 года в Вост. Сибирь, их выпустили из тюрьмы и разрешили им три дня пробыть в Петербурге; „для устройства своих дел". И вот два вечера под-ряд собирались они на квартире у Цедербаумов, где я делал им доклад о деятельности „молодого" Союза и где мы обсуждали целый ряд вопросов тактического и организационного характера.

Кроме Мартова, там были Ленин, Кржижановский, Старков, Малченко, Запорожец, Ванеев и Ляховский, а также один или два рабочих,—все арестованные год с лишним назад, во время первых провалов „Союза". Кроме меня, от работавших „на воле" товарищей была представлена на собраниях только А. Якубова.

В своем докладе я указал на назревающие в „Союзе" разногласия, на уклон в сторону специфического „демократизма" и „рабочефильства", и эти именно вопросы вызвали наибольшее обсуждение и даже страстность. Ленин, главный оратор „стариков", обрушился на эти „новшества" самым резким и решительным образом, и тогда уже сказались полностью все особенности его характера и мышления: уверенность в своей правоте, с одной стороны, и вера в революционно-теоретическую непогрешимость самопополняющейся группы „профессиональных революционеров", которую он назвал зародышем будущей партии,—с другой. Ленин был против каких бы то ни было самостоятельных рабочих организаций, как таковых, против предоставления рабочим какого-либо специального контроля и т. д. Он говорил: „если

у вас есть сознательные и заслуживающие доверия отдельные рабочие, введите их в центральную группу, вот и все. Больше никакой особой „рабочей политики“ не нужно“[1]).

Ленин произвел на меня тогда очень сильное впечатление, которое не изглаживалось много лет, и я был чрезвычайно рад, что мои собственные организационные взгляды совпадают с убеждениями „стариков“. На этих же собраниях шла речь о возможном соглашении или объединении с той зародышевой группой с.-р-ов, о которой я выше упоминал. Ленин выработал текст соглашения (это была целая статья!) и тогда же проявил тот деловой оппортунизм, в форме уважения к чужой силе, который так характерен для него. „Раз у них есть типография,—говорил он,—то они многое могут диктовать нам, и мы на многое должны соглашаться“.

Но вот „старики“ уехали в ссылку, и наша жизнь снова вошла в колею. На очереди стоял вопрос огромной важности: созывался съезд разных с.-д. организаций для взаимной информации, установления прочных связей, выработки общей тактики и официального основания партии. Инициатива этого шага исходила от киевской с.-д. группы, которая уже не раз, еще с весны 1896 г., пыталась войти с нами в сношения и теперь прислала окончательное приглашение на съезд в Киев, если не ошибаюсь, в первой половине марта.

В конце 1896 г. киевская группа выпустила № 1 гектографированной газетки „Вперед“, которая произвела на нас очень хорошее впечатление. Киевлянами же была написана, изданная за границей и широко нами распространенная прекрасная агитационная брошюрка „Как министры заботятся о рабочих“. Поэтому мы с готовностью приняли их предложение.

В квартире Вересаева в Боткинской барачной больнице созвано было собрание центральной группы для выбора делегата на съезд. „Периферия“ теперь, как и через год, перед действительным первым съездом партии, ни о чем не знала. На собрании, кроме меня присутствовали: С. И. Радченко, А. Якубова, Катин-Ярцев, Митров, Л. Попов и, кажется, Крупская. Почти единогласно выбрали меня. Даже Якубова, которой, по организационным взглядам, был ближе Катин-Ярцев, после минутного колебания, голосовала за меня (голосование было открытое). Инструкций и наказов мне никаких не было дано, и мне предоставлена была самая широкая свобода действий и суждений.

Приехав в Киев и попав на „конспиративную явку“ к покойному Ангелову-Стоянову, я прежде всего предупредил его, что к московскому делегату надо отнестись с большой осторожностью, так как, по полученным пред моим отъездом сведениям, в московской с.-д. организации появилась провокация. Тотчас после моих слов появился и москвич, молодой студент с огромной бородой, с которым я вместе ехал в одном поезде (я ехал через Москву). Ангелов-Стоянов страшно смутился и назвал меня „делегатом с юга“.

В частной беседе с киевлянами мы решили объявить москвичу, что съезд расстраивается и, после получения от него информации о московских делах, отпустить его с миром. Кроме того, оказалось, что виленцы не получили приглашения и не приехали. Таким образом

[1]) Пять лет спустя Ленин сам рассказал этот эпизод в своем знаменитом «Что делать?». Но там он спутал меня с Якубовой (не называя имен), так как естественно думал, что «молодой» член Союза, каким был я, должен стоять за еретические новшества. В феврале 1903 г., когда я был в Лондоне, Ленин, по моему указанию, восстановил истину в одном из номеров «Искры».

съехались всего Питер, две киевских группы и представитель Екатеринослава. Вместо съезда мы ограничились конференцией [1]). Жил я на Подоле у зубного врача Померанц (впоследствии жена Перазича, который был арестован и сослан в Якутку под видом еврейского портного Солодухо). „Квартирмейстером“ был „великий конспиратор“, типичный профессиональный революционер Б. Эйдельман (со времени „Народной Воли“ об этом типе почти забыли, и он тогда лишь начал вновь складываться).

Официальными делегатами конференции, кроме меня, были Вигдорчик (потом ставший специалистом по социальному страхованию), поляк Полонский (от киевской польской с.-д. группы) и Петрусевич.

Мы много говорили о перспективах с.-д. движения, о программе и тактике, о будущем съезде. Для идейной и организационной подготовки его мы постановили, что все существовавшие в то время группы и организации с.-д. в России, должны, впредь до съезда, называться, по примеру Питера, „Союзами борьбы за освобождение рабочего класса“, а также, что киевлянами будет организована общерусская с.-д. газета, которую мы тогда же, по моему предложению, окрестили просто „Рабочей Газетой“. Оба эти предложения были, как известно, проведены в жизнь. Составление программы будущей партии мы, помнится, постановили поручить Плеханову.

Я возвращался в Петербург в приподнятом настроении и довольный результатами конференции, но с тревожными предчувствиями относительно самого Питера. Дело в том, что еще до моего отъезда в Киев в Петербурге произошла известная Ветровская демонстрация (по поводу загадочной смерти курсистки Ветровой, сжегшей себя в Петропавловской крепости),первая студенческая демонстрация 90-х годов.

Хотя члены „Союза“, по общему решению, в демонстрации не участвовали, чтобы не попасть на глаза полиции преждевременно, тем не менее, поставленная на ноги и взбудораженная полиция могла воспользоваться случаем, для очередной „ликвидации“.

Поэтому, приехав в Питер, я, не заходя домой, пошел к одной из наших „периферийных“ девиц Н. Баранской (сестре Л. Н. Радченко), чтобы разузнать о положении дел. Предчувствия меня не обманули: накануне моего приезда, 18-го марта, произошел громадный провал „Союза“: взяты Якубова, Катин-Ярцев, Митров, вообще центральная группа разгромлена. Тогда я, будучи в полной уверенности, что полиция искала и меня и оставила в квартире засаду (уезжая, я сказал хозяйке, что еду к знакомым в Лесной, и просил меня не выписывать), в тот же вечер устроил свидание с С. И. Радченко, уцелевшим и на этот раз, наскоро рассказал ему о результатах конференции, простился, расцеловался с ним и... покорно отправился домой, чтобы отдаться в руки полиции. Характерно для тогдашних нравов, что ни мне, ни ему не пришла в голову мысль о том, чтобы скрыться, „перейти на нелегальное положение“. Этот „институт“ возник у с.-д. значительно позже.

К великому моему удивлению и радости, меня на квартире никто не только не ждал, но никто обо мне и не справлялся. Меня, очевидно, оставили на „разводку“...

---

[1]) Она описана подробно в «Историческом сборнике» 1907 г., в статье «К истории возникновения Р. С.-Д. Р. П.». Автор ее—Б. Эйдельман.

Я оставался один или почти один во главе „Союза". Работы было много, а дни мои были явно сочтены, и надо было торопиться, надо было лихорадочно работать, чтоб удовлетворить запросам дня и оставить после себя сколько-нибудь налаженную организацию. И последний месяц моей революционной работы был наиболее интенсивным.

Надо было готовиться к 1-му мая, и на этот раз, во что бы то ни стало, издать листок типографским способом. Листок был написан мною (он, кажется, цитируется у Махновца в статье о 1-м мая в России, в „Былом", 1906 или 1907 г.г.) и издан сперва на мимеографе, а потом на одном самодельном, кустарном печатном станке и распространен в большом количестве. Рабочие текстильщики все время глухо волновались. На Новой Бумагопрядильне это волнение вылилось в забастовку, жестоко усмиренную. На фабричном дворе толпу рабочих казаки избили нагайками, несколько сот человек были высланы из Петербурга. По этому поводу мы снова выпустили написанный мною листок, где говорилось, что эти массовые высылки—вода на нашу мельницу, что высланные рабочие разнесут свою классовую злобу и ненависть к правительству во все закоулки России.

В средине апреля на всех прядильных и ткацких фабриках было расклеено объявление фабричного инспектора, определенно обещавшее сокращение рабочего дня. Оно показало рабочим их силу и еще увеличило брожение.

Все это непрерывно расширяло наши связи, вызывало необходимость все новых и новых агитационных и организационных свиданий с текстильщиками, что не мешало мне посещать по-прежнему мои кружки металлистов на Васильевском Острове.

На Пасхе я уехал на несколько дней в Вильну—в последний раз повидать родных и старых виленских друзей. Там я застал всех в тревоге, так как на рабочей вечеринке был арестован мой брат Леон, рабочий слесарь, организовывавший тогда еврейских рабочих в Варшаве и тоже на время приехавший в Вильну. Меня встретили на вокзале с предупреждением об этом. Но все обошлось благополучно, брата выпустили, и я еще успел повидаться с ним и проститься пред своим неизбежным арестом.

И, действительно, вернувшись в Петербург, я пробыл на свободе всего несколько дней. В то время, по случаю теплой весенней погоды, мы назначали рабочим свидания за городом, на кладбищах и т. п. В одно из таких свиданий на Волковом кладбище, куда пришло человек 5 рабочих, в том числе 3 незнакомых, которых привели в первый раз, я увидел издали уже знакомого мне по моему случайному аресту чиновника охранного отделения Квицинского.

Он был на кладбище, очевидно, случайно, так как шел под руку с дамой и, повидимому, явился поклониться праху предков. Но я инстинктивно почувствовал, что и он меня узнал. Поэтому я предупредил ожидавших меня рабочих, передал им листки и проект устава нелегальной политической кассы, и мы разошлись. Как я узнал позже, при выходе с кладбища Квицинский задержал одного из рабочих, у которого оказалась литература. Тот указал на меня. Я же прямо с кладбища отправился на Остров к своим приятелям Неустроеву и Богданову, простился с ними, сделал последние распоряжения по организации, условился насчет переписки из тюрьмы, занял целковый на обед, так как у меня не было ни копейки, и отправился домой. В ту же ночь, накануне 1-го мая нового стиля, меня арестовали и вместе со мной—около ста наиболее активных рабочих в разных районах города...

За мной захлопнулись тяжелые двери одиночки, и я на долгие годы был оторван от активной с.-д. работы.

Но не оторван я был от марксизма. Тогда в предварилку свободно передавали книги, свежие журналы и даже еженедельники. Из журнала „Неделя" я узнал о законе 2-го июня 1897 г. о сокращении рабочего дня и в буйном торжестве написал на полях: „Ура, наша взяла!". При обыске в камере этот номер был взят и „приобщен к делу".

В предварилке же я был свидетелем нового бурного расцвета и победоносного шествия легального марксизма, которому на этот раз удалось соединить легальность с революционностью.

Еще до моего ареста начала выходить в Самаре легальная ежедневная марксистская газета „Самарский Вестник", где писали Маслов, Санин и ряд других провинциальных марксистов. От нее несколько отдавало для нас, питерцев, наивным провинциализмом и доктринерством. Тем не менее, каждый ее номер был праздником для нас, и при аресте у меня забрали целый комплект этой газеты.

А с марта 1897 г. влачивший жалкое существование орган правых народников, с В. В. в качестве руководителя, „Новое Слово" перешел в руки марксистов и во время своего восьмимесячного существования играл роль марксистского „Современника" или „Отечественных Записок". Каждая книга его вызывала в тюрьме порывы глубокой и острой радости, а его закрытие мы все восприняли, как смерть самого близкого и дорогого существа.

Литературным воспоминанием моих личных переживаний в эту эпоху является написанное мною в тюрьме и ходившее по рукам в Питере в конце 1897 г. шуточное стихотворение „Спор" (пародия на Лермонтова):

Как-то раз, пред годом новым,
Средь журнальных ссор
У „Богатства" с „Новым Словом"
Был великий спор.
„Держись,—молвил старичине
Молодой журнал,—
Твоему господству ныне,
Знать, конец настал.
С каждым месяцем выходишь
Ты тощей, скучней
И тоску только наводишь
На живых людей.
И не диво: не в порядке
У тебя чердак.
Идеал твой кисло-сладкий
Выцвел, ум иссяк.
Твои общины и артели,
Твои кустари
Всем до смерти надоели...
Так ты, брат, смотри:
Вдруг, из „царства идеала"
Прорубивши дверь,
От тебя читатель драло
Учинит, mon cher".
„Не страшны твои угрозы,—
Отвечал старик,—
Мой читатель любит грезы
И ко мне привык.
Посмотри: терзая уши,
Воют и ревут
Все московские кликуши,
И их вождь Грингмут!
И, вывая о порядке
Для врагов своих,

Хрипло лает „Вестник Русский"
К радости купчих.
Клика вся лишь забавляет,
Вовсе не страшна.
Нет, не им, мой друг, внимает
Русская страна.
Дальше: держатся „устои",
„Дух общинный"—свеж.
Если ж где и есть порою,
Кой-какая брешь,—
Стоит только Воронцову
Новый издать „труд".
Кустари, артели снова
Пышно расцветут.
Нет, средь умственной пустыни,
Средь лгунов, глупцов,
Я один стою отныне
С знаменем „отцов".
„Не хвались с таким, брат, форсом,
Попадешь впросак:
У тебя под самым носом
Грозный вырос враг".
Тайно был старик маститый
Вестью той смущен,
И, продрав глаза, сердито
Оглянулся он.
Видит—новые картины
Перед ним везде,
И родные Палестины
Те же, да не те.
От Варшавы до Китая—
О, ужасный вид!—
Все мощною попирая,
Капитал царит.
Грохот фабрик, дух горячки,
Дух наживы злой.
Все Обломовки от спячки
Будит вековой.
Паровозы рассекают
Дебрей глушь и дичь
И повсюду подымают
Новой жизни клич.
Так „устои вековые"
Рушатся, трещат...
Им на смену молодые
Всходы уж глядят.
И, воспрянув на могилы
На последний бой,
Молодые ведут силы
Старый вождь седой.
Все, на чем печать таланта,
Веры в жизнь лежит,
К своему вождю-гиганту
С радостью спешит.
Долго в ужасе на диво
Смотрит наш старик,
И прильпе от дум тоскливых
У него язык.
Глубоко перекрестившись,
Повернул он тыл
И, с читателем простившись,
Лавочку закрыл.

Правда, марксистская „лавочка“ была первая закрыта насильственной рукой. Но идейно, в смысле влияния на молодое поколение интеллигенции, песенка Михайловского была спета. Недаром передавали острое словцо, сказанное им самим 6-го дек. 1897 г., в день его именин,— когда к нему в прежние годы приходили с поздравлениями депутации от всех высших учебных заведений: „До сих пор ко мне являлись в этот день все студенты, кроме путейцев [1]). А в этом году—никто... кроме путейцев!“

Б. И. Горев (Гольдман).

---

[1]) Путейцы славились, как наиболее реакционная часть студенчества.

Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина [1]).

(Окончание.)

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сибирь.

Мы уже знаем, что Муравьев оказал Бакунину ряд больших услуг. Он помог ему сломить упорство Квятковского, вырвал его из неблагоприятных условий жизни в Западной Сибири, хлопотал о полном помиловании Бакунина, как своего родственника. В первом ходатайстве, как мы знаем, ему было отказано. 14 ноября 1860 г. он вторично обратился к Долгорукову с той же просьбой. Письмо это, адресованное шефу жандармов, мы приводим здесь, исключая из него места, не имеющие к нашей теме прямого отношения:

„Милостивый Государь
Князь Василий Андреевич!

„Давно мне писал Г. М. Корсаков о желании Вашего Сиятельства, чтобы для Завалишина сделано было, что возможно по его просьбам, а вчера я имел честь получить Ваше письмо от 6-го сентября с запиской о его желаниях, но, к сожалению, и до сих пор я ничего для него не могу ни сделать, ни ходатайствовать, потому, что он ни об чем меня не просит, а в Высочайше утвержденном положении Сибирского Комитета, о котором изволите упоминать в письме Вашем, сказано: „предоставить В. С., если Вы, М. Г., с своей стороны изволите признать, что Завалишин действительно оказал какие-либо особые правительству услуги, войти с представлением в Сибирский Комитет о предоставлении Завалишину и то не иначе, как по его просьбе, каких-либо, по ближайшему Вашему усмотрению, облегчений относительно выдачи данной на дом и место, принадлежащее Завалишину в Чите, если только предоставление подобных облегчений не будет зависеть от власти самого генерал-губернатора".

Разумеется, что и при прошении Завалишина встретится затруднение к исполнению в точности этого положения комитета, ибо, по мнению моему, он никогда не оказал правительству никаких услуг,

---

[1]) См. «Красная Новь», № 2.

кроме вреда, но по крайней мере, если он подаст мне просьбу, то я могу ее представить в комитет без всякого моего мнения о его заслугах, ибо, при всем желании сделать вам угодное, я не могу говорить против совести и убеждения...

„Позвольте мне при этом случае повторить мою просьбу о помиловании Бакунина, я так много уже говорил лично Вашему Сиятельству об нем, что повторять о причинах моей просьбы не буду, но скажу только к прежнему и то, что Бакунин один может быть не пишет никому ложных доносов или дерзких просьб, которых, по моему мнению, высшее правительство терпеть не должно и которые ни в каком случае не составляют услуги Правительству.

С истинным уважением и совершенною преданностию
имею честь быть Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Г. Николай Муравьев-Амурский."

10-го октября 1860 г.
Г. Иркутск.

Письмо это было доложено царю, который повелел „на счет Бакунина повременить". Но дело не в этом. Письмо Муравьева ясно намекает на различие, которое проводил он между Завалишиным и ему подобными „политическими преступниками"—и Михаилом Бакуниным. Те отчаянно боролись с произволом местной администрации и, что называется, на мозоли себе наступать не позволяли. Они протестовали против начальственных излишеств и недомыслия, боролись личными выступлениями и посредством печати, не останавливаясь перед апелляцией к высшим органам власти—до министерств и сената включительно, обращаясь в суд, если было нужно. Все это вместе взятое давало повод Муравьеву с высоты его генерал-губернаторского усмотрения считать такую деятельность Завалишина, Петрашевского и других вредной для государства. Завалишин де „не оказал правительству никаких услуг, кроме вреда". Другое дело—Бакунин. Он противопоставляется Завалишину как образец гражданина, весьма полезного правительству. Были ли какие-нибудь основания у Муравьева для этого противопоставления?

VI.

Когда Бакунин появился в Иркутске, здесь наметилось разделение общества на два стана. В одном находился сам диктатор Восточной Сибири, окруженный приезжими молодыми людьми, преимущественно из лицеистов и правоведов, смотревших на поселенцев, как передает в своих воспоминаниях Н. А. Белоголовый, с явным и высокомерным пренебрежением, а на свою службу в Сибири, как на временный этап своей служебной карьеры. В другом оказались представители местного общества, „относившиеся недружелюбно к приближенным Муравьева, далеко не умевшим держать себя с должным тактом".

„Отношение между этими двумя партиями, туземной и „навозной", как ее тогда называли в Сибири, были и прежде, как покоренных к победителям, а с пробуждением общественного сознания, с восшествием на престол Александра II, стали делаться еще более натянутыми, тем более, что к этому времени между туземцами появилось много людей с университетским образованием"[1]).

---

[1]) Н. А. Белоголовый, Воспоминания, цитиров изд, стр. 621.

Выдающуюся роль в этом „общественном" стане играл Петрашевский.

С первых же дней своего появления в Иркутске, Бакунин вступил в партию генерал-губернатора. Как родственник, он сделался в доме его своим человеком, дневал у Муравьева и ночевал. Проводя целые вечера в беседах, они строили общие планы на будущее, поверяя друг другу свои сокровенные мысли. Близостью к Муравьеву Бакунин восстановил против себя иркутскую молодежь и вместе с ней ту часть общества, которая имела основание считать себя более передовой по сравнению с группой столичных карьеристов, окружавших Муравьева. Письма, которые посылали Белоголовому его знакомые из Иркутска, весьма определенно говорят об этом. „Занятие такой позиции,—добавляет Белоголовый,—так категорически противоречило всей репутации и предшествовавшей деятельности знаменитого агитатора, что ставило всех в тупик" [1]).

Автор этих воспоминаний пытается объяснить столь неожиданное поведение „знаменитого агитатора" тем, что ссыльный племянник был с родственным радушием встречен сановным дядей, потому-то и сделался интимным членом его кружка.

„К тому же,—добавляет он,—вся эта борьба двух элементов, пришлого и туземного, вращавшаяся в узкой среде провинциальных интересов, не могла интересовать его, коновода общечеловеческой революции, и, вероятно, являлась ему с высоты орлиного полета слишком мелкой и ничем не отличавшейся от обычных сплетен и дрязг провинциальной жизни. А может быть, работая уже в голове над планом своего бегства из Сибири через Америку, которое он и привел в исполнение в лето того же 1861 г., Бакунин хотел для более верного обеспечения себе успеха завоевать благорасположение как Муравьева, так и властных его фаворитов" [2]).

Воспоминания свои Белоголовый писал уже после смерти Бакунина. В них чувствуется отраженный свет деятельности „знаменитого агитатора" после-сибирского периода. Мы теперь можем сказать с некоторым основанием, что предположения автора воспоминаний насчет „орлиного полета" Бакунина в 1859—1860 г.г. мало основательны. В эти годы Бакунин еще не помышлял о роли „коновода общечеловеческой революции", а пражские и дрезденские настроения порядочно стерлись в его памяти. Не работал он в то время также над планом побега из Сибири—мы ниже приведем наши соображения на этот счет. Поэтому нет основания умозаключить, будто его близость к Муравьеву, компрометирующее поведение его в эпоху иркутской жизни были лишь ловкими ходами решительного и тонкого политика.

Бакунин в самом деле очарован был талантами и либерализмом своего дяди. Растеряв свои былые революционные увлечения, поставив временно, к счастью, крест над своим революционным прошлым—он совершенно искренно увлекся и муравьевским диктаторством, размашистыми планами и всей его колонизаторской деятельностью, оправдывая его целиком со всеми хорошими и дурными сторонами. Нам станет ясным это, если мы бегло коснемся отношений, которые установились между Муравьевым и Бакуниным—с одной стороны, Бакуниным и Петрашевским—с другой.

В известном письме своем Герцену из Иркутска от 7 ноября 1860 г. Бакунин восторженно характеризовал Муравьева.

---

[1]) Там же, стр. 626.
[2]) Там же, стр. 626—627.

„Один из лучших и полезнейших людей в России“,—писал он. Муравьев—„решительный демократ“. „Этот человек в высшей степени современный и просвещенный“. „Он благороден, как рыцарь, чист, как мало людей в России“. „Никогда в жизни не сделал он ничего против своих убеждений“.—В конце концов „мы“, т.-е. Бакунин, Герцен и Огарев,—Муравьева „можем назвать безусловно н а ш и м“ (курсив Бакунина).

И дальше в том же письме он так излагает политическую программу Муравьева:

„Он хочет безусловного и полного освобождения крестьян с землею, гласного судопроизводства с присяжными, без исключительного подчинения такому суду всех лиц частных и служебных, от малого до великого, безусловной неограниченности печатной гласности, уничтожения сословий, народного самоуправления и народных школ на широкую ногу. В высшей административной сфере он желает следующих реформ: во-первых—уничтожения министерств (он отъявленный враг бюрократии, друг жизни и дела)—и на первых порах не конституции и не болтливого дворянского парламента, а временной железной диктатуры, под каким бы то ни было именем, а для достижения этой цели совершенного уничтожения николаевского, пожалуй, и александровского вольноотпущенного петербургского лакейства. Он не верит не только в московских и петербургских бояр, но и в дворян вообще, как в сословие, и называет их блудными сынами России. Вообще, он питает одинаковое и вполне заслуженное презрение ко всем привилегированным, или, как он их называет, ко всем несекомым сословиям, не верит в публику и верит только в секомый народ, его любит, в нем единственно видит будущность России. Он не ждет добра от дворянско-бюрократического решения крестьянского вопроса, он надеется, что крестьянский топор вразумит Петербург и сделает в нем возможною ту разумную диктатуру, которая, по его убеждению, одна только может спасти Россию, погибающую ныне в грязи, в воровстве, в взаимном притеснении, в бесплодной болтовне и пошлости. Диктатура кажется ему необходимой и для того, чтобы восстановить силы России в Европе, а силу эту хотелось бы ему прежде всего направить против Австрии и Турции, для освобождения славян и для установления не единой панславистической монархии, но вольного города и крепко соединенной федерации. Он друг венгерцев, друг поляков и убежден, что первым шагом русской внешней разумной политики должно быть восстановление и освобождение Польши. Нравится Вам эта программа? И вспомните, что это программа не кабинетного идеалиста и фантазера, которому все легко, все возможно, потому что он никогда ничего не сделал, нет, это мысли, г р о м к о в ы с к а з ы в а е м ы е м ы с л и Г е н е р а л - Г у б е р н а т о р а (курсив Бакунина), опытного, испытанного государственного человека, который болтовни не терпит, у которого всю жизнь слово было делом, воля у которого железная, а ум граничит почти с гениальным“.

Стиль тирады говорит о том, что программа эта была общим детищем Муравьева и Бакунина. Можно думать не без значительных оснований,—что, вспоминая мало-по-малу панславянские мечты своей юности, Бакунин прививал их своему государственному дяде. И тот, пристрастный к красному слову и широчайшему жесту не меньше, чем его воспламеняющийся племянник,—вместе с ним, на досуге от административных усмотрений строил химерические планы о какой-то железной диктатуре, с народным самоуправлением, но без конституций, с уничтожением министерств—но с сохранением монархии. Весь

этот вздор, болтливая наивность которого конкурирует с его нелепостью, вызвал, вероятно, веселую улыбку на искушенных устах Герцена. В серьез этого „плана“ лондонский друг Бакунина во всяком случае не принимал. Общие фразы и общие слова, надерганные из „Колокола“ и прогрессивных изданий того времени, пышные ламентации о „безусловном и полном освобождении крестьян с землею, гласностью судопроизводства“ и т. п. Все это дышит наигранным пафосом, которым вознамерился щегольнуть пред старыми друзьями Бакунин. Так обыкновенно разговаривают отсталые провинциалы с крупными звездами столичного радикализма, перед которым они не хотят ударить лицом в грязь.

Здесь мы не намерены заниматься критическим анализом этой программы—занятием явно бесполезным и лишенным теоретического смысла. Мы подчеркиваем лишь несомненную идейную близость, которая установилась между бывшим революционером, много изведавшим ссыльно-поселенцем и генерал-губернатором Восточной Сибири. В долгих беседах они нашли общий язык, те самые сумбурные общие слова о „несекомых сословиях“ и „гнилом дворянстве“, о борьбе с Австрией и спасении России „железной диктатурой, под каким бы то ни было именем“, которыми изложена „политическая программа“ Муравьева. И никаких оснований подозревать, будто Бакунин из расчета расхваливал Герцену Муравьева—у нас нет. Бакунин увлекался Муравьевым искренно. Этому способствовало полное отсутствие у него, в сибирский период жизни, каких-нибудь ясных политических настроений. Если в революционную эпоху 1848—1849 г.г. он являл собою тип деклассированного интеллигента-романтика, без определенных политических идеалов, то в Сибири особенно в первые полтора года по выходе из крепости, он пребывал в состоянии какого-то душевного маразма, весь в плену жалкого обывательского малодушия, которое сменило тот панический ужас перед одиночкой, что толкнул его в Каноссу. „Исповедь“ и письмо Александру обошлись ему не дешево. И лишь с переездом в Иркутск, под крылом Муравьева Бакунин медленно стал „отходить“ от того оцепенения, от того панического упадка духа, в которое ввергли его холодные стены крепости. Но, оживая постепенно и возвращаясь к жизни, он в иркутский период был еще страшно далек от каких бы то ни было революционных настроений. Пожилой и усталый, полубольной обыватель с громким именем и славным прошлым, сам еще не знавший хорошо, что будет делать завтра, растерявший романтический пафос своей юности, оторванный от друзей, столь же одинокий, каким был он на Западе, Бакунин в Иркутске начал откликаться на настроения внешнего мира.—Но заблудившийся без компаса путник, он очутился не на стороне того стана, где по смыслу прошедшей деятельности было его место, а в стане противоположном,—в числе сторонников генерал-губернатора, говорившего фразы о свободе и бесцеремонно топтавшего свободу каблуком своего генеральского сапога.

Повторяем: Муравьевым восторгался Бакунин искренно. С какой бы практической целью ни сообщал он своих восторгов Герцену—а он хотел оправдать Муравьева перед Герценом от возводимых на него обвинений,—его характеристика Муравьева выражала тогдашнее его умонастроение, умонастроение переходного времени—от состояния длительного и глубокого „падения“ в сторону новой вспышки революционной страсти, затихшей, засыпанной пеплом испытаний, но окончательно не угасшей и тлевшей под спудом где-то в глубинах души.

И мы, не намереваясь ни обвинить, ни оправдать Бакунина, а пытаясь лишь раскрыть действительную картину его тогдашних переживаний, без удивления и негодования перечитываем пристрастные строки, посвященные Муравьеву, с которыми наивно обращался он к Герцену и Огареву.

„Вы учите Муравьева Сибирского,—писал он им в ответ на обвинение, появившееся в „Колоколе",—как должно обходиться с ссыльными вообще и с политическими в особенности? Если бы вы знали, кого (курсив Бакунина) вы учите. Человек, который в продолжение 13 лет, с первого дня своего управления, был горячим заступником, другом всех поселенцев, который, несмотря на множество препятствий и неудач, не переставал отстаивать права их в Сибири и в Петербурге, сердце которого, открытое для всех несчастий, полно симпатий и уважения к несчастью незаслуженному и благородному... Биографы декабристов, имеете ли вы право не знать, чем Муравьев был для них [1]).

В строках этих вновь оживал прежний Бакунин, правда, вывороченный наизнанку, но по-прежнему горячий и неумеренный.

Особенно рельефно проявил себя Бакунин сибирского периода в прогремевшей истории дуэли Беклемишева и Неклюдова, которая и была причиной, вызвавшей разоблачения муравьевщины в заграничной печати.

Но прежде, чем рассказать об этой дуэли, познакомимся с тем, как относился Бакунин к муравьевскому антиподу —М. В. Буташевичу-Петрашевскому.

VII.

Нам известно чувство взаимной неприязни, которое внушали друг к другу Муравьев и Петрашевский. Некоторое время, впрочем, Петрашевский пользовался явным расположением генерал-губернатора. Был принят у него в доме и даже—как уверяет Бакунин в письме Герцену—„с почетом". Это не мешало, однако, Петрашевскому иронически относиться к диктатору и явно издеваться над некоторыми его промахами. От обостренной тонкости муравьевского слуха не ускользали сарказмы Петрашевского и замораживали его напускное радушие. Независимость, с какою держал себя в Иркутске Петрашевский, его всегдашняя готовность самоотверженно броситься на защиту попранного права, кем бы оно попрано ни было, создали ему в Иркутске выдающуюся репутацию. Он сделался поэтому влиятельным и заметным членом иркутского общества, и к тому времени, когда Бакунин появился в Иркутске, авторитет Петрашевского в глазах иркутян стоял очень высоко. Этого было совершенно достаточно, чтобы в лице строптивого ссыльно-поселенца самолюбивый губернатор увидел своего злейшего врага. Такое же отношение к Петрашевскому, очевидно, под влиянием Муравьева, усвоил и Бакунин.

Несправедливая ненависть его к Петрашевскому просто изумительна. Самоотверженную и в условиях сибирского быта героическую борьбу Петрашевского за право он называет „смешной и нелепой". Всю деятельность его Бакунин поносит самым жестоким образом: „Грязный агитатор", — обзывает он Петрашевского в том же письме Герцену, в котором восхвалял Муравьева. „Интрига да ябеда—любимые занятия Петрашевского", — уверяет он. „Честь и личное достоин-

---

[1]) Ответ „Колоколу". Письма Бакунина к Герцену и Огареву, Женева 189. г., стр. 52.

ство для него понятия чужестранные". „Клевета и ложь его мелкая монета"—и все эти непристойности возводит он на человека, который в истории беклемишевской дуэли вел себя как герой, защищавший именно человеческую честь и личное достоинство.

Муравьев в своей генерал-губернаторской запальчивости протестующие прошения Петрашевского в Петербург, равно как и разоблачающие статьи Завалишина в печати, называл клеветой и доносами. Вслед за ним утверждает Бакунин, и утверждает ложно, будто Петрашевский сделался корреспондентом III Отделения, „столы которого, говорят, завалены доносами Петрашевского и Завалишина" [1]).

Петрашевский презирал одного из приближенных Муравьева, столичного карьериста Беклемишева,—и Бакунин—по-обывательски, мелкой и злобной сплетней—пытается объяснить причину этой неприязни. Петрашевский явился,—рассказывает он,—к Беклемишеву „незванный и нежданный", „стал напрашиваться на игру"—проигрался, а Беклемишев, как хозяин дома, заплатил за него около 150 руб. сер., которых Петрашевский ему, вероятно, никогда не отдаст". Петрашевский не платит карточных долгов—только подобного упрека недоставало услышать ему от такого щепетильного в денежных делах человека, каким был Михаил Бакунин!

Разоблачительную деятельность старика Завалишина, стоившую ему благосостояния, пытался Бакунин опорочить таким же образом. Завалишин потому-де ненавидит Муравьева,—объясняет он Герцену, что Муравьев „не дозволил ему поцарствовать по-русски в Чите" [2]). У всех недругов Муравьева, если верить его неумеренному апологету, были, оказывается, корыстные мотивы для неприязни к высокопоставленному рыцарю чести и долга. Более горячего и слепого защитника Муравьев, вероятно, никогда более не имел.

И когда в том же ответе „Колоколу", излив на Петрашевского потоки желчи, Бакунин решил подвести итог и сделать выбор между этими представителями двух партий—для него выбор оказался не трудным. „Выбор между Муравьевым-Амурским и Петрашевским"—по его словам—равнозначущ выбору... „между благородным человеком и... Петрашевским" [3])...

Апология Муравьеву и обвинительный акт Петрашевскому были вызваны появлением в ноябре 1859 г. во 2 номере приложения к „Колоколу" „Под суд" статьи, в которой излагались обстоятельства дуэли, состоявшейся в Иркутске между двумя чиновниками—Неклюдовым и Беклемишевым.

История этой дуэли, в которой приняло участие все иркутское общество от Муравьева до Петрашевского, слишком значительна для сибирского периода жизни Бакунина. Мы остановили поэтому на ней наше внимание.

VIII.

Два молодых чиновника, из столичных гостей в Иркутске, поссорились. Дело дошло до пощечин. Активная роль в этом столкновении принадлежала Беклемишеву, члену Совета Главного управления, хотя пощечину получил именно он. Ссора произошла на Пасхе 1859 г. Бакунин, недавно приехавший в Иркутск, принял в этой истории самое

---

[1]) «Ответ Колоколу», стр. 58. Письма, указ. изд.
[2]) Там же, стр. 53.
[3]) Там же, стр. 54.

близкое участие. На музыкальном вечере в общественном собрании он энергично агитировал среди молодежи, доказывая, что общество должно вступиться за Беклемишева, что оскорбителя надо заставить драться, если же он от дуэли откажется — высечь его. Эта агитация имела успех. Бакунин навербовал несколько сторонников, человек 15, которые готовы были даже дать подписку, будто они в самом деле Неклюдова высекли [1]).

Неклюдов в то время собирался уехать из Сибири совсем, драться не хотел и если все-таки остался, то потому, что был задержан „чуть ли не силой", как сообщает в своем много раз нами цитированном очерке В. П. Сукачев [2]). Знакомых он имел в Иркутске так мало—по роду своей службы чаще всего разъезжал по Сибири,—что у него не нашлось даже секундантов. Из затруднения его вывели два приятеля Беклемишева, Молчанов и Шелехов, предложившие свои услуги.

Белоголовый сообщает, будто эти секунданты были навязаны Неклюдову [3]).

О дуэли знал весь город. Пистолеты для дуэли были выданы исправлявшим должность губернатора, а иркутский полицеймейстер самолично наблюдал за ее ходом с Успенской колокольни. Неклюдов был убит.

Обстановка дуэли, травля Неклюдова, ей предшествовавшая, нежелание его драться и участие в качестве секундантов друзей Беклемишева возмутили иркутян. Стали утверждать, будто исход дуэли был подстроен. Около квартиры убитого собралась целая толпа, в его похоронах участвовал почти весь город. Приглашение на похороны, написанное Петрашевским и отпечатанное, было расклеено по городу. На могиле убитого Петрашевский произнес горячую речь, в которой дуэль эту клеймил, как „изменническое убийство". Возмущение доходило до того, что полицеймейстеру и другим участникам, потворствовавшим убийству, на улице бросались открытые обвинения. „Убийца идет",—кричали гимназисты Беклемишеву. Возникли и пошли по рукам протестующие стихотворения и памфлеты. По утрам на заборах появлялись обвиняющие надписи. Дуэль приняла характер общественного события.

Возмущение горожан обострялось тем, что Беклемишев и друзья его оставались на свободе, беззаботно по-прежнему веселились, чувствуя себя героями, застрахованными от карающей десницы. Более других возмущался этой историей Петрашевский. Он и стал во главе общественного протеста. Авторитетный среди иркутян вообще, Петрашевский—выступлением против могущественной компании генерал-губернаторских фаворитов — приобрел еще большую популярность. И совсем низко упало имя Бакунина, взявшего на себя неблагодарную роль защитника Беклемишева. Две фигуры встали одна против другой: Петрашевский и Бакунин.

В своем „Ответе Колоколу", Бакунин много места посвящает истории дуэли. Он не скрывает от Герцена, что Беклемишев и его товарищи не были любимы в Иркутске. „Они нередко отталкивали и оскорбляли других важничаньем своим и тщеславием",—пишет он,—но, становясь затем в позу защитника, добавляет, что еще больше

---

[1]) В. П. Б—ва, «Записки старой смолянки», СПБ 1899, т. III, стр. 47. Ср. также В. Семевский, «Петрашевский в Сибири», «Гол. Минувшего», март 1915 г.

[2]) В. П. Сукачев, Иркутск, указ. изд.; В. П. Б—ва (Быкова), «Записки старой смолянки». В. Семевский, «Петрашевский в Сибири», «Гол. Минувшего».

[3]) «Воспоминания», стр. 622.

они навлекали на себя неудовольствие иркутян тем, будто были верными и неподкупными исполнителями воли генерал-губернатора. „Они равно как и сам Муравьев, навлекли на себя гнев и негодование **всех приверженцев старого порядка**"[1]). (Курсив мой. *Вяч. П.*)

Последнее замечание поистине замечательно. От избытка усердия здесь все понятия поставлены на голову. Люди из общества, боровшиеся с произволом либеральничавшей, по существу же самодурской администрации—под пером Михаила Бакунина превращаются в реакционеров. Помпадуры же со своими фаворитами оказываются элементом революционным, провозвестниками и защитниками нового порядка.

Бакунин здесь безнадежно запутался. И это извращение фактов становится ясным из дальнейших строк его письма, в которых он пытается восстановить картину преступной борьбы реакционного ссыльно-поселенца Петрашевского с истинно-революционным генерал-губернатором. Рассказав о возбуждении, вызванном дуэлью, Бакунин продолжает:

„Таким расположением умов Петрашевский воспользовался с великим искусством и показал при этом случае замечательный талант к агитаторству. Полчаса после дуэли, при которой, разумеется, ни он, ни его приятели не могли присутствовать, он уже кричал по домам и по улицам об изменническом убиении Неклюдова. К нему присоединились товарищ его Львов, побуждаемый одинаковыми причинами, несколько надорванных учителей-недоучек, несколько мелких чиновников, все поклонники его политического величия, да еще несколько мещан, товарищей по биллиарду. „**Эта шайка занялась** собственной **демократической пропагандой**". (Курсив мой. *Вяч. П.*)

Последняя фраза выдает Бакунина с головой. Если „шайка", состоявшая из „надорванных учителей-недоучек", мещан и мелких чиновников, под предводительством ссыльно-поселенца—ничтожная, очевидно, по своему удельному весу, выступила против друга „шайки"—могущественной шайки генерал-губернатора, да занялась еще при этом „**демократической пропагандой**",—как можно, не насилуя совесть, эту смелую „шайку" считать приверженцами старого „порядка"? До какой безнадежной обывательщины надо было опуститься, чтобы потерять способность видеть вещи такими, какими они были на деле.

Столь пристрастно освещая перед Герценом все события, Бакунин горячо защищал своих друзей. Дуэль между Беклемишевым и Неклюдовым он называет „благородной и необходимой". А те два молодых человека, которые, по словам Белоголового, **навязаны** были Неклюдову в секунданты и которым стоустая молва приписывала какие-то преступные махинации, превратившие поединок в изменническое убийство—эти два человека,—по словам Бакунина,—„не только светского образования, но действительно благородные и честные люди". Но последуем дальше за развитием этой истории.

Где же взял бесправный и беззащитный поселенец Петрашевский,—спрашивал в том же „Ответе Колоколу" Бакунин,—столько силы, чтобы взволновать целый Иркутск?

И давал такой ответ:

„Муравьева в Иркутске не было, при нем, разумеется, грязный агитатор не смел бы и пикнуть".

А когда Муравьев в Иркутск возвратился,—во время этой истории он был на Амуре,—возмущению его не было предела. На первом

---

[1]) „Ответ Колоколу", Письма. указ. изд., стр. 55.

же приеме у себя во дворце он обрушил на голову иркутян громы и молнии своего негодования. Он назначил два следствия. Одно должно было расследовать уличные манифестации, другое — обстоятельства дуэли. Петрашевскому было отказано от дома—генерал-губернатор решил его более не принимать, а заместитель Муравьева, Корсаков, когда Муравьев уехал из Иркутска, сослал Петрашевского в Енисейскую губ., Минусинский округ. Друг Петрашевского, Ф. Львов,—мы уже знаем это,—за отзыв о дуэли, „расходящийся с понятиями о чести" генерал-губернатора, был выброшен со службы из Главного управления и даже иркутский архиерей Евсевий, осудивший публично Беклемишева, был переведен в другую епархию. Библиотека некоего Шестунова, одного из передовых иркутян, в которой часто бывал Петрашевский и где немало толковали о дуэли, была закрыта; владелец библиотеки выслан за Байкал.

Вся эта история была письменно сообщена Н. А. Белоголовому, жившему ранее в Иркутске и продолжавшему переписываться с иркутянами. Он сообщил материалы Герцену.—Они и были напечатаны в „Колоколе"-во 2 номере приложения „Под суд". Эти-то материалы и вызвали возражение Бакунина Герцену, которое мы несколько раз цитировали.

Бакунин всецело стоял на стороне муравьевской партии. Он оправдывал и Беклемишева, и все, что наделал потом Муравьев. „Терпеть действия Петрашевского он не мог ни как генерал-губернатор, ни как благородный человек,—пишет Бакунин.—Что же он сделал! Он отказал Петрашевскому от дома, отрешил товарища его Львова от места, занимаемого им в Главном управлении, и велел сказать им обоим, что если они не перестанут неистовствовать, он будет вынужден выслать их из Иркутска. Что же тут жестокого и тиранического и можно ли было поступать мягче?"

„Как благородный человек и как правосудный, генерал-губернатор Муравьев должен был положить конец проискам и беззакониям Петрашевского".

И эта горячность Бакунина в защите „правосудного генерал-губернатора" заходила так далеко, что он утверждает, будто Муравьеву для блага самого Петрашевского, „от его собственного безумия и от последствий его безумных поступков"—ничего более не оставалось, как выслать его из Иркутска. Оставить безнаказанными эти поступки Муравьев, как „благородный человек", не мог,—предание же Петрашевского суду вызвало бы „неминуемое наказание" плетьми. Правосудному генералу, скрепя сердце, пришлось выслать строптивого ссыльно-поселенца подальше от своих милостивых очей. Неблагодарный же Петрашевский, а вместе с ним и неблагодарное потомство, никак не могли понять такого исключительного великодушия!

Тем временем расследование о дуэли подходило к концу. Но результаты оно дало совсем не те, каких ожидали либеральный генерал и его преданный племянник.

Следствие об уличных манифестациях кончилось ничем. Виновных разыскать не удалось. Дело же дуэли разбиралось в Иркутско-Верхоленском окружном суде. Была произведена экспертиза над трупом Неклюдова. На основании этой экспертизы суд единогласно обвинил Беклемишева и секундантов в умышленном убийстве и приговорил их к каторжным работам [1]).

---

[1]) В. П. Сукачев, Иркутск. стр. 71.

Муравьев с этим решением не согласился. Дело было передано на новое рассмотрение в губернский суд. Здесь мнения разделились: два члена суда отвергли обвинение в убийстве; третий же—Ольдекоп, настаивал на правильности первого приговора. В третий раз дело рассматривалось Сенатом. Приговором Сената Беклемишев был осужден к тюремному заключению на год, секунданты на один—два месяца. Муравьев ходатайствовал о сокращении наказаний. Просьба его была уважена.

Но Сенат этим не ограничился. Мы не имеем материалов, которые позволили бы утверждать, что Муравьев требовал воздействия на членов окружного суда, вынесших первый приговор. Можно только, зная упорный нрав генерал-губернатора Восточной Сибири, предполагать, что столь независимое поведение судей по отношению к ясно выраженной воле его требовало каких-то для него гарантий на будущее время. Возможно, что на этих гарантиях он настаивал. Рассмотрев приговор Иркутско-Верхоленского суда, Сенат нашел неправосудие в его решениях и действиях члена суда Ольдекопа, особенно настаивавшего на обвинении,—и предоставил Муравьеву право возбудить против них уголовное преследование [1]). Преследование было возбуждено, и судьи арестованы.

Можно без труда представить себе негодование, которое охватило иркутян, когда происходила эта история. Некоторое представление дает о нем письмо Львова Завалишину, написанное им 25 февраля 1861 г. из деревни Олонки:

„Вам, вероятно,известно,—писал Львов,—что в Иркутске разыгрывается в настоящее время самое вопиющее дело—это суд над судьями Беклемишева (по убийству Неклюдова), который имеет характер личной мести администрации за показание малейшего признака самостоятельности в судьях. Страшно подумать, что преступники, Беклемишев и секунданты, просидев комфортабельно несколько недель в остроге, ускакали в Петербург за губернаторскими и председательскими местами, а судьи, до приговора еще, томятся шесть месяцев в самом тяжком заключении в остроге за свое судейское мнение, и над ними производится такой строгий инквизиторский суд, как будто бы они были государственные преступники в блаженные времена Анны Иоанновны [2]).

Впрочем, историческая справедливость требует указать, что в дело вмешался министр юстиции и несколько умерил пыл графа Амурского и его ставленника Милютина, сделанного на предмет внушения судьям должного уважения к графской воле председателем губернского суда. Ольдекоп, по настоянию министра юстиции, был не только освобожден, но—как бы в награду за несправедливое гонение—назначен прокурором в Казань. Вместе с ним был освобожден и другой судья—Образцов. Бакунина вся эта история рисовала с самой неприглядной стороны. Его поведение повергло Белоголового в самое неподдельное недоумение, не менее его был неприятно удивлен и Герцен ролью, которую сыграл Бакунин в Сибири.

После разоблачений, доставленных ему Белоголовым, он получил от Бакунина письмо в защиту Муравьева с просьбой напечатать приложенное возражение, так как в его сознании с именем Бакунина связывался героический облик революционера 1848—1849 г.г., он возражение напечатал. Но когда вслед за появлением этого возражения Белоголо-

---

[1]) Там же.

[2]) В. Семевский, указанная работа, «Гол. минувшего», март 1915.

вый лично доставил ему новые материалы, рисующие истинную картину обстоятельств, Герцен задумался—и поверил Белоголовому.

„Я верю совершенно,—сказал он ему,—что правда на вашей стороне, а не на стороне ваших противников; даже помещенное мною против вашей статьи возражение—очень неубедительно на мой взгляд и далеко не разбивает всех ваших доводов; самый тон его мне не нравится, но я не мог отказать Бакунину в его напечатании. Мало того, что с Бакуниным меня связывает старинная дружба, я никогда не могу и даже не должен забывать, что этот человек всю свою жизнь боролся за человеческую свободу и чего-чего не вынес он за то упорство свое в этой неравной борьбе, и за непреклонность своих убеждений сидел и в австрийских и в русских крепостях, и вот теперь засажен, быть может, навсегда в Сибири". Он отказался поэтому напечатать предлагаемые Белоголовым материалы,—слишком густую тень бросали они на героя 1849 года,—но прибавил при этом: „Я вам верю... рассказ ваш заставляет тускнеть образ героя Бакунина"[1])... Что сказал бы Герцен, если бы знал более подробно о всем том, что совершил над собою Бакунин в русских тюрьмах и какой ценой купил он свое поселение в Сибири.

IX.

В. И. Семевский в своем исследовании о жизни М. В. Буташевича-Петрашевского в Сибири, мимоходом останавливается на Бакунине. При этом он высказывает предположение насчет мотива, толкавшего Бакунина против Петрашевского. Мотивом этим он считает ревность Бакунина к тому влиятельному положению, которое занимал в иркутском обществе Петрашевский и о котором мы говорили в своем месте.

Ссылаясь на свидетельство В. П Б—вой (Быковой), воспоминания которой мы цитировали, Семевский полагает, что Бакунин, поселившись в Иркутске, захотел „стать авторитетом" в глазах иркутян. Конкурентом его оказался Петрашевский. Столкновение с Петрашевским в борьбе за влияние и вызвало со стороны Бакунина тот водопад несправедливых и возмутительных обвинений, который он низверг на своего врага [2]).

Эта мысль не кажется нам неосновательной. Властность, авторитарность была не последней чертой в характере Бакунина. Бакунин не любил конкурентов и возражений не терпел. Его иронические замечания насчет „политического величия" Петрашевского и презрительная оценка его последователей—мы привели ее выше—в его устах звучит весьма характерно.

Когда Петрашевский был из Иркутска выслан, место его действительно был занято Бакуниным, правда—не для всего иркутского общества.

„За высылкой Петрашевского на сцену выступил Бакунин,—читаем мы в воспоминаниях одного из современников.—Но он не прикасался к черни—любопытный штрих добавляет автор воспоминаний.—Он плавал по верхушкам и был очень хорошо принят у Изв—х. Держал он себя в политическом отношении очень скромно" [3]).

---

[1]) Белоголовый, „Воспоминания", стр. 627.

[2]) „Гол. Мин.", март 1915, стр. 46—48.

[3]) Б. Милютин. „Губернаторство Н. Н. Муравьева", „Исторический Вестник" 1888 г., XXXIV, стр. 659—670.

Сам же Бакунин в таких выражениях рисовал Герцену в цитированном уже письме от 8 апреля 1860 г. свою деятельность:

„Деятельность моя в Сибири ограничилась пропагандой между поляками—пропагандою, впрочем, довольно успешною; мне удалось убедить лучших и сильнейших из них в невозможности для поляков оторвать свою жизнь от русской жизни, а потому и в необходимости примирения с Россиею, удалось убедить также и Муравьева в необходимости децентрализации империи и в разумности, в спасительности славянской федеративной политики".

И в том же письме, словно по необходимости, как будто вспомнив, что пишет самому Герцену, тогдашнему вождю русской революционной мысли, он добавляет:

„Страшно будет, если внутреннее движение, возбужденное крестьянским вопросом, вместе с внешним, порожденным, повидимому, Наполеоном, в сущности далеко не умершею революциею, которой Наполеон только один из органов,—страшно, говорю я, если все это вместе не расшатает Россию".

„Страшна будет русская революция,—пишет он в другом месте того же письма:—а между тем поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным страстям и к действительным интересам".

Но эти слова, как бледный отзвук далеких юношеских увлечений, слабо прозвучали в письме и потонули в потоке общих фраз и радужных мечтаний. Они говорят, правда, о том, что период душевного маразма подходил к концу. Что в Бакунине вновь просыпался энтузиаст какого-то большого дела. Но самый характер дела сознанию Бакунина не был ясен. Этим делом покуда еще не была революция. Его не тянуло также на запад. В Россию, к родным местам—вот к чему клонились его надежды: „Теперь надо в Россию,—мечтательно делится он с Герценом своими планами в том же самом, уже цитированном нами, письме из Иркутска (от 8/XII 1860),—чтобы искать людей, вновь познакомиться со старыми и открыть новых, чтобы ознакомиться с самою Россиею и постараться угадать, чего от нее ожидать можно, чего нельзя". И он с нервным нетерпением ждал того вожделенного мига, который принесет ему разрешение вернуться в Россию. Мать его неутомимо хлопотала в Петербурге. 5 сентября 1859 года она обратилась с письмом к шефу жандармов В. А. Долгорукову:

„Вспомните, что я мать—готовлюсь к смерти",—писала она ему и просила быть ее „предстателем перед Милосердным Государем".—Речь шла о полном прощении Бакунина. Долгоруков просьбу ее исполнил. Царь приказал просьбу оставить без последствий. „Ответа делать не нужно",—добавил свою резолюцию шеф жандармов.

20 апреля 1861 года она, минуя посредников, вновь обратилась с той же просьбой—к самому царю.

Несмотря на ряд неудач, Бакунин не падал духом. Хлопотал за него и Муравьев—хотя без успеха.

Нежелание царя подарить ему полное отпущение грехов Бакунин приписывал влиянию каких-то доносов из Сибири. Благодаря этим доносам его будто бы в Петербурге „считают человеком опасным и неисправимым".

„Впрочем,—добавляет он вслед за этим,—Муравьев уверен, что ему удастся освободить меня ныне весною" [1]).

---

[1] Цит. переписка, стр. 73.

Но расчеты Муравьева оказались построенными на песке.

Положение его в Петербурге сильно пошатнулось. Разоблачения Завалишина, беклемишевская дуэль и судебный процесс, за нею последовавший, кое-какие прочие художества диктатора и ряд других соображений поставили в Петербурге вопрос о предоставлении Муравьеву другого высокого поста. В январе 1861 года он из Иркутска уехал еще не получив отставки от должности. Но стало известно, что в Сибирь он больше не вернется.

Бакунин оказывался один. Муравьев делался бессильным помочь ему. У него оставалась последняя надежда, последняя соломенка—то прошение царю, которое послала в апреле 1861 года его мать. Но и эта надежда рухнула. „По-моему невозможно"—надписал на прошении царь. „Оставить без последствий"—добавлена резолюция сбоку. Пред Бакуниным, как некогда в крепости, во весь рост встал новый ужас вечного прозябания в Сибири. Крепость была забыта. Старая и вечная „неудовлетворенная жажда действия" проснулась и властно заговорила в его душе. Она не могла примириться с страшной перспективой. И подобно тому, как в свое время в крепости—все будущее свелось в один фокус, в одну точку—„вон из крепости—чего бы это ни стоило", - так теперь та же страсть продиктовала ему решение „вон из Сибири, чего бы это ни стоило".

В Россию возврата не было. Для новых личных обращений к царю не было уже психологических предпосылок. Стадия душевного маразма закончилась. Из последнего, длительного и самого страшного „падения" вновь восставал прежний Мишель Бакунин. В туманном будущем, как обетованная страна, засиял Запад, суливший полную свободу.

Бакунин решил бежать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Бегство.

I. Денежные затруднения Бакунина. Предложение Сабашникова. Бакунин получает открытый лист на поездку. Бакунин в Николаевске. Клипер «Стрелок» выходит в море.—II. Тревога в Николаевске. Донос Вебера. Неосторожное письмо Бакунина Шатунскому.—III. Начальник штаба шлет требование задержать Бакунина. Бакунин за пределами досягаемости.—IV. Следствие о побеге Бакунина. Бакунин держит курс в Европу. Иокогама—Нью-Иорк—Лондон. Письмо Герцену и Огареву с пути. Бакунин в Лондоне.

I.

Нам остается теперь последовать за Бакуниным по тому пути, который с тихой заводи бескрайних сибирских равнин привел его на берега Темзы, в тогдашнюю столицу международной революционной эмиграции.

Некоторое время Бакунин числился на службе у золотопромышленника Бенардаки. Но, числясь и получая жалованье, он не исполнял никаких обязанностей. Такое странное обстоятельство в конце концов создало для него весьма неудобное положение, и ему пришлось от службы отказаться. Возник, вероятно, вопрос о возврате золотопромышленнику забранных денег.

Братья Бакунина выдали Бенардаки вексель на взятую сумму.

Оставшись без средств, Бакунин обратился к генералу Корсакову исправлявшему должность генерал-губернатора Восточной Сибири (Муравьев в это время в Сибири не был) с просьбой о новой работе и однажды сообщил Корсакову, что кяхтинский купец Сабашников предлагает ему поездку на Амур с коммерческим поручением на очень выгодных условиях.

В ответ на эту просьбу Корсаков выразил некоторые сомнения насчет того, что очень неудобно будет в пути осуществлять политический надзор за Бакуниным. Бакунин разыграл человека, оскорбленного до глубины души, указал Корсакову, что едет один, оставляя любимую жену, которую не решится покинуть, что его принуждает к принятию предложения Сабашникова лишь бедственное материальное положение.

Корсаков сдался. Он потребовал от Бакунина лишь честное слово, что тот „не употребит во зло невозможности повсеместного бдительного надзора за ним в обширной Амурской области"—и что он вернется в Иркутск еще до конца навигации. Бакунин поклялся исполнить все, что от него требовал генерал-губернатор.

Корсаков выдал Бакунину открытый лист на право беспрепятственного проезда казенными пароходами по Шилке, Амуру, Уссури и Сунгари, а Извольский, иркутский гражданский генерал-губернатор, в доме которого запросто бывал Бакунин, снабдил его паспортом, в котором Бакунин именовался бывшим прапорщиком, получившим высочайшее повеление на вступление в гражданскую службу. Такой же вид получил Бакунин еще в Томске, при переезде в Иркутск.

Запасшись документами, Бакунин 2 июля был уже в Николаевске на Амуре. А в догонку ему срочным пакетом было послано военному губернатору Приморской области извещение, что Бакунин поднадзорный, но пакет этот задержался в пути и был получен в Николаевске лишь месяц спустя по отъезде Бакунина из Николаевска.

В Николаевске управляющий Приморской областью, капитан 1 ранга Петровский, по докладу начальника штаба Афанасьева разрешил Бакунину сесть на клипер „Стрелок" для следования в гавань де-Кастри, а оттуда в Мариинск. 9-го июля (в письме Герцену Бакунин ошибочно называет 8-е) рано утром „Стрелок" вышел из бухты, имея на палубе Бакунина и ведя на буксире американский барк „Викерс".

Начало было сделано удачно.

II.

Но в это самое время в Николаевске Бакунина хватились. Несколько добровольцев хлопотало об организации погони за бежавшим государственным преступником. Намерения своего Бакунину удержать в секрете не удалось.

Приехав в Николаевск, а быть может еще из Иркутска, Бакунин послал письмо одному из своих знакомых, некоему Шатунскому, военному инженеру.

В этом письме он сообщал Шатунскому, что, 1) прося дозволения ехать на Амур, он дал честное слово генералу Корсакову, что не убежит: „давая это слово, — пишет Бакунин,—я дал себе другое—бежать непременно". 2) Что он рассчитывает на содействие Хитрово, тогдашнего правителя канцелярии, которого он надеялся купить на деньги, и на Филипеуса, делопроизводителя в штабе, игравшего иногда роль либерала. 3) Что его зовет в Лондон Герцен действовать заодно для блага России. 4) Что для этой цели он готов жертвовать даже своей женой, которую оставляет на произвол судьбы.

Трудно понять, для чего понадобилось сообщать все это в письменной форме, да еще посылать письмо через вторые руки. Оно чуть не погубило Бакунина.

Разыскав в Николаевске некоего Вебера, купца, из ссыльно-поселенцев, Бакунин узнал от него, что Шатунского в Николаевске нет. Это был, между прочим, тот самый Вебер, о котором писал Бакунин Герцену: „Один из моих добрых, хороших знакомых, политический поляк Вебер“ [1]).

Узнав столь неприятную весть, Бакунин встревожился. „В таком случае,—сказал он Веберу,—постарайтесь ради бога повидаться с Майоровым и получить от него мое письмо, адресованное на имя Шатунского“.—И многозначительно прибавил при этом: „Прочитайте это письмо, авось оно рассеет обычную вашу апатию и подвинет на деятельность на другом поприще“.

„Добрый и хороший знакомый“ отправился к Майорову, добыл письмо, прочел его и торопливо, не медля ни минуты, настрочил донос аудитору Котюхову, в котором выдавал Бакунина с головой. Не желая ставить себя в положение доносчика, он просил Котюхова принять срочные меры, чтобы помешать побегу и доставить Бакунина обратно в Иркутск по начальству.

„Чтобы вам не показалось странным и непонятным мое желание удержать от побега Бакунина,—писал доносчик,—я в кратких словах расскажу вам причины, заставившие меня вмешаться в это дело. Эти причины следующие: 1) я чувствую нелицемерную благодарность к нынешнему царю за многие милости, излитые на моих соотечественников и на меня самого. 2) Я глубоко убежден в том, что побег Бакунина сделает много зла его жене, семейству его и генералу Корсакову, а не принесет решительно никакой пользы ни человечеству, ни России, ни даже ему самому. Бакунин не в состоянии сделать никакого добра никому: это олицетворенный эгоизм. 3) Побег Бакунина повредит многим из моих соотечественников, находящимся в изгнании, потому что правительство, из опасения, чтобы подобные случаи не повторялись между политическими преступниками, усугубит, без всякого сомнения, надзор над этими несчастными. Вот причины, заставившие меня искренно желать неуспеха Бакунину: я думаю, вы поймете и оцените надлежащим образом чистоту моих намерений и не откажетесь помочь мне!“ [2])

III.

Донос Вебер написал 8-го июля, 9-го утром „Стрелок“ отчалил от пристани и клипер был еще на горизонте, когда аудитор Котюхов прочел записку Вебера. Он спешно явился к начальнику штаба, рассказал ему все, что знал о Бакунине, показал даже письмо Шатунскому (Вебер приложил его, очевидно, к доносу) и советовал немедля послать в погоню пароход „Амур“, разводивший пары для отплытия в Благовещенск.

Лейтенант Афанасьев выслушал его довольно равнодушно и ответил: „А нам, что за дело до Бакунина, пусть себе бежит—отвечать за него будем не мы, а генерал Корсаков“. Но все-таки, два дня спустя послал записку начальнику поста в де-Кастри с просьбой задержать

---

[1]) Переписка, указ. изд., стр. 10.
[2]) Этот, как и прочие документы, из дела 6. архива III Отделения о Бакунине.

Бакунина. Но записка запоздала. В то время, когда Котюхов вел переговоры с Афанасьевым, „Стрелок“ вышел в Татарский залив.

Здесь „Викерс“ отделился от клипера и, не заходя в де-Кастри, направился в гавань Св. Ольги. Бакунин с разрешения капитана „Стрелка“—пересел на американский барк и вместе с ним отправлялся в Японское море. Сдав груз, „Викерс“ взял курс на Хакодате, куда прибыл 11 августа, а 24-го числа Бакунин был в Иокагаме—на свободе.

Сибирь осталась далеко позади.

IV.

Мы не будем следить за перипетиями дела, возникшего по поводу побега Бакунина. Была назначена, конечно, следственная комиссия, строчились бумаги и посылались курьеры, писались строжайшие резолюции. Лейтенант Афанасьев на два месяца, по доставлении в Петербург, был посажен в Трубецкой бастион. Длилось дело около двух лет. Первоначальное производство одобрено не было—мало освещены были „сношения политического преступника Бакунина с некоторыми лицами Восточной Сибири“. В высочайшем мозгу зародились подозрения насчет некоторых его верноподданных. Но и второе следствие не прибавило ничего к делу. Уличающих кого-нибудь сношений преступника с „некоторыми лицами“ обнаружено не было и главною причиной „упущений, имевших последствием побег Бакунина“, было признано то самое предписание Корсакова, которое обязывало комендантов пароходов принимать к себе „помянутого преступника“. Корсаков, впрочем, привлечен, как обвиняемый, не был—для него, как и для Извольского, дело ограничилось строгими резолюциями. Отделались дисциплинарными взысканиями признанные виновными капитан 1 ранга Петровский, капитан клипера „Стрелок“ Сухомлин, лейтенант Афанасьев, да еще мичман Бронзерт, тот самый, по вине которого задержалась бумага Извольского, уведомлявшая о поднадзорности Бакунина.

А тем временем, когда встревоженные чиновники и жандармы в бессильной злобе подшивали к следственному делу одну бумагу за другой, Бакунин, стряхивая с себя последние остатки тяжелого сибирского сна, летел на Запад.

5 сентября он покинул Японию; 2 октября был в Сан-Франциско, 24 октября в Паламе, а 2 ноября сошел с парохода на твердую почву Нью-Иорка. 2 декабря он простился с Америкой и 15/28 декабря 1861 года его пышную фигуру в Лондоне сжимали в объятиях Герцен и Огарев.

Едва вырвавшись на волю, еще будучи в Сан-Франциско, он торопливо шлет лондонским друзьям восторженное послание:

„Друзья,—писал он,—мне удалось бежать... Всем существом стремлюсь к вам, и лишь только приеду к вам, примусь за дело; буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей idée-fixe с 1846 года и моей практической специальностью в 1848 и 1849 г.г. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом, не говорю—делом,—это было бы слишком честолюбиво; для служения этому великому делу я готов итти в барабанщики или даже в прохвосты, и если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная, вольная славянская федерация—единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для всех славянских народов“.

Герцен, прочитав эти горячие строки, задумался и сказал Огареву: „Признаюсь, я очень боюсь приезда Бакунина. Он, наверно, напортит наше дело".

Огарев был согласен с мнением друга.

Перед Бакуниным открывалась новая жизнь. Революционная страсть, на много лет скованная переживаниями крепости и Сибири, вновь горячими потоками забурлила в его душе. Крепость, „исповедь", покаянные письма, Сибирь—все это было далеким сном, тяжелым и мучительным, который надо было забыть, стереть с памяти.

Но этот новый период, развернувший до пределов огненный темперамент Бакунина и вписавший его имя, как анархиста, в историю революционной борьбы, выходит за пределы нашего очерка.

Вячеслав Полонский

Проблема старости и омоложения в свете новейших работ Штейнаха, Воронова и др. авторов.

Одним из самых манящих и красивых мечтаний, которыми издавна тешила себя мысль человека, была мечта о вечной юности и через её посредство—о вечной жизни. Не находя себе реального осуществления, эта мечта воплотилась на некоторое время в вере в загробную жизнь, в религии потустороннего мира, отрыжки которых и по сию пору слышатся в тех или других философских системах. На этой вере, на этой мечте построены наиболее могущественные религиозные системы Христа или Магомета, миф о вечной юности своих героев создала классическая Греция...

Средние века привнесли новый мотив в эти стремления. Обещания потустороннего мира перестают удовлетворять наименее терпеливых и наиболее „земных" представителей человеческого рода. Оставивши надежду на бога, средневековые алхимики полагаются на свои собственные человеческие силы в погоне за чудодейственным „жизненным элексиром". Официальная церковь объявила эти мечты о „земной" юности и земных радостях наущениями дьявола...

Это не помешало тому, что легенда о докторе Фаусте стала сюжетом величайшего из произведений художественной литературы.

Девятнадцатый век—век естествознания—внес новый тон строгости в отношении к этой мечте. Сильная своею трезвостью, гордая теми успехами, которых она достигла при помощи точного метода „меры и числа", положительная наука XIX века осудила все праздные мечтания, не опирающиеся на фактические данные.

Середина и конец прошлого века полны рассуждений Вейсмана и Р. Гарвига, Гете и Майнота о необходимости смерти и даже о целесообразности смертности, ибо... ибо... человек ищет себе всегда хотя бы ложного успокоения даже и там, где фактические данные и сухие цифры идут вразрез с их скрытыми чаяниями...

Что это так, что мечта об омоложении жива в душах самых трезвых и холодных представителей науки, доказывается тем волнением, которое охватывает круги ученых всякий раз, как с той или другой стороны подымается голос, что, наконец, найдена разгадка старости. Так было в 1889 году, когда престарелый ветеран науки Броун-Секар опубликовал свои опыты с семенными вытяжками. Так было с теорией старости Мечникова, обсуждение которой не сходило со страниц периодической и научной журнальной прессы в течение последних двух десятков лет. Так происходит, наконец, и в наши дни

в связи с известиями, дошедшими к нам из разных стран Запада о работах Штейнаха (в Австрии) или Воронова (во Франции) по экспериментальному разрешению проблемы омоложения и загадки старости. В том оживлении и напряженном интересе, с которым все мы ожидали подлинных источников с изложением существа этих работ, чувствуется не только отвлеченный объективный интерес научного работника к возможному научному открытию, но и пробуждение той уснувшей было мечты, которую мы так любили в „гетевском Фаусте".

Таково отношение сдержанных „жрецов науки". Что же сказать о широкой публике? Ее отношение более экспансивно. Оно не всегда свободно от неприятного привкуса сенсационности и фривольных мыслей. Она гораздо более прямолинейно, примитивно понимает всякое научное открытие, не стараясь разобраться в его корнях и солидности. Ведь Броун-Секар должен был спасаться из Парижа в Лондон от толпы юных импотентов и жаждущих омоложения стариков, которые осаждали его квартиру.

В этом неприятная сторона всех тем и проблем, близко затрагивающих субъективные струны и небескорыстные чаяние известной категории людей...

Но... „богово—богови", а „кесарево—кесареви",—всякому свое.

...Из-за причмокивания ищущих сенсаций людей мы не можем не признать права широких кругов общества на знакомство с такими капитальными достижениями современной науки, какими являются замечательные работы Штейнаха и, независимо от него, нашего соотечественника Сергея Воронова,—по вопросу об омоложении и продлении личной жизни.

Попробуем же познакомиться сперва с фактическою стороною этих работ и затем произвести оценку—sine ira et studio, стремясь быть свободными от всех субъективных желаний и контр-желаний—значения этих открытий, ответить на вопрос, мучащий, конечно, каждого из наших читателей:

В какой мере открытие Штейнаха приближает нас к разрешению этого вечного—проклятого вопроса о возможности „вечной юности" и „вечной жизни"?

В чем же сущность работ Штейнаха?

I.

Всем нам хорошо известен ряд отделений нашего тела, как слюна, пот, кожное сало и т. д. Все эти отделения, играющие большую роль в нашем организме—или в деле переваривания пищи, как слюна, желудочный сок и другие более глубоко скрытые соки, или в смысле придания прочности и эластичности нашей коже, как кожное сало,—получили особое название „секретов" (secreo—отделяю) и производятся соответствующими органами или „железами". Так издавна известны нам слюнные, сальные, потовые, желудочные железы, поджелудочная железа, а равно и те выводные протоки, по которым вырабатываемые ими секреты выделяются наружу.

С недавних пор в науке стало известно, что в нашем организме на-ряду с этими „железами внешней секреции" существуют еще и другие железы, которые получили название „желез внутренней секреции". Характерное отличие этих желез составляет то, что они совершенно не имеют выводных протоков, по которым их секрет выделился бы куда-либо видимо для глаза. Это-то именно обстоятельство долгое

время доставляло много неприятностей прежним анатомам и физиологам, которых смущало, с одной стороны, несомненно железистое строение их клеток, а с другой—невозможность обнаружить и наблюдать их секрет в количестве, достаточном для изучения. Теперь мы знаем, что секрет этих желез внутренней секреции выделяется непосредственно в кровь, которая обильно омывает их клетки, и вместе с кровью разносится по всему телу. Поэтому этим железам присвоили и другое название „к р о в я н ы х" желез. Наконец, в последнее время их стали называть сокращенно: „э н д о к р и н н ы м и" или „и н к р е т о р н ы м и" железами, а их секреты „г о р м о н а м и" (от греческого „гормао"—возбуждаю) или „и н к р е т а м и".

Продукты, вырабатываемые этими инкреторными железами, за немногими исключениями еще не получены в чистом виде, и потому природа их недостаточно выяснена. Но уже сейчас мы знаем, что они обладают огромным и крайне многообразным влиянием на всю жизнедеятельность нашего тела. Избыток или недостаточность этих внутренних секретов или „инкретов" имеет необыкновенные, даже поражающие и часто весьма пагубные результаты. Значение их будет всего яснее, если мы возьмем в качестве примера одну из наиболее изученных желез внутренней секреции—щ и т о в и д н у ю ж е л е з у.

Она расположена по бокам и немного вниз от гортани и уже издавна привлекала к себе интерес. Дело в том, что с нею связано одно особое заболевание, когда она разрастается в опухоли больших размеров, свисающие с шеи и называемые „зобом". Помимо общего уродства таких больных „зоб" часто связывается с целым рядом болезненных явлений и недомоганий весьма тяжелого характера. Многочисленные операции с удалением щитовидной железы у человека и животных уясняют нам теперь значение ее для всего благосостояния организма.

Оказалось, что если у животного, например, у собаки, удалить щитовидную железу, то в его теле наступает целый ряд глубоких изменений: первоначально стройное тело собаки постепенно принимает мешкообразный, неуклюжий вид, кожа делается отечной, дряблой и мягкой, как подушка, сальные и потовые железы ее перестают правильно работать, вследствие чего кожа делается сухой, мышцы теряют всю упругость. Если это был щенок, то он перестает расти в высоту и длину и застывает в состоянии детского возраста. Заболевание охватывает и внутренние органы: животное делается подверженным различного рода язвам, кишечник вяло передвигает пищу и животное погибает ранее обычного срока или от общего истощения, или же от запоров и изъязвлений кишек, как это мне самому приходилось наблюдать на щенках, бывших у меня под опытом. Такого рода явления при удалении щитовидной железы разные лица наблюдали у самых разнообразных животных: у собак, кошек, кроликов, коз и т. д. Мне удалось получить это же заболевание, получившее особое название „м и к с е д е м а" у суслика, и даже, повидимому, у ящерицы[1]), т.-е. у животного, относящегося к совершенно другому классу животных.

Но что ужаснее всего в этом заболевании—это то, что отсутствие щитовидной железы повергает человека в полный идиотизм. Именно таких несколько случаев вылущения „зоба" у ребенка, когда он пре-

---

[1]) Аналогичные последствия операции, напоминающие микседему у млекопитающихся, еще ранее наблюдал у ящериц и ужей известный итальянский исследователь К р и с т и а н и.

вращался в результате в карлика-идиота, и заставили первоначально задуматься над глубоким значением щитовидной железы.

Вместе с тем, теперь оказалась вскрытой причина одного особого уродства, которое считается довольно обыкновенным в некоторых местах Европы, особенно же в некоторых горных местах Альпов или Кавказа. Это уродство, названное „кретинизмом“, выражается в карликовом росте, соединенном с идиотизмом и целым рядом других явлений, сближающих кретинизм с описанными уже последствиями искусственного удаления щитовидной железы. В настоящее время не представляет сомнений тот факт, что кретинизм является результатом врожденного отсутствия или недостаточного действия щитовидной железы.

Что это так, показали опыты искусственного излечения и того, и другого: если такое животное с удаленной железой или же прирожденного кретина кормить щитовидною железою, взятою из какого-либо здорового животного (обыкновенно применяют телячьи железы), то симптомы микседемы проходят, молодым животным возвращается способность роста, а идиотизм кретина проясняется постепенно проблесками сознания. Стóит прекратить кормить щитовидной железою — и животное вновь повергается в прежнее состояние.

Таким образом ясно, что нормальное состояние нашего организма поддерживается непрерывными отделениями этого секрета или гормона щитовидной железы, его недостаточность и даже временное уменьшение создает целый ряд болезненных явлений.

Но дальнейшие опыты лечения человека или животных щитовидною железою показали, что это палка о двух концах: если по неосторожности перекормить щитовидною железою, то наблюдается ряд болезненных явлений, составляющих прямую противоположность описанным для „микседемы“: у животного очень ускоряется обмен веществ, ускоряется дыхание (у суслика в моих опытах дыхание значительно превышало 200 дыханий в минуту, так что мне пришлось отказаться от дальнейшего счета) и сердцебиение; животное становится нервным и раздражительным, развивается непроизвольное дрожание конечностей, животное страдает от потливости и ощущения духоты. Если в случае микседемы животное погибает от крайней вялости всех процессов и малой стойкости организма, то здесь ранняя гибель наступает вследствие слишком быстрого сгорания и самоизрасходования организма. Любопытно, что в свете этих опытов уяснились причины опять-таки одной из болезней, ранее уже описанной для человека. Так называемая „Базедова болезнь“, выражающаяся у человека в резких случаях пучеглазием и рядом описанных выше признаков усиленного обмена и возбудимости, оказалась следствием врожденной деятельности их собственной железы. И опять-таки прямые опыты показали, что это так: первоначально операции на человеке знаменитого швейцарского хирурга Кохера, а потом повторение их в разных концах земного шара другими врачами показали, что можно получить полное или же временное (длительностью в несколько лет) излечение Базедовой болезни, если удалить часть щитовидной железы и тем самым привести к норме количество отделяемого ею секрета.

Огромный интерес, который привлекла к себе первоначально щитовидная железа, не падает, а все возрастает в связи с теми фактами, которых все больше накопляется по мере изучения ее функции.

В настоящее время целый ряд болезненных явлений находит себе объяснение в нарушении функций щитовидной железы. Но в свете добытых теперь знаний и нормальная физиология и даже психология человека находит себе опору в этих открытиях. Укажу для примера на тот факт, что классическое деление людей на 4 темперамента ставится в связи с ними. Таким образом сангвинический и отчасти холерический темпераменты соответствуют интенсивному, а флегматический — пониженному отделению этого загадочного гормона.

Дальнейшие исследования показали, что внутри или около щитовидной железы находятся несколько очень маленьких (у человека — величиною с просяное зерно каждая) около-щитовидных железок или, как их еще называют, „эпительцальные тельца". Этим железкам соответствуют свои особые и весьма важные инкреторные функции: полное удаление их ведет к неминуемой гибели животного в страшных и крайне мучительных судорогах уже через 2—3 дня и в лучшем случае не позже как через 2 недели. И опять-таки такие общеизвестные болезненные явления у человека как тетания детей или беременных находят свое объяснение в нарушении функций около-щитовидных железок.

Теперь остается сказать лишь несколько слов о других гормональных железах, чтобы пояснить то многообразное значение, какое имеет эта система в общей экономии животного организма.

Разрастание гипофиза или нижнего придатка головного мозга влечет за собою уродливый гигантизм и акромегалию, сопровождающиеся усиленным ростом костей в длину, неправильным ростом костей и мягких частей носа и челюстей, крайне уродующим физиономию.

Наоборот, удаление гипофиза или его врожденная недостаточность ведут к нанизму, т.-е. получаются карлики. Отличие этих карликов от тех, у которых рост прекращается за отсутствием щитовидной железы, состоит, кроме еще требующих своего изучения чисто анатомических особенностей, также и в том, что гипофизарный нанизм, повидимому, не так глубоко отражается на умственных способностях и общем обмене веществ.

Поражения эпифиза или верхнего придатка мозга имеют своим последствием раннюю половую зрелость индивида. Известны случаи 5—8-летних детей с вполне развитыми внешними половыми органами и другими признаками пола.

Недостаточная деятельность надпочечников является причиной особого крайне тяжелого заболевания, получившего особое название Аддисоновой или бронзовой болезни (последнее название дано в связи с сильным пигментированием кожи, получающей цвет бронзы). Последствия полного отсутствия надпочечников еще гибельнее — животные после их полного удаления гибнут через 1—2 дня.

Интересна роль зобной или грудной железы в явлениях роста; она развита у животных только в период роста и атрофируется с наступлением половой зрелости, имея таким образом какое-то пока не вполне выясненное тесное отношение к явлениям роста и полового созревания, а также и к нервной системе.

Наконец, поджелудочная железа, известная издавна своей внешней секреторной деятельностью, выражающейся в выработке главнейшего пищеварительного сока, имеет также и значение железы с внутренней секрецией: ее удаление или поражение является источником заболевания так называемым „панкреатическим диабетом" или

одной из форм сахарной болезни. Есть основание считать, что все формы сахарной болезни связаны с функцией прежде всего поджелудочной, а косвенно с надпочечными и щитовидной железами.

II.

К числу желез с внутренней секрецией принадлежат и половые железы — яичники, или семенники самцов и яичники самок. Подобно поджелудочной железе, оба эти органа работают одновременно, так сказать, на два фронта. С одной стороны, они вырабатывают наружу половые клетки, служащие задачам размножения; с другой — отделяют внутрь свои специфические половые гормоны, регулирующие многие функции тела и в особенности половые признаки и половую психологию.

Многообразное влияние кастрации на организм известно уже с древних времен. На этом основана вся практика использования домашних животных, ибо уже с давних пор люди заметили, что вол теряет неукротимый буйный нрав быка и становится спокойным существом, выносящим трудовое ярмо. Известны те же явления и на кастратах-людях: женоподобность в общем облике, отсутствие бороды, усов и других отличительных признаков мужского пола, высокий тонкий голос; вместе с тем исчезновение полового влечения.

Все эти особенности с давних пор использовались в разных целях: в гаремах восточных деспотов евнухам поручалась охрана жен и наложниц, для папских капелл с детства кастрировали мальчиков, чтобы сохранить их серебряные „ангельские сопрано", услаждающие слух этого высшего представителя церкви, а для лукулловских пиршеств, начиная с времен древнего Рима и кончая настоящими днями, повара употребляют петухов-кастратов или „каплунов", отличающихся особенно нежным и жирным мясом.

Отдельные и сравнительно разрозненные опыты и наблюдения, произведенные в течение второй половины XIX столетия, осветили еще другие интересные моменты, связанные с внутренней секрецией половых желез. В 1847 году Бертольд сделал замечательное наблюдение, что если семенник, вырезанный из петуха, тотчас же пересадить ему на гребень, то петух не становится каплуном, но сохраняет все свои петушьи признаки, включая гребень, шпоры, оперение и половое влечение.

Этот опыт был первым указанием на то, что янчко влияет на жизнедеятельность организма не через посредство нервной системы, а путем каких-то химических отделений, поступающих в кровь. Значительно позднее Рибберт показал, что млечная железа крольчихи, приживленная ей на ухе, набухает и начинает отделять молоко с наступлением беременности и периода кормления.

Наконец, Старлингу и мисс Клеймптон удалось получить у девственной крольчихи отделение молока, кормя ее зародышами из других крольчих. Одно интересное наблюдение доказало воочию, что и в человеческом организме все соответствующие явления в организме беременных женщин являются результатом влияния определенных химических веществ, циркулирующих в крови. Это случай двух сестер Блазек — близнецов, которых в свое время возили и показывали в цирках по всему свету. У этих сестер срощение происходило в области крестцов, и нервные системы их оставались совершенно независимы. Таким образом то, что чувствовала и думала одна из них, не передавалось другой, но вещества, циркулирующие в крови одной, перехо-

дили в кровяное русло другой сестры. Таким образом когда одна из них забеременела, то и у другой, несмотря на то, что она оставалась девственной, стали набухать молочные железы и проявились ряд других симптомов, знакомых беременным.

Муки родов пришлись лишь на долю первой из них, и в то время как она корчилась от боли, ее сестра могла весело улыбаться и разговаривать. Но ребенка они могли кормить всеми четырьмя грудями. Это как бы нарочно придуманный природою опыт, который наглядно показывает различие между нервной и химической регуляцией, которое поддерживается в нашем организме.

Вот наиболее яркие из фактов того рода, которые привели еще в 1869 году крупного французского физиолога Броун-Секара к убеждению, что в половых железах заложено начало, которое не только регулирует половое поведение, психологию и признаки животного, но и являются стимулятором общих жизненных проявлений гораздо более широкого значения. В частности, именно он впервые высказал мысль, что путем искусственного введения в старческий организм вытяжек из яичек можно омолодить дряхлеющее тело и внести в него новые источники юношеской силы. Опыты, проделанные им для этой цели в 1889 году на самом себе и на нескольких стариках-пациентах, дали, казалось, положительные результаты. Но, будучи повторены в разных местах, они не везде были подтверждены и нашли себе много противников, утверждающих, что все якобы положительные результаты Броун-Секара, Пеля и других авторов и особенно врачей-практиков основаны на самовнушении, но не на объективном значении семенных вытяжек, сперминов и других препаратов, которыми так обильно были снабжены наши рынки. Теперь, когда работы Штейнаха подтверждают верность основных принципов, из которых исходил Броун-Секар, нам ясны причины неоднородности тех результатов, которые были получены в опытах с семенными вытяжками: Броун-Секар имел дело со свежими вытяжками из им же убитых молодых и здоровых собак. Другие же экспериментаторы получали в свои руки вытяжки фабричного производства и неопределенно долгого хранения—часто на спирту,—и к тому же добытые из животных, может быть, не всегда здоровых. Понятно, что при таких условиях весьма мало уверенности, что действующее начало яичка перешло и сохранилось в препарате. Наконец, уже опыты с кормлением щитовидною железою показывают, что кормление не может дать полного длительного результата, ибо для этого необходимо непрерывное поступление секрета железы, действующей внутри организма.

Таким образом если принцип Броун-Секара и казался многим правильным, то практическое применение семенных вытяжек для практических целей омоложения стариков или восстановления потенции молодых инвалидов справедливо встречало сдержанное и осторожное отношение со стороны представителей научной мысли.

III.

Новую главу в истории изучения внутренней секреции половых желез открыли капитальные работы австрийского ученого Штейнаха. Уже его работы, появившиеся в 1910 и 1913 годах обратили на себя всеобщее внимание и доставили Штейнаху славу одного из наиболее блестящих экспериментаторов. В этих работах Штейнах сообщил об осуществленном или произвольном „превращении“ самцов в самок и

обратно. Метод его операций заключался в том, что он кастрировал молодых неполовозрелых крыс или морских свинок и всаживал им половые железы другого пола. В таких случаях у самцов с пересаженными им яичниками совершенно не развивались мужские половые признаки, как-то: половой член уменьшался до весьма малых размеров, совершенно исчезло мужское влечение, драчливость и нрав и даже строение скелета приближалось к таковому у самки, взамен этого у такого превращенного животного усиленно развивались и набухали, обычно зачаточные у самцов, млечные железы, вплоть до отделения молозива и, что всего замечательнее, они возбуждали самцов, как настоящие самки, и принимали их ухаживания.

Наоборот, таким же точно образом самки, которым в молодости взамен удаленных яичников пересаживали семенники, обнаруживали как в строении скелета, так и в своем поведении признаки самца, они преследовали течных самок, обнаруживали драчливость, свойственную самцам; вместе с тем клитор у них развивался до размеров не большого penis'a, а женские органы, как матка и влагалище, уменьшались.

Таким образом здесь мы имели дело с действительным превращением одного пола в другой; единственным камнем преткновения к полному превращению, повидимому, является технически слишком сложная задача пересадки внешних половых органов, служащих целям размножения. Поэтому „превращенная" самка неспособна размножаться и быть оплодотворена, ибо она не имеет соответствующих органов совокупления. Кроме того, пересадка яичника производится обычно в самые разнообразные места, как, например, под кожу или в брюшину, где они вообще не стоят в связи с половой системой.

Как пример того, как далеко идет все же это перевоплощение полов, могу указать одно исследование, пока не опубликованное, которое закончено в настоящее время моим братом М. М. Завадовским. Ему удалось повторить эту часть работ Штейнаха на курах. И здесь маскулизированные [1]) курицы получили оперение и гребень и всю психологию петуха, вплоть до пения „кукареку", обратно его феминизированные [1]) петухи имеют невзрачный вид куриц и некоторые из них периодически откладывают себе в брюшную полость из всаженных туда яичников яйца, которые можно прощупать обычными известными всем хозяйкам приемами. Понятно, что эти яйца не могут быть снесены наружу или оплодотворены и вновь рассасываются организмом, ибо здесь не хватает одного существенного условия — яйцевода [2]).

IV.

Упомянутые исследования Штейнаха являются началом ряда замечательных исследований этого автора, которые завершаются в эти последние годы его сенсационными опытами по омоложению животных и человека. Чтобы быть кратким, упомяну лишь вскользь, что между 1916 и 1918 годами им опубликованы работы об искусственном получении гермафродитов крыс и морских свинок. Одновременно с ним к тем же результатам прошел датский ученый Занд. Таким образом на

---

[1]) От маскулинус=мужской и фемининус=женский.

[2]) В настоящее время автор этого замечательного исследования, которое преследует свои независимые от Штейнаха цели, „Анализа формообразования у животных"—находится в Москве с тремя из многих превращенных им кур. Остальные подопытные птицы остаются пока в Симферополе.

прочную физиологическую основу гормональных явлений сводится теперь вся обширная область половой психопатологии. И, наконец, в 1920 году вышла его работа об „омоложении", к которой мы теперь и перейдем.

Основная идея, которою руководился Штейнах, для нас ясна: с одной стороны мы видим, что явления старости связаны с угасанием половой деятельности и даже внешне заметным уменьшением теперь бездеятельных половых органов; вместе с тем и ряд других симптомов старости: меньшая живость и подвижность, упадок сил и т. д. имеют кое-что общее с результатами кастрации. С другой стороны Штейнаху слишком много пришлось наблюдать поразительный эффект, который оказывает на весь организм внесение в него этого начала половой железы.

Нам теперь не должно показаться удивительным, когда мы узнаем из этой книги Штейнаха, что уже в 1912 году он получил на крысах свои основные положительные результаты по омоложению стариков-крыс и тогда же сделал соответствующее сообщение в Венской Академии наук. И только исключительная для нашего времени скромность и осторожность истого ученого заставила его держать про себя это открытие, умножая опыты и проверяя его новыми фактами.

Как уже можно заранее догадаться, основной метод, который, первоначально был применен Штейнахом в целях омоложения, состоит в пересадке старикам-крысам яичек молодых самцов, находящихся на высоте их юношеских сил. Но одновременно с тем его интересовал вопрос о применимости операции к человеку. Естественно, что метод пересадки здесь может найти весьма редкое применение, ибо трудно представить себе человека, который согласился бы кастрировать себя ради излечения другого. Поэтому Штейнахом изобретен другой метод, который позволяет произвести омоложение, пользуясь собственными железами старика. Метод этот состоит в перевязке и перерезке семенного протока, т. е. в закрытии выхода наружу для полового секрета. Я не буду пока входить в теоретические толкования того, почему такая перевязка дает эффект омоложения—факт, тот, что метод проверен в ряде случаев на крысах с весьма положительным результатом.

В своей книге Штейнах приводит ряд фотографий со своих омоложенных крыс до и после операции и описывает те объективные признаки омоложения, которые он при этом наблюдал.

Вот вкратце эти данные:

Нормальная продолжительность жизни крыс, с которыми Штейнах имеет дело уже более 15 лет, не превышает 30 месяцев и даже 30 месяцев достигают они в весьма редких случаях.

Уже между 18—23 месяцами начинают проявляться признаки старости. Она выражается в облысении крысы, начиная с мошонки и спины и потом по всему телу; шерсть вклокочена и покрыта вшами, так как животное перестает чистить свой мех; животное имеет согбенный вид, полузакрытые глаза, равнодушно ко всему окружающему. Оно не проявляет интереса к самкам и обычной драчливости по отношению к другим самцам, обращаясь тотчас же в бегство в случае наступления с этой стороны.

Штейнах берет под операцию только крыс, пробывших в течение 6 месяцев под контрольным наблюдением и по подтверждении всех этих объективных признаков старчества. После этого только он делает свои омолаживающие операции методом перевязки семенных протоков, в возрасте между 26 и 28 месяцами. Результаты операций поразительно эффектны.

Уже по истечении 2—3 недель мошонка вновь заполнена набухающими яичками, половой инстинкт проявляется с большой силой, самец обнаруживает необычайное мужество и обыкновенно оказывается победителем над самыми сильными молодыми самцами. Вместе с тем у него отрастает новый густой и блестящий мех, он вновь следит за своей чистотою, ловок в добывании пищи. У него увеличивается аппетит и обнаруживается сильный прибавок в весе. Так, в одном случае вес поднялся с 300 грамм в момент операции до 385 грамм через 6 месяцев после нее. Вместе с тем в нескольких случаях такие омоложенные самцы дали не наблюдавшуюся до сих пор продолжительность жизни; они доживали до 36 месяцев в то время, как контрольные братья все погибали не позже 28 месяцев жизни. Таким образом мы здесь имеем продление жизни более чем на 25% сверх предельного возраста, а период активной жизни возобновлен и продолжен на сроки 5—7 месяцев. Таковы основные результаты, полученные Штейнахом на крысах-самцах. Остается еще прибавить, что, как обнаружил Штейнах, эффект омоложения получается и в том случае, если перевязать лишь один выводной проток, оставляя семенной проток с другой стороны нетронутым. В таком случае омоложенное животное получает вновь не только potentiam coëundi, но и potentiam generandi, т.-е. как способность совокупления, так и воспроизведения потомства.

Далее, здесь открываются широкие перспективы повторного омоложения одного и того же животного путем перевязки сперва с одной стороны, затем с другой, а затем, когда нехватит собственных источников гормона, путем пересадки яичек из других, молодых, крыс. Штейнах в конце отмечает вскользь, что в настоящее время он поставил себе именно такую задачу и что уже в одном случае ему удалось продолжить жизнь крысы до 40 месяцев, т.-е. почти на 50% сверх нормы.

V.

Как видно из сказанного, до сих пор Штейнах работал, главным образом, над омоложением самцов. Это объясняется прежде всего тем, что половые органы самцов гораздо доступнее и операции их перевязки технически гораздо проще осуществимы.

Кроме того, все пробы вызвать омоложение самок путем перевязки в разных местах яйцеводов не дали эффекта омоложения. Этого и следовало, конечно, ожидать, если принять во внимание совершенно другие анатомические соотношения между яичником и яйцеводом по сравнению с аналогичными образованиями яичка и семенных протоков у самцов.

Но поразительные результаты дал метод пересадки старым самкам яичников молодых 4-месячных самок в начале их первой беременности. В таких случаях Штейнах получал помимо общих описанных внешних признаков омоложения—рост нового меха и т. д.,—также и восстановление способности к деторождению: ведь у таких самок рядом с молодыми всаженными им яичниками остаются их собственные, пробуждаемые теперь к новой жизни. Штейнах описывает один случай, когда самка, уже не рожавшая в течение года, была оперирована в возрасте 26 месяцев; после этого она принесла пять детенышей, которых прекрасно выкормила и умерла от повторной старости в возрасте $36^1/_2$ месяцев, пережив свою контрольную сестру на 8 месяцев.

Но, как это отмечает сам Штейнах, метод пересадки яичников еще меньше применим к человеку, чем пересадка яичек, ибо мы не имеем у женщин явлений, аналогичных крипторхическим[1]) яичкам мужчин. Поскольку здесь не может быть места и методу перевязок, Штейнаху необходимо было перейти к выработке еще третьего метода омоложения, и он этот метод, повидимому, нашел.

Вместе с рентгенологом Гольцкнехтом он добился того, что легкой рентгенизацией яичников девственной морской свинки он вызвал в ней появление всех признаков беременности, как-то: набухание млечных желез, увеличение размеров матки, как у беременной самки, и т. д. Штейнах убежден, что в рентгеновых лучах мы имеем третий метод омоложения, одинаково применимый как к самцам, так и к самкам, но особенно важный для женщин, ибо для них он является, по его мнению, единственным практически применимым.

VI.

После того, как Штейнах получил эти поразительные результаты на животных, он мог считать себя в праве перенести их и на человека. Первой операцией, произведенной им, совместно с молодым своим сотрудником хирургом Лихтенштерном, было возвращение потенции и мужских признаков кастратам. Первым, подвергшимся этой операции, был военный, у которого во время войны были удалены оба яичка, вследствие ранения. Уже через несколько месяцев после этого в нем проявились признаки кастрации: ожирение, потеря волос, потеря половой способности, общая безучастность и обессиление. В 1916 году Лихтенштерн всадил ему крипторхическое яичко, после чего к пациенту вернулось половое чувство, усилилась мускулатура, оболосение и т. д. Субъект женился и пользуется семейным счастьем, по последним данным до сих пор, т.-е. уже 5-й год. После того Лихтенштерн описал еще два подобных случая, а в 1918 году—первый случай оперативного излечения гомосексуалиста: у пациента были удалены его собственные обоеполые яички и всажено крипторхическое из нормально сексуального субъекта.

Наконец, в упомянутой уже своей основной работе по омоложению, Штейнах описывает 3 случая омоложения стариков. В этих трех случаях существенное значение имеет то обстоятельство, что все три пациента не знали о характере операции, которой они подверглись, когда в них стали проявляться все объективные признаки омоложения: они обращались к врачу не за омоложением, а с какими-либо другими заболеваниями и недугами. Таким образом здесь исключается всякая возможность подозревать самовнушение, которое ставилось в упрек Броун-Секару.

1-й случай относится к чернорабочему 44 лет, но со всеми признаками преждевременной старости. Он явился к врачу из-за общей слабости тела и боли в обоих яичках. Весьма худ, слабая, вялая мускулатура, лицо в складках.

Неспособен к физическому труду, а половое влечение отсутствует

---

[1]) Крипторхическими или „паховыми“ называют яички, которые вследствие невыясненных еще условий эмбрионального развития не опускаются в мошонку, а застревают в паху. Такие яички часто причиняют боли и являются источниками опасных опухолей, вследствие чего их и раньше удаляли и выбрасывали вон. Но внутренняя секреция таких яичек идет вполне нормально.

уже несколько лет. Боль в яичках оказалась следствием двусторонней водянки яичек.

1 ноября 1918 года ему была произведена операция: вскрытие обоих яичек; одновременно двусторонняя перевязка и перерезка по методу Штейнаха.

Через 4—5 месяцев после этого пациент в качестве чернорабочего носит на спине грузы до 100 кило (т.-е. 6 пудов) весом. Он прибыл в весе, лицо разгладилось. Потенция на высоте бурной юности, рост волос на голове, бедрах и лобке, чаще бреется. Через год он прибавил в весе на 12 кило (т.-е. почти на 30 фунтов).

2-й случай. 70-летний старик, руководитель крупного предприятия.

Доставлен в санаторий с нарывом левого яичка. У него удалено левое яичко и одновременно сделана перевязка на правой стороне.

Вот как через несколько месяцев после операции сам пациент описывает свое состояние в письме к Лихтенштерну (характерно, что и в момент написания этого письма он еще не имел представления о характере произведенной на нем операции): „После заживления раны я стал искать места отдыха, чтобы набраться сил. Уже там, к моему крайнему удивлению я имел ночью при спинном положении эротические сны и в связи с ними—поллюции. Мой аппетит выродился в настоящее обжорство и даже и теперь в настоящее тяжелое время я едва в состоянии удовлетворить потребности моего желудка. В то время, как раньше я находился в состоянии глубокой духовной депрессии, теперь я уже много месяцев вновь жизнерадостен. Мой вид опять свеж и для моего возраста я очень гибок. Люди, с которыми я теперь вновь вхожу в сношения, считают меня едва за шестидесятилетнего и сомневаются, чтобы мне исполнился 71-й год жизни. Раньше, когда я шел немного быстро или поднимался по слегка крутой дороге, мне приходилось бороться с тяжестью и одышкой: теперь это почти совершенно прекратилось и я бываю на ногах часто целый час.

„Мое страдание (склероз), которое я имею в течение полутора десятка лет, повидимому, успокоилось, а случаи головокружения опустились до минимума (за 9 месяцев лишь один единственный раз). Коротко, я не чувствую себя человеком, перешедшим в старческий возраст. Я способен, как раньше, в более молодые годы, ясно мыслить, плавно и без ошибок все записывать и так же плавно и связно говорить в кругу товарищей по работе. Показателем укрепления здоровья кажется мне также то, что я должен теперь приглашать парикмахера, услугами которого раньше я пользовался каждые 2—3 недели, каждую неделю для приведения в порядок волос и бороды. Наконец, я возвращаюсь еще раз к половой области. Часто следующие друг за другом и повторяющиеся каждую неделю эротические сны и возбуждения родили во мне, наконец, решимость искать естественного удовлетворения; и когда я нашел его, я испытал такое несказанное приятное наслаждение, какого я уже не знал в течение многих лет. Моя рука, которая раньше сильно дрожала, теперь тверда и способна к самым тонким манипуляциям. Мое состояние представляет таким образом очень радостную картину, и моя жизнерадостность возвращена мне опять".

3-й случай касается 66-летнего купца, страдавшего в течение 5 лет сильной утомляемостью, упадком умственных сил и памяти, затрудненным дыханием и т. д. 12 ноября 1919 года произведена операция по Штейнаху.

Через $1/2$ года после этого он прибавил в весе на 7 кило, у него восстановилась память и психическая бодрость, исчезли типические признаки одряхления (одышка, боли во всех членах). Восстановлено libido.

Что касается омоложения женщин, Штейнах пока не имеет опытов, проделанных в этом направлении с рентгеновскими лучами со специальной целью. Но по данным, которые имел уже ранее Гольцкнехт в своей практике, применение рентгеновских лучей неоднократно уже давало в прошлом доселе непонятные симптомы общего восстановления физических и психических сил, которые можно теперь толковать, как явление омоложения.

VII.

Таково содержание этой замечательной работы Штейнаха, всколыхнувшей весь мир надеждой на личное омоложение. Неудивительно, что опубликование его сейчас же возбудило многочисленные голоса восторга или порицания с разных сторон. Со страниц научных биологических и медицинских журналов не сходит обсуждение этого вопроса о возможности омоложения для человека. Прошел всего один год с момента опубликования книги Штейнаха, а к нам уже подоспевают новые сообщения об операциях омоложения, осуществленных на человеке. Лихтенштерн сообщает, что им уже произведено 26 операций над людьми в связи с падением у них сексуального чувства или вследствие старческого дряхления, или ранней импотентности. Не все из этих случаев успели дать положительные результаты, но уже сейчас два новые случая он описывает подробно и обещает в дальнейшем сообщить о других. Вместе с тем, по последним сведениям от февраля 1921 года и все старые пациенты и сейчас (т.-е. уже около $2\frac{1}{2}$ лет) находятся в прежнем благосостоянии омоложения, а у описанного теперь 72-летнего старика, стали расти среди седых темные волосы.

Ряд интересных случаев сообщается уже со стороны других врачей и ученых. Так, три случая удачного омоложения сообщают берлинские врачи Леви-Ленц и Шмидт. Не меньший интерес и значение имеют четыре замечательных и весьма доказательных случая излечения гомосексуалистов и бисексуалистов по способу Штейнаха, о которых сообщает авторитетный берлинский врач-проф. Мюзам. Подробное описание протоколов, данное Мюзамом, и все объективные обстоятельства извлечения не оставляют сомнения, что здесь нет места самовнушению или внушению, но что положительный результат лежит в реальном влиянии гормонов половой железы. Но вместе с тем есть немало авторов, которые более осторожно относятся к полученным ими результатам. Так, воздерживается от окончательного суждения о методе Штейнаха такой крупный физиолог-теоретик, как профессор A. Loevy (Леви), который описал недавно совместно с приват-доцентом Зондеком 4 случая операций омоложения на человеке. Хотя они и получили в большинстве случаев положительные результаты улучшения у своих пациентов, но некоторые подробности заставляют их с осторожностью говорить о том, что здесь, может быть, имеет место не полное, а частичное и даже негармоничное омоложение (последние в тех случаях, когда операция отозвалась лишь в смысле поднятия одной сексуальности, но не остальных сил и способностей). Так же боится высказаться и один из крупнейших авторитетов в области внутренней секреции половых желез—Гармс, хотя им самим не далее как в июне этого года описаны 2 случая омоложения собак. В первом случае

дело идет о весьма дряхлой суке, которая после годичного бесплодия вновь забеременела в результате пересадки ей яичника молодой суки. В другом случае был омоложен—опять-таки методом пересадки, а не перевязки—п е с. В обоих случаях получены все объективные признаки, описанные Штейнахом для крыс,—рост нового меха, укрепление всех сил, укрепление зубов, исчезновение ряда недомоганий и т. д., но в случае со псом не улучшились лишь те явления одряхления, которые стоят в связи с нервной системой.

Вместе с тем в одном случае пересадка яичника старой 14-летней суке вместе с усилением ее сексуальности вызвала ряд симптомов ухудшения в общем состоянии. Все это заставляет и Г а р м с а трактовать случай пса, как случай „частичного омоложения", но одна из сук дала картину всестороннего восстановления сил, как и по Ш т е й н а х у.

VIII.

В то время, как германская и австрийская печать оживленно обсуждает работы Штейнаха, из других стран идут к нам сообщения об аналогичных работах, авторы которых независимо от Ш т е й н а х а пришли к той же проблеме омоложения.

Книга одного из этих авторов, нашего соотечественника Сержа В о р о н о в а под заглавием: „Vivre. Etudes des moyens de relever l'énergie vitale et de prolonger la vie" вышла в Париже, в 1920 году, т.-е. одновременно с работой Ш т е й н а х а.

Недавно она также получена в Москве, быть может в том единственном экземпляре, по которому мне удалось познакомиться с этим замечательным произведением, которое по эффектности и убедительности описанных в нем работ может быть поставлено рядом с книгой Штейнаха.

Подобно Штейнаху, В о р о н о в пришел к своим операциям омоложения в результате работ многих лет. Уже около 10 лет назад он занимался специально изучением египетских евнухов. Поразительные последствия, которые имеет кастрация для всех духовных и физических сил человека, привели его к мысли о могучей силе, которая заложена в половых гормонах. Уже в 1912 году, по словам В о р о н о в а, он докладывал в Медицинских обществах, а в 1913 году в Интернациональном Медицинском Конгрессе в Лондоне, о своих пробных опытах на животных в направлении экспериментального изучения половых желез. В Лондоне он уже демонстрировал ягненка, рожденного овцою, которой были всажены яичники ее сестры взамен ее собственных.

С тех пор В о р о н о в ы м произведено 120 опытов по пересадке половых желез в целях возвращения кастратам их мужской силы и физических признаков или же в целях омоложения стариков. Опыты производились на козлах и баранах, как наиболее удобных в смысле существования у них полового диморфизма, чего не дают ни крысы, ни морские свинки, ни собаки, с которыми экспериментировали предыдущие авторы.

Эти опыты в значительной своей части совпадают с результатами Ш т е й н а х а: то же выпадение ряда половых признаков при кастрации, и возвращение их после обратного всаживания желез того же пола. Гормоны мужских и женских половых желез оказываются антагонистами, т.-е. каждый из них подавляет признаки другого пола.

Новую и весьма эффектную форму приобретают у Воронова операции омоложения. И здесь он оперирует лишь только методом пересад-

ки яичек из молодых баранов, ибо он совершенно не может знать о последних работах Штейнаха и его методе перевязок.

Вот один из случаев омоложения, подробно описанный Вороновым:

Дело идет о 12—14 летнем баране, что соответствует, по словам Воронова, 80—90 годам у человека. Когда он был приведен к Воронову, он дрожал на ногах, страдал недержанием мочи, благодаря старческому ослаблению сфинктера мочевого пузыря, и производил впечатление животного, истощенного от старости. Это описание подтверждается прилагаемой к книге фотографией. 7-го мая 1918 года ему всажено разрезанное на 4 куска яичко молодого барана. Через 2 месяца после операции, животное совершенно переродилось. Соответствующая фотография изображает омоложенного барана с гордой посадкой тела, живой и агрессивной походкой и покрытого густой шерстью. Рядом с ним овца, которая забеременела от него в сентябре того же года, а в феврале 1919 года принесла сильного и здорового ягненка.

Через год после первой операции у этого барана была вырезана обратно всаженная ему молодая ткань яичка—и уже через 3 месяца после этого от молодости его не осталось и следа.

Тогда 7-го июня 1919 года ему вновь было пересажено яичко молодого барана и вновь получен тот же эффект полного омоложения.

22-го февраля 1920 года, другая овца принесла вновь от него здорового ягненка, а сам баран до сих пор пользуется полным здоровьем юности.

Воронов дает в своей книге весьма демонстративные фотографии еще одного барана до и после омоложения и сообщает, что такая операция повторных пересадок повторена им на ряде стариков и кастратов—как на баранах, так и на козлах. Он приглашает в своей книге всех неверующих на свою лабораторную ферму, где он на фактах докажет действительность своего метода. Перенося далее результаты этих опытов на человека, Воронов рисует заманчивые картины омоложения людей и обрушивается на условные рамки законов, которые не позволяют ему использовать для этой цели свежие органы погибших от несчастных случаев.

Воронов убежден, что недалекое будущее откроет физиологу это право, пока же указывает еще одну возможность: на использование желез, взятых из человекообразных обезьян.

В том, что такая пересадка яичек от животных одного вида к другому возможна, Воронова убеждают уже известные случаи пересадки разного рода тканей от одного животного к другому. Вторая часть его книги посвящена описанию ряда весьма интересных операций пересадок тканей и органов, которые были произведены им лично в течение последних лет. Из них огромное значение имеют два случая пересадок щитовидных желез из обезьян в человека в целях излечения кретинизма. В одном случае это был крестьянский мальчик 14 лет, который был в момент операции полным идиотом и производил впечатление восьмилетнего—возраст, в котором его захватила болезнь. 5-го декабря 1913 года Воронов с присутствием 19 врачей пересадил ему правую долю щитовидной железы павиана. Эффект поразительный, мальчик настолько вырос и поправился, что мог получить образование, а в 1917 году был признан годным на фронт.

И здесь данное описание подкрепляется прилагаемыми фотографиями мальчика до и после операции. В другом случае с меньшим

успехом была пересажена ребенку-кретину щитовидная железа шимпанзе.

Таково фактическое содержание этой любопытной работы Воронова. Из его книги видно, что в момент написания им еще не было фактически осуществлено омоложение человека. Он лишь утверждает в ней осуществимость этого и для человека и обращается к французскому обществу с просьбой предоставить ему для этой цели в качестве материала человекообразных обезьян. На-днях в Москве получен июльский номер за 1921 год немецкого физиологического реферативного журнала. Из него явствует, что в настоящее время Вороновым уже осуществлена в нескольких случаях удачная пересадка половых желез шимпанзе человеку в целях омоложения. Там же, кстати, сообщается, что описанный в книге пациент с щитовидной железой павиана уже 6-й год благополучно носит ее в своем теле, при чем она не обнаруживает никаких признаков рассасывания.

Чтобы дополнить еще этот ряд поразительных фактов, открывающих еще новые перспективы пересадки органов, следует сказать, что из Америки идут сенсационные слухи, которые еще дальше продолжают проекты, излагаемые Вороновым: по сообщению Каммерера в его интересной книге, посвященной проблеме омоложения, в Америке Бринклею удалось омоложать стариков путем пересадки им яичек из козлов, а Франк Лидстон еще в 1917 году с успехом пересаживал яички из свежих человеческих трупов. Эти сообщения еще требуют своего точного подтверждения, но принципиальный факт возможности таких пересадок из одного вида в другой может считаться окончательно установленным: уже Штейнаху ранее удавались успешные пересадки яичек от кроликов к морским свинкам и обратно, а в уже упомянутой большой работе М. М. Завадовского ему удавалось с длительным успехом пересаживать половые железы из фазанов в петухов.

Все эти факты могут казаться сказочными и волшебными для лиц, не посвященных во все предшествующие им достижения науки, но не для тех, кто внимательно следил за быстрым темпом развития главнейшей из биологических наук современности — физиологии.

Возможности, открывающиеся перед человечеством на основании этих результатов, неисчерпаемы, но они не должны испугать нас при всей своей кажущейся неожиданности.

IX.

До сих пор я лишь излагал фактические данные, связанные с этой волнующей проблемой омоложения. Понятно, что вокруг этих фактов всплывает целая туча отдельных вопросов и вопросиков, на которые ищут ответа всколыхнувшиеся умы как широкой публики, так и представителей научной мысли. Попробуем теперь последовательно рассмотреть важнейшие из этих вопросов.

Первым вопросом, подлежащим нашему обсуждению, является следующее: вообще достойны ли доверия все сообщаемые здесь факты?

В своем предыдущем изложении я старался показать, что сенсационные работы Штейнаха, Воронова и других отнюдь не являются чем-то неожиданным для науки: нет, они лишь являются логическим выводом и практическим результатом тех знаний, которые принесла нам эта новая глава физиологии:—учение о внутренней секреции. Уже

самый факт одновременного и независимого открытия аналогичных явлений в трех разделенных друг от друга странах—Австрии, Франции и Америке указывает на стихийную и объективную необходимость этого открытия, диктуемую всеми условиями развития науки.

Далее имя Штейнаха, уже прославившего себя, как блестящего и осторожного в смысле своих выводов экспериментатора, достаточно гарантирует нас от того, чтобы можно было с его стороны подозревать легкомыслие или шарлатанство. За это говорит и тот факт, что он сам в течение 8 лет проверял и умножал добытые им факты, прежде чем сделать их достоянием гласности.

Тем не менее и как это ни странно, такова уже консервативная сила и косность нашей мысли, что сообщения эти вызвали скептический прием со стороны целого ряда ученых, не говоря уж об известной части публики.

Достаточно было побывать на научных заседаниях, в которых ученая Москва впервые обсуждала только что полученные работы Штейнаха, чтобы удивиться тому упорству и ожесточению, с которым многие стремились уничтожить или унизить огромное значение добытых наукою фактов. Разберем прежде всего попытки опорочить и подвергнуть сомнению самый факт омоложения.

Эти возражения идут по следующему направлению:

Указывается на то, что перерезка семенного канатика или рентгенизация яичников у женщин предпринимались неоднократно и раньше в случаях разного рода поражений и заболеваний, связанных с половой системой, но, по словам критиков, все эти случаи ни разу не давали эффектов омоложения; так же точно в Америке и в некоторых кантонах Швейцарии прибегают к перевязке или перекручиванию семенного канатика в целях стерилизации преступников. Эта мера, проведенная в этих странах, как юридическая мера, преследовала цель обеспечить общество от распространения наследственных преступников; тем не менее, утверждают скептики, до сих пор ни разу не наблюдали в результате этих операций эффекта омоложения.

Следовательно, не договаривают обыкновенно они, сообщения Штейнаха не заслуживают доверия.

Понятна наивность и совершенно ненаучная слабость мысли и логики в этих возражениях: если бы фактически они и подтвердились, то они отнюдь еще не позволяют делать никаких выводов; ведь все эти операции предпринимались без всякой мысли о возможности омоложения, при этом повреждения семенных канатиков сопровождались повреждением как нервных связей, так кровеснабжения яичек, на что весьма усиленно обращает внимание Штейнах. Далее операция стерилизации производится обыкновенно на молодых преступниках, которые и не могут дать эффекта омоложения, ибо, остроумно замечает этим возражателям Каммерер, не думают же они, что операция Штейнаха должна превратить юношу в грудного младенца; далее рентгенизация производится до сих пор без установления точной дозировки, рассчитанной на омоложение, наконец, в большинстве этих случаев врач теряет из вида пациента и довольствуется тем, что он излечил данное острое недомогание, с которым пришел к нему больной, и не ведет дальнейших наблюдений над его состоянием. А если и наблюдается общее улучшение самочувствия, то оно естественно приписывается устранению данного острого заболевания, а не каким-либо общим причинам.

Все это так просто и понятно, что трудно и ожидать другого. Это неизбежно, что в прошлом трудно искать случаев омолажающего

влияния рентгенизации или перевязки семенных протоков, раз в этом направлении не шли ожидания врача, и раз самая техника операций не была обдумана соответствующим образом.

Но все же и при этих условиях пересмотр старых случаев находит примеры такого неожиданного улучшения в общем состоянии здоровья, которые теперь мы не можем толковать иначе, как непонятые в свое время случаи омоложения. Так, сам Лихтенштерн нашел несколько подобных примеров в операциях Dosnardi и Гельфериха, произведенных ими еще в прошлом столетии. Также и Гольцкнехт и другие рентгенологи утверждают, что у них теперь как бы открылись глаза, когда они в свете работ Штейнаха посмотрели на некоторые поражающие по своей силе благоприятные результаты применения лучей Рентгена к лечению яичников у женщин.

Наконец, упомянутым уже выше Лидстоном ставится в непосредственную связь оба эти факта: проблема омоложения и стерилизация преступников, о чем свидетельствует его книга, вышедшая еще в 1917 г. в Чикаго под следующим заглавием: „Impotence and sterility with ebbaration of the sexual Function and sex.-Gland implantation".

К сожалению, эта книга, снабженная по Каммереру большим количеством фотографий и объемом в 333 страницы, еще не получена, поскольку мне известно, в Москве, и я не могу о ней дать более подробных сведений.

X.

Вторая группа сомнений строится в направлении тех возможных нарушений и дисгармонических явлений, которые могут оказаться в результате этой операции у человека. В частности, весьма основательно можно опасаться у омоложенных субъектов повышенной сексуальности, что уже является опасным как для самого пациента, так и для общественной безопасности. Понятно, что противниками Штейнаха подхватывается всякий факт, указывающий на неблагоприятные последствия операции у человека.

Нельзя умалять всей серьезности этих опасений. Но странно также и то расширительное толкование, которое приписывается этим возможным опасностям для того, чтобы отрицать фактическое осуществление благополучных операций.

Ведь ясно всякому научно мыслящему человеку, что никто не собирается смотреть на методы омоложения, как на некую панацею, излечивающую от всех зол и применимую ко всем случаям старости; ясно, что должен существовать целый ряд ограничений в виде каких-либо заболеваний, конституциональных повреждений или слишком глубоких изменений в старческом организме, которые делают уже невозможным омоложение никакими силами; ясно, что можно заранее предвидеть целый ряд неудач, которые покажут нам в дальнейшем те точные показания, которые делают возможным омоложение и обратно. Но все эти заранее мыслимые неудачные операции омоложения ничуть не умаляют и не уничтожают принципиальное значение добытых Штейнахом открытий.

Стоит лишь только понять, что в этом вопросе решающим является каждый положительный факт омоложения и, наоборот, сотни неудачно или неумело сделанных операций могут лишь внести некоторые, быть может, существенные ограничения в применимость операции, но не уничтожают того факта, что Штейнаху и Воронову удалось повторно возвращать к полной юношеских сил жизни и удлинять продол-

жительность жизни животных на срок до 25 и больше % предельного максимума и что уже несколько людей, оперированных Лихтенштерном, в течение около трех лет пользуются счастьем восстановленных духовных и физических сил.

Эти факты навсегда останутся маяком, к которому должна и будет стремиться и из которых будет исходить в своем дальнейшем движении вперед теоретическая наука и практическая медицина. Попытки же некоторых затушевать или даже закрыть глаза на эти факты производят странное впечатление бессильной злобы или зависти тех, кто, по меткому замечанию Каммерера, изощряет все свое остроумие, чтобы „хотя бы чем-нибудь урвать в доказательности гениальных достижений и хотя бы на одно мгновение остановить полное надежд движение человечества вперед".

Можно, конечно, с упорством слепоты повторять, что мы поверим в факт омоложения человека лишь тогда, когда увидим через 30 или 40 лет первых пациентов Штейнаха все в том же состоянии юношества. Я не иду так далеко: я готов признать, что и один факт 2-летнего восстановления трудоспособности тех живых трупов, какими являлись пациенты Штейнаха, есть нечто, о чем раньше люди могли мечтать лишь в своих самых дерзновенных фантазиях. Я не настолько наивен, чтобы считать осуществленной сказку о вечной юности, но зачем же ставить Штейнаху в вину то, что он не дал нам всего, раз и так он дал нам очень много: древнюю сказку об омоложении он сделал из мечты реальной, хотя может быть пока отдаленной, возможностью и впервые наметил тот путь, идя которым мы можем достичь многого.

XI.

Другой вопрос и другой ответ получим мы, если оценим работы Штейнаха с той точки зрения, поскольку они исчерпывают задачу омоложения и уясняют нам все те явления, которые связаны с явлением старческого одряхления. Было бы большой ошибкой думать, что Штейнахом открыт до конца ключ к загадке старости и что все явления старческого одряхления могут быть сведены целиком на функции половых гормонов.

Старость—явление в высшей степени сложное и охватывает все без исключения стороны жизнедеятельности организма. А раз так, то она связана с целым рядом деструктивных изменений и физиологических нарушений в деятельности всех органов внутренней секреции. Ряд фактов указывает на тесную связь многих явлений старости с другими эндокринными железами. Так, уже давно высказывались предположения, что причиною старости являются нарушения в деятельности той же щитовидной железы. Уже Мечников в 1902 году излагал и опровергал теорию старости Лорана, построенную вокруг этой идеи. Тем не менее можно утверждать, что многие явления старости находятся под непосредственным воздействием щитовидной железы.

Так, сам Штейнах предполагает, что в его явлениях омоложения, психическое возрождение животного происходит не непосредственно через влияние полового гормона, а косвенно - через посредство щитовидной железы. Это легко допустить, если вспомнить то тесное отношение, которое существует между щитовидною железою и всею психикою, темпераментом и умственными способностями человека. Несколько фактов поясняют, что и не только психическая старость мо-

жет быть связана с функцией щитовидной железы, есть основание предполагать, что и поседение волос и самый процесс выработки пигмента связан с нею. Так, еще Шарко отмечал, что Базедова болезнь у многих больных впервые обнаруживается после каких-либо сильных нервных потрясений, семейных несчастий и т. д. Но также точно и одновременно с этим вследствие нервных потрясений иногда обнаруживается и любопытный факт внезапно быстрого и раннего поседения волос. Уже это заставляет подозревать какую-то непосредственную связь между выработкой пигмента и щитовидной железою. Но есть и прямые факты, подтверждающие эту связь. Так, автору этой статьи удалось вызвать у черных кур и в том числе у чисто черных чистопородных лангшанов обильное появление белых перьев взамен выпадающих черных; всякий раз, когда я кормил кур большими порциями щитовидной железы, вырастали белые перья; когда прекращал кормление—росли перья черного цвета разной густоты и окраски [1]. Таким образом удалось получить также перья, окрашенные вверху в белые и внизу в черный цвета и обратно. К этому надо прибавить еще, что молодой петушок, сильно отравленный большими порциями бычьей щитовидной железы обнаруживал и многие другие внешние признаки старчества—функциональное недоразвитие вторичных половых признаков, имел сморщенный гребень, ссохшуюся кожу и жесткое тощее мясо и т. д. Все это если и не позволяет окончательно утверждать, что щитовидная железа причастна весьма тесно ко многим явлениям старости, то делает это весьма вероятным. Тем более, что еще другие факты указывают вообще на тесную связь, которая существует во взаимоотношениях всех желез внутренней секреции друг с другом.

Так, известно, что следствием кастрации является недоразвитие щитовидной железы и, наоборот, гипертрофия и долгое существование в организме зобной.

При экстирпации щитовидной железы также яички растут несколько меньше нормального и, наоборот, сильно увеличивается гипофиза и т. д.

Как мы должны смотреть на явления старости и омоложения в свете этих фактов?

Я представляю себе живой организм, как некоторую систему не вполне устойчивого равновесия. В этой системе циркулируют гормоны, регулирующие все внутренние процессы и отправления организма. Характерной особенностью этих гормонов является то, что они по своим некоторым свойствам являются подобными ядам: немножко мало или немножко много этих гормонов составляют уже источник нарушений в жизнеотправлениях тех или других клеток. Эта особенность является весьма характерной для всех гормонов и это мы уже видели в ряде примеров: недостаточная секреция полового гормона или его отсутствие ведет ко всем пагубным последствиям кастрации—но и избыток его также опасен, так как он влечет за собою повышенную и даже патологическую сексуальность; недостаточность щитовидной железы дает кретинизм и отупение—но ее избыток ведет ко всем пагубным последствиям Базедовой болезни с ее усиленным сожиганием тканей тела; еще несколько больше щитовидной железы как это было в случае моих кур—и мы имеем ряд симптомов резкого

[1] Эта работа нигде не опубликована за полным отсутствием научных журналов. Отсутствие же соответствующих условий не позволяет продолжить и развить дальше эти полученные еще 1½ года назад результаты опытов.

отравления, ведущего к гибели в мучительных судорогах и опять-таки отражающегося в сильной степени на высших отправлениях мозга. Немного мало гормона гипофизы—и мы имеем карлика, немного много—и мы имеем уродливый гигантизм, акромегалию и т. д., и т. д.

Ясно, что наш организм находится под постоянными ударами внутренних химических реагентов. Полное благосостояние его устанавливается лишь тогда, когда все эти гормоны поступают в тело в идеально точной дозировке и идеально точно уравновешивают друг друга.

Естественно, что такое идеальное состояние полного равновесия немыслимо в организме, поскольку последний подвергается ряду воздействий извне и поскольку в самом процессе своей жизнедеятельности наше тело является полем постоянных сгущений и разряжений, поступления и выделения тех или других продуктов внутреннего и внешнего обмена веществ, включая сюда и эти гормоны, с их в большинстве случаев еще невыясненной химической природой.

Если это так, то вся наша система находится в состоянии непрерывных колебаний вокруг идеальной точки гармонического равновесия, которая так и остается практически недостижимой для живого организма, не находящегося в состоянии анабиоза.

Результат этого ясен: он выражается в том ряде незаметных, но непрерывных нарушений и расшатываний в нашей живой машине, которые, постепенно накопляясь и суммируясь, дают в конце концов ту картину изменений, которую мы называем старостью. Старость есть при таком воззрении естественное следствие жизни клеток и их взаимодействия друг с другом через посредство гормонов и других продуктов их обмена.

Какова роль в этом процессе старческого изнашивания организма отдельных желез внутренней секреции?

Мы пока не состоянии вскрыть и проанализировать роль каждой из них. Но мы можем утверждать на основании изложенных работ Штейнаха, что роль полового гормона в этих явлениях огромна. Отсюда и тот практический путь, направленный к восстановлению нарушенного равновесия, т.-е. к омоложению тканей и частичному возвращению им былой активности и жизнедеятельности. Это—внесение в организм тем или другим путем того гормона, отсутствие которого так гибельно отражается на общем благосостоянии организма.

Означает ли это, что значение других гормонов стушевывается перед всесильным влиянием полового гормона? Я думаю, что нет, и это учитывается также и Каммерером. И мы не уверены в том, что как раз те имеющиеся уже в литературе указания на неблагоприятные результаты операций Штейнаха не относятся именно к таким случаям, когда главным фактором и причиною старости послужила дисфункция не половой, а какой-либо другой железы.

Но несомненно также и то, что, как остроумно сравнивает Каммерер, Штейнах первым из всех пытавшихся разрешать проблему старости и омоложения, ухватил вопрос за дышло: можно сдвинуть телегу, толкая ее сзади или налегая с боков на колеса, но ближе всех к истине будет тот, кто ухватится за дышло вопроса.

Штейнах несомненно ближе всех подошел к существу проблемы, и нашел дышло—всей „телеги". И в этом его великая заслуга, которую нельзя затушевать.

XII.

С точки зрения этой „полигляндулярной“ или многожелезистой теории старости, развитой мною, ясен тот ответ, который я дал бы и на еще один „вечный“ вопрос, который, конечно, волнует читателя: в какой мере операции Штейнаха или Воронова приближают нас к осуществлению той тоски по „вечной юности“, которая так упорно живет в каждом из нас?

С моей точки зрения, установленной выше, „вечная юность“ это есть тот идеальный предел, та идеальная точка, вокруг которой непрестанно колеблется живая система каждого организованного существа, никогда не останавливаясь на этой точке полной и совершенной гармонии. Операция омоложения не есть средство добиться вечной юности, как тот „жизненный элексир“, которого искали алхимики средних веков. Наука не фокусник и не чародей и наивно ждать от нее разрешения неразрешимого, противоречащего самой природе живого вещества.

Мы можем говорить и реально добиваться бесконечно большого приближения к этому идеальному пределу, как то всегда и всюду бывает, когда человек говорит об идеалах и их реальном осуществлении.

Работы Штейнаха и Воронова мы можем и должны рассматривать, как первый и реальный шаг по пути практического приближения к этому идеалу. Дальнейшие шаги будут сделаны тогда, когда мы точно взвесим и определим роль и значение каждой эндокринной железы в общей экономии организма, их участие в процессах старости и омоложения и те условия внешней среды, которые влияют на их выработку и поступление в кровь, и, наконец, точную дозировку и количественные взаимоотношения их в той гармоничной системе, которую мы хотим достичь в идеально совершенном человеческом теле, полном юношеских сил и духовной жизни.

Нам предстоит еще долгий путь. Но мы можем радоваться тому, что имеем уже право говорить, как о реальной возможности, о том времени, когда целесообразным введением в наш организм тех или других недостающих ему гормонов, мы сможем в нем поддержать состояние хотя бы относительного равновесия на сроки, гораздо более долгие, чем пока достигнуты Штейнахом. Не даром Воронов уже теперь говорит о необходимости, быть может, одновременного пересаживания семенной и щитовидной желез.

XIII.

Судьба научных теорий капризна...

Развитие научной мысли подвержено все тем же законам диалектики и непрерывных колебаний вокруг некоторой средней равнодействующей.

В течение двадцати лет проблема старости обсуждалась под углом зрения теории Мечникова, и тогда в пренебрежении оставалась великая идея Броун-Секара о гормональных причинах старости. Теперь нас постепенно захватывает волна увлечения Штейнахом, мы вновь воскрешаем идеи Броун-Секара, но... вместе с тем быстро забываемом о том положительном и несомненном, что было уже давно

доказано Мечниковым. Именно такое впечатление производит в общем прекрасная книжка Каммерера, посвященная проблемам омоложения и затрагивающая попутно несколько теорий старости, но ни слова не говоря о Мечникове.

Нельзя не признать односторонним и несправедливым такое явление. Да и вообще не странно ли то, что до сих пор эти две теории, объясняющие причины старости — гормональная, ведущая начало от Броун-Секара и Лорана, и фагоцитарная, созданная Мечниковым, до сих пор излагались независимо одна от другой или упоминались одновременно лишь для того, чтобы только противопоставить их одну другой.

Посмотрим же, в каком отношении стоят факты, вновь добытые теперь Штейнахом, к теории Мечникова и нельзя ли их в самом деле примирить и согласовать друг с другом?

В чем сущность теории Мечникова?

Я вижу в ней два основные момента.

Что касается непосредственных причин старости, то Мечников видит их в отравлении кишечными ядами, выделяемыми несметными ратями гнилостных бактерий, поселяющихся в толстых кишках.

Непосредственными опытами Мечников и его ученики показали, что действительно гнилостные яды вызывают в организме склеротическое перерождение тканей и в частности артериальных стенок, а это уже есть один из обычных и типических симптомов старческого одряхления. Далее, рядом остроумно сопоставленных биологических наблюдений и анализов кишечной флоры разнообразных животных в связи с продолжительностью их жизни. Мечников придал своей теории причин старости широкий биологический фундамент и обоснование, с которыми мы не имеем права не считаться. И если мы не признаем за кишечными бактериями единственную и главную причину естественной старости, то нельзя не признавать, что им и в более общей форме — пищевому режиму вообще — принадлежит исключительно большая роль в ускорении старческого одряхления и в сокращении общей продолжительности нашей жизни.

Противоречит ли это допущение результатам, полученным Штейнахом? Отнюдь нет. Гормональная теория старости подчеркивает значение и характер внутреннего механизма, регулирующего процессы жизни и одряхления, но оставляет открытой и даже ждет выяснения тех внешних причин и стимулов, которые влияют на характер и количественные взаимоотношения отделяемых гормонов. В этом отношении мы неизбежно должны притти к выводу, что характер пищи, весь пищевой режим и в частности кишечные яды, на которые указал Мечников, играют весьма значительную роль и влияние на всю гормональную систему в нашем теле. И мы уже имеем, независимо от проблемы старости, ряд попыток установить связь между учением о внутренней секреции с одной стороны и факторами питания с другой.

Укажу лишь, во-первых, на те аналогии, которые проводятся некоторыми между гормонами и ферментами, и во-вторых на ту связь, которая намечается между этими гормонами и теми вновь открытыми новыми „факторами питания и роста“ (витаминами), которые, как оказывается, должны непременно находиться хотя бы в минимальном количестве в нашей пище для того, чтобы мы могли нормально расти и развиваться.

Есть и более непосредственные наблюдения, устанавливающие взаимную зависимость между факторами питания и явлениями внутренней секреции.

Огромный интерес для нас представляет в этом аспекте статья прив.-доцента Гроте, помещенная в апрельском номере Deutsche Med. Vochenschrift за 1921 год, под заглавием: „Хронические колитиды с вторичными инкреторными нарушениями функций и их значение для общей конституции". В ней сообщается о личных наблюдениях автора над появлением симптомов Базедовой болезни в результате дизентерии и других форм колитов. Вместе с тем автор этой работы дает ценную сводку более ранним клиническим наблюдениям над взаимной связью между желудочно-кишечными заболеваниями и другими экзогенными ядами, с одной стороны, и дисфункцией тех или других инкреторных желез, с другой.

К фактам, намеченным Гроте, прибавлю давно известные предположения, что мясная пища способствует проявлению тетании (что в значительной мере я могу подтвердить на основании предварительных исследований, которые при моем частичном участии вел в Одессе д-р Е. И. Синельников). Наконец, хорошо известен факт тожества симптомов тетании и эрготизма, т. е. отравления спорыньей. Далее известно, что хорошо известная детская болезнь рахит является с одной стороны результатом недостаточного усвоения кальциевых солей пищи, с другой—связана теснейшим образом с недостаточностью функции тех же эпителиальных телец.

Таков ряд фактов, устанавливающих влияние факторов питания на гормональную деятельность эпителиальных телец.

Еще более убедительные факты помимо тех ценных соображений, которые даны в указанной статье Гроте, можно указать для щитовидной железы. Так, повидимому, окончательно установлен факт, что зобатость и последующий кретинизм, распространенные эндемически в некоторых местах Альп, Кавказа и других гор, связаны с какими-то определенными свойствами питьевой воды данной местности. Так, например, установлены факты, что семьи, пьющие воду из определенных колодцев, заболевают зобом, а их соседи, берущие воду из других мест или же пользующиеся тою же водою, но предварительно кипятя ее, свободны от заболеваний (классическое исследование Бирхера).

Можно было бы и еще умножить количество тех примеров, которые иллюстрируют тесную связь между питанием и состоянием желез внутренней секреции.

Это также и те мосты, которые должны будут в конце концов связать теорию кишечных ядов Мечникова и гормональную теорию в единую теорию внешних и внутренних причин старости.

Вторым моментом теории старости, разработанной Мечниковым, является его попытка проникнуть во внутренний механизм тех процессов, которые сопровождают явления старости. Этот механизм Мечников видел в борьбе клеток и тканей и в частности—пожирании слабеющих „благородных" клеток и тканей менее благородными клетками соединительной ткани и в частности открытыми им фагоцитами. И опять-таки им дано несколько примеров, где им, повидимому, фактически доказан факт фагоцитоза и соединительно-тканного перерождения старческих тканей.

Противоречит ли эта теория фагоцитоза штейнаховской теории? Отчасти да. А именно для некоторых случаев ее подтверждение обозначало бы необратимость старческих процессов и, следовательно, неосуществимость омоложения никакими средствами. Это, например, и прежде всего касается нервной системы, которая, как известно, неспособна регенерировать, будучи замещена соединительной тканью.

Но здесь еще вопрос, кто должен будет уступить. Мечников ли с его теорией фагоцитоза клеток мозга в периоде глубокого старчества или штейнаховский метод омоложения: ведь уже в упомянутом случае Гармса упоминается о примере, когда возможно омоложение всех свойств, кроме тех признаков, **которые связаны с нервной системой.**

Но если исключить эти случаи глубоких повреждений мозга, связанных с фагоцитозом нервной системы, то не можем ли мы только признать, что химическая гормональная теория и клеточная фагоцитарная теория лишь дополняют одна другую? В самом деле фагоцитарная теория искала причин ослабления благородных клеток тела в действии кишечных ядов. Мы отмечали уже недостаточность этой причины для объяснения наступления естественной старости. В самом деле, как мы объясним тогда наступление старости у тех организмов, которые не обладают кишечной флорой? Да и допустимо ли приписывать сложное явление старости одним только внешним факторам, не считаясь с внутренними механизмами, обрекающими себя на самоотравление? Естественно, что гормональная теория дает гораздо более широкую и общую сумму причин, ведущих к вырождению благородных клеток и, следовательно, дополняет теорию Мечникова в том ее пункте, где она как раз была наиболее слаба.

Наоборот, гормональные факторы отнюдь не исключают возможности фагоцитарных явлений, как одного из процессов, сопровождающих старость. Наоборот, мы уже имеем прямые опыты (Марбэ), которые показали, что, например, гормон щитовидной железы оказывает прямое воздействие на опсоническую силу лейкоцитов.

Таким образом мы имеем право сказать, что теории Мечникова и Броун-Секара, Штейнаха и Воронова (вопреки пренебрежительному отношению Воронова к Мечниковской теории) в общем не противоречат, а лишь дополняют друг друга.

И я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что будущая полная и законченная теория старости должна явиться синтезом между гормональными и фагоцитарно-бактериальными явлениями. Задача же настоящего—это отыскание тех связей, которые существуют между гормонами и явлениями фагоцитоза и между гормонами и пищевым режимом. Начало этому уже положено в работах Марбэ и в новых фактах, связанных с учением о витаминах и ферментах. И тогда нам рисуется следующая примерная схема этой связи.

Организм—это система сложных взаимодействий ряда факторов, среди которых выдающееся значение имеет описанная выше группа гормональных желез. Игра этих гормонов вместе с нервным механизмом обеспечивает полную жизнедеятельность организма и координацию в действии его отдельных частей. Но она же, по указанным выше причинам, ведет к непрерывному самоотравлению и самоизнашиванию организма в его целом—к его старческому одряхлению. Фагоцитоз, т.-е. взаимное пожирание клеток и тканей, описанное Мечниковым, является одним из сопутствующих внутренних механизмов глубокого и необратимого в иных случаях перерождения тканей.

Таковы известные нам пока факторы внутреннего происхождения, обуславливающие неизбежное наступление старости.

Но организм не есть замкнутая в себе система, недоступная действию **внешних** факторов. Нет, она находится также под непрерывными ударами внешней среды, которая создает или разрушает условия, благоприятствующие нашему полному процветанию. Мне кажется, что Мечников достаточно убедительно показал, что в числе

этих факторов внешнего происхождения огромное значение принадлежит кишечной флоре, а указанные нами вкратце примеры указывают тот реальный возможный механизм, через посредство которого устанавливается это воздействие.

XIV.

Нам остается обсудить еще один неясный пункт, связанный с эффектом операций Штейнаха.

Что происходит с яичком в результате перевязки семенного протока, какие процессы и изменения происходят в нем, если он вдруг оказывается вновь источником юношеской силы, возрождающей весь организм к новой жизни?

Здесь мыслимы две возможности:

1) Можно думать, что инкреторное действие принадлежит тем же элементам, что и внешняя секреция. Тогда гормона половой железы нужно искать в семенных канальцах и их продуктах—семенных клетках, или сперматозоидах.

2) Можно думать и иначе—что внешняя и внутренняя секреции разделены в половых железах между двумя родами клеток и не имеют между собою такой тесной связи.

Именно так думает Штейнах, а вместе с ним значительное количество физиологов-экспериментаторов.

Половые железы состоят из двух родов тканей: во-первых, из семепродуцирующих клеток эпителиального характера, образующих обкладку семенных канальцев—Штейнах называет их „зародышевой железой", исполняющих функции исключительно наружной секреции, служащей размножению, и, во-вторых, из промежуточной соединительной ткани, заполняющей промежутки между семенными канальцами. Этим клеткам приписывалась раньше функция исключительно вспомогательная—роль накопителей питательного материала для генеративных клеток. Французские авторы, а вслед за ними и Штейнах приписывает им внутри-секреторную функцию. Штейнах дает ей название п у б е р т а т н о й железы или „железы зрелости" („интерстициальная" железа французских авторов) и приписывает ей все те явления, которые связаны с гормональными последствиями описанных выше операций.

В женском яичнике этим железам соответствуют: 1) фолликулярная ткань яйцевых пузырьков с их половым продуктом—яйце-клеткой; 2) промежуточная соединительная ткань яичника и особенно те желтые тела и их лутеиновые клетки, которые вторгаются на места разорвавшихся яйцевых фоликул.

Именно разному характеру клеточной ткани пубертатных желез самцов и самок m и f клеток и обязаны мы половыми различиями во вторичных половых признаках и всей организации тех и других.

Штейнах обосновывает свой взгляд многими фактами физиологического характера, а также некоторыми весьма любопытными гистологическими исследованиями. Так, самый факт бисексуальности и гермафродитизма на основании его опытов сводится, очевидно, к одновременному существованию в половых клетках индивида m и f клеток. Между тем гистологические исследования показывают, что в таких половых железах с инкреторной деятельностью, как крипторхические яички самцов (кроме человека, они очень часты у свиней) и особенно, как пересаженные яички или яичники,—их генеративная ткань сводится до минимума почти до полного исчезновения и в то же время усиленно

разрастается за их счет промежуточная ткань или штейнаховская пубертатная железа. Далее Штейнах исследовал половые железы двух гермафродитных коз и гомосексуалиста, оперированного Лихтенштерном (см. выше), и утверждает, что он нашел в них одновременное существование именно этих m и f клеток при той же редукции генеративных элементов.

Таким образом с точки зрения Штейнаха и Каммерера механизм действия пересадки половых желез или перевязки семенного протока сводится к следующему.

Все эти операции сопровождаются некоторыми повреждениями и потрясениями в нормальной деятельности гонад. Зародышевые клетки как менее стойкие и более чувствительные ко всем повреждениям, отвечают на них атрофией и умиранием; на их место выступают быстро размножающиеся и более стойкие клетки пубертатных желез. Именно это размножение пубертатных клеток и есть прямой источник усиленной выработки полового гормона, вызывающего расцвет юношеских сил и деятельности во всех клетках и тканях организма. Постепенно этот процесс общего расцвета распространяется и на зародышевую ткань, тогда мы вновь наблюдаем регенерацию и усиленное развитие семенных канальцев и, следовательно, и способности к размножению — в случае, если этому способствует сохранность половых путей. Продолжая этот ряд мыслей Штейнаха, можно сказать, что эта полная регенерация зародышевой железы должна тогда знаменовать собою начало нового упадка жизнедеятельности промежуточных пубертатных клеток, а, следовательно, и уклон органической системы под гору, опять к старости... Таким образом с точки зрений этой гипотезы Штейнаха мы должны видеть в зародышевой железе в некотором роде антагониста пубертатной, ибо разрастание первой из них постепенно ведет к редукции другой, и обратно—пубертатная железа может размножиться только за счет атрофии первой.

Надо сказать, однако, что эта гипотеза Штейнаха пока еще не встретила всеобщего признания. Наоборот, именно журналы последнего года приносят очень большое количество работ, направленных к опровержению ее. Во главе этих теоретических противников Штейнаха стоят Штиве и Полль, которых поддерживают многие видные гистологи. Прежде всего нужно отметить, что многие гистологические исследования гонад гомосексуальных и гермафродитных субъектов не подтверждают того, что сообщает Штейнах. Так, гистологические исследования яичек пациентов Мюзама, сделанное знаменитым Бенда, не обнаружили той картины m и f клеток, о которых говорит Штейнах. Замечательно, что Воронов—независимо от Штейнаха—также настаивает на существовании особой интерстициальной железы (пубертатной железы Штейнаха), но и он должен сознаться, что известный гистолог Реттерер, исследовавший все железы, с которыми оперировал Воронов, придерживается как раз обратного взгляда, ибо он не нашел чего-либо соответствующего этим m и f клеткам [1]). К этому надо

---

[1]) Уже в момент выправления настоящей корректуры ко мне в руки попалась новая общая работа Воронова и Реттерера под заглавием: «La Glande génitale mâle et les Glandes endocrines». Paris 1921 г. 283 стр. Как можно судить при беглом просмотре этой работы, авторы пришли к некоторому соглашению на новой и оригинальной точке зрения, согласно которой пубертатные клетки являются сами по себе продуктом перерождения генитальных. К сожалению, отсутствие времени не позволяет мне подробно остановиться на этой оригинальной работе, но надо отметить, что если их наблюдения подтвердятся, то обе спорящие стороны должны будут найти почву для примирения.

еще прибавить сообщение Шминке и Ромеиса, Кейслера и других.

Наконец, большой интерес представляет обстоятельная работа (Гьидье) из лаборатории Ашофа, в мартовском номере Deutsche Med. Vochenschrift за 1921 год, которая дает солидные обоснования взгляду Штиве, считающего, что инкреторная деятельность половых желез должна быть приписана одним и тем же генеративным клеткам.

Во всяком случае, как бы ни была заманчива гипотеза Штейнаха, поддерживаемая большинством физиологов, все же необходимо сказать, что обе спорящие стороны обладают весьма солидными данными и в то же время ни одна пока не представила решающих доказательств.

Поэтому мы не можем пока смотреть на гипотезу пубертатной железы Штейнаха, иначе как на весьма интересное предположение, которое может еще не оправдаться, но ценно тем, что она послужила полезной рабочей гипотезой и все еще продолжает вызывать к жизни ряд ценных исследований, имеющих гораздо более широкое значение.

Вместе с тем, конечно, нельзя и отрицать того, что в зависимости от того, какое из предположений оправдается, должны будут изменяться наши теоретические взгляды на причины и механизм старости и омоложения, а следовательно, и те практические ожидания, которые мы сможем возлагать на описанные методы омоложения.

Вот почему этот еще не решенный теоретический спор имеет гораздо более широкое значение, выходящее за пределы ученых кабинетов и лабораторий.

XV.

Интересно с точки зрения этих гормональных явлений проанализировать некоторые из тех обыденных наблюдений, которые мы знаем давно, как накопленную „мудрость веков".

Существует мнение, поддерживаемое Мечниковым, что гениальность связана с высокою половою активностью. Как наилучшее подтверждение этого называют Гете, а из наших гениев рядом с ним можно было бы поставить Пушкина.

Но, с другой стороны, признается и факт обратного значения: усиленная половая деятельность истощает организм и убивает умственную трудоспособность. Эти два противоречащие друг другу мнения существуют рядом без попыток согласовать их между собою или проверить одно из них.

Как смотреть на эту проблему в свете сообщенных выше данных? Мне думается, что, как бы ни представлять себе внутренний механизм действий половых желез, опыты Штейнаха устанавливают известный внутренний антагонизм между двумя различными функциями половой железы в ее целом — между ее работою наружу, направленною на продолжение рода, и работою внутрь в смысле снабжения наших тканей стимулятором жизненных процессов. Интенсивная половая деятельность должна убивающе действовать на благосостояние организма, ибо она означает слишком большую потерю наружу вещества, которое иначе пошло бы на самоснабжение организма половым гормоном. Это проще понять, приняв гипотезу Штиве: элементы, которые заключены в сперме и изливаются наружу, в случае воздержания всасываются в кровь, где и выполняют роль гормонов. Но, и приняв гипотезу Штейнаха, все же приходится признать, что и тогда между зародышевой и пубертатной железами, по мысли Штейнаха, происходит внутренняя борьба за один и тот же питательный материал, доставляемый кровью

и, наконец, просто борьба за место: разрастание одной ткани ведет к уменьшению другой.

Чрезмерная потеря половых продуктов означает быстрое изнашивание организма и быстрое его состаривание. А раз так, то не имеет ли за собою известное основание утверждение, что девственники мужчины стареются позже обыкновенного?

Задавая этот вопрос, я отнюдь не хочу сказать, чтобы лучший выход был в целомудрии—оно может повести „из огня да в полымя",—ибо согласно нашей полигляндулярной теории гармонии всех гормонов, как состояния идеального юношеского равновесия, избыток полового гормона может (но не обязательно должен) оказаться также опасным. И опять-таки нельзя ли рассматривать частые печальные последствия насильственного воздержания во имя посторонних идей и вопреки зову тела, как результат отравления избытками полового гормона? Во всяком случае, если интенсивный расход полового гормона безусловно вреден, то столь же неблагоразумно и насилование своего тела в сторону целомудрия. Мне вспоминается по этому поводу оригинальное учение индусских иогов, которое говорит, что целомудрие не есть обязательство для мудреца, но есть удел величайших из них, ибо та энергия, которая истрачивается обыкновенно наружу, идет тогда на обогащение их собственной психики.

Но как примирить эту точку зрения с мнением Мечникова? Мне думается, что разгадка в том, что мы смешиваем под именем гения два разных типа людей:

1) гениальность в области художественного творчества и в плоскости эмоциональных переживаний и

2) гениальность интеллекта и продуктивность в сфере научного творчества и умственной работы вообще.

Несомненно, что эмоциональная жизнь стимулируется половым гормоном; поскольку же художественное творчество связывается всеми традициями прошлого с языком эмоций и образов, можно согласиться с Мечниковым, что гениальность Гете-художника, гениальность Пушкина, Гейне и т. д. связаны с интенсивной деятельностью их яичек. К тому же ведет нас и другой ряд мыслей: художник, живущий образами и творящий образы, нуждается в богатстве эмоциональных впечатлений. Богатая секреция полового гормона влечет его ко все новым впечатлениям и дает ему материал для творчества.

Но столь же несомненно и другое: интеллект и гонада (т.-е. половая железа) находятся в известном антагонизме. Большинство, если не все гении науки, были крайне малодетны или даже совершенно бездетны и столь же бедна романтическими моментами вся их жизнь. Но рядом с ними могут быть поставлены и такие интеллектуально насыщенные художники, как Леонардо-да-Винчи, которого есть основание считать полным девственником, но который зато был одинаково гениален как в сфере интеллекта, так и в языке образов.

Хорошо известное чисто физиологическое чувство утомления и умственной слабости post coïtum свидетельствуют о том, что половая деятельность истощает организм и опустошает ум. Как часто мы говорим: ту или иную научную величину погубили женщины. Во всяком случае у нас есть весьма много оснований считать, что интеллектуальная мощь не связана с деятельностью гонад наружу: сошлюсь на половой „иммунитет" и бедность романами в жизни большинства работников мысли.

Попробуем теперь перевести эти соображения на язык гормональных влияний и связать их с физиологическими данными.

Творчество поэта и вообще художника связано следующим образом с яркостью его эмоций и опытом „в любви и ненависти". Половая железа вместе со щитовидной железой являются типическими „железами эмоций", возбуждающими и окрашивающими силу переживания впечатлений. Мы уже указывали на связь секреции щитовидной железы с темпераментами. Упомянутые наблюдения Шарко, общие явления отупения, апатии при микседеме и возбудимости базедовиков, подчеркивают эту роль щитовидной железы. Наконец, прямые опыты Ашера, повторенные в 1920 году в мое пребывание в Одессе А. Кронтовским, прямо показали, что секрет щитовидной железы повышает нервную возбудимость.

Наоборот, работа мысли—это, по преимуществу,— анализаторная работа мозга, связанная с тонкой работой „тормозящих центров" (Сеченов, Павлов). Естественно предположить, что возбуждающие импульсы, идущие от гонад, лишь затрудняют задерживающую, тормозящую работу интеллекта. Таким образом механизм художественно-эмоциального творчества по преимуществу гормонального типа, механизм же творчества интеллектуального — нервно-мозговой.

Но все же можно думать, что есть также специфические эндокринные железы, регулирующие эту сторону нервно-мозговой деятельности, т.-е. способствующие тормозящей и, следовательно, анализирующей деятельности мозга. Скорее всего такой аппарат можно видеть в околощитовидных железах и отчасти в зобной.

В самом деле вылущение околощитовидных желез ведет к повышенной возбудимости нервной системы, заканчивающейся тетаническими судорогами и смертью. Сходные явления, хотя и в менее сильной степени, бывают после вырезания зобной железы.

Обратно, тетанические припадки ослабляются при введении вещества околощитовидных желез, а также под воздействием солей кальция. Но соли кальция, согласно работам Леба, Мак-Каллума и др. есть типичный антагонист калия, при чем физиологическая роль калия сводится в значительной мере к его возбуждающему воздействию на нервно-мышечную систему, а роль кальция – к ее торможению.

Если эта гипотеза тормозящей функции околощитовидных желез в их отношении к нервной системе и психической деятельности оправдаются, то можно ожидать следующего: 1) что в условиях, аналогичных тем, в коих работали Ашер или Кронтовский, можно ожидать, что препараты этих железок окажут влияние обратное действию щитовидной железы—т.-е. понижение возбудимости первых; 2) если одновременно с вырезанием околощитовидных железок вырезать и все железы возбуждающего типа, то тетания может не наступить или же наступить с замедлением. Есть некоторые факты, как будто бы подтверждающие это: 1) есть данные, по которым удаление одних околощитовидных железок с оставлением на месте щитовидной железы, действует быстрее, чем если исключить весь щитовидный аппарат; 2) по некоторым наблюдениям у щенков тетания наступает не столь скоро как у взрослых собак, у которых яички, конечно, гораздо интенсивнее выполняют роль возбудителя обмена веществ и нервной деятельности; 3) сюда же относится наблюдение, согласно которому мясная пища, содержащая больше возбуждающих веществ, ускоряет припадки тетании, а также тот факт, что хищники значительно чувствительнее к удалению околощитовидных железок, чем многие грызуны; 4) припадки тетании можно сознательно возбудить у оперированных животных путем повышения температуры или возбуждая мышечную деятельность животных. Вероятнее всего, что эти воздействия возбуждают нервную

систему, но не находят себе соответствующих тормозов в лице околощитовидных железок.

* * *

Таким образом в свете новейших исследований современная физиологическая наука пытается поставить на почву химически гормональных явлений не только вечно волнующую и захватывающую своей близостью к сокровеннейшим нашим мечтам проблему старости, но и столь же сложные явления нервно-психической деятельности.

Я нисколько не закрываю глаза на то, что многие из высказываемых мною здесь соображений являются только гипотезами, еще требующими своего физиологического обоснования фактами.

Но многое из сказанного о неимоверно-большом влиянии гормонов на всю психику являются теперь для физиолога почти что трюизмом. Другое являются для меня не просто гипотезой, а рабочим планом, по которым должны быть направлены соответствующие исследования. К сожалению, отсутствие соответствующих условий и лабораторного оборудования не позволяют мне не только приступить вплотную к этим проблемам, но даже закончить то, что было начато в Одессе.

А для нашего читателя пусть эти соображения послужат одной из иллюстраций той идеи, которую так удачно выразил недавно один из американских авторов Гораций Броун:

„Человек мыслит не только своим мозгом, но посредством координированной и строго определенной деятельности содержимого своей черепной коробки и всех своих эндокринных желез“ [1]).

Б. Завадовский.

---

[1]) Гораций Броун: «Несколько афоризмов об эндокринных железах для лучшего инструктирования [illegible] с [illegible] и политической экономии».
(Horace Brown. Illinois Medical Journal, V. 38, 1920 г.).

Мимо и дальше от Маркса.

I.

Были времена,—и не то, чтобы очень уж отдаленные, доисторические времена, а очень и очень к нам близкие, когда „историко-этическая", „катедер-реформистская" школа открыто заявляла свои притязания на монополизацию всех кафедр политической экономии в Германии. Вступая в ректорскую должность, профессора экономисты,— профессора в своем вторичном звании, а в первичном Geheimrath'ы — тайные советники, в торжественных тонах возвещали, что они не потерпят в университетах марксизма. Это, впрочем, и без того было хорошо известно. Профессорская карьера и марксизм были для Германии две вещи, столь же несовместные, как гений с злодейством. А злодеям не должно быть места при воспитании юношества.

Так и повелось, что молодой человек, обнаруживший в своей диссертации некоторый интерес к Марксу и марксизму, открывал, что университетские двери плотно перед ним захлопываются: ищи приложения для своих сил в другом месте. Профессорский „марксизм" терпелся лишь в таких дозах, как, например, у Зомбарта. Да и такой-то „марксизм" был в постоянной опале. Она выражалась в том, что профессора загоняли в какой-нибудь провинциальный университет, а в Берлин пускали только в учебные заведения, задачей которых была подготовка не ученых, а практиков: здесь уклоны от господствующей линии не угрожали внесением заразы в университетскую науку, да к тому же и выветривались они с большой быстротой, едва лишь молодой человек становился инженером или управляющим какого-нибудь крупного торгового или промышленного предприятия.

Университетская наука шла дальше. Она провозгласила, что в германских университетах нет места не только марксистам, но и „строгим последователям Смита", или „рикардианцам". Это собственно было излишеством. В фауне не только Германии, но и других стран, и Англии в том числе, родины „смитианства", уже давно нет продолжателей классической школы политической экономии. Единственным преемником и продолжателем ее методов был марксизм. Официальная же, солидная, патентованная наука, это была все та же историческая или этическая школа, т. е. полная научная беспринципность, или „психологическая" школа Grenznützler'ов (предельной полезности). Значит, сказать, что университеты не потерпят экономистов классиков, в новой исторической обстановке было то же самое, что объявить бойкот марксизму.

Таким образом специалистом по социализму, коммунизму и т. д. для Германии сделался Георг Адлер, „абстрактный" метод был

представлен в ее университетах каким-нибудь Юлиусом Вольфом, и самое быстрое продвижение было обеспечено бойким „поедателям марксистов“, невежество которых равнялось только развязности их. Для того „гражданского общества“ (bürgerliche Gesellschaft), которое владело германскими университетами, не было надобности в более тонких ниспровергателях марксизма. Наступление рабочего класса еще не развернулось, „идейную борьбу“ с ним еще можно было вести в грубых, топорных формах.

Само собой разумеется, беспощадное искоренение марксизма и рикардианства оправдывалось тем, что они „не стоят на уровне современной учености, ее требований и ее строгих методов“. И столь же понятно, что дело было не в этом: „методы“ были только приметой, по которой угадывался общественный уклон ученого. Чего уж тут говорить о марксизме: если бы каким-нибудь чудом возродилась классическая школа в ее первобытной чистоте, даже она была бы воплощенным протестом против политической действительности Германии и уничтожающим обвинительным актом против буржуазии: против ее половинчатости, против незавершенности ее революции, против ее подчинения юнкерству, против ее симбиоза с феодализмом. Даже она угрожала бы расшатать боевое единство буржуазии и юнкерства против рабочего класса. Можно ли было терпеть такие, действительно, несовременные методы?

II.

Все это пришло мне на память, едва лишь я просмотрел предисловие к новой книге Генриха Кунова: „Die Marxschegeschichtsgesellschafts und Staatstheorie. Grundzüge der narxschen soziologie. 1. Band. 1920. Buchhandlung „Vorwärts“ Berlin („Марксова теория истории, общества и государства. Основные черты социологии Маркса“. Том I) Не менее, если не больше половины книги возникло из курса лекций, прочитанного автором в берлинском университете в зимний семестр 1919—20 года и в летний семестр 1920 года. Это, ведь, целая университетская революция. Это – не просто сдвиг, а настоящий переворот.

Конечно, первая крупная работа Кунова, появившаяся около тридцати лет тому назад и посвященная организациям родства у австралийских негров, нашла известное признание и в профессорском мире. Но все последующее в глазах докторов разных наук было непрерывным падением,—все ниже и ниже, все дальше от высот современной учености с ее „строгими методами“ и, главное, с предрешенными успокоительными выводами для существующего буржуазного общества. Когда появилась большая книга Кунова о французской революции (русский перевод под заглавием: „Борьба классов и партий в Великой Французской революции“), буржуазные ученые изрекли над ним, как казалось, окончательный приговор: марксизм, классовая борьба,—словом, все, что угодно, только не наука.

И вдруг этот самый Кунов, редактор теоретического органа социал-демократии „Neue Zeit“, в котором он заменил Каутского, слишком „левого“ для социал-демократии, читает курс лекций, и читает не в каком-нибудь маленьком провинциальном университете, а в самом солидном, в недавнем „императорско-королевском“ Берлинском университете! И его университетский курс, расширенный, дополненный и переработанный, выпускается книгоиздательством „Форвертс“, в каталогах которого перед многими книгами и брошюрами мы привыкли

встречать пометки: „воспрещено", „конфисковано",—конфисковано и воспрещено не для университетского употребления, а для обращения вообще. Вот и говорите после этого, что германская революция была половинчатая, соглашательская революция!

Но при ближайшем рассмотрении все оказывается куда как проще и будничнее. Уже в маленьком предисловии попадают места, которые напоминают те отдаленные времена, когда противники первых русских марксистов, народники и либералы, выступали в облачении истинных истолкователей Маркса. Подобно им, Кунов с первых же строк с победоносным видом выволакивает шутливое заявление Маркса, что он—совсем не марксист („je ne suis pas marxist"). С другой стороны, из того же предисловия на читателя веет букетом Бернштейна, более тонкого и приспособленного к новым условиям, но все же Бернштейна. В своей книге, которая около четверти века тому назад знаменовала попытку реформизма и ревизионизма перейти в открытое наступление, Бернштейн заявлял, что в возражениях Марксу и в критике Маркса в конце концов правым оказывается сам Маркс,—т. е., по внимательном рассмотрении дела Бернштейном, Маркс совсем не был тем марксистом, каким изображают его „некоторые" его ученики. Пересматривая и отвергая Маркса, как экономиста и политика, Бернштейн уверял, что он дает истинного, подлинного, неискаженного Маркса.

Теперь по тому же пути пошел Кунов. Критика отдельных положений Маркса,—пишет он в предисловии,—не входит в мою задачу. „Я обращался к критике только в тех случаях, когда мне казалось, что важнейшие положения Маркса-Энгельса оставлены позади новыми фактами и новым опытом или стоят в противоречии с другими воззрениями обоих авторов. Но что, думается мне, необходимо в самую первую очередь, так это освободить марксизм от ложных истолкований и сомнительных примесей. Только тогда может начаться критика и дальнейшее развитие социологии Маркса, которое должно заключаться не в эклектической прививке к ней чуждых, инородных воззрений, а в логическом продолжении данных в ней зачатков, в продолжении основных воззрений Маркса в духе Маркса, но далее Маркса".

Выходит, что Кунов—истинный истолкователь его социологии и продолжатель его дела.

III.

Но это — сплошное лицемерие, еще меньше прикрытое, чем у Бернштейна. Положение Струве—много проще. Он давно не просто порвал с рабочим классом,—он открыто стал во враждебные к нему отношения. Поэтому он мог прямо признать: действительный последовательный марксизм, марксизм Маркса и Энгельса, это—революционный марксизм, это—большевизм, это—коммунизм. Большевики—истинные продолжатели Маркса. Изворачиваться и отрицать это—лишнее, бесполезное дело.

Но лишнее, бесполезное дело для Струве, это пока вовсе не излишне для Кунова. Прямой и недвусмысленный разрыв с революционной теорией и революционной практикой марксизма повел бы только к тому, что социал-демократия быстро растеряла бы остатки рабочих масс и превратилась бы в штаб без армии.

Традиции не так-то легко искореняются. А традиция по справедливости объединила в неразрывном единстве марксизм и действительную, не иллюзорную борьбу пролетариата за свое классовое освобождение. Следовательно, в данном случае традиция обращается про-

тив социал-демократии и ее вожаков. Измена марксизму лишь документировала бы измену социал-демократии рабочему классу. Значит, приходится не разом отвергать марксизм, а сначала как будто просто его „истолковывать" и, приступая к этому делу, приходится обещать, отбросив все „инородные" элементы, пойти в марксизме дальше и выше Маркса („über Marx hinaus").

Буржуазные партии могут обходиться без стройной и целостной идеологии. И даже больше: всякая попытка теоретически осмыслить до конца свою практику только обнажила бы всю экономическую беспочвенность аппетитов, направляющих практику буржуазных партий. Когда капиталистическая собственность превращается в тормоз дальнейшего поступательного движения общества, невозможно обосновать притязания буржуазии на роль капитана и хозяина этого общества.

Напротив, пролетариат, как класс, который экономическим развитием направляется к господству, не хочет и не может оставаться узким практиком, действующим от случая к случаю. Его сила и его влияние возрастают не от затушевывания связи его задач и его политики с действительностью, а как раз наоборот: от выяснения для себя самого и для других всего безграничного охвата, всей универсальности этих связей.

И вот здесь-то социал-демократия оказывается в трагическом положении. Старая идеология, революционный марксизм явным образом не годится для оправдания соглашательской тактики и вытекающей из нее непрерывной цепи предательств. Пока измены оставались единичными, можно было замазывать разрыв с марксизмом. Но когда социал-демократия из „statsgefährliche и gesellscgaftsgefährliche силы, из силы, „опасной для государства и существующего общества", в своей практике и даже в своих заявлениях без обиняков и прикрытий превратилась в „staatserhaltende", в „государственно-охранительную силу", дело явным образом уже не в единичных случаях дезертирства, а в полной и решительной перемене всего фронта.

Вожаки социал-демократии и II Интернационала, не смея открыто высказать то, что Струве заявил так прямо, чувствуют и знают, что он глубоко прав: марксизм—на стороне коммунистических партий и III Интернационала. Но ведь это положение угрожающее. Конечно, армия пока не замечает, что все знамена и флаги растеряны или свернуты, и что она превратилась в подсобную силу, в пушечное мясо своих классовых противников и фактически шествует под их флагами и знаменами. Хорошо, что она этого не замечает. Но так не может длиться до бесконечности,—так вообще не может тянуться сколько-нибудь продолжительное время. А что будет, когда армия увидит, что ее направляют в бой против тех, в ком теперь воплотилось полное и действенное единство марксизма и пролетарской борьбы? Это способно только ускорить наступление полного банкротства, решительного и всестороннего краха. Надо готовиться к этому страшному моменту прозрения.

С самого начала империалистской войны многие вожаки социал-демократии подступали к теоретическому оправданию ее предательской тактики. Но то, что они - Каутский, Реннер и т. д.—делали, было слишком частично и потому мелко и недостаточно. И во всяком случае они еще не видали, что дело идет о пересмотре всей программы и тактики, о теоретическом оправдании всей деятельности теперешнего II Интернационала, о создании новой теории, которая должна притти на смену марксизму, представляющему постоянное изобличение этого Интернационала в предательствах и изменах рабочему классу.

Кунов хочет пересматривать и истолковывать не отдельные частности и мелочи, а все социальное мировоззрение марксизма, всю социологию Маркса, как он выражается.

Знаменательно, что он развернул свою кампанию пересмотра прежде всего в Берлинском университете. Революция не произвела сколько-нибудь существенных перемен в классовом составе университетских студентов. Значит, с своей критикой большевизма,—а к этому сводится существенное содержание трех заключительных глав, важнейших в его книге,—он адресовался к сынкам буржуазии и юнкерства. Кунов в роли университетского преподавателя— символическая фигура: в нем персонифицировался боевой союз социал-демократии с буржуазией против надвинувшейся пролетарской революции. Кунов на университетской кафедре, это то же самое, что Шейдеман или Носке с министерским портфелем. Это—буфер, который должен отвести предназначенные буржуазии удары.

В недавние времена для университетского употребления были достаточны Юлиусы Вольфы, Георги Адлеры, вульгарнейшие и тупейшие поедатели социалистов, и, в качестве последнего предела, Вернеры Зомбарты. Они были достаточны для натаскивания будущих прокуроров, ландратов, литераторов, профессоров, чиновников и политиков на борьбу с социал-демократией.

Но на борьбу против коммунизма требуются уже Куновы,—и социал-демократия угодливо посылает их в университеты.

IV.

Кунов размахнулся очень широко. Вышедшая до сих пор книга составляет до 350 страниц убористого шрифта. Но это—только первый том задуманной им работы. Из предисловия автора следует, что этот том— лишь своего рода введение к разработке основной темы. Второй том, по словам Кунова, будет посвящен исключительно социологии Маркса. В первом томе, хотя он и носит название: „Марксова теория истории, общества и государства", до этого сюжета автор доходит только в десятой главе и, изложив в ней и в одиннадцатой главе общественно-политические воззрения Маркса и Энгельса, в двенадцатой, последней главе тома подвергает их критике.

Я не знаю, имели ли продолжение лекции Кунова в Берлинском университете и не обрисовалось ли в этих лекциях содержание второго тома. Но полагаю, что едва ли много существенного можно добавить к уже изданному первому тому, в особенности к его трем заключительным главам: в этом томе „социология" самого Кунова,—т.-е. социология социал-демократии, социология развалившегося II Интернационала,—лежит перед нами готовая, обрисованная четкими и недвусмысленными штрихами.

То обстоятельство, что книга Кунова составилась из университетского курса, придало курьезно педантский характер его походу против большевиков. Для основной цели, для Kommunistenfresserei, для пожирания коммунистов, Кунову было бы достаточно именно только трех последних глав, с прибавлением к ним восьмой главы,—об исторической и общественной философии Гегеля,—да еще, пожалуй, главы о немногих государственных теоретиках XVIII века. Последние требуются постольку, поскольку Кунову хочется опорочить отрицание государства Марксом, связав его с идеями англо-французского радикал-либерализма.

Но положение обязывает. Взобравшись на кафедру университета, который в 1920 году остался таким же, как был и в 1914 году, и в 1920 году, приходится следовать исстари установившимся „добрым нравам" этого учреждения,— приходится демонстрировать, что новый профессор ни в чем не уступит старым: ни в тяжеловесности, ни в обстоятельности, ни иногда—и в убийственной скуке, ни в педантизме, ни в „эрудиции", которая при случае может сводиться к умению пользования разными в изобилии имеющимися справочниками и Handbuch'ами (Handbuch — „ручная книга",— должно быть потому, что под тяжестью подобных изданий сломилась бы рука самого Геркулеса).

Кунов хочет быть „исчерпывающим". Возможно ли характеризовать теорию Маркса и ее положение в развитии социальной философии, если не предпослать изложению теорий Маркса „сжатого" обзора тех из старинных историко-философских и социально-философских учений, которые оказали влияние на воззрения Маркса или хотя бы в известном смысле представляют этапы на пути к этим воззрениям? Ну, а раз дело дошло до этапов, то рамки введения к основной теме чрезвычайно расширились, вернее говоря, совершенно отпали. Возьмите, например, ряд немецких историков и государственников XVIII века, разных Гансенов, Мейнеров, Фирталеров и т. д., имена же их в настоящее время должны ведать только некоторые германские профессора; или возьмите хотя бы Августина и Фому Аквинского. Можно ли говорить об их непосредственном влиянии на теоретические воззрения Маркса? Но разве отсюда следует, что Кунову позволительно было бы обойти их молчанием? С точки зрения „этапов" в развитии науки, в работу Кунова с полной непринужденностью входят и Геродот, и Фукидид, и Страбон, и Полибий, и еще несколько десятков историков и философов. Их касательство к социологии Маркса во всяком случае,—это надо прямо признать,—не более отдаленное, чем отношение библейских и древне-греческих мифов, о которых Кунов, разумеется, тоже упоминает для полноты обзора и из профессорской „добросовестности". В самом деле, нельзя же не отметить „всех" предшественников, всех, кому наука „обязана своим развитием".

В „Деяниях апостолов" рассказывается об архидиаконе Стефане, которого позвали на суд и задали какой-то небольшой вопрос о его христианских воззрениях. А он закатал в ответ громадное историческое „введение", которое начал с Авраама и его божественных видений, перешел к Исааку, Иакову, к переселению его в Египет,— и затем буквально застрял в Египте и на истории Моисея. Судьи не выдержали и, в отчаянии заткнув уши, вывели Стефана за город и забросали камнями. Но и после, из-под груды камней, Стефан еще продолжал свое неторопливое повествование...

Повидимому, легенда все перепутала. Стефан был вовсе не архидиакон, а немецкий профессор, — и Кунов в борьбе с большевизмом превратился в немецкого профессора. Сильно же наступление коммунизма, если приходится искать прибежища от него у старика Геродота! От хорошей жизни к нему не пойдешь. Этим можно измерить всю отчаянность положения социал-демократии и II Интернационала.

Ведь этак Бернштейну свою критику Маркса следовало бы начать с экономических воззрений Аристотеля или хотя бы отцов христианской церкви.

Но он еще питал небезосновательную надежду, что его станет слушать рабочий класс. Кунову не остается ничего иного, как с самого начала обращаться к студенчеству.

V.

Нельзя сказать, что главы до Маркса не имеют никакой ценности. Может быть, они даже в России, в случае перевода, нашли бы довольно широкое применение. Наши университеты реформируются с большой медленностью, и с отчаянной медленностью обновляется состав университетских преподавателей. Учебные планы по обществознанию не представляют необходимого разрыва с прошлым, а при выполнении их старыми преподавателями и многие дисциплины, новые по названию, окажутся старыми и ни к чему не нужными предметами.

Во всех университетах наблюдается одно тревожное явление: профессора и преподаватели, от которых по прежней их деятельности можно ожидать наибольшей заскорузлости воззрений, обнаруживают особое тяготение как раз к некоторым новым предметам, включенным в учебные планы университетов советской России. Старые учителя и профессора духовных академий и семинарий, доктора церковной истории и канонического права на перебой заявляют о своем призвании к тому, чтобы занимать кафедры „социологии".

Неизвестно, что они понимают под „социологией". Несомненно только одно: они и не подозревают, что „социальная философия" марксизма, это — исторический материализм. Если уж нам никак нельзя обойтись без сомнительных социологов, то на худой конец можно было бы предложить, чтобы они, задумав курс лекций по истории этой науки, придерживались глав Кунова, посвященных домарксовскому периоду социологии.

Здесь, правда, плохо одно: за исключением беглых указаний, которых старые профессора, привыкшие совершенно иначе трактовать свои старые дисциплины, совсем не заметят, Кунов почти совсем не останавливается на связи социальных теорий с развитием классовой борьбы в классовом обществе. Но Кунов может сказать, что, если бы он останавливался на этом, его книга распухла бы еще больше; а главное: как-то неудобно трактовать эти материи перед студентами из „чистого общества".

Несмотря на положительную ненужность некоторых глав, на перегруженность книги бесполезным балластом, в ней есть кое-что в общем небезынтересное. Такова прежде всего восьмая глава, посвященная Кантовской философии истории и государства, таковы в шестой главе несколько страниц, посвященных Сен-Симону.

Что касается Сен-Симона, здесь Кунов не столько излагает собственные воззрения, сколько следует за Муккле, давшим специальную книгу о Сен-Симоне, и за покойным Густавом Экштейном, который напечатал свою работу о Сен-Симоне в „Архиве по истории социализма и рабочего движения". Но соответствующие страницы Кунова не становятся от этого менее интересными для русской литературы, которая до сих пор относит Сен-Симона к числу великих утопистов на-ряду с Фурье и Оуэном.

Это началось со времен „Коммунистического манифеста", который в характеристике Сен-Симона исходил не столько из его собственных воззрений, сколько из воззрений его школы, в первую очередь из воззрений Анфантена. Правда, в позднейшее время взгляды Маркс изменились, и уже во второй части III тома „Капитала" имеются такие строки: „Совершенно так же, как у физиократов", cultivateur (возделыватель) означает не действительного зем-

ледельца, а крупного арендатора, у Сен-Симона, а в некоторых случаях и у его учеников, „travailleur“ (работник, трудящийся) означает не рабочего, а промышленного или торгового капиталиста... Не следует вообще забывать, что лишь в последней своей работе „Nouveau Christianisme“ Сен-Симон прямо выступил от лица рабочего класса и объявил его эмансипацию конечной целью своих стремлений. Все его более ранние произведения фактически представляют лишь прославление современного буржуазного общества в противоположность феодальному, или возвеличение промышленников и банкиров в противоположность маршалам и юристам, фабриковавшим законы в наполеоновскую эпоху“ (стр. 142 по перев. при моем участии. М. 1908).

Но Энгельс снабдил это место примечанием, в котором высказал предположение, что, если бы Марксу удалось переработать свою рукопись в позднейшее время, она приняла бы совершенно иной характер. Он указывает, что и Фурье, в соответствии с экономическим строем тогдашней Франции, в равной мере обходил противоположность буржуазии и пролетариата. А с другой стороны Энгельс добавляет: „Впоследствии Маркс лишь с удивлением говорил о гении и энциклопедической голове Сен-Симона“. Все эти замечания дают повод по-прежнему относить Сен-Симона к числу великих утопистов. Как показывает Кунов, для этого нет ни малейшего основания.

Но и после того, как мы признаем, что Сен-Симон не был ни утопистом, ни социалистом, за ним по обычным представлениям все еще остается выдающееся место в развитии научного социализма: некоторые, например, Пауль Барт, прямо заявляют, что истинным автором материалистического понимания истории был не кто иной, как именно Сен-Симон.

В противоположность этому Кунов показывает, что в исторической теории Сен-Симона нельзя найти ни одного действительного шага вперед по сравнению с его предшественниками, в особенности с Кондорсе. По своим воззрениям на движущие силы развития он — не материалист, а типичный идеалист. Все исторические изменения вызываются для него „прогрессом духа“, основной характеристики всякой данной эпохи он ищет в ее „умственных течениях“ или в господствующем „направлении духа“.

Кунов находит, что Сен-Симон находился во власти „гармонических“ воззрений вульгарного экономиста Ж.-Б. Сэя. В своем „промышленном классе“ он объединяет предпринимателей и рабочих, банкиров и мелких крестьян, купцов и ремесленников и полагает, что они связываются воедино общностью своих экономических интересов. Таким образом, в своем понимании классового расслоения Франции Сен Симон представляет шаг назад по сравнению не только с Маратом, но и с Минье (историком Великой Французской революции) и даже с Тюрго и Неккером.

Однако, страницы, посвященные Куновым изложению историко-социологических воззрений Сен-Симона, оставляют у читателя чувство неудовлетворенности. Становится загадкой, почему же он оказал такое громадное влияние на свою эпоху, почему он создал „школу“ и почему некоторые из выдающихся историков, социальных философов и экономистов, — среди таковых и Кунов упоминает об Огюстене Тьери, Базаре и Шевалье, — признавали Сен Симона своим учителем? Чему он обязан своей ролью? „Гению“ и „энциклопедической голове“, вообще свойствам, на которых, по плану своей работы, не мог останавливаться Кунов?

Все эти вопросы остаются без ответа.

VI.

Значительный интерес, несмотря на свою краткость, представляют замечания Кунова об исторической и социальной философии Канта.

Уже с четверть века из кругов, с которыми марксизм не всегда умел и хотел размежеваться, раздаются призывы: „Назад к Канту!"— назад от Гегеля и от Маркса. Для буржуазных кантианцев,— которые, несмотря на свою буржуазность, иногда склонны выдавать себя за социалистов,—у Канта надо искать основ исторической теории и социальной философии, единственно согласимых с состоянием современной науки. „Полумарксистские кантианцы" — примером которых для Кунова служит Макс Адлер,—путем натянутых истолкований отдельных фраз, взятых у Канта, до сих пор воображают, будто возможен какой-то синтез между марксизмом и кантианством.

Кунов показывает, что в действительности это — два различных мира, между которыми было бы тщетно искать точки соприкосновения. Он напоминает, что уже в первой половине сороковых годов Маркс дал в общем правильную характеристику социальной философии Канта: она представляет не что иное, как перевод социальной философии французской революции на язык абстрактного немецкого либерализма конца XVIII века. Политически слишком бессильная, германская буржуазия была неспособна увидать во французской революции борьбу за материальные интересы. В соответствии с этим „ни Кант, ни немецкие буржуа, прикрашивающим выразителем которых он является, не замечают, что в основе этих теоретических идей (французской) буржуазии лежали материальные интересы и воля, обусловливаемая и определяемая материальными производственными отношениями. Поэтому Кант отделил это теоретическое выражение от тех интересов, которые оно выражало, представил материально мотивированные определения воли французской буржуазии *чистыми* самоопределениями свободной воли, воли в себе, человеческой воли, и таким образом превратил это теоретическое выражение в чисто идеологические определения и моральные постулаты".

Кунов показывает, что Кант не внес ничего нового ни в область философии истории, ни в область социальной философии. Его оригинальность сводится главным образом к морально-телеогической формулировке или к морально-телеологическому облачению теорий, воспринятых им у предшественников. И если путем отважных истолкований отдельных мест хотят превратить Канта в великого исторического и социального философа, то это вытекает прежде всего из вполне определенной потребности известных кругов: из их желания укрыться от далеко не идеальной действительности либерализма в теоретическую область абстрактно-идеального либерализма.

Если принять это объяснение Кунова, то придется признать, что кантианству вскоре предстоит сделать широкие завоевания среди партийных единомышленников Кунова: у них тоже должна явиться потребность бежать от далеко не идеальной действительности социал-демократии с ее прислужничеством буржуазии, с ее расправами над рабочим классом, с ее явной изменой своим собственным, еще так недавним заявлениям.

Подобно другим социальным философам в конце XVIII века, Кант неоднократно говорит о закономерности общественной жизни, в одном случае даже о „законах природы", лежащих в основе человеческих действий. Но по ближайшем рассмотрении оказывается, что его зако-

номерность вовсе не то, что разумеет под нею современная наука. Для Канта дело идет не о причинной обусловленности, а совершенно о другой вещи: о развитии в направлении к определенной цели, именно к все более широкому развертыванию задатков, вложенных в человека.

Русский читатель по справедливости увидит здесь некоторое родство с субъективной школой в социологии и вспомнит известную в свое время „формулу прогресса" Михайловского. Недаром с конца девяностых годов у „теоретиков" социалистов-революционеров было неудержимое стремление подпереть себя Кантом.

Следовательно, закономерность для Канта вполне совпадает с целесообразностью, планомерностью. А цели развития поставлены природой, вытекают из ее сокровенного, но раскрывающегося в истории плана, из ее намерений („Naturabsicht"). Природа — мощный демиург, преследующий скрытые от людей план, цель или намерения, осуществляемые в истории человечества вопреки воле последнего, вынуждаемого природой, несмотря на все отклонения, итти в определенном направлении. При этом по Канту природа действует сознательно, как если бы она была личным существом.

В качестве иллюстрации Кунов приводит несколько цитат, из которых любой, казалось бы, достаточно для того, чтобы покончить с легендой об огромном обогащении Кантом философии истории. Кант писал, например: „Достойно удивления уже то обстоятельство, что на голых пустынях по Ледовитому океану еще растет мох, который добывает из-под снега олень, чтобы, в свою очередь, служить пищей или упряжным животным для остяка и самоеда, или то обстоятельство, что в солончаковых песчаных пустынях еще живет верблюд, который кажется созданным как бы для езды по ним для того, чтобы они не остались неиспользованными. Еще яснее просвечивает цель, если мы узнаем, что кроме покрытых шерстью животных тюлени, моржи и киты своим мясом дают пищу и своим жиром отопление тамошним обитателям. Но наибольшее изумление вызывают попечения природы, доставляющие (хорошенько неизвестно откуда) этим областям, лишенным растительности, наносное дерево, без какового материала они не могли бы сделать ни своих приспособлений для езды, ни оружия, ни хижин для убежища, при чем им так много приходится воевать против животных, что они мирно живут между собою".

И, как-будто для того, чтобы сделать свою мысль еще более ясной, Кант в примечании к этому месту говорит: „Встает вопрос: если бы природа не хотела, чтобы эти ледяные берега остались необитаемыми, что было бы с их жителями, если бы она когда-нибудь (чего можно ожидать) перестала доставлять им плавучее дерево?"

Весь ход мыслей таков, что вместо плана или намерений природы можно было бы подставить слова „божественное провидение". И сам Кант открыто признавал это, как показывает Кунов на ряде цитат, от которых веет затхлой средневековщиной. Он находил только, что для философской теории, для ограниченного человеческого разума более подходит сравнительно скромное слово „природа", между тем как религия соответственно говорит о „провидении". Однако, несмотря на такие чисто практические соображения, Кант во многих случаях не останавливался перед тем, чтобы вместо „природа" прямо говорить о „провидении", и более того: во многих случаях он заменяет слово „провидение" словом „творец" мира и говорит, что, признавая провидение, осуществляющее в развитии определенную цель, мы должны признавать „творца мира" или „высшее моральное, пресвятое и всемогущее существо".

Таким образом, историческая философия Канта представляет не шаг вперед по сравнению с его ближайшими предшественниками, а шаг назад, возвращение к Августину или к Фоме Аквинскому: и для последнего божественная деятельность осуществляется не постоянным личным вмешательством, а при посредстве человеческой природы, созданной богом таким образом, что люди, следуя ей, приближаются, несмотря на свободу своей воли, к цели, поставленной перед ними богом.

На Канта могло бы опираться не современное научное мышление, а самое ветхое богословие.

Культурный прогресс человечества представляется Канту следствием развития духа, или разума. Но, примыкая к средневековой схоластике, он видит в человеческом разуме частицу божественного разума или божественного мирового разума. Его развитие — самостоятельный рост из самого себя, соответственно природным задаткам (духовным предрасположениям). Конечно, и по Канту разум нуждается для своего движения в толчке, в опыте, упражнении, обучении, — но тем не менее единственно он остается движущей силой развития человечества.

Кунов приводит несколько ярких примеров того, до какой степени Кант отступает от демократических выводов Руссо и буржуазно-либеральных требований Локка, в какой мере приспособляется он к прусской действительности конца XVIII века. Кант говорит об активных и пассивных гражданах совершенно в духе французских либералов, например, Барнава, во французском национальном собрании. В противоположность Локку, который обосновывал право народа на проверку правомерности правительства и в известных случаях даже на тираноубийство, Кант заявляет: „Происхождение верховной власти, стоящей над народом, для него неисповедимо в практическом отношении: т.-е. подданному не подобает предаваться умствованиям о ее происхождении или подвергать сомнению подобающее ей право требовать повиновения. Ибо, — так как народ, чтобы законно судить о верховной государственной власти, уже должен мыслиться объединенным под единой общей законодательной волей, — народ не может и не должен судить иначе, чем хочет существующий в данное время глава государства. Предшествовал ли действительный договор фактическому подчинению этому главе, или же предшествовало насилие, а закон явился лишь впоследствии или должен был явиться в этом порядке: для народа, который уже находится под гражданским законом, все это совершенно бесцельные и в то же время угрожающие государству опасностями мудрствования“, — и т. д.: бесконечный поток благонамеренных речей.

Если добавить к этому, что Кант приложил свои силы к тому, чтобы оправдать существование в Пруссии крепостного права, уже за несколько лет до того времени уничтоженного Французской революцией, то это будет только дополнительным штрихом, вполне гармонирующим с его общими социально философскими воззрениями.

Что же после всего этого означает лозунг: „назад к Канту“? К методам его исторической и государственной философии или к его практическим выводам?

VII.

Выше уже указывалось, что из двадцати глав самая суть книги заключается в трех последних главах. Все остальное — только „введение“ или неизбежный профессорский „гарнир“ к главному блюду.

Некоторые из вводных глав, но далеко не все, и даже не большинство, самым способом своего построения и выборкой материала отчасти подготовляют читателя к заключительным главам и позволяют предугадать окончательные практические выводы автора. А в них для данной книги — все дело. Задача куновского курса лекций — не разработка и углубление теории — до того ли теперь! — а реабилитация социал-демократической практики, апология социал-демократии. Как архидиакон Стефан своей убийственной речью перед синедрионом доказывал, что все ветхозаветное развитие уперлось в Иисуса и, наконец, нашло в нем высшее завершение, так и Кунов старается доказать, что теперешняя социал-демократическая практика опирается на соответственным образом „исправленную" и „усовершенствованную" теорию, представляющую венец многовекового — со времен древнего Китая и древнего Египта — развития социологии.

Результаты, к которым Кунов приводит читателя в первом томе своего исследования, не отличаются особенной свежестью и новизной. В беспретенциозной форме их ядро дано уже во вступительных строках к историческим воззрениям Кондорсе. „Тот факт, — пишет Кунов, — что социальные отношения в немногие годы радикально изменились, не приведя, однако, к желанному идеалу, повел к тому, что некоторые политики и историки стали видеть в революционной эпохе просто переходную ступень в совершающемся длительном перевороте, который впоследствии, несомненно, осуществит их политический и социальный идеал. Другими словами, эволюционная идея, существовавшая уже до революции, пустила еще более глубокие корни. И тогда же вместе с нею начало прокладывать себе дорогу еще одно воззрение: то воззрение, что развитие, как оно шло до того времени, в своем ходе было исторически обусловлено и необходимо, что оно заключает в себе известную закономерность или, выражаясь более современным языком, совершается по так-называемым имманентным законам. В самом деле, если Французская революция не достигла того, на что надеялись, в чем лежала причина? В несовершенстве идей, нравов и общественных отношений. В том, что они еще совершенно не назрели для дальнейшего, высшего поступательного движения. Следовательно, — такой получался вывод, — развитие не во всякое время может перейти от одного шага к другому: для этого сначала должны достигнуть надлежащей зрелости определенные предпосылки, определенные предварительные условия. И, как показывает ход человеческой истории, это *созревание идет медленно, шаг за шагом, от одного этапа к другому*" (подчеркнуто мною. И. С.).

Погодить надо! в этом резюмируется вся практическая мудрость первого тома исследования. Из-за нее-то и предпринята вся работа.

Кунов, повидимому, решил, что пора подвести теоретические итоги *закончившейся* революционной эпохе, — как в эпоху реакции романтики подводили итоги Французской революции.

Рационалистическому отрицанию действительности, характерному для провозвестников и вождей Великой Французской революции, реакционные историки, социологи и философы противопоставили органическое утверждение той же действительности. Неверно, будто сложившееся общество существует насилием и обманом тех, кто заинтересован в его сохранении. Неверно, будто, просветив массы и мобилизовав их против насилия и обмана, возможно, совершив революционный переворот, разом создать совсем новый, идеальный общественный строй. Общество не построено, не сделано по хотению и

произволу феодалов и жрецов: оно в ряде веков развилось, сложилось, как организм. И все его элементы стройно, тесно, неразрывно, глубоко, необходимо связаны между собою, как части целостного организма. Революции могут ломать и уничтожать, но не создавать. Общества изменяются лишь в постепенном медленном, органическом процессе развития. И всякий законодатель, прежде чем приступить к переменам, должен поставить вопрос: „призвана ли его эпоха" к какой бы то ни было перестройке.

Осуждая пагубные заблуждения революции, реакционные историки, социологи и философы склонны были решительнейшим образом отрицать „призвание" своего времени ко всякому движению.

Маркс убийственно, беспощадно, но правильно характеризовал такие воззрения еще в 1843 году в своей „Критике гегелевской философии права". Теперь, на новой ступени развития, „на основе всех приобретений предыдущих ступеней", стараясь выдать себя за марксиста, более последовательного и логичного, чем был Маркс, Кунов по существу реставрирует те же воззрения.

VIII.

Действуя с профессорской основательностью, Кунов придал своему курсу форму исследования, как социология, в своем развитии до Маркса и Энгельса, пришла к необходимости разграничения понятий „община", „общество" и „государство" (Gemeinschaft, Gesellschaft и Staat) и как следует мыслить реальные соотношения между соответствующими формами.

Община, это — непосредственно, стихийно, — мы сказали бы „биологически", — вырастающая коллективность, основой которой служит кровное родство. Это — род, племя, семья, тотемистический союз, деревенская община и т. д.

Общество — гражданское общество (bürgerliche Gesellschaft), это — коллективность, в которую люди связываются своими производственными отношениями, теми отношениями, которые возникают в процессе труда, направленного на добывание средств, необходимых для существования. Общественные связи,—но и общественные антагонизмы,—углубляются и расширяются с развитием разделения труда и меновых отношений.

Государство, или политическая община, развивается из стремления принудительно урегулировать отношения между членами. Зародыши его можно проследить еще в примитивных общинах, поскольку они подчиняют себе известные части населения и поскольку становится необходимым принудительное регулирование.

Сам Кунов не дает отчетливых и строгих определений: на ряде цитат он просто показывает, что Маркс и Энгельс шли именно к такому разграничению понятий, как только что приведенное.

Конечно, всякий, кто на практике не выдерживает строгого различения терминов община, общество и государство, отныне является в глазах Кунова или человеком неспособным понять историческую и социальную теорию Маркса и Энгельса, или вульгарным марксистом.

К Мерингу он относится еще с некоторой снисходительностью, так как тот, по его словам, был знаком с философией Гегеля, которая всегда оставалась неведомой для Каутского, как видно из всех писаний последнего. Каутский для Кунова — „вульгарный марксист",

который не понял основных и элементарнейших элементов социологической теории Маркса. Ссылаясь на отдельные места в журнальных статьях Каутского (например, „Общественные инстинкты у животных и человека“), в „Эрфуртской программе“, в „Этике и материалистическом понимании истории“, Кунов обдает Каутского безграничным презрением за то, что для него кровное родство является звеном, сплачивавшим в былые времена „человеческое общество“,— за то, что стадо животных или человеческая орда тоже без дальнейших околичностей представляются Каутскому обществом, за то, что, по словам Каутского, индивидуумы, составляя общества, иногда возлагают на отдельных своих членов функции, посредством которых общественные силы подчиняются единой воле. Словом, Каутский — вульгарнейший марксист для Кунова за то, что он не различает общины и общества и говорит о функциях общества там, где следовало бы говорить о функциях государства,— хотя бы зачаточного, зародышевого, примитивного государства.

Но, как бы ни относиться к теперешним выступлениям правого независимого Каутского, следует признать, что он имеет все основания с полным хладнокровием отнестись к парфянским стрелам профессора Берлинского университета Кунова, хотя этот профессор еще не гехеймрат, не тайный советник и, вероятно, еще не сделался ординарным.

Марксу и Энгельсу чужда была схоластическая фетишизация терминов. И недаром Энгельс в одном из своих предисловий к „Капиталу“ говорит, что термины не представляли для Маркса чего-то застывшего и неподвижного. Действительно, на ряде примеров можно было бы показать, что во многих случаях терминам Маркса в его употреблении присуща известная диалектическая гибкость.

С другой стороны, строгость в применении терминов определяется задачами, которые ставит перед собой автор. Иногда по педагогическим соображениям полезно, по крайней мере на время, усвоить термин, который впоследствии придется отбросить. С этой точки зрения было бы вполне допустимо и пчелиный рой, и родовую группу до поры до времени называть „обществом“ и лишь впоследствии условиться, что такие непосредственно, стихийно возникающие коллективности впредь будут называться общинами.

В тех цитатах, которые приводит Кунов, Маркс и Энгельс употребляют слова община, общество (гражданское общество, bürgerliche Gesellschaft) и государство в строгом и неизменном значении. Но необходимо принять во внимание, что, за немногими исключениями, цитаты взяты из работ, существенной задачей которых было как раз выяснение соотношений между гражданским обществом и государством.

Напротив, задача Каутского — популяризация некоторых идей, правильность или неправильность которых очень отдаленно связана с тем значением, в каком мы станем употреблять слова „община“ и „общество“. Поэтому с его стороны не было смертным грехом, если он говорил, что такие-то речные постройки сооружаются обществами бобров и т. п. Это не мешало ему, когда он говорил о „гражданском обществе“ — о высшей из существовавших до сих пор форме общества, о буржуазном обществе,— показать, что это общество порождает совершенно иные инстинкты и побуждения, чем, например, матриархальная родовая община.

Но „профессор“ Кунов неумолим. И его беспощадность вытекает из того, что Каутский, несмотря на его теперешнюю борьбу с коммунистами, в свое время отдал известную дань „революционаризму“, ненавистному для всякого порядочного профессора, да и теперь

конфузливо отстраняется от социал-демократии, от Кунова и Шейдемана, несмотря на все свое внутреннее родство с ними.

IX.

Итак, общество и государство— различные вещи, хотя они и находятся между собою в известной связи. Характер этой связи или зависимости Маркс определял в таких выражениях, как, например, следующие: „Только политическое суеверие до сих пор воображает, будто гражданская жизнь должна сплачиваться государством, между тем как в действительности государство, наоборот, сплачивается гражданскою жизнью" („Святое семейство"). Или: „Общество не основывается на законе. Это—юридическая иллюзия. Напротив, закон должен основываться на обществе" и т. д. (Маркс перед судом присяжных в Кельне). Или еще пример: „Во всяком случае у Наполеона уже было понимание того существа современного государства, что в основе его лежит беспрепятственное развитие гражданского общества, свободное движение частных интересов и т. д." („Святое семейство").

Количество цитат можно бы значительно увеличить. Но все они требуются неординарному профессору Кунову только для того, чтобы показать всю глубину заблуждений и всю безнадежность современного коммунизма,—а вместе с тем и недавней социал-демократии. Кунов пишет:

„Итак, если общество и государство, несмотря на известную связь, все же—различные образования, то и общественный строй не тожествен с государственным строем. Но вульгарный марксизм, не проводя точного разграничения между обществом и государством, часто смешивает в своих работах общественный и государственный строй. Например, в социалистических произведениях нередко говорится, что задача социал-демократии, когда она достаточно усилится, заключается прежде всего в овладении государством (правильнее было бы сказать государственной властью), так как она могла бы тогда через государственное правительство просто преобразовать общественный строй в соответствии со своими принципами и желаниями. Это — совершенно превратное мнение. Даже если социал-демократия завоюет государственную власть, посредством нее она может прежде всего изменить только (да и то лишь до известной степени) государственный строй. Конечно, в дальнейшем это изменение может оказать обратное изменяющее действие на общественный строй, — однако каждый раз оно окажется устойчивым лишь постольку, поскольку социальное развитие,—правильнее говоря, социально-экономический процесс жизни,— уже породило из самого себя и, можно сказать, доставило готовыми предварительные условия, необходимые для переворота. Ибо первичное и лежащее в основе, это—не государственный строй, а общественный строй. Государственный строй (или порядок, „Ordnung") в существенном есть не что иное, как часть социального регулирования совместной жизни и совместной деятельности (т.-е. общественного строя), вытекающего из хозяйственного процесса и совершающегося в государственно правовой концепции и формулировке" (стр. 264—265).

Отбрасывая всю витиеватость и выкрутасы, говоря проще: против рожна не попрешь. Политика почти ничего не может поделать против экономики. А если и может, то лишь кружным, окольным путем, воздействуя через измененный государственный строй на общественный строй. Да и здесь что-нибудь остается только

в том случае, если социально-экономическое развитие уже из себя создало необходимые предпосылки изменений и дало их, так сказать, совершенно готовыми.

Из-за таких более чем скромных результатов едва ли стоило предпринимать столь обширное и столь утомительное исследование. Ведь и Каутский, и русские меньшевики уже давно возвестили, что политика бессильна против экономики, „надстройки"—против „базиса".

Но если взять только самую общую идею, вокруг да около которой все время топчется Кунов, то дело тут очень простое. Кто же из марксистов стал бы отрицать, что экономика—„базис", а политика—„надстройка", что государственный строй определяется экономическим строем, что капиталистический способ производства должен изжить себя, превратиться в тормоз для дальнейшего развития производительных сил, и что только тогда делается возможной социалистическая революция.

Кунову невдомек, что все эти соображения бьют мимо русских большевиков, если даже речь идет о России, такой экономически отсталой стране. Говоря о надвинувшейся социалистической революции, они имели и имеют в виду не только „гражданское общество" и государство России, не только русские „экономику" и „политику", а экономику и политику в мировом масштабе. Значит, вопрос приходится ставить не так: назрели ли объективные условия для социалистического переворота в России, а так: назрели ли они в капиталистическом мире, с которым вся Россия окажется, пожалуй, в таком же соотношении, как центрально-русская деревня с Москвой и другими средоточиями центрально-русской промышленности.

Следовательно, на общих методологических возражениях большевикам далеко не уедешь. Они, как в последующем приходится признать и Кунову, к оценке действительности и очередных задач применяют метод Маркса. При таких обстоятельствах надо бы начинать с другого конца: не с метода и не с его истории, а как раз с оценки того положения, к которому пришло мировое „гражданское общество", или капиталистический мир в целом.

Как это ни грустно, Кунову, пока он хочет опираться на метод Маркса, следовало бы признать никчемной всю громадную работу, уже произведенную им, и всю работу, какую он, быть может, успел совершить над вторым томом. Отбросив общие рассуждения о методе, ему следовало бы попытаться применить этот метод к столь кропотливому делу, как изучение конкретной действительности, истолкование империалистской войны, последующего кризиса и т. д.

А пока что Кунов торжествует и пригвождает к позорному столбу „ходячий вульгарный марксизм", представленный все тем же злосчастным Каутским, который в прошлом порядочно-таки поработал на большевиков. Кунов казнит его за следующее местечко из статьи „Allerhand Revolutionäres" („Neue Zeit", XX. Jahrg., I. Band, S. 590. Кажется, лет пятнадцать тому назад эти статьи были изданы по-русски под названием „Революционные перспективы"): „Завоевание политической власти, это — альфа и омега моих обеих брошюр (изданных и по-русски под названием: „Социальная революция" и „На другой день после революции"): не обладая политической властью, мы не можем продвинуться в уничтожении классов и классовых противоположностей; но если политическая власть принадлежит пролетариату, тогда из этого социализм следует сам собой".

А действительно, диковинные вещи выходили иногда из-под пера Каутского, — он и сам, вероятно, иногда хочет, чтобы они не были

написаны. Неудивительно, что Каутский вызывает такое раздражение в „профессоре“ Кунове.

X.

Одно дело—сказать, что государство регулирует, внешне и принудительно, некоторые из отношений гражданского общества, поскольку это, с точки зрения господствующих классов, представляется необходимым для поддержания общественного порядка, или общественного организма. И совершенно другое дело—утверждать, что политическими методами ничего не поделаешь с гражданским обществом, что политика бессильна перед экономикой. Тут не остается ничего иного, как сказать, что Маркс не был истинным марксистом и что поэтому необходимо логическое его продолжение и завершение.

Кунов пишет целый параграф, который так и называется: „Marx contra Marx“,—„Маркс против Маркса“, и кроме того рассыпает многочисленные замечания, из которых следует, что Маркс и Энгельс постоянно изменяли своему собственному методу.

Поднявшись на университетскую кафедру, Кунов просто повторяет то, что уже давно сказали профессора всех стран, когда сделалось невозможным просто замалчивать или целиком отвергать Маркса, и что следом за ними в свое время повторил Бернштейн. В Марксе было два естества: с одной стороны, колоссальный ученый, который, если бы он оставался только ученым, мог бы служить украшением любого университета. Но, к великой пагубе для него и науки, в нем сидел кроме того и пламенный революционный борец. Или, как выражается Кунов (стр. 310): „политик Маркс, к прискорбию, приходит в конфликт с социологом Марксом“.

Истинный марксист Кунова должен был бы сказать: „Уничтожение государства—безразлично, мыслим ли мы это уничтожение медленным или быстрым,—революционной властью пролетариата еще отнюдь не устраняет классового господства; наоборот, классовое расслоение сначала должно исчезнуть в (эволюционном) процессе общественного развития, и лишь после того может быть устранено его следствие, государство“ (стр. 312).

А вместо того возьмите хотя бы такое место из „Коммунистического Манифеста“, с сокрушением приводимое Куновым: „Если в борьбе против буржуазии пролетариат необходимо соединяется в класс, посредством революции превращает себя в господствующий класс и, как господствующий класс, насильственно уничтожает старые производственные отношения, то с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования противоположности классов, классы вообще и вместе с тем свое собственное, как класса, господство“. А затем целый ряд прямых, недвусмысленных заявлений Маркса и Энгельса, которые тянутся через всю их жизнь: в „Анти-Дюринге“, „Происхождении семьи“, „Гражданской войне во Франции“, в ряде писем и т. д.

Кунов, и в этом случае следуя по стопам Бернштейна, цепляется за отдельные фразы, которые должны убедить, что в Марксе „ученый социолог брал верх над страстным политиком“, и не останавливается перед самыми смелыми истолкованиями. Раз ему показалось, что под старость Маркс начал возвращаться назад, ближе к гегелевским воззрениям на государство. Но одно письмо Энгельса разом все разрушает.

Было бы проще всего объявить Маркса и Энгельса „вульгарнейшими марксистами“. И с своей точки зрения Кунов был бы прав в

признании государства и во взглядах на соотношение экономики и политики ни один из цитируемых Куновым „вульгарных марксистов“ не шел дальше Маркса и Энгельса. Но такая короткая и упрощенная расправа с Марксом и Энгельсом была бы слишком уж неудобна.

И вот с такими-то ничтожными результатами длинного исследования приходится приступать к критике воззрений русских большевиков и прежде всего Ленина. Возможно, что книга последнего: „Государство и революция“, изданная по-немецки в 1919 году, как раз и заставила Кунова начать свой университетский курс лекций, а затем переработать его в особую книгу.

Но здесь Кунова с самого начала ожидала неприятность. Оказалось, что с требованием строгого разграничения понятий община, общество и государство против Ленина ничего не поделаешь. Один из параграфов, посвященных специально уничтожению Ленина (стр. 331), пришлось начать словами: „Ленин глубже проник в гегелевско-марксовское понимание общества, и потому проводит более строгое разграничение между обществом и государством, чем Карл Каутский, борьбу которого против большевистского террора, совершенно забывая его мотивы, он называет в своем памфлете: „Диктатура пролетариата и ренегат К. Каутский“, прислужничеством перед германской буржуазией и трусливым ренегатством“.

С Лениным надо начинать с другого конца: „но зато ему (и то же относится сплошь к остальным теоретикам русского большевизма) недостает понимания марксовской идеи строго закономерного хода развития“. Чего лучше! „Большевистские вожди веруют, будто насилием можно осуществить коммунистический идеал, т. е. привить коммунизм к экономическому строю, являющемуся наименее развитым в Европе: к экономическому строю, который в существенном основывается на таком примитивном земледелии, какое мы наблюдаем во Франции к началу Великой Французской революции“ и т. д.

Не понимая, что большевики никогда не мыслили переворота в России обособленно от мировой революции (см. выше, глава IX), Кунов идет по давно проторенной дорожке: большевизм, или ленинизм, есть не что иное, как „отпадение к бакунизму“ (стр. 335).

Трудно вообразить себе, чего наговорит теперь Кунов, если он хотя бы краем уха услышит о новом курсе нашей экономической политики. Неспособный связать его с перспективами мировой революции, Кунов будет вынужден пуститься в самые невероятные измышления, чтобы выяснить, как это такое бакунисты могут обращаться, например, к сдаче аренд и концессий капиталистическим предпринимателям.

А дальше Кунову приходится повторять „вульгарного марксиста“ Каутского: вкривь и вкось истолковывать опыты Парижской Коммуны и тот смысл, который Маркс и Энгельс будто бы вкладывали в слова: „диктатура пролетариата“. Конечно, диктатура пролетариата превращается в господство крупного пролетарского большинства („der grossen proletarischen Mehrheit“) через парламент, исходящий из всеобщего избирательного права, но не особенно считающийся с сопротивлением капиталистов („ohne Rücksicht auf kapitalistische Widerstände“, стр. 331)

Не стоит останавливливаться на таких вывертах. О них уже достаточно говорилось в нашей литературе. Кроме того, я мог бы отослать здесь читателей к только что появившейся моей книге: „Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции“.

XI.

Нельзя ограничиваться одними отрицательными выводами. Нельзя просто сказать рабочему классу: через завоевание политической власти ты не придешь к уничтожению буржуазного общества („bürgerlishe Gesellschaft“). Нельзя твердить на разные лады: сделавшись правительством, ты не в состоянии будешь уничтожить классы и классовое господство, а потому не придешь и к упразднению государства. Надо дать и что-нибудь положительное. Словом, надо „развить“ и „дополнить“ Маркса.

Уже в первом томе Кунов дал это положительное. Второй том, если он появится, не прибавит к нему ничего нового.

Мы уже упоминали, что Кунов видит в Марксе два существа: ученого социолога и страстного политика. Вся беда в том, что „наполовину утопически-анархистский революционаризм“ („halbutopistisch-anarchistischer Revolutionarismus“) привел Маркса к тому, что он измыслил (herauskonstruierte) гипотезу о скором уничтожении или разложении государства и при этом впал в „такую же односторонность, какую мы находим в его изучении развития капитала, где оценка технико-организаторской роли капитала в его эволюционно-историческом росте тоже отступает на задний план перед теорией прибавочной стоимости, трактуемой с величайшим глубокомыслием“. „Страстный революционаризм, необузданное желание политического борца Маркса, оттеснило рассудочные соображения социолога Маркса, сократило путь развития и преувеличило социальное значение известных наблюдавшихся им явлений“ (319—320).

В первом томе Кунов подвергает переоценке историческую роль государства и открывает в нем мощный фактор прогресса: „рычаг социализма“. Вопреки Марксу, государству не предстоит ни разложение, ни отмирание. Вероятно, заброшенная мимоходом мысль о недостаточной оценке „технико-организаторской роли капитала в его эволюционно-историческом росте“ со временем будет развита Куновым, и окажется, что вражда к капиталу имеет такие же анархические и утопические источники, как вражда к государству. Но это предстоит в будущем. А пока Кунов занят только реабилитацией государства.

Итак, при своем революционаризме, Маркс видел в государстве только организацию господства, только орудие классового угнетения. Поэтому прогресс для него лежит в одном направлении: в полном высвобождении общества, в освобождении его, после переходного периода диктатуры пролетариата, от всякого государства.

Таким-то путем Маркс приходит к оценке государства, во многих отношениях совпадающей с английским либерализмом конца XVIII ст. и с индивидуалистическим анархизмом, хотя этот либерализм и анархизм исходят из мотивов иного порядка. Как для тех либералов, так и для Маркса государство является „принудительным учреждением“, „урезывающим свободу“ и т. д. (стр. 308—309).

„Марксова идея уничтожения государства посредством диктатуры рабочего класса объясняется т о л ь к о т е м, что Маркс, углубившись в мир политических и экономических идей английского и французского радикал-либерализма первой половины XIX века, воспринял и питавшееся последним представление, что социальное развитие, освободившее общество от стеснявших его средневековых оков, идя в усвоенном направлении, ведет к чуждому принуждения общественному состоянию, все больше отбрасывающему государственную опеку, к саморегулирующемуся обществу, которое сумеет обходиться без обременительной государственной регламентации и без мер принуждения“ (стр. 312—313).

Коротко говоря, там, где пробивается „революционаризм", или революционность Маркса,— Маркс вовсе не был марксистом: он был то ли радикал-либералом конца XVIII или первой половины XIX века, то ли полуанархистом. Одно слово: бакунист. Недалеко ушел от Ленина!

Однако, все это не то. Все это не указывает рабочему классу путей к классовому освобождению. Все это не дает еще ничего утешительного, а только раскрывает источники пагубной теории.

Освобождение идет оттуда, говорит Кунов, где до сих пор видели только угнетение. Ослепленные своей враждой к государству, заимствованной у англо-французского радикал-либерализма и роднившего их с полуанархическими утопистами, создав теорию разложения государства, Маркс и Энгельс не замечали, что уже с шестидесятых и семидесятых годов прошлого века государство начинает усваивать новые задачи и функции и вместе с тем подниматься на новую, высшую фазу в своем развитии.

Гражданское общество изменилось. „Общество свободных товаропроизводителей" отошло в прошлое (всевозможные товарищества, концерны, картели, тресты и т. д.). Хозяйство „коллективизируется" или „социализируется". От свободы конкуренции, от свободы борьбы на рынке, тоже сохранилось немногое. И даже договор найма перестал быть индивидуальной сделкой между предпринимателем и рабочим: рабочие распределяются через бюро найма и с самого начала оплачиваются по ставкам, значащимся в тарифных договорах, заключенных профсоюзами. Значительная и все возрастающая часть заработной платы тоже коллективизируется и достается рабочему классу в виде приплат к различного рода страхованиям, а также в виде государственных и коммунальных средств, затрачиваемых на школьное дело, летние колонии, детские приюты и т. д.

Вместе с тем деятельность государства все более наполняется экономическим содержанием. С одной стороны, регулирование новых экономических отношений совершается в рамках государственного законодательства и управления, а вместе с тем в состав бюрократии подбирается все больше хозяйственников. А, с другой стороны, само государство в возрастающей степени становится предпринимателем (железные дороги и каналы, почта и телеграф, оружейные заводы, участие в частных предприятиях и т. д.). Тот же процесс совершается и в коммунах, в особенности в больших городах.

В результате „государство уже давным-давно не то, чем оно было в XVIII и в начале XIX века: оно уже не организация вооружения и господства с бюрократическим правительственным аппаратом, имеющая целью защиту династических и сословных интересов. Из государства начальствования (Obrigkeitsstaat) в возрастающей мере складывается государство управления (Verwaltungsstaat), — громадная хозяйственная община (Wirtschaftsgemeinschaft), с которой разносторонним образом связываются жизненные и культурные интересы всякого гражданина. Государство в известном смысле превращается в огромную жизненную рамку, которая охватывает совместную экономическую деятельность членов и в которой каждый находит свое место и влечется вперед. Хозяйственные функции, которые прежде выполнялись индивидуумами или корпорациями, в настоящее время все больше переходят к государству. Оно превращается в решающего хозяйственного деятеля, в важнейшего носителя всего процесса социальной жизни" (стр. 314—318).

Вместе с тем парламенты в увеличивающемся объеме берут на себя руководство экономическими делами и контроль за частными предприятиями.

Ну, и, разумеется, параллельно этому развитию у Кунова и К° изменялось и „психологическое отношение“ к государству. „В прежнем государстве начальствования государственная власть обыкновенно давала чувствовать себя еще не как власть, устанавливающая общий порядок (zusammenordnende Gevalt), не как необходимая общинная власть, а как произвольная власть господствующего правительства. Но из нарастающего чувства, что собственное благо в значительной мере связывается с государством и только в нем может найти осуществление, естественно возникло понимание известной общности, которое в дальнейшем становится сознательным желанием участвовать в государственной общности,—у беднейших слоев населения, конечно, лишь после того, как они получили некоторое участие в государственной власти.

„На место прежнего девиза династической власти: „государство это я“ во все более расширяющемся кругу граждан выступает крепнущее сознание: „государство, это—мы“ (стр. 319).

Перед нами—та самая социал-демократия, которая в 1914 году, под флагом „защита отечества“, бросила рабочий класс Германии в кровавую бойню. Но тогда она делала это конфузливо, а теперь возводит свою измену в принцип.

Может быть, Кунов еще выступит с требованием, чтобы социал-демократия, отбросив всякие колебания, открыто стала империалистской: без завоеваний мир не превратится в „социалистическое государство“ Кунова-Реннера. Уже в первом томе (стр. 297—299) Кунов забрасывает мысли, которые остались у него неразвитыми, но которые легко продолжить в таком направлении.

Бернштейн, исходя из своей оценки влияния трестов и товариществ, роли профсоюзов, тарифных договоров и т. д., возвещал наступление реформистской, соглашательской эры в рабочем движении. Но он же указывал, что изменения в экономике вызовут притупление и политической борьбы. Уже он говорил, что социал-демократия должна будет превратиться в охранительную партию.

Он оказался пророком. Из staats-und gesellschaftsgefährliche, из опасной для общества и государства она, действительно, превращается Куновым и другими вожаками социал-демократии в staatserhältende, к о н с е р в а т и в н у ю, о х р а н и т е л ь н у ю партию, в одну из опор государства.

Революции, захват власти рабочим классом, вражда к государству, упразднение его или отмирание, все это—пустые анархические бредни. Серьезные государственные люди, Куновы, Шейдеманы, Носке, указывают пролетариату на иной, единственно верный путь. Они говорят: „Хотя государство, которое имел в виду Маркс, и исчезнет, однако новая фаза развития будет заключаться не в том, что, как предполагал Маркс, капиталистическое государство, передав свои функции обществу, р а с т в о р и т с я в последнем, а в том, что на его месте выступает, на основе нового общественного строя, новое, более развитое государство, с о ц и а л и с т и ч е с к о е г о с у д а р с т в о х о з я й с т в а и у п р а в л е н и я“ („der sozialistische Wirtschafts-und Verwaltungsstaat“.) Подчеркнуто у Кунова, стр. 319).

Конечно, Кунов считает выше своего профессорского достоинства проронить хотя бы одно слово по поводу м а р к с и с т с к о й оценки тех явлений, на которых он останавливается. А ведь марксисты,—и даже правый независимец Гильфердинг, которого, не ссылаясь на него, попросту излагает Кунов, толкуя о „социализации“ экономических отно-

шений и т. д.,—марксисты давно уже отметили, что все эти явления—приспособления капитализма к новым условиям, что они диктуются интересами самосохранения капиталистического общества, которое не перестает быть эксплоататорским обществом, что господство по-прежнему остается за капиталистическим классом, что это—попытки капиталистически, в антагонистических формах разрешить некоторые противоречия капиталистического общества, не устраняя его основных противоречий, и что поэтому они ведут к осложнению старых противоречий, к созданию новых и т. д. Стоит ли Кунову останавливаться на таких пустяках? Он декретирует: развивается социалистическое государство хозяйствования и управления,—и все дело покончено.

И еще одного обстоятельства не замечает Кунов. Как раз потому, что государство превращается, по его выражению, в громадную хозяйственную общину, завоевание—захват!—политической власти приобретает только особую ценность в глазах рабочего класса. Завоевание власти отдает в его руки не просто аппарат угнетения, который надо разбить и т. д., но и главные нити хозяйственного управления. Следовательно, оно приводит его не только к политической, но и непосредственно к экономической власти. Значит, здесь не потребуется окольного, окружного пути для „обратного воздействия" на общественный строй: устранив тот класс, который обделывает свои экономические дела через парламенты, рабочий класс тем самым разом добирается до самого „гражданского общества", до самых жизненных его центров. И прогрессирующее обострение классовых противоречий, не устранимое соглашательскими стремлениями и упованиями Куновых, все более толкает рабочий класс к такому единственно действительному способу разрешения всех противоречий капиталистического общества.

Кунов ничего этого не видит и не слышит. Он твердит одно: „Следовательно, развитие государства пошло в ином направлении, чем думали Маркс и Энгельс, находившиеся под влиянием либерально-анархических течений своего времени" (стр. 319).

XII.*

Все выходит у Кунова как будто „по Гегелю"—по его известной „триаде", о которой автор, впрочем, не упоминает.

Тезис: Примитивная община, с тесными, глубокими, непосредственно развившимися связями членов, с порождаемыми этими связями сильными общественными инстинктами.

Антитезис: Гражданское общество с раздробленными частными интересами, с необузданной конкуренцией, ожесточенной классовой войной. Государственная община превращается в угнетательский аппарат, в орудие классового господства.

Синтез: Возвращение, на основе всех приобретений предыдущих эпох, к глубоким и тесным социальным отношениям и социальным чувствам. Государство превращается в социалистическую хозяйственную общину.

Во всяком случае Кунов начинает „с возвращения к Гегелю". И ошибка Маркса, на его взгляд, именно в разрыве с Гегелем. Он пишет: „Хотя Маркс сначала принимает гегелевское воззрение на государство, до второстепенных мелочей включительно, однако в ходе своего дальнейшего развития он впадает в самую резкую противоположность к Гегелю. В то время, как последний видит в государстве великий организм, в котором будет совершаться дальнейший прогресс куль-

турного человечества к высшим формам жизни, Маркс приходит к обратному взгляду, что государство преграждает путь к дальнейшему восхождению человечества и необходимо должно исчезнуть" (стр. 285).

Гегель видел теневые стороны современного государства. Но это были для него лишь преходящие, исторические явления, которые надо учитывать, если речь идет об истории государств, но которые не имеют решающего значения для сущности, определения и целей государства. Совершенно иначе отнесся к делу политик Маркс. Недостатки государства для него—не исторические недостатки, это не явления, касающиеся только исторического развития государства, в этом — самая его сущность, так как оно во все времена было организацией господства, орудием классового господства (стр. 308).

Кунов удовлетворенно заявляет к концу своей книги (стр. 319), что после его критики „падают не те социалогические части учения Маркса о государстве, которые заимствованы им у Гегеля и развиты дальше на основе его материалистического понимания истории": „падает только противоречащая его собственным и гегелевским воззрениям гипотеза о скором разложении государства, обязанная своим возникновением утопическо-анархическому революционаризму Маркса" стр. 319).

В заключительном параграфе Кунов обрушивается на прежнюю практику социал-демократии, которая отказывала правительству в ассигновках на том основании, что государство, как писал Каутский,— „орган классового господства, а правительства—приказчики господствующих классов". С усмешкой сострадания он вспоминает о тех возражениях, которыми социал-демократия встретила в свое время проекты создания различных государственных монополий, которые, на ее взгляд, пошли бы на пользу преимущественно „классовому и милитаристскому государству" (стр. 337—339).

Все это для Кунова—далекое прошлое, заблуждения и ошибки молодости, превзойденная ступень. „Старая теория отрицания государства не могла удержаться перед опытами и фактами экономического развития. Еще бо́льшее воздействие оказали наблюдения и факты мировой войны. В германской, а также в австрийской социал-демократии она породила такие взгляды на значение государства для дальнейшего подъема рабочего класса и для всего культурного развития, которые еще десять лет тому назад встретили бы самый резкий отпор (подчеркнуто, как и дальше, мною. И. С.). Карл Реннер, в настоящее время австрийский государственный канцлер и виднейший теоретик австрийской социал-демократии, без всяких околичностей (ohne Umschweife) заявляет: „Государство сделается рычагом социализма".

И дальше Кунов,—тоже отбросив всякие прикрасы и околичности,—рассказывает, во что превратилась социал-демократия. „Да и фактически германская социал-демократия после революционных ноябрьских дней 1918 года действовала отнюдь не по тому принципу, что не следует укреплять авторитет и средства, которыми располагает государственная власть, ибо, дескать, всякое государство, хотя бы и демократическое, есть орган классового господства. Напротив, она взяла государственную машину, разрушенную войной, не для того, чтобы разбить ее, а для того, чтобы по возможности поддержать ее способность к функционированию и, поскольку это возможно, превратить эту машину в „рычаг социализма" (стр. 341).

Гвардия Носке, десятки тысяч рабочих, убитых и раненых в разных концах Германии, тысячи рабочих, сидящих в германских тюрь-

мах, варварски обезображенные трупы Карла Либкнехта и Розы Люксембург, новые и новые кровавые подавления рабочего класса,—неужели же этих опытов и фактов еще недостаточно, чтобы вбить в голову рабочему классу, что государство вовсе не орган классового господства, что это—„рычаг социализма“, что оно—на верном пути к скорому превращению в „социалистическое государство хозяйствования и управления“?

Правда, старая вражда к государству, признает Кунов, далеко еще не исчезла,—несмотря на все опыты и факты, небольшая часть которых только что отмечена и перечислена. Но он утешается тем, что—очевидно, в следующих за ним кругах и в особенности среди слушавших его студентов—„в противоположность вульгарно-марксистской теории отрицания государства (таким образом и Маркс „ohne Umschweife“, без всяких околичностей, попадает в вульгарные марксисты. И. С.) в общем все больше пробивается тот взгляд на значение государства, как фактор развития, который выразил Фердинанд Лассаль“.

Мы не приводим длинной цитаты из Лассаля, которую дает Кунов: подобных цитат можно бы подобрать целые десятки. Давно известно, что Лассаль не был марксистом, и что он преклонялся перед „идеей государства“, фетишизировал государство: достаточное основание для того, чтобы все профессора и все государственники возвеличили высокого идеалиста Лассаля в противовес революционному разрушителю Марксу.

Таков окончательный результат Кунова. Сначала „от Маркса к Гегелю“, а затем определенно намечается лозунг: назад к Лассалю!

Этому можно только радоваться. Отношения проясняются. Окольным путем, но и Кунов фактически пришел к тому же выводу, как Струве: большевизм, это—действительный, последовательный марксизм, марксизм самого Маркса. Марксом не оправдаешь социал-демократической практики. Надо искать прибежища у Лассаля.

„Ueber Marx hinaus“, определяет свои задачи и цели Кунов. Мы можем повторить вслед за ним: прочь и подальше от Маркса, а вместе с тем и от рабочего класса; чем скорее, тем лучше.

И. Степанов.

Перспективы новой экономической политики.

В предисловии к первому изданию „Капитала“ Маркс писал много раз цитировавшиеся потом слова: „Великая наука может и должна учиться у других“. Правда, общество, раз оно попало на след естественного закона своего развития... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов. А несколько выше в том же предисловии Маркс говорил: „Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего“.

Увы, и на европейском континенте и на американском материке мы имеем страны, промышленно гораздо больше развитые, чем Россия, но, к сожалению, ни одна из этих стран не в состоянии показать о промышленно отсталой советской России картину ее ближайшего будущего. Тот неожиданный зигзаг, который проделала история фактом победы в результате установления диктатуры пролетариата как раз в одной из отсталых, аграрных стран Европы, как Россия, при наличии капиталистических отношений в экономически более передовых странах, этот зигзаг сделал ситуацию в Европе несравненно более сложной (в смысле обучения отсталых стран у передовых), чем та, в обстановке которой писались цитированные слова Маркса. Разумеется, если считать вместе с меньшевиками, что в октябре никакой социалистической революции не было, а была буржуазно-демократическая революция, лишь одетая в социалистические лозунги и осложненная (к несчастию для меньшевиков и буржуазии) преимущественной и руководящей ролью в ней пролетариата, если эта революция расчистила почву для капиталистического развития в России лишь с гораздо большей основательностью, чем это могла сделать буржуазная революция, проходящая под гегемонией капиталистического класса, то дело весьма упрощается. Тогда в основном и главном именно капиталистические Германия, Англия и особенно Америка должны показывать нам картину нашего собственного будущего и России остается лишь „сокращать муки родов“ нормальных капиталистических отношений в стране, чем и занимаются с достойным усердием наши меньшевики и эс-эры, упорно не желая в этом сознаваться. Но если нам нечему учиться у меньшевиков, если не *капиталистические* отношения в передовых странах показывают картину нашего будущего, если, наоборот, на *нашем* октябре должен учиться передовой класс передовых стран, т.-е. рабочий класс, тому, как надо осуществлять пролетарскую революцию, то,

с другой стороны, в том, в чем мы считали, т.-е. в области промышленного развития и техники, нам еще многому предстоит учиться за границей.

Гораздо бо́льшую актуальность имеют для нас, особенно в период проведения новой экономической политики и для учета ее перспектив, слова Маркса о том, что общество, попавшее на след естественного закона своего развития, не может перескочить через естественные фазы развития. В XX веке, веке разрушения капитализма, пролетарских революций и социалистических войн, человеческое общество именно в том прорыве капиталистической оболочки, который образовался благодаря пролетарской революции в России и именно на основе отношений, складывающихся при этой диктатуре, нащупывает „естественный закон своего развития" на ближайшую эпоху. В этом главное и самое существенное для понимания основного процесса, происходящего теперь на территории советской России. Но вместе с тем нам приходится вспомнить о естественном законе развития и для нашего мелко-буржуазного окружения, которое давит всей стихийной массой своих сил на молодые социалистические побеги, пригибает одни к самой земле, искривляет стебли других, совсем не дает взойти, протянуться к свету третьим, и, что самое главное, с железной необходимостью и по законам его собственного развития должно будет стремиться к тому, чтоб заделать брешь в капиталистической системе, которая сделана октябрем и нашими победами в гражданской войне. На территории советской республики в ближайшие годы мы будем иметь возможность наблюдать и изучать два различных „естественных законов развития", в историческом масштабе отделенных один от другого парой столетий, но по иронии судьбы происходящих на одной территории и в одно время: естественный закон развития мелкого товарного производства, устанавливающий капиталистические отношения вновь или восстанавливающий капиталистические процессы и связи, порванные октябрем, —с одной стороны, и естественный закон развития социалистического общества, укрепившегося на базисе крупной промышленности, с ориентацией на расширение прорыва, сделанного октябрем во вне, и со стремлением к постепенному расширению за счет мелко-буржуазного и (да позволено будет так сказать) средне-капиталистического окружения внутри. Естественные законы товарного хозяйства мы знаем достаточно хорошо из всего прошлого капиталистических стран и из нашего собственного дореволюционного прошлого. Здесь перед нами повторение процессов, уже изученных, которые не сулят нам никаких неожиданных сюрпризов, если мы будем делать во-время и в нужной пропорции поправки к особенностям обстановки в ее целом. Наоборот, естественные законы социалистического накопления и развертывания социалистических отношений только намечаются. Здесь история нас учит мало, потому что мы сами здесь делаем историю и можем изучать лишь то немногое, что уже сделано и притом сделано в чрезвычайно сложной обстановке, отнюдь не характерной для будущего развертывания социалистических отношений на Западе. В этом, конечно, наша слабость. Наша же сила заключается в том, что наше мелко-буржуазное окружение, даже в лице его политических идеологов, не знает, наоборот, тех сюрпризов, которые его ожидают со стороны социалистического острова, и в нашей борьбе с ним мы будем находиться в положении штаба, который, хотя и приблизительно, представляет сам, что он будет делать в будущем, зато наверняка знает, что будет вынужден делать противник.

Каковы же перспективы на ближайшие годы?

часть среднего крестьянства, которой успехи кулачества не будут давать спать и которые будут чувствовать себя в приготовительном классе первоначального накопления. Но, с другой стороны, бедцеющая часть деревни, несомненно, резко столкнется с кулаческими верхами и в земельном вопросе, и по вопросу о продналоге, и в вопросе о местных налогах, и повинностях, и неизбежно принудит Советскую власть вмешаться в борьбу **на своей стороне**. С другой стороны, кулачество и независимо от этого придет к непосредственному столкновению с диктатурой пролетариата, поскольку рабочая власть будет своей налоговой политикой охлаждать азарт кулацкого накопления и будет стоять на пути кулачеству по основной линии его продвижения вперед в капиталистическом направлении. Бандитизм прекращается, потухают эти последние огоньки прошлого периода открытой войны кулачества с Советской властью. Вместо поддержки бандитизма, т.-е. поддержки безнадежного и убыточного дела, кулак займется более прибыльным делом, займется накоплением в тех рамках, которые устанавливает для него новая экономическая политика, с тем, чтоб, когда эти рамки окажутся тесными, снова поставить в порядок дня рушницу [1]).

Что касается города, то здесь „естественный закон" развития в капиталистическом направлении в идеальной для буржуазии форме и с идеальной быстротой процесса представляется в следующем виде. Мелкий торговый капитал занимает все позиции в области распределения государства и кооперации. В результате все излишки крестьянского хозяйства, за вычетом продналога и кооперативно-государственных заготовок, все производство ремесла кустарной промышленности, продукции средних предприятий, арендуемых частными лицами и отчасти продукции государственных предприятий, поскольку часть их продуктов попадает на вольный рынок, вся эта масса товаров поступает в распределение через аппарат мелкой торговли. Конкуренция внутри мелкой торговли приводит к укреплению многих торговых предприятий, к скоплению значительных средств в руках отдельных лиц. Что же касается всего торгового капитала в целом, то он очень скоро перерастет размеры, требуемые для торгового обмена в тех пределах, которые ему поставлены недостаточным производством, и будет отливать в производство. Натиск на аренду предприятий будет несравненно сильней, чем теперь, когда торговля без затрат дает огромные прибыли. Увеличится также и организация новых производств мелкого и среднего типа. В результате и торговый класс города и средние капиталистические предприятия превращаются в серьезный фактор экономической жизни. С их функционированием уже связано и снабжение миллионов людей и заработок десятков тысяч рабочих. К конфликту с Советской властью приходит неизбежно и этот слой, поскольку рабочая власть преграждает след дальнейшему пути развития налоговой и железнодорожной политики, не дает надлежащих гарантий свободной эксплоатации рабочей силы и не восстанавливает всех нужных для накопления правовых норм.

Иностранный капитал привлекается в начале, как союзник крупной социалистической промышленности в деле поднятия производительных сил на базисе крупного производства и в деле борьбы с варварской отсталостью производства мелкого. Но, закрепившись на некоторых пунктах и будучи вынужден пользоваться внутренним рын-

---

[1]) Винтовка с обрезанным стволом обычное оружие бандитских шаек на Украйне.

Для приблизительного, схематического ответа на этот вопрос, отнюдь не претендующего на пророчество, рассмотрим сначала, как развернулись бы отношения в России, если б мелко-буржуазное окружение с максимальной успешностью двинулось вперед по линии своего „естественного закона развития", затем рассмотрим перспективу идеально быстрого развертывания социалистических отношений и, наконец, возьмем эти два процесса в их взаимодействии, т.-е. в той связи, в какой они должны развиваться и сталкиваться в реальной действительности.

Начнем с деревни. До революции развитие производительных сил сельского хозяйства происходило как в форме организации и укрепления капиталистических, помещичьих, кулацких и купеческих хозяйств, так и в форме выделения на территории крестьянского земледелия кулацких крепких хозяйств фермерского типа, начавших применять улучшения в обработке земли, вводивших новые культуры, накоплявших лучшие, чем у остальной крестьянской массы, породы скота. В то время, как крестьянское хозяйство бедняцкого слоя деградировало, а у середняков либо ухудшалось, либо стояло на месте, единственное движение вперед замечалось среди кулацкого земледелия. Его ожидало блестящее будущее при победе буржуазной революции, которая обеспечила бы возможность крупно-крестьянскому хозяйству фермерского типа стать господствующей формой не только среди крестьянского, но и всего сельского хозяйства страны вообще. Октябрьская революция, уничтожив помещичье землевладение, перешибла и процесс формирования нового типа крестьянского хозяйства и не только приостановила процесс накопления в кулацком хозяйстве, но в период комбедов осуществила с большим, хотя и не с полным успехом, выравнивание кулачества под середняков. Кулачество с достигнутой ступени капитализации хозяйства было отброшено на позицию тех годов, в которых этот процесс начал развиваться в заметном размере, т.-е. на позицию, примерно, 70-х или 80-х годов. В условиях новой экономической политики, которая означает свободу обогащения, накопления и использования наемного труда как в мелком производстве города, так и в мелком производстве деревни, прерванный революцией процесс создания фермерства начнет развертываться вновь. Он уже развертывается вновь в урожайных районах не меньше, чем в голодных. При урожае зажиточный крестьянин выигрывает больше других, потому что он больше засеял земли и лучше ее обработал, использовавши при этом и один, другой надел пустующей земли какого-либо безлошадника. В голодных губерниях кулачество остается на месте, в то время как беднота эмигрирует, оно скупает за бесценок скот и инвентарь, и уже в 1922 г. будет иметь засевы такой площади, которые и не снились кулачеству год назад. Что же касается наемного труда, то его, в связи с выливанием из хозяйственных рядов деревни части бедноты, в результате неурожаев и отсутствия рабочего скота, будет сколько угодно, был бы только спрос. А спрос уже есть, особенно на окраинах, и будет увеличиваться.

Развитие кулачества в новых условиях неизбежно должно привести также к новой группировке сил в деревне. Во-первых, количество бедноты, сведенное до минимума после экспроприации кулачества и нивеллировки в деревне, будет увеличиваться, деревня из более однородной начнет превращаться снова в деревню дифференцированную. Не исключена возможность того, что кулачество потянет за собой политически тот слой бедноты, который будет от нее зависеть экономически, и совершенно несомненно, что за кулачеством пойдет та

ком как для многоразличных закупок, так и для продажи части своих изделий, он вступает в деловые связи с буржуазным окружением и в известный момент меняет свою ориентацию. Так как никакое накопление в буржуазном окружении не в состоянии собрать такого количества товарного капитала, который мог бы производственно овладеть в исторически краткий срок нашей крупной промышленностью, и так как единственным кандидатом для овладения ей является иностранный капитал, который мог бы возглавить мелко-буржуазное окружение крупно-капиталистической и по типу производства, следовательно, родственной настройкой, то неестественный союз социалистического государства с крупным иностранным капиталом лопается и заменяется естественным союзом его со всеми буржуазными силами России. Бьет час для схватки этого союза с социалистическим государством, и исход борьбы решается соотношением сил внутри страны и в международном масштабе.

Теперь представим себе идеально быстрое развитие на другом полюсе, в области социалистического производства и распределения. Начав восстановление хозяйства с важнейших отраслей крупной промышленности и транспорта, социалистический остров расширяется одновременно и за счет развития своих собственных сил, и за счет систематических вычетов из доходов мелко-буржуазного окружения. Начав восстановление хозяйства на продовольственной основе продналога и небольшого по размерам товарообмена, Советская власть в результате успехов крупной промышленности в состоянии увеличивать из года в год второй источник получения для промышленности продуктов сельского хозяйства. В то же время успехи в добыче каменного угля, нефти и торфа, вместе с электрификацией Петербурга, Москвы и других районов, создают все увеличивающийся топливный базис для развертывающейся промышленности.

Вычеты из доходов мелко-буржуазного окружения растут по мере роста этих доходов. Продналог на время первых лет восстановления промышленности удерживается на старом уровне, уменьшаясь в зависимости от колебаний в урожае, что при общем движении вперед крестьянского хозяйства расширение новой площади не представляет экономически ничего невозможного. Наоборот, налоги на ремесло, кустарное производство, торговлю и частную промышленность все возрастают, что при росте производительных сил в этих областях также экономически возможно. Сначала эти отрасли обкладываются в таком размере, что расходы на государственный аппарат, содержание транспорта, армии и т. д. на них падают в таком же размере, в каком они падают на социалистическую промышленность. В дальнейшем они повышаются настолько, что оставляют у арендатора прибыль в размере дохода хорошего специалиста, а с мелкого производства снимают большую часть того, что при иных условиях шло бы в фонд капиталистического накопления. В результате излишки кулацкого хозяйства и частной промышленности отливают преимущественно в фонд социалистического накопления. В то же время все бо́льшую и бо́льшую роль начинает играть внешняя торговля республики и в природе появляется новая экономическая категория: социалистическая торговая прибыль. Важнейшим предметом торговли по мере восстановления крестьянского хозяйства делается хлеб. Продавая хлеб за границу и продавая крестьянству продукты крупной иностранной промышленности, советское государство, за покрытием организационных расходов, получает значительную и все возрастающую прибыль. Под влиянием увеличения производства и крупной промышленности и увеличения

возможностей товарооборота с деревней, благодаря налогам, сокращению эмиссии и расширению товарообмена на вольном рынке, советское государство получает твердую валюту, используя в дальнейшем эмиссию, поскольку она не колеблет курса рубля, для извлечения из оборота в фонд социалистического накопления того количества т о в а р н ы х р е с с у р с о в мелкого хозяйства, которое эквивалентно соответствует размерам д е н е ж н о г о н а к о п л е н и я в частном хозяйстве. Что касается концессионного капитала, то, начав с привлечения иностранного капитала в производство, советское государство по мере реального восстановления своей промышленности убеждается в экономической невыгодности и политической опасности такого способа привлечения иностранного капитала по сравнению с системой товарных займов. Товарные займы, бывшие невозможными в период развала промышленности вследствие большого их риска для ссужающего капитала, наоборот, в период подъема социалистической промышленности делаются преимущественной формой использования иностранного капитала в России, и, несмотря на грабительские проценты, дают сильнейший толчок к наступательному движению вперед всей нашей промышленности и сельского хозяйства.

В результате быстрого восстановления крупной промышленности и создания благоприятных материальных условий для пролетариата, с другой стороны, ввиду промышленного или промышленных кризисов за границей, безработицы и преследований со стороны буржуазных правительств, начинается массовая тяга иностранных рабочих в Россию, начинается пролетарская колонизация России, которая даст возможность поддержать развертывающуюся промышленность со стороны недостающей в самой России квалифицированной рабочей силы, и пролетариат, как класс, не только непрерывно растет количественно, но улучшается его качественный состав.

Успехи промышленности ускоряют процесс социализации сельского хозяйства. Совхозы ставятся на ноги, увеличивается количество и качество совхозов, приписанных к фабрикам, растет коммунальное земельное хозяйство городов, постепенная замена лошадиной силы тракторами и электроплугами увеличивает островки коллективного хозяйства в деревне. Рядом с этим медленным процессом развивается другой с гораздо более быстрым темпом. Государство приступает на окраинах к организации нового типа совхозов на пустующих землях, бросая в дело тракторы и иностранных рабочих. На основе начавшегося снова расслоения деревни среди бедноты в большем масштабе, чем раньше, при большей общей сознательности ее усиливаются коммунальные стремления в массовом масштабе. Это происходит в период, когда пролетарская власть в гораздо большей степени, чем раньше, стала способной поддержать этот процесс путем снабжения коммунистов машинами, искусственными удобрениями и агрономическими силами.

Таким образом пролетарская база Советской власти растет с каждым днем, с другой стороны, увеличивается в экономике страны удельный вес крупного социалистического производства по сравнению с мелким. Сначала расширялось и крупное и мелкое производство, не сталкиваясь резко. Затем крупное начинает не только расти, но расти за счет вытеснения мелкого. В этот период советское государство не только прекращает, как правило, сдачу в аренду тех или иных средних предприятий, но уже тяготится арендаторами, не возобновляет на новые сроки договоров, а само берется вести средние предприятия. Мелкая торговля, существующая на-ряду с кооперацией, в значительной

степени подчинена уже крупному производству, получая для продажи продукты в тех случаях, когда государству более выгодно использовать ее аппарат, а не аппарат кооперации, либо когда требуется использовать и тот и другой аппарат. В зависимости от государства находится не только торговля, но и мелкая и средняя промышленность, кредитующиеся в государственном банке и через этот канат подтянутые к советскому государству. Этот процесс систематического утеснения и вытеснения частной, мелкой и средней промышленности и непрерывный нажим на кулачество, большие налоги и пр. вызывает возмущение той части мелко-буржуазного окружения, которая стремится неуклонно дорваться до возможности беспрепятственного капиталистического накопления. Происходит взрыв буржуазно-кулацкой контр-революции, которая при данном соотношении сил легко подвергается полному разгрому. После этого разгрома наступает, если можно так выразиться, период социалистической реакции. Новая экономическая политика в известной части ликвидируется, после периода частичной денационализации, начинается снова усиленная национализация того, что выгодно национализовать для советского государства. Критический период пройден. Социализм побеждает по всей линии.

Так можно представить себе „естественный закон" капиталистического накопления и роста, и „естественный закон" социалистического накопления и развития в идеальном для каждого процесса виде.

Теперь возьмем оба эти процесса в их взаимодействии со всеми осложняющими ход развития факторами, т.-е. попытаемся представить себе реальную картину развивающегося социалистического производства в обстановке развивающегося рядом товарного хозяйства, беря за исходный хронологический пункт вторую половину 1921 года.

Первый период, начальные ступени которого мы теперь, осенью 1921 года, проходим, характеризуется сравнительно мирным сожительством и того и другого процесса. Кулак, экспроприированный в период существования комбедов, лишенный избирательных прав в Советы, взятый вообще под подозрение, особенно в области спекуляции, использования наемного труда и накопления, этот кулак переживает состояние человека, вырвавшегося из тюрьмы. Замена разверстки продналогом вполне его устраивает, по крайней мере на первый период, пока не захочется лучшего, эта замена дает кулачеству больше, чем могло бы ожидать их по крайней мере при существовании Советской власти. Кулачество расширяет посевную площадь, использует накопленные денежные рессурсы для улучшения скота, пополнения запасов инвентаря и начинает залечивать раны, нанесенные ему комбедовской политикой. Среднее кулачество также с удовлетворением встречает замену разверстки продналогом и охотно откупается от государства взносом причитающегося с него налога. Вместе с тем из него выделяется слой, который с уровня потребительского хозяйства, сводящего концы с концами без излишков, стремится развить продукцию в таком размере, чтобы иметь эти излишки для накопления. Если не считать продналогом эмиссии, образующие часть доходов крестьянского хозяйства, в условиях настоящей экономической политики нет препятствий, которые стояли бы на пути этого процесса. Что касается городской торговли, то слой городских торговцев находится в медовом месяце „первоначального накопления". Переход от запрещения почти всякой торговли к беспрепятственному товарообороту, огромные прибыли на первых ступенях возрождения товарообмена, пока конкуренция еще не велика, заставляют торговый класс ловить момент. Этому классу в этот период не до политики.

Он мирится пока с существованием Советской власти, сократил подпольную и злостную агитацию против нас, ему теперь некогда этим заниматься, он осуществляет с лихорадочной поспешностью формулу Д—Т—Д, каковая формула в период падающего курса рубля не дает времени для посторонних занятий. Этот слой охотно платит все налоги, пока скромные, сейчас же перекладывает их на покупателей и даже рад тому, что самым фактом обложения Советская власть легализует на практике его промысел. Что касается арендаторов средних предприятий, то они только что приступают к хозяйничанию и, разумеется, в этот период не представляют из себя сколько-нибудь крупной величины в экономике страны, а с другой стороны, не имеют пока пунктов для столкновения; перспективы, раскрывшиеся столь неожиданно приятным для воскресших из мертвых Колупаевых и Разуваевых, что им теперь также не до конфликтов.

То же надо сказать и про ту группировку мелко-буржуазных сил, которая образуется внутри и вокруг кооперации, особенно производительной кооперации. Кооперация не может стронуться с места без государственной поддержки. В тот период, когда отделение от государства и переход на враждебную к нему позицию означает отделение тощей кооперативной кассы от государственной, трудно, разумеется, ожидать от кооперации резкого разрыва с пролетарским государством. Тем более, что раньше, чем мелко-буржуазные силы в кооперации решили бы перейти в резкую оппозицию к Советской власти, они должны сгруппироваться, дать бой и победить советские силы внутри самой кооперации. Эта настройка классового состава кооперации, с одной стороны, необходимость блокироваться с пролетарским государством в важнейшем пункте, в борьбе с частной торговлей, выгода союза, а не разрыва с государством по многим другим причинам,— все это затрудняет враждебным пролетариату силам резко повернуть аппарат кооперации против государства в защиту интересов зажиточного крестьянства. Но тем не менее, благодаря тому, что кооперация за время революции была местом скопления антисоветских сил из так называемых специалистов, эта кооперативная верхушка уже теперь начинает намечать линию раскола с государством, т.-е. начинает, забегая вперед, уже пытаться войти во второй период, конфликтный период двух рассматриваемых нами процессов.

Укрепление позиций, которые социалистическое государство оставило за собой, и развертывание социалистического производства, встретится с рядом препятствий, которые можно предвидеть уже теперь. Здесь чрезвычайно много зависит от господина урожая. Хороший урожай может дать сильнейший толчок развитию производительных сил в крупной промышленности, и, наоборот, повторные неурожаи могут весьма сильно задержать продвижение вперед. Урожай означает полмиллиарда лишних пудов хлеба. Он обеспечивает внесение полностью продналога даже тогда, когда крестьянство начнет позабывать о разверстке и начнет торговаться с государством уже на почве продналога.

Урожай означает далее удешевление хлеба по сравнению с продуктами промышленности, следовательно, возможность получить больше сельско-хозяйственных продуктов за товарообменный фонд пролетариата. Урожай означает увеличение доходов государства от эмиссии при уменьшении вредного влияния выпуска бумажек на курс рубля. Наконец, урожай делает возможным начать, хотя бы сначала и в скромных размерах, вывоз хлеба за границу и увеличить ввоз для крестьянского хозяйства машин из-за границы. Влияние урожаев на

расширение нашей довоенной промышленности было установлено экономическими исследованиями давно. Теперь это влияние должно быть еще более сильным.

Нельзя еще предвидеть, как сложится дело с использованием концессионного капитала. Быть может, дело пойдет так, как оно представляется в описанном выше идеальном варианте развертывания социалистической промышленности. Но не исключена и такая возможность, что первые опыты с концессиями окажутся неудачными, что социалистический организм не переварит их и выплюнет их, как при рвоте. Точно также дело с товарными займами может затормозиться. Наконец, нельзя предвидеть и всяких внешних осложнений, которые не только могут оборвать экономические связи с капиталистическими странами, но и сильнейшим образом затормозить социалистическое строительство и в той части, в какой оно базируется на внутренних рессурсах республики.

Но как бы ни велики были под влиянием всех этих причин отклонения от идеального темпа социалистического продвижения вперед, характеристика первого периода существования двух различных и в своих тенденциях враждебных процессов развития, как периода их мирного строительств, остается в силе. И в том случае, если процесс развития и восстановления капиталистических отношений в ближайшие годы будет обгонять процесс социализации, и инициатива нападения будет исходить от мелко-буржуазных и буржуазных сил, и в том случае, если развертывание социалистической промышленности будет обгонять первый процесс и инициатива утеснения будет исходить от пролетарского государства--в обоих этих случаях для нарастания и созрения конфликта нужен определенный срок. Какой срок?

Для марксиста всегда выгодней уклониться от ответа на этот коварный вопрос и удовлетвориться лишь анализом экономических тенденций и их политических последствий. Но практика жизни и борьбы требует ответа, хотя бы приблизительного. Мне кажется, что два—три года мирного сожительства капиталистического процесса развития с социалистическим, если не гарантированы, то являются в высокой степени вероятными, и правильнее удлинить этот срок, чем его убавить. Все это при условии, что конфликт не будет ускорен извне, т.-е. пролетарской революцией на Западе в пользу социалистического наступления, либо интервенцией иностранной буржуазии в пользу капиталистической реакции.

А пока республика вступила в период развития производительных сил во всех отраслях своего национального хозяйства под лозунгом максимального увеличения количества продуктов, какими бы путями и методами это ни достигалось. Это увеличение продукции, означающее в то же время увеличение доходов и потребления непосредственно занятых в производстве и торговле групп, не только не способствует психологически нарастанию конфликтных настроений, а, наоборот, ведет к расслоению конфликтов, уже существовавших. Если изобразить графически картину параллельного развития капиталистических и социалистических отношений и установить, с какого момента начинается столкновение, то можно представить себе весь процесс в виде двух усеченных пирамид, поставленных рядом основаниями вверх, и представить себе, что эти фигуры растут вверх. В определенный момент рост и в той и в другой сфере возможен без столкновений! Но наступает момент, когда столкновение неизбежно и кто-либо должен посторониться.

Отсюда можно вывести и еще одно важное заключение. Конфликт назреет тем скорей, чем успешней будет итти развитие по обеим линиям. Он назреет позже, если обнаружится застой или медленное продвижение вперед.

В каком же пункте можно ожидать прежде всего ликвидации мирного сожительства двух разных законов развития?

Мне кажется, что развязывание конфликта вряд ли начнется на территории города. Ни мелкое производство города, ни городская торговля, ни тем более средне-капиталистическая промышленность, существующая на основе аренды, не могут служить почвой для решающего конфликта. Удельный вес этих отраслей промышленности в экономике всего хозяйства не настолько велик, и не настолько значителен социальный вес связанных с этой экономической средой классов, чтоб отсюда началось решающее столкновение. Хотя при новой экономической политике мы не можем уже сказать, что в республике осталось два класса, рабочие и крестьяне, тем не менее решающими исход всякой будущей борьбы остаются по-прежнему эти два класса. Именно из деревни мы должны ожидать развязки конфликта, который назреет на основе новой экономической политики. Конкретно это можно представить себе следующим образом.

В новых условиях начинается снова прерванный революцией процесс расслоения в деревне. Кулачество, которому в прок и урожай, потому что больше хлеба останется для обмена, и голод, потому что больше можно скупить за бесценок скота и имущества бедноты, это кулачество начинает забирать снова одну из утраченных раньше позиций за другой. При всяком уровне цен на продукты сельского хозяйства именно кулачество использует все выгоды этой конъюнктуры в первую очередь, поскольку именно в кулацком хозяйстве прежде всего начнется и уже начинается улучшение обработки земли и повышение урожайности почвы. С другой стороны, пострадавшие от неурожаев слои деревенской бедноты будут в значительной мере отброшены на докомбедовские позиции. Рост благосостояния кулачества будет чем дальше, тем больше раздражать деревенскую бедноту. Начнется борьба в деревне по вопросам земельным, потому что кулачество будет арендовать земельные наделы бесхозяйных, по вопросу о плате батракам, по вопросам об использовании кулацкого скота и инвентаря для обработки земли бедноты, семей красноармейцев и т. д. Беднота будет требовать уменьшения ее доли продналога и увеличения ставок налога на кулачество. Начавшись в местном деревенском и волостном масштабе, эта борьба примет в дальнейшем общероссийский характер. Эта борьба перенесется в кооперацию и вызовет раскол внутри кооперации, которая в зависимости от местных условий, либо превратится в орудие борьбы бедноты с зажиточными слоями деревни, либо—наоборот. Советское государство должно будет вмешаться в процесс борьбы, и главной его задачей будет не новая стрижка кулачества по примеру 1918 года, а, наоборот, создание хозяйственной базы для бедноты путем усиленного развития хозяйственных объединений бедноты на основе коллективного хозяйства. Это неизбежное вмешательство в борьбу пролетарской власти в свою очередь заставит кулачество искать себе союзников в городе. Оно найдет их там как отчасти в кооперации, где имеется достаточно эс-эровско-меньшевистских элементов, так и в лице возродившегося торгово-промышленного класса и буржуазной интеллигенции. Не исключена возможность, что кулачество само перейдет в наступление, начав борьбу за отмену продналога и попытается на этой почве повести за собой большинство крестьянства.

Группировка сил может сложиться тогда приблизительно следующая. На стороне Советской власти—рабочий класс социализированных предприятий, беднота деревни, государственный аппарат, на стороне кулачества—все новые капиталистические группировки и часть среднего крестьянства, тяготеющая к верхам деревни, и те группы городского населения, которые связаны в своем существовании с вольным рынком и развивающимися капиталистическими отношениями. Среднее крестьянство, вероятней всего, останется в своем большинстве нейтральным, потому что в условиях новой экономической политики ему обеспечена возможность улучшения хозяйства и поднятие его доходности, кулацкая же победа не сулит никаких серьезных улучшений в его положении. Таким образом исход борьбы в высокой степени будет зависеть от организованности двух крайних полюсов, в частности, от силы государственного аппарата пролетарской диктатуры. Возможно, конечно, что капиталистические силы города и деревни обнаружат очень большую приспособленность к пролетарской власти, и в конфликтном периоде пойдут по линии наименьшего сопротивления, ограничившись пассивными средствами борьбы на чисто экономической почве. Это будет тем вероятней, чем успешней будет итти процесс укрепления всей социалистической системы в доконфликтный период и чем больше социалистическое производство успеет экономически подчинить себе товарное хозяйство (транспорт, государственный банк, государственные заказы, внешнюю торговлю и т. д.).

После всего сказанного нам нетрудно разобраться в сущности той борьбы, которая ведется за границей между двумя расколовшимися частями кадетской партии: группы „Последних Известий" во главе с Милюковым и кадетских ортодоксов из „Руля". Последняя группа, после того как кадетская партия потеряла свой классовый базис в лице капиталистической буржуазии и отчасти капиталистического земледелия, осуждена на роль кучки идеологов, оторванной от социальных корней в русской жизни, поскольку эти корни вырваны октябрьской революцией. Ни городская торговля, ни средняя капиталистическая промышленность, начинающая понемногу возрождаться, не могут представить достойного базиса для старой кадетской партии и обрекает группу „Руля" на политическое ничтожество. Наоборот, Милюков ищет базиса в деревне, он хочет возродить кадетскую партию на кулацкой основе, т.-е. на основе такой общественной группы, которая имеет серьезное значение в экономике страны и может представить большую силу в борьбе политической. А так как для успеха в борьбе кулачеству необходимо увлечь за собой среднее крестьянство, то его новым идеологам необходимо всячески замазать свое капиталистически-помещичье лицо, спрыснуться эс-эровским одеколоном, чтобы заглушить вокруг себя колчаковско-деникинский запах, и после всех этих операций выступить в роли вождей буржуазной деревни. Совершенно очевидно, что из спорящих прав именно Милюков, а не Гессен и Набоков, потому что если в России возможна победа буржуазной власти, то она возможна лишь при вступлении в бой деревенской буржуазии, которую отнюдь не способен увлечь на это Гессен и Набоков своими историческими воспоминаниями. Мы не знаем, увлечет ли ее Милюков, пока они его увлекли запахом ядреного кулацкого чернозема. Но что Милюков ищет там, где и надо искать каждому серьезному контрреволюционеру и серьезному политическому противнику пролетарской власти,—это не подлежит спору.

В заключение сделаем из всего вышесказанного некоторые выводы. Первый вывод это—тот, что на протяжении ближайших лет в республике не будет благоприятной почвы для массового контр-революционного движения, за исключением, быть может, разрозненных выступлений на окраинах. Попытка к восстаниям и заговоры со стороны эс-эровски-белогвардейских элементов не только будут бесцельными но будет доказательством банкротства и полного непонимания со стороны этих групп политико-экономической ситуации в стране. Концентрация контр-революционных сил происходит в настоящий момент на почве мирного расширения базиса неокапиталистических отношений. Задача Советской власти состоит в том, чтоб использовать это расширение в интересах развития производительных сил страны, но не дать нашим политическим противникам использовать его для свержения Советской власти. А отсюда вытекает, что пролетарская власть не должна сдавать в этот мирный период не только ни одной политической позиции,—это не требует доказательств,—но и ни единой решающей экономической позиции, особенно из тех, которые являются ключами, как крупная промышленность, банки, внешняя торговля, оптовая торговля монопольными и заграничными товарами и проч. и всякие предложения к расширению зоны за отступления. Эти позиции нужно рассматривать, как объективно контр-революционные. Ввиду того, что главные силы контр-революции формируются в этот период в деревне, необходимо приступить к организации деревенской бедноты в качестве противовеса кулачеству. В области крупной индустрии необходимо с величайшей поспешностью начать восстановление важнейших отраслей, обгоняя в беге строительства несоциалистическую часть промышленности. Необходимо, наконец, укрепление государственного аппарата и максимальное использование его во всех областях, как просвещения и проч. для подготовки всего того, что обеспечит победу в будущих неизбежных классовых битвах.

Е. Преображенский.

К вопросу об издержках революции.

В любопытной полемике, поднявшейся вокруг книги тов. Бухарина и появившейся на страницах 1-й книги „Красной Нови", есть один вопрос, заслуживающий нарочитого внимания и нарочитой исследовательской работы. Участник полемики тов. Не-Ревизионист так формулирует этот вопрос:

„...Я убежден, что полемика, которая развернется вокруг книги Бухарина, пойдет по другому направлению. Бухарину будет дан бой в связи с основным положением его работы, которое сводится к тому, что пролетарская революция означает прежде всего „распад технического аппарата общества, поскольку мы имеем в виду людскую техническую организацию этого общества" и что она (пролетарская революция) „как и всякая революция сопровождается понижением производительных сил". Я по данному вопросу полностью разделяю точку зрения тов. Бухарина, но нельзя не признать, что мы имеем здесь почву для споров. В частном разговоре один старый марксист и крупный историк высказал мысль, что английский пролетариат, игнорируя Бухарина, может в один прекрасный день, захватив и разрушив государственную власть буржуазии, поставить страну на социалистические рельсы без всякого понижения производительных сил. Эта точка зрения диаметрально противоположна бухаринской. И здесь, повторяю, мы имеем почву для плодотворной дискуссии, которой наш новый журнал, я надеюсь, предоставит свои страницы.

В порядке такой дискуссии (дискуссии, а отнюдь не полемики) мне и хотелось бы привести, как несколько теоретических соображений по этому вопросу, так и некоторые конкретные факты, характеризующие положение при русской революции и при революции в Англии, если она там произойдет ранее чем в других странах.

Один из главнейших моментов, которым характеризуется всякая революция — это разрыв экономических и идеологических связей той общественной системы, крушение которой выражается происходящей революцией. Общественный организм не есть простая арифметическая сумма отдельных элементов, входящих в понятие общественного целого.

Точно так же, как сумма органов человеческого тела не есть еще сама по себе организм, точно также и сумма производственных, культурных, материальных и идеологических величин не составляет еще общества. Животный организм в отличие от суммы органов животного предполагает еще наличие системы связей между этими органами, системы, благодаря которой мы от анатомического или структурного представления об организме переходим к физиологической или функциональной концепции его.

Система связей между органами создает процессы жизни, делает возможным их взаимное **системное функционирование**. Система связей вводит нас в динамику организованного целого и дает руководящую нить к объяснению его трансформационных процессов. Мертвое тело человека продолжает оставаться суммой его органов, но система связей перестала функционировать и остановились **процессы** дыхания, кровообращения, питания, обмена веществ.

Сумма органов осталась, организма нет. Организованное целое превышает сумму своих органов, если мы рассматриваем их как части суммы. Организованное целое есть не сумма частей, а система элементов, точно также как угольная кислота есть органическое слияние, а не механическая смесь 2 частей кислорода и 1 части углерода. Применяя эти понятия к человеческому обществу, мы сталкиваемся с еще более сложным понятием организованного целого, где система связей, объединяющая отдельные составные части общественного целого, играет еще большую роль, но изучение функционирования которой представляет еще большие трудности. Каждая общественная система предыдущих исторических эпох—рабовладельческая, феодальная, капиталистическая—имела свою специфическую, присущую ей, систему общественных связей, видоизменяющихся **эволюционно** в течение развития данной системы, но претерпевающих резкое революционное изменение при переходе от одной системы к другой. При плановой структуре общества последнее не может, конечно, обладать достаточной пластичностью, чтобы перейти к высшим организационным формам без революционного переворота, а следовательно, и без временного резкого разрыва господствующей системы связей.

Однако, в эпоху развитого социализма, при отсутствии классового господства и классовой заинтересованности отдельных слоев общества в сохранении старых, ставших уже жизненно-регрессивными форм, при господстве научной мысли и при абсолютном доминировании общих интересов над частными, мы можем представить себе, что человеческое общество достигает такой степени пластичности, что даже быстрые и резкие переходы к новым системам общественных связей переживаются им безболезненно и без резкого разрыва экономических связей, делающего неизбежным временную деградацию производительных сил. Вернее, нерастрачиваемая на классовую борьбу и вытекающую из нее бесконечную борьбу индивидов и групп между собою, энергия человеческого общества будет всегда затрачиваться в определенной доле своей на отыскание новых, наиболее совершенных форм общественного бытия; переход к ним станет, следовательно, не слепым и стихийным, а планомерным и регулируемым человеческим разумом, и пути будущего будут не только предугадываться, но и строго рассчитываться. Научное предвидение и коллективная сознательность—материальная и идеологическая—достигнут такой силы и остроты, что даже самые революционные перевороты в области техники, культуры и бытового уклада общественной жизни будут проходить просто и безболезненно. Исчезнут все силы, задерживающие теперь переход к высшим организационным формам, и кроме того усилится и бесконечно усовершенствуется работа предвиденья.

Человеческий коллектив сделается революционером по своей идеологии, вечно стремящимся к усовершенствованию коллективного бытия, не понимающим, что значит, так свойственная нам теперь, боязнь новых форм и сопротивление введению их.

Но такое общество мы мыслим, однако, лишь теоретически. Историческая же практика познакомила нас пока только с обществен-

классовой борьбы, обществом, где наличие такой классовой борьбы является поэтому постоянным источником нерациональной растраты энергии, и где оно же создает весьма осязательную силу сопротивления всякому переходу к высшим организационным формам жизни. Отсюда и крайняя неэластичность во всяком изменении системы организационных форм общества.

Развивающиеся противоречия капиталистического строя подрывают устойчивость его связей, нарушают их системную целостность и в то же время сила сопротивления новым организационным формам, гарантирующим большую уступчивость общественного целого, столь велика, что переход к ним не может совершиться без революционного кризиса.

Учение Маркса об экономической и исторической природе капитализма есть в сущности точнейший анализ столкновения этих сил, родящегося из развивающихся внутренних противоречий капитализма.

Процесс организации новых производственных и экономических форм сопровождается процессом дезорганизации производственных и экомических связей. Творчество новых форм задерживается распадом системы связей общественного целого.

В решительный момент наступления кризиса разрыв системы связей не только останавливает дальнейший рост, но и обусловливает регресс в развитии этих новых форм.

В центре системы организационных связей общества школа экономического материализма ставит экономическую базу общественного строя: его производство и обмен. Производственные отношения определяют отношения классов, отношения обмена являются связкою между отдельными хозяйственными единицами, комплексами хозяйств и национальными хозяйствами. Правда, в классовом обществе, при анархическом хозяйстве, обмен, связывающий между собою производственные единицы, является стихийным и непланомерным.

При организованном хозяйстве во внеклассовом обществе обмен, как и производство, явится результатом колоссальных точнейших расчетов производительных сил человечества, климатических, почвенных, расовых и других условий и факторов производства на всем земном шаре.

И тогда план и размеры производства будут всецело определять собою план и размеры обмена, тогда как в капиталистическом обществе стихийный процесс обмена является регулятором анархического производства.

Но для наших целей достаточно, однако, констатировать, что обмен создает систему экономических связей между производственными единицами, как внутри страны между ее областями, так и между странами, и что развитый капитализм последней эпохи бесконечно расширил и усложнил систему этих связей.

Таким образом, пытаясь учесть косвенные результаты социальной революции в виде влияния ее на производительные силы, анализ наш должен пойти по двум разным направлениям в зависимости от того, совершается ли революция в одной стране или в группе стран, а во втором случае в зависимости от объема этой группы и степени ее связанности—с остальным хозяйственным миром.

В первом случае, который собственно и является объектом завязавшейся дискуссии, нам придется взвесить и исчислить два влияния на производительные силы страны: 1) результат разрыва экономических связей внутри страны и 2) результат разрыва экономических связей с внешним миром, т.-е. со странами, сохранившими капиталистический строй.

Конкретный исторический пример, уже данный нам историей, это революция в России. Гипотетический пример, взятый — „старым марксистом и крупным историком" в его беседе с Не-Ревизионистом — это Англия — классическая страна психологической изолированности, но в то же время страна мировых хозяйственных связей, получающая извне 75% съедаемого ею хлеба, 40% съедаемого ею мяса, почти 70% потребляемого ею сахара и значительное количество сырья для своей промышленности—промышленности, которая в свою очередь выросла и развилась на обслуживании готовыми изделиями других стран, и до сих пор, несмотря на утрату хозяйственной гегемонии и на капитуляцию сначала пред Германией, а потом пред Америкой, продолжает все же быть экспортной страной и страной интенсивного обмена. Товарищ крупный историк делает, повидимому, допущение, что сильная пролетаризованность населения Англии, доминирование в ней промышленности над сельским хозяйством и города над деревней (до 75% населения Англии живет в городах), плотность населения и плотность железнодорожной сети (та и другая максимальная в Европе после Бельгии), ничтожнейшая роль, которую играют промежуточные между буржуазией и пролетариатом слои, достаточно высокое развитие производительных сил и общей культурности и last but not least того производственного сознания, которое английский пролетариат выработал в процессе своей долгой классовой борьбы и в особенности последней фазы ее (эпоха национальных стачек, во время которых английский пролетариат выступал против буржуазного государства, а не отдельных представителей буржуазии, и во время которой история преподала ему не один яркий предметный урок о том, что экономика есть сконцентрированная политика),—все это есть, конечно, ряд факторов или лучше сказать эволюционных предпосылок социальной революции, обеспечивающих за ней — когда она произойдет — достаточно высокий коэффициэнт полезного действия и сравнительно слабую силу сопротивления ей. И, конечно, развитие этих предпосылок и составляло, быть может, социальный фон исторического развития Англии за последнее время. Но это—факторы, благоприятные революции только социального и культурного порядка. Они указывают на эволюцию некоторой части системы социальных и идеологических связей в благоприятном для революции направлении, но мы хорошо знаем, что наряду с ними история развила в той же Англии и силы, действующие в обратном направлении: политическую отсталость пролетариата и общую косность духа, свойственную нации островитян и развивавшую в некоторые периоды английской истории большую силу сопротивления при переворотах всякого темпа.

Само собой разумеется, что поскольку речь идет о ходе революции уже после того, как она произошла фактически, эти силы предполагаются уже преодоленными. Поэтому-то они и не принимаются в расчет. Но остается еще фактор экономических связей, который будет, наоборот, играть первенствующую роль после революции, если предположить, что таковая имела место только в Англии. Боюсь, что это пример сугубо теоретический и в данной исторической обстановке совершенно не реальный. Но для целей нашего анализа он все же весьма удобен: итак, мы допускаем социальный переворот на Британских островах при сохранении капиталистического строя в остальной Европе, за исключением в России и в Америке. Мы допускаем также, что, как вооруженное, так и идеологическое сопротивление буржуазии и промежуточных слоев населения сломлено и что, благодаря культурности, организованности и производственному развитию английских рабочих,

с одной стороны, и благодаря их численному преобладанию, с другой стороны, производственные единицы, заводы, фабрики, копи, мельницы, пути сообщения, фермы, рыбные промысла, потребительный инвентарь городов, запасы сырья и полуфабрикатов на складах и т. д. остались если не совсем в целости, то не слишком разрушенными,—таким образом, что коэффициент их разрушения не влечет за собой соответствующего вынужденного понижения производительности труда, поскольку эта последняя зависит от деградации транспорта, несвоевременной подачи сырья, топлива и полуфабрикатов, общей дезорганизованности производственного и управляемого аппарата, дефектов планировки и калькуляции и т. д. Предположим также, что нет на-лицо и тех факторов идеологического порядка, которые понижают интенсивность труда и сокращают длину рабочего дня и приводят к дезорганизации людского аппарата. Словом, мы предполагаем, что гражданская война была не длительной и не разрушительной и что она явилась только сопротивлением незначительного и идейно деморализованного меньшинства огромному, убежденному и скованному общностью преследуемой цели большинства. И что меньшинство не опиралось при этом на поддержку извне. Целый ряд допущений, отнюдь не реалистического порядка, но сделаем их все же для того, чтобы лучше изолировать значение того фактора, который является не менее важным для исхода революции, чем сила классового сопротивления буржуазии, индустриализация масс и их политическое и культурное развитие.

Мы могли допустить, что история снабдила все эти факторы знаком плюс, но та же история не позволяет нам даже в порядке допущения, даже аргументации ради,—for the sake of argument!—снабдить положительным знаком и момент внешних экономических связей. Ибо, как бы хорошо ни сохранилась материально-техническая основа общества, „его вещевой" аппарат[1]), его машины, рельсы, паровозы, корабли, конторы, статистические бюро и т. д. и т. д., как бы мало ни был дезорганизован его „людской аппарат"[2]), факты экономико-географического порядка остаются на-лицо: без подвоза сырья не будут работать и наилучше сохранившиеся фабрики и заводы, без подвоза продовольствия понизится работоспособность даже и самых стойких, революционных пролетариев. При невозможности вывоза готовых фабрикатов поневоле остановится ряд отраслей производства. Избыток тканей или машин отнюдь не компенсирует английского труженика за отсутствием хлеба и мяса; обилие приготовленных для вывоза сельско-хозяйственных орудий на его складах не увеличит посевной площади на его туманной родине, а уголь, не вывезенный во Францию, не увеличит его потребности в топливе.

Итак, для того, чтобы избежать паралича производства, являющегося результатом разрыва экономических связей, надо сделать еще одно альтернативное допущение: либо 1) что ни одна из стран, находящихся в экономической связи с Англией и сохранивших капиталистический уклад, не захочет ее блокировать,—либо 2) что Англия быстро приспособится к создавшемуся положению и создаст на своих собственных островах свою собственную замкнутую, самодовлеющую систему связей, восстановит земледелие, переместит фабричные центры и т. д. Против второго допущения вопиют и география, и экономика, и логика. Оно явно нереально. Что же касается до первого, то в ранний период революции, оно, конечно, тоже нереально. Страны, конкурирующие

¹) Термины Н. И. Бухарина.
²) Idem.

с Англией, не преминут использовать ее переворот и разовьют колоссальную политическую деятельность для захвата еще не отбитых у нее рынков. Блокада в области снабжения снова будет пущена в ход, как средство политической борьбы. И в первый период революции дезорганизация обмена и разрыв экономических связей совершенно неизбежны со всеми их неизбежными же последствиями для состояния производительных сил. Одно следует сказать: деградация производства в стране развитого капитализма, в стране, хотя и утратившей свою промышленную гегемонию, но во всяком случае державшей ее достаточно долго, чтобы сохранить развитую технику, не может зайти так далеко, как она зашла в технически мало развитой крестьянской России. Не последнюю роль будет играть тут, конечно, и размер территории, и роль внутренних экономических связей в связи с размером территории. Но при абсолютной разнице в размерах деградации ее относительное значение будет всегда вполне определенной и явной величиной и даст себя чувствовать вполне определенно в тот первый момент революции, когда задушение ее будет еще считаться возможным. И допущение, что благодаря условиям социального развития Англии ее вещественный (материально-технический) аппарат не разрушится, а дезорганизация людского аппарата будет не велика (благодаря численному преобладанию пролетариата), отнюдь не исключает другого допущения, что попытка блокировать снабжение Англии и отнять оставшиеся ей рынки, приведет к временной остановке работ на копях и заводах, подорвет нормальное продовольствование трудящихся и снабжение предприятий сырьем, истощит скопленные запасы сырья и полуфабрикатов, заставит отдать не мало сил на организацию обороны революции, приведет к упадку и разрушению некоторого количества орудий производства, отразится несомненно и на состоянии угольных копей и транспорта, понизит как производительность, так и интенсивность труда. И это при допущении, что внутреннее сопротивление будет незначительно и что система идеологических связей легко поддастся трансформации. Это, однако, допущение весьма условное и в той же мере, в какой оно не оправдается жизнью, увеличится и степень разрухи в производстве, ибо на нее будет влиять и добавочный фактор разрыва идеологических связей.

Карта морских путей, соединяющих производство и снабжение Англии со всем остальным миром, покажет нам итоги разрыва ее экономических связей.

Пароходы, которые спустят свои паруса и перестанут перевозить товары, сделаются свидетелями этого разрыва. Заводы и снабженческие склады, работа которых была исходным или, наоборот, конечным пунктом движения пароходов, сделаются его жертвой. Люди и машины, не получающие нормального питания, понизят свою производительность, а это даст разрухе новый толчок, прогрессивно повышая ее показатель.

Нет никакого сомнения, что это было бы только в р е м е н н о е явление и что, если бы социальная революция действительно могла иметь место в Англии раньше чем в Германии, в Соединенных Штатах и т. д., то п р е д в и д е н ь е э т о г о я в л е н и я н е д о л ж н о б ы л о б ы о с т а н а в л и в а т ь а н г л и й с к и х р а б о ч и х и замедлять их революционную борьбу хотя бы на один час. Ибо ценой в р е м е н н о й деградации, ее производительных сил, Англия — или всякая иная страна — первая, начавшая у себя социальную революцию, подвинула бы вперед и дело мировой революции. Мировое хозяйство и система мировых хозяйственных связей оказались бы сильнее полемики

и блокирующие вынуждены были бы сдать свои позиции через некоторое время.

Никакая крупная хозяйственная единица не может быть вычеркнута при теперешнем развитии хозяйства из системы мировых экономических связей. И опустившие было свои паруса пароходы, которыми овладел английский пролетариат, снова подымут их через некоторое время, горделиво расправив их, как знамя его победы.

Переместятся лишь некоторые элементы в этой системе связей произойдут некоторые приспособления и перемещения в самом производственном аппарате страны и, конечно, английские рабочие массы перенесут много лишений, но это будет недорогая цена за новый толчок революции вперед и за сокращение рамок капиталистического мира.

Мы рассмотрели случай выступления на путь мировой революции именно Англии, а не иной какой-нибудь страны, по той простой причине, что пример Англии фигурирует в статье тов. Не-Ревизиониста, но, разумеется, та же аргументация могла бы быть развита и для всякой другой страны.

Но вернемся, однако, к России. В Англии наиболее ярким и выпуклым моментом является именно момент внешних экономических связей.

При сравнительно небольшой территории, плотности населения и железнодорожной сети и слабой роли сельского хозяйства, там нет резкой хозяйственной обособленности между отдельными областями страны. Есть, конечно, и линии внутреннего товарного тяготения и довольно резко выделенные районы, как угольные, текстильные, рыбацкие, земледельческие и т. д., но все же система внутренних связей отступает по своей роли пред системой внешних связей и линии международного товарного тяготения поглощают линии внутреннего обмена. Например, в России легче, наоборот, изучить большую роль системы внутренних экономических связей, тем более, что революция и гражданская война уже имели место у нас, и некоторые подсчеты величины издержек революции уже были сделаны.

Я говорю о работах комиссии С. Т. О., долженствовавшей исчислить „ущерб, нанесенный русскому народному хозяйству гражданской войной, блокадой и нападением на нас империалистических стран", работавшей летом 1920 года под председательством В. Г. Громана и произведшей ряд работ по исчислению тех издержек русской революции, счет по которым следует предъявить Антанте. В качестве сотрудницы этой комиссии автору этих строк пришлось собрать через посредство Наркомпрода довольно значительный — хотя к сожалению, в виду краткости срока, отнюдь не исчерпывающий — материал о положении продовольственного снабжения во время гражданской войны и блокады.

Обработка этого материала [1]) привела к некоторым любопытным выводам и дала почти наглядную картину движения „костлявой руки голода", протянутой с окраин России к ее промышленным центрам для удушения их революционных рабочих. Путь этой костлявой руки шел по линиям разрыва экономических связей, как внутренних, так конечно, и внешних.

Россия с ее огромной территорией, малой и весьма варьирующей от области к области плотностью населения и путей сообщения, с

[1]) Доклад этой комиссии С.Т.О. должен быть напечатан в одном из ближайших номеров «Народного Хозяйства» под заглавием «Война, блокада и продовольствие».

разнообразием культур, сельскохозяйственных и сырьевых, и резко выраженными хозяйственными районами, дает картину ярко намеченных линий внутреннего товарного тяготения.

Искажение или поломка этих линий приводит, конечно, к дезорганизации всего материально-технического аппарата страны.

Во время гражданской войны и блокады разрыв связей идет в двух направлениях: длительный разрыв связи с отрезанными областями, и краткосрочный разрыв связи с областями, переходившими несколько раз из рук в руки и бывшими все время ареной военных действий.

Области длительного разрыва связи, это—области, далеко отстоящие (Сибирь, Кавказ, Украйна). Области кратковременного разрыва связи, это—области, непосредственно прилегающие к советской России: Урал, Поволожье и Центрально-Земледельческий район. Первые области являются в деле снабжения продовольствием вообще, а хлебом в частности, областями максимальной вывозоспособности. Вторые по вывозности играют меньшую роль.

Однако, в условиях военной действительности, при длительной отторгнутости областей максимальной вывозоспособности и нарушении правильного функционирования транспорта, вся тяжесть снабжения промышленных областей Центральной России ложится на области, ближайшие к центру. Заготовительная деятельность продовольственных органов сосредоточивается преимущественно там и даже краткосрочный разрыв связи с этими областями несет с собой каждый раз угрозу голодной смерти населению промышленных центров России.

Таким образом, война и блокада сначала отторгают от Центральной России ее основные снабженческие области, а затем, все сжимая и сжимая кольцо, прорываются через близлежащие области, пытаясь покрыть и их тянущейся к центру костлявой рукой голода и лишая ее фабрики и заводы топлива и сырья.

Карта военных действий—во время гражданской войны и блокады 1918—1919 г.г.—является в то же время и картой голодной блокады России, отмечающей путь голода и разрухи, посылаемых на борьбу с очагами революции, и в то же время и путь разрушения производительных сил.

От промышленных центров России отторгнуты продовольствие, топливо и сырье: хлеб, уголь, нефть, железо, сталь, хлопок.

Происходящий здесь разрыв связи между ввозящими и вывозящими районами лишает первые необходимейших элементов производства и обрекает их рабочую силу на голод, вымирание и распыление, их машины и станки на ржавение и порчу. В ввозных же областях происходило разрушение целого ряда культур, гибель и нерациональное использование продовольственных и сырьевых избытков, с одной стороны, грабеж и бессмысленное расхищение—с другой.

В то же время отсутствие обмена создает исключительные возможности для скопления в руках предпринимателей спекулятивного фонда продуктов, который даже по окончании войны продолжает давить на рынок и вносит дезорганизующее влияние на государственные операции снабжения.

Кроме того, не получая необходимых промышленных продуктов из городов центра, крестьянство снабжающих областей использовывает имеющееся у него промышленное сырье — кожу, шерсть, лен, пеньку и т. д. — для развития всевозможных кустарных промыслов, отягивающих из городов рабочие руки и дезорганизующих промышленную работу.

Таким образом, неизбежный при революции и гражданской войне разрыв системы экономических связей есть сам по себе фактор дезорганизующий производство и разрушающий производительные силы. Война с Деникиным была, в самом подлинном смысле этого слова, борьбой за уголь и железо. В то же время для России и ее промышленности играло, конечно, громадную роль и закрытие границы и отсутствие внешнего обмена.

Когда зимой 1920—21 года работа на угольных копях Донбаса агонизировала из-за разрушения оборудования копей и когда английские машиностроительные заводы закрывались один за другим, увеличивая кадры безработных, а правительство Ллойд-Джорджа затягивало, как только могло, снятие блокады, то требование английских рабочих о восстановлении торговых сношений с Россией было не только общим политическим выражением международной пролетарской солидарности: история вложила в него ясный, непосредственный, конкретный смысл и тесно слила во-едино насущнейшие интересы рабочего класса с развитием производительных сил, точнее с остановкой их регресса. Это лишь единичный пример, но его легко обобщить и увеличить даже без специального исследования, исходя только из повседневного жизненного опыта.

Конечно, если в Англии целый ряд исторических предпосылок, о которых мы говорили выше, может понизить до минимума разрушение материально-технического аппарата и людского, то в России ряд исторических же факторов действовал в обратном направлении: слабое развитие производительных сил, численное преобладание мелкобуржуазных элементов, огромное сопротивление, развитое буржуазией и поддерживаемое извне, дезорганизация „людского аппарата“ (саботаж интеллигенции), некультурность масс, безграмотность, отсутствие производственного сознания у многих слоев рабочего класса и т. д.

Поэтому, независимо от разрыва экономических связей и влияния его на дезорганизацию обмена, распад материально-технического аппарата был ужасающе велик.

Ведь для Англии мы оперировали гипотетическими условиями, а в России мы видели их воочию во всей их разрушительной конкретности. В материалах той же комиссии Громана, в не совсем еще конченных на-спех произведенных подсчетах [1]), мы находим огромное количество документальных материалов о степени этого разрушения. Горящие склады, разграбленные обозы, разрушенные машины, фабричные здания, холодильники, зернохранилища, рыбные промыслы, их снаряжение и их флот, замершие паровозы, взорванные суда, мосты и рельсы, бессмысленно уничтоженные средства хранения тары и подвоза, сгнившие за невывозом запасы продуктов, незасеянные поля, порезанный племенной скот—какое огромное количество погибших часов труда, выкристаллизованных во всех этих элементах материально-технического аппарата!

Прибавьте к ним еще 3 итога:

1) непроизводительно затраченные средства на содержание армии,

2) погибшая рабочая сила и

3) разрыв экономических связей внешних и внутренних — и вы получите итог разрушения производительных сил.

Является ли он „имманентным законом революции“?

Для революции гипотетической, воображаемой, поставленной в какие-то искусственные нереальные рамки, может быть и нет, но для

[1]) Комиссия работала всего 5 месяцев.

революции подлинной, конкретной, имеющей место не в лаборатории, а в жизни, и в современном классовом обществе, конечно да.

Революция, начатая для повышения кривой народного благосостояния, первоначально понижает ее, делая характерный изгиб параболы, которую мы начали исчислять с отрицательных значений x, а потом перешли к положительным, по своим абсолютным значениям далеко превышающим отрицательные и стремящимся к бесконечности.

И несмотря на все это разрушение, дезорганизацию и разрыв — на все эти огромные издержки революции, плюс все же перевешивает минус, ибо ценой всех этих издержек, мы прокладываем путь к созданию вне-классового общества, к эпохе диктатуры научного предвидения, к созданию такого пластического социального организма, который может безболезненно трансформировать формы своего производства и систему своих экономических и идеологических связей в вечном стремлении к совершенству.

И если даже конечное достижение далеко еще от нас, русский пролетариат может все же с гордостью сказать себе, что ценой издержек революции он прокладывает путь к ближайшим высшим организационным формам общественного бытия.

М. Смит.

Буржуазный юрист о природе государства.

Тулузский профессор М. Ориу с полным основанием считается одним из светил не только французской, но и европейской юриспруденции. Его работы интересны как попытка вывести науку государственного права из дебрей схоластических определений и безжизненных абстракций, куда ее завлекли представители формального юридического метода. В своем капитальном труде „Принципы публичного права"[1]) Ориу отказывается класть в основу своего анализа чисто юридическую конструкцию государства, как единого субъекта властвования, и исходит из гораздо более плодотворного и притом скорее социологического, чем юридического принципа „равновесия" и „порядка в движении". Не имея возможности в настоящей заметке заниматься разбором чисто юридических теорий г. Ориу,—это, к тому же, завело бы нас в область, интересную лишь для специалистов, мы хотим познакомить читателей „Красной Нови" с мыслями буржуазного профессора-юриста по самому злободневному, можно сказать даже жгучему, вопросу современности,—по вопросу о судьбах капиталистического общества и капиталистического государства. Уже один тот факт, что из сочинения по государственному праву можно почерпнуть кое-что на сказанную тему, выгодно отличает г. Ориу от государствоведов типа Лабанда, предпочитающих иметь дело не с реальными явлениями, а с отвлеченными нормами.

Вынужденный самим своим методом постоянно обращаться к реальному содержанию того, что именуется государством, т.-е. к движению образующих его общественных сил, Ориу невольно делает выводы, поразительно близкие к теории исторического материализма. Следуя формуле, данной еще Сен-Симоном, г. Ориу рассматривает государство как организацию, призванную защищать сложившиеся в ее недрах социальные отношения и в первую очередь отношения собственности. „Не будет преувеличением сказать,—заявляет Ориу,—что вся государственная машина конструирована только для реализации гражданского порядка (ordre civil)"[2]). Конечно, не в этой мысли, к тому же не новой—главный интерес книги г. Ориу, а в том, какое содержание вкладывает он в понятие гражданского порядка. Здесь наш профессор обнаруживает себя как откровенный и последователь-

[1]) M. Hauriou. Principes de droit public, 1910 г. Книга эта, насколько нам известно, еще в 1919 г. переведена Государственным Издательством, но до сих пор, к сожалению, не появилась в печати.

[2]) Principes etc., p. 303.

ный защитник буржуазного индивидуализма и как ярый враг рабочего класса. Его работа лучше всего способна рассеять тот предрассудок, который особенно старались поселить в умах катедер-социалисты и соглашатели всяких оттенков, а именно, что буржуазный индивидуализм давным давно изжит и сдан в архив современной наукой. Воззрения г. Ориу лучшее доказательство того, что идеология, для которой, по выражению Маркса, „различные формы общественных связей выступают по отношению к отдельной личности просто как средства для ее частных целей", отнюдь не исчерпала всех своих возможностей. Она лишь окончательно освободилась от всяких покровов метафизики и полностью раскрыла свою буржуазно-капиталистическую природу. Г. Ориу, выступая, как апологет буржуазного общества, не стесняется называть вещи своими именами. Он прямо и смело признает классовый и капиталистический характер современного государства и отожествляет гарантируемую им свободу со свободой распоряжаться собственностью. Он открыто делает вывод, что личность, которая на деле пользуется всеми благами современной государственности, это личность капиталистического собственника. Такая откровенность, несомненно, делает честь г. Ориу, для нас же, марксистов, отстаивающих взгляд на государство, как на орудие классового господства, эти признания в особенности интересны.

И надо признаться в нашу эпоху классовой борьбы не на жизнь, а на смерть г. Ориу с его старомодным индивидуализмом оказывается гораздо более современным, чем все кисло-сладкие катедер-социалисты и социал-реформаторы, трубившие некогда о притуплении классовых противоречий и о врастании в социализм.

Однако ознакомимся детальнее с представлениями г. Ориу о современном, т.-е. буржуазном, обществе и государстве.

Мы уже сказали, что главное, если не единственное, предназначение современного государства заключается, по мнению г. Ориу, в том, чтобы представлять возможность „беспрепятственного извлечения выгод из собственности" (fair-valoir d'une propriéte). Г. Ориу с чувством цитирует Фукидида, который определял государство, как такое общество, где каждому отдельному гражданину не приходится носить оружие, где безопасность обеспечена общественным союзом и где каждый может заниматься своим делом. Однако, мы весьма ошиблись бы, предположив, что г. Ориу отожествляет в дальнейшем эту возможность вести жизнь частного человека с мелко-буржуазным идеалом мирного домашнего очага. Наш ученый юрист слишком серьезен, чтобы придавать значение сантиментальностям, и достаточно современный человек, чтобы выдвигать семью, как основной устой гражданского порядка. „Брак,—говорит г. Ориу,—сопровождается заключением брачного контракта и слишком часто играет подчиненную роль по отношению к последнему; главным юридическим последствием отцовства является право наследования, которое есть не что иное, как наследование имущества"... и далее „по мере того, как государство берет на себя воспитание детей и женщина эмансипируется от власти мужа, в семейных отношениях не остается ничего, кроме их сантиментальной стороны, которой право не интересуется, и имущественных отношений"[1]). Итак, именно собственность, а не семья является основой буржуазного общества[2]).

---

[1]) Цитир. сочин., стр. 311.

[2]) „Гражданская жизнь есть по существу наслаждение приобретенным богатством" (цитиров. соч., стр. 307).

Быть сопричастным гражданскому порядку это не значит иметь жену и детей, а значит прежде всего иметь собственность. Старательно изгоняя всякую тень мелко-буржуазного сантиментализма г. Ориу не останавливается на этом. Он с самого начала отгораживается от мещански слащавых попыток гармонически сочетать собственность и труд. Он берет собственность в ее капиталистическом аспекте, как титул нетрудового дохода. Мы находим у него, и притом в весьма отчетливой формулировке, ту истину, которая давно стала общим местом экономической теории марксизма. Производительное применение капитала—это для капиталиста лишь неизбежное зло при извлечении прибавочной стоимости. Собственность—это благо не потому, что ей можно дать производительное применение, но потому, что она избавляет своего хозяина от труда.

„Собственник участка земли имеет действительное благо не только потому, что он сам может обрабатывать свое поле и собирать урожай, но еще и, главным образом, потому, что он может предоставить возделывание этого поля колону или фермеру, не прикасаясь к нему сам“ [1]). Возможность непосредственно осуществлять свою власть над вещами, это, по мнению Ориу, наименьшее из тех благ, которые обеспечиваются государством. Оно отступает на задний план перед возможностью сохранять абстрактный титул собственника и оставлять за собой все будущие возможности, все те разнообразные комбинации, в силу которых „вещи сами работают для собственника“ [2]). Прибыль промышленника и простого коммерсанта, это, так сказать, низший и более грубый сорт прибыли по сравнению с той, которая получается от финансовых комбинаций и спекулятивных расчетов. В этом случае г. Ориу довольно верно отражает в своих воззрениях общие тенденции развития мирового капитализма в его последней фазе. Однако мы можем отметить здесь и национальную черточку. Когда г. Ориу говорит о стремлении каждого капиталиста к известному моменту жизни удалиться от дел и ограничить свою активность свободным потреблением нетрудового дохода и восклицает „одним словом истинное благо это рента, получаемая без всяких усилий с земли или с денежного капитала“ [3]), то мы видим перед собой не буржуа вообще, но французского рантье, типичного представителя вырождающегося, насквозь паразитического капитализма ростовщиков.

Но если основное и высшее благо, которое гарантируется современным государством, заключается в возможности жить не трудясь, то очевидно это государство может существовать только при наличности класса, участие которого в „гражданском порядке“ заключается в обязанности трудиться [4]). Г. Ориу, не обинуясь, признает факт существования этого класса, обреченного на труд и, следовательно, не извлекающего никаких выгод из „свобод и гарантий“ современного государства. Он не делает никакой попытки затушевать действительность и как-нибудь прикрыть классовую сущность современного правопорядка. Конечно, в потенции каждому предоставляется возможность пользоваться благами гражданской жизни. Этим современный строй отличается от рабства или крепостного права. Там обязанность труда вытекала из юридического положения лица, входила в его статус; те-

[1]) Цитиров. сочин., стр. 313.

[2]) „Истинные блага—это права на вещи, которые позволяют комбинации, приводящие к тому, что вещи сами работают для собственника“, (Цитиров. соч., стр. 314).

[3]) Цитир. соч., стр. 314.

[4]) „Класс, стоящий ниже среднего класса, образует мир труда, потому что он участвует в гражданском порядке своей обязанностью трудиться“. (Цит. соч., стр. 328).

перь она вытекает из фактического положения вещей. Там труд de jure изгонялся из гражданского общества, здесь он de facto остается за его пределами. Этим и ограничивается разница, но как раньше, так и теперь „общества организованы таким образом, чтобы тяжкий труд ложился на плечи одного обреченного в жертву класса, а выгоды предоставлялись другому привилегированному классу“ [1]).

Итак, г. Ориу вынужден констатировать полярную противоположность труда и капитала или, как он выражается, жизни рабочих и жизни гражданского общества. Однако, сознавая кроющуюся в этом противоставлении опасность, он немедленно вносит одну поправку. Не всякий труд ставит человека, его выполняющего, в положение резкой оппозиции к существующему порядку вещей, но только такой, в котором совершенно отсутствует элемент предпринимательства, извлечения выгод из собственности. „Труд,—рассуждает г. Ориу,—может быть тягостным в двояком смысле—в объективном и в субъективном. В объективном, когда он требует физических усилий и связан с физическим же риском; в субъективном,—будь то труд физический или интеллектуальный,—когда он не соединен с извлечением выгод из собственности“). Поэтому, заключает Ориу, сельско-хозяйственные работы, даже самые тягостные, успешней и с большей охотой выполняются крестьянином собственником, фермером и даже колоном, чем наемным батраком, который совершенно исключен из пользования выгодами собственности. Работы в шахтах тягостны и неприятны сами по себе, кроме того они исполняются наемными рабочими, которые ни в каком отношении не могут считаться участниками этого специального вида собственности. Здесь соединяются обе причины к тому, чтобы сделать эту категорию рабочих наиболее недовольными из всех остальных. „Таким образом,—рассуждает далее г. Ориу,—заработная плата, как бы высока она ни была, не уничтожает тягостного характера труда; наоборот, чувство извлечения выгод из собственности, соединенное с трудом, имеет тенденцию устранять тягостный характер последнего“ [3]).

Смысл этих рассуждений совершенно ясен. Небольшая кучка эксплоататоров может удерживать свою власть над миллионами пролетариев только потому, что ее поддерживают ослепленные мелкособственническими иллюзиями промежуточные социальные слои. Для Франции, где мелкая буржуазия преобладает, эта ее роль выступает особенно рельефно. Здесь мы снова можем отметить совпадение выводов г. Ориу с тем классовым анализом, который всегда делали революционные марксисты. Разница только в том, что г. Ориу подходит к анализируемому явлению с точки зрения интересов противоположного, т.-е. капиталистического лагеря. Для него оно ценно, потому что ослабляет позиции пролетариата. Поэтому г. Ориу с удовлетворением отыскивает среди трудящихся те слои, которые по „субъективным“ причинам остаются на стороне гражданского, т.-е. буржуазного, порядка. Это, во-первых, мелкие собственники—крестьяне, арендаторы, батраки, владеющие парцеллами, а во-вторых, привилегированные слои служащих чиновников и небольшая группа рабочей аристократии, сравнительно обеспеченное положение которых и возможность располагать своими знаниями и выучкой делает их quasi-собственниками. М. Ориу не только верно очертил этот проме-

[1]) Цитир. соч., стр. 314.
[2]) Цитир. соч., стр. 539.
[3]) Цитир. соч.

жуточный слой между буржуазией и пролетариатом, но и верно охарактеризовал его социальную функцию буфера, предохраняющего буржуазию от слишком резких толчков со стороны пролетариата и в то же время проводника развращающих буржуазных влияний в среду последнего. Но об этом в дальнейшем. Здесь достаточно отметить, что г. Ориу прекрасно понимает разницу, которую обычно так старательно затушевывают,—а именно, между капиталистической собственностью, обеспечивающей возможность жить не трудясь, и мелкой собственностью, означающей непрерывный каторжный труд, соединенный с полной неспособностью сознать свое рабское положение

Итак, внеся вышеуказанные поправки, г. Ориу разъясняет нам, „что категорией трудящихся, действительно стоящей вне гражданской жизни и образующей обособленный класс (une classe à part), является категория наемных рабочих, труд которых рассматривается, как предмет купли и продажи, и которые в обмен получают голую поденную плату без какого бы то ни было права на занимаемое место. Это те, кто носит имя пролетариев“ [1]). Именно в этой связи ставит г. Ориу вопрос о рабочем законодательстве и социальной политике, как средствах примирить пролетариат с существующим строем. Ограничение свободы предпринимателя в отношении к рабочему Ориу приветствует лишь потому, что ему кажется, будто обеспеченный таким образом наемный раб перестает быть бездомным пролетарием и становится quasi-собственником, собственником гарантированного от всяких случайностей дохода—а, следовательно, перестает быть непримиримым врагом капиталистического строя. Конечно, г. Ориу отнюдь не ждет от социальных реформ уничтожения классовых противоречий. Мысль, будто капиталистический предприниматель путем последовательно проводимых ограничений свободы договора может быть превращен в должностное лицо на службе общества, кажется ему нелепой. Класс, владеющий собственностью, всегда будет классом правящим [2]), это для Ориу является аксиомой. С другой стороны он прекрасно понимает, что обеспеченность положения и заработка, суррогатов собственности, которыми, по его мнению, социальное законодательство наделяет рабочего, отнюдь не ставит его на одну доску с капиталистом. Обязанность каждодневного труда, связанная с этой „собственностью“, слишком мало походит на возможность паразитического существования. Но если социальная политика не в силах перебросить моста через пропасть, разделяющую труд и капитал, то как быть, если рабочий класс, сознав свою обособленность, организуется в самостоятельную силу с целью положить конец такому порядку вещей, при котором труд громадного большинства идет на пользу горсточке паразитов? Здесь мы подходим к самому интересному месту книги г. Ориу: к его рассуждениям на тему о пролетарской революции.

Г. Ориу, конечно, считает обобществление орудий и средств производства детским решением социального вопроса. Хотя он и не отрицает, как мы это уже видали, что блага капиталистической собственности только формально и в потенции обеспечиваются каждому, а на деле составляют монополию небольшой кучки, но это неудобство, по его мнению, не компрометирует режим современного государства Ибо подавление капитала, а тем самым частной собственности и всего механизма обмена и переход к организованному коллективному хозяйству означал бы, по мнению Ориу, нечто еще горшее. В социалисти-

[1]) Цитир. соч., стр. 340.
[2]) Цитир. соч., стр. 343.

ческом обществе исчезла бы категория виртуального, которая составляет силу современного государственного режима и поддерживает изобилие экономического производства. Переведя это на обычный язык, мы должны будем сделать вывод, что г. Ориу отрицает за социалистическим обществом всякую способность подниматься над нуждами дня и заглядывать в будущее. Предвидение, расчет, изобретательность и предприимчивость—все эти свойства г. Ориу считает исключительной и неотъемлемой чертой капиталистической спекуляции. Лишенное их социалистическое общество будет, по его мнению, обречено на бессилие, жалкое „прозябание в актуальном" и бездеятельную рутину. Далее выступают знакомые пророчества о неизбежном падении производительности труда вследствие отсутствия интереса собственника, ужасы бюрократизма, подавления свободы личных вкусов и привычек в области еды, одежды и т. д. (подумаешь какой простор предоставляет трудящимся в этом отношении буржуазное общество!) и, наконец, невозможность уравнивания выгодных и невыгодных шансов вследствие централизации хозяйства. Г. Ориу очевидно понимает централизацию как полное уничтожение самостоятельных в производственно-техническом отношении единиц, что, конечно, является нелепостью. Впрочем, нарисовав эти картины г. Ориу отнюдь не считает вопрос решенным. Он ни на минуту не забывает, что в недрах буржуазного общества существует чужеродное и принципиально ему враждебное тело, т.-е. класс пролетариев, и что в этом-то корень всей проблемы. Он прекрасно понимает, что вопрос социалистической революции решается не академическими спорами, а реальным соотношением сил двух борющихся классов. Именно в эту плоскость и ставит его г. Ориу, переходя к рассмотрению принципов и задач всеобщей конфедерации труда [1]. Характерен уже самый подход.

„Рабочий класс,—говорит г. Ориу,—развил в синдикальной организации дополнительную силу, которой нехватает классу собственников. Эта сила дает теоретикам надежду на изменение положения вещей, на уничтожение буржуазии и возвышение на ее место рабочего класса. Не следует поднимать чрезмерной тревоги по поводу этого движения, но и не следует относиться к нему с презрением, о нем нужно судить холодным разумом".

Характерно, что возможность мирного осуществления социализма через буржуазный парламент путем завоевания в нем большинства совершенно игнорируется г. Ориу. Он слишком трезвый мыслитель и слишком хорошо изучил механизм буржуазного государства, чтобы создавать себе по этому поводу лишнее беспокойство. Ему кажется нелепой мысль изменить экономическую сущность буржуазного общества с помощью им же самим созданной государственной машины. Весь строй современного государства покоится на индивидуальной собственности, свободе договора и обмена. Уничтожьте рынок, восклицает он, и вы уничтожите режим государства с его свободами и его гарантиями. Ориу смеется над теми из своих коллег, которые обсуждают вопрос о национализации средств производства, как-будто бы это есть исключительно экономическая проблема и затрагивает исключительно институт собственности. Ориу находит гораздо более дальновидным тех социалистов, которые хотят разрушить государство и

[1]) Французскую социалистическую партию г. Ориу оставляет совершенно в стороне, рассматривая ее как составную часть парламентского механизма и, следовательно, как организацию, не заключающую в себе никакой опасности для буржуазного общества.

заменить его организованным коллективом с дисциплиной, проникающей в самые детали жизни и лишенной всякого противовеса.

Ориу, как видим, очень удачно противопоставляет „свободы и гарантии“ современного государства, которыми для буржуазии обеспечивается возможность эксплоатации и паразитизма, режиму пролетарской диктатуры, с железной трудовой дисциплиной, как единственному способу осуществления социализма. Для тех, кто хочет одновременно бороться за социализм и против трудовой дисциплины, за освобождение пролетариата и против его диктатуры, небесполезно будет узнать, что их выпады против „нового крепостного права“ не прибавляют ничего нового к той аргументации, которую выдвинул наш буржуазный юрист против социализма.

Г. Ориу прекрасно понимает, что взвесить силы двух борющихся классов далеко не то же самое, что подсчитать шансы избирательной кампании. Вообще его точка зрения на процедуру всеобщего голосования настолько определенна, что ее не мешало бы усвоить многим людям, до сих пор по недоразумению мнящим себя социалистами. Режим конституционного государства базируется, по мнению Ориу, на толпе [1]), т.-е. на распыленной массе избирателей, которая „настолько же представляет из себя социальную организацию, насколько ее представляют пассажиры какого-либо парохода, в данный момент оказавшиеся на борту“. При этом рядовой избиратель представляет из себя, по выражению Ориу, амфибию, большую часть времени проводящую в волнах частной жизни и лишь изредка поднимающуюся в атмосферу общественной, политической жизни. Неудивительно поэтому, что избирательную процедуру Ориу сравнивает с лотереей, в которую, добавим мы от себя, в которую буржуазные партии в их целом могут спокойно играть, не опасаясь проигрыша [2]).

В своем учете реальных сил пролетарской революции Ориу имеет в виду, главным образом, опыт французского рабочего движения и притом в его синдикалистской форме. Интересно отметить, что политические партии г. Ориу отказывается рассматривать как классовые организации. Это, по его мнению, объединения, построенные по типу „толпы“, так как в рядах одной и той же партии могут встречаться самые различные социальные элементы, связанные лишь общностью взглядов, мнений и желания достичь власти. Непосредственную, т.-е. классовую, угрозу буржуазному обществу в целом он усматривает в синдикатах. Синдикалисты интересуют г. Ориу в первую очередь, потому что они хотят организовать пролетариат как силу, стоящую вне современного государства. Их метод, т.-е. метод стачки, г. Ориу считает равносильным методу открытой войны. Вообще наш профессор не согласен признать право стачек, как нечто вполне законное и нормальное в рамках буржуазной государственности. По его мнению, провозглашение свободы коалиций было просто-на-просто актом частичной капитуляции буржуазного общества перед пролетариатом, как силой, стоящей вне государства; это было равносильно признанию за рабочими права нарушения социального мира и объявления „малой гражданской войны“.

Хотя в этом случае г. Ориу явно пересаливает, пуская в ход такие страшные слова, как объявление войны и проч., по адресу всякой, хотя бы самой незначительной экономической забастовки, однако

---

[1]) „Очевидно, что вся конституционная организация современного государства есть режим, базирующийся на публике и, следовательно, на толпе“. (Цит. соч., стр. 324)

[2]) См. цитиров. соч., стр. 324 и след.

ему нельзя отказать в известной логичности. Если легальное насилие в рамках „современного“ государства может служить только классовым целям буржуазии, то стачка, которая является применением насилия в интересах пролетариата, очевидно в эти рамки уложена быть не может. Она постоянно силой вещей будет выпирать из существующего, т.-е. буржуазного, правопорядка, как нечто ему чуждое и таящее в себе угрозу гибели того самого общества, которое ее признало.

Посмотрим теперь, какие же факторы учитывает г. Ориу, взвешивая шансы труда и капитала в их решительном столкновении. Численности объединенных в синдикаты рабочих Ориу, разумеется, придает большое, но далеко не решающее значение. Гораздо более важным считает он то обстоятельство, насколько эти организации пропитаны непримиримостью по отношению к буржуазному обществу. И здесь г. Ориу позволяет себе большой оптимизм. Он утверждает, что о социальном перевороте в рядах французских синдикалистов мечтают собственно лишь группы фанатиков, что позитивный, т.-е. реформистский дух, представителями которого Ориу считает английские тред-юнионы и легиновские свободные профессиональные союзы в Германии, все более и более завоевывает себе почву во французском синдикальном движении. Он особенно подчеркивает при этом роль высоко квалифицированных слоев рабочих, так называемой рабочей аристократии, и с удовольствием констатирует, что многочисленный сельский пролетариат вовсе не примыкает к движению, потому что он гораздо более связан с гражданским, т.-е. буржуазным, порядком (вероятно, теми клочками земли, которые получают батраки для ведения „самостоятельного“ хозяйства)[1].

Таким образом г. Ориу приходит к утешительному выводу, что по настроению и сплоченности французские синдикаты не представляют собой грозной боевой силы. Самая возможность открытого выступления против капитала уменьшается, по мнению Ориу, благодаря улучшению экономического положения рабочих. Ориу кажется невероятным, чтобы массы последовали призыву кучки вождей поднять гражданскую войну в обществе, „погруженном в мир“. Это момент инерции, уравновешенности Ориу подчеркивает неоднократно, как залог устойчивости буржуазного строя. Мы напоминаем читателю, что книга писалась до мировой войны.

Чем далее углубляется г. Ориу в оценку шансов борьбы, тем более становится он оптимистичен. Французские синдикалисты уповают, как известно, на роль активного меньшинства и пророчат гибель буржуазному обществу именно потому, что оно погрязло в болоте мажоритарной системы. Ориу снисходительно поучает этих наивных людей. Напрасно думать, говорит он, что выборная процедура, практикуемая в современных государствах, передает власть в руки всех; „буржуазное общество имеет свою верхушку (elite)—избранное сознательное меньшинство, которое его ведет“. Мажоритарный режим имеет, по мнению Ориу, много всяких преимуществ, но вовсе не то, что через него народная масса непосредственно управляет государством.

Итак, главные гарантии буржуазного общества от социальной революции профессор Ориу видит, во-первых, в силе инерции, во-вторых, в том, что значительные группы среди самого пролетариата, не говоря уже о промежуточных мелко-буржуазных слоях, проникнуты духом примирения с капитализмом. Ну, а если, несмотря на это, революционный авангард рабочего класса все же рискнет на открытое

---

[1] См. цитир. соч., стр. 246—247.

выступление? Каковы будут его шансы? Г. Орну не только взвешивает возможность наступления гражданской войны, но и ее вероятный исход. Вот его расчеты. Г. Орну находит, во-первых, что, с гражданским, т.-е. буржуазным обществом связаны интересы большего числа людей, чем с обществом рабочих, что, во-вторых, гражданское общество располагает капиталами и **вооруженной силой** (курсив наш. Е. П.), что оно стоит в центре равновесий, которые под его руководством могут развить значительное сопротивление мятежникам, оно способно организоваться для этой специальной защиты, так как стачкам рабочих уже противопоставлен локаут предпринимателей"... и, наконец, восклицает он, „великая сила гражданского общества заключается в его основном соответствии психологии человека: привязанность к приобретенному богатству и приобретенному положению...

...Общественный порядок устанавливается согласно законам тяготения. Эти законы социального тяготения приводят к тому, что каждый, кто начинает владеть каким-либо благом, чувствует себя удовлетворенным"[1]).

Таков трезвый стратегический расчет; сильные и слабые позиции каждого класса учтены в нем с полной добросовестностью. Он, как мы видим, достаточно оптимистичен в пользу буржуазии. Г. Орну заметил в 1910 году только одну черную точку на горизонте—это растущую концентрацию капиталов, которая грозит нарушить столь любезное его сердцу равновесие и поставить в полную зависимость от мощного финансового капитала не только рабочих, но и так называемые „средние классы".

Теперь после мировой войны мы можем пересмотреть с полным удовлетворением все пункты, выдвинутые г. Орну. В 1910 году буржуазное общество казалось „погруженным в мир", теперь оно выбито из всех пазов войной и связанной с ней хозяйственной катастрофой. На смену внутреннему спокойствию и инертности— ожесточенная борьба классов, переходящая в открытую войну. Если раньше экономическое положение пролетариата частично улучшалось, то теперь оно падает. Если раньше часть пролетариата, отравленная мелко-собственническими иллюзиями, переходила в лагерь защитников капитализма, то теперь, наоборот, невыносимые экономические условия толкают к революционной борьбе даже такие промежуточные группы, как служащие и государственные чиновники. Если в 1910 году руководство борьбой рабочего класса принадлежало партиям 2-го Интернационала, пропитанного парламентским кретинизмом и соглашательством, а специально во Франции синдикалистам, у которых анархические и аполитические тенденции уживались рядом с реформизмом, то теперь во главе пролетарских штурмовых колонн стоит сплоченный и решительный авангард коммунистических партий и красных профессиональных союзов. И, наконец, самое существенное—рабочий класс не только знает, как делать революцию, но и имеет перед собой пример государства, где власть вырвана из рук капитала.

Мы можем быть довольны результатами этого сравнительного обзора и нам кажется, что 11 лет спустя после того, как вышла в свет книга Орну, буржуазию вряд ли приходится убеждать, чтобы она не относилась свысока к рабочему движению, так же, как вряд ли можно говорить о чрезмерности тех тревог и опасений, которое оно внушает.

В одной из своих речей т. Ленин заметил как-то, что искренних защитников капитализма можно найти теперь только среди наших

---

[1]) Цитир. соч., стр. 349. 350.

с.-р. и меньшевиков. На Западе они перевелись. Мы видим причину этого. Россия прошла ускоренный курс капитализма и потому наша интеллигенция bona fide может выступать в защиту возвышенных начал демократии и свободы, не чувствуя того, что она распинается за капитализм. Но для того, чтобы быть искренним защитником капитализма на Западе, где социальные отношения успели созреть и перезреть, надо искренне, как это делает Ориу, заявить, что принципы свободы, демократии, прав личности и проч. скрывают за собой лишь одно faire valoir de la propriété! А такое мужество не всякому дано.

Е. Пашуканис.

Русская литература в годы Октябрьской революции.

I.

Октябрьская революция представляет собою не только картину коренного хозяйственного переворота. Не только радикально ломаются все старые формы общественных отношений. Революция пробила широкую брешь в мире старых представлений, чувств и настроений, утвердившихся на почве буржуазного быта. Преобразуется не только материальный уклад жизни, но и самый строй души человека, перемещается его этический и эстетический кругозор.

Когда говорят о литературе эпохи революции, то невольно ждешь чего-то необычайно нового, совершенно непохожего на все литературное прошлое, как непохожи советские декреты на старое законодательство, или новые способы снабжения на вековые методы добывания необходимых предметов. В области идеологической атавистическое начало более могущественно, чем в сфере материальных отношений. Литературные и философские традиции дольше и упорнее властвуют над нами, чем традиции политические и экономические. И если мы наблюдаем в переходную эпоху сложные столкновения между старыми и новыми формами жизни, если те и другие причудливо переплетаются и создают небывалые положения, то еще более запутанными, пестрыми и сложными представляются сталкивающиеся идеи и художественные образы.

И тем не менее нетрудно проследить в литературе этого великого четырехлетия,—что в ней от революции, и что от косных сил прошлого.

II.

Революция развертывается под знаком коллективизма и материализма. Предреволюционная эпоха была поистине эпохой судорог индивидуализма и мистицизма. „Организованная общественность" была предметом презрения не только для русских, но и для величайших европейских поэтов в конце XIX и в начале XX века. Анархии в хозяйственной области вполне соответствовала анархия в области идеологической. Инициативная личность с ее безграничными притязаниями, с ее отважным риском, с тревогами, рожденными этим риском, и с болезненно-чуткой нервозностью, рожденной этими тревогами, — во всех своих проявлениях, во всех моментах своего бытия, в пестроте

и сложности своих переживаний, отражена в гениальнейших созданиях европейской и русской поэзии в эпоху смертельной болезни буржуазного общества.

„Сплоченное большинство“—предмет ненависти Ибсена. „Враг народа“—его идеал. Личность и общественность не только не примиримы, но и не соизмеримы между собой. „Что за беда разорить лживое общество? Его надо стереть с лица земли! Живущих во лжи надо истреблять как вредных животных. И если дойдет до того, то я от всего сердца скажу: да будет опустошена эта страна, да сгинет весь этот народ“ („Враг народа“). И не следует думать, что в глазах Ибсена, самого громогласного глашатая своего века, „лживое общество“ должно было уступить место какому-то другому правдивому обществу. Это—ненависть к общественности, как таковой. Это—культ личности, не знающей никаких ограничений, почти всегда гибнущей во имя одной цели,—утверждения своего „я“.

Одно у каждого есть достоянье,
Которым поступаться он не должен—
Святыня «я» его—его призванье.

Если бы какому-нибудь словеснику захотелось отыскать наиболее излюбленное слово эпохи безвременья, то таким словом несомненно оказалось бы „я“. На все лады прославляли поэты одиночество личности, противопоставляли ее человечеству, превозносили эгоизм, как свидетельство духовного аристократизма и не находили достаточно презрительных слов по адресу „толпы“, „массы“, „народа“ и других воплощений идеи коллектива. Бальмонт уверяет, что в этом мире все „тускло и мертво“. К счастью, поэт обретает выход. Оказывается, что среди этого тусклого мира „ярко себялюбье без зазренья“:

Людей родных мне далеко страданье.
Чужда мне вся земля с борьбой своей.
Я—облако, я—ветерка дыханье.

Брюсов в стихотворении „Три завета“ рекомендует „не жить настоящим“, „никому не сочувствовать“, „самого же себя полюбить беспредельно“. И он „чужд тревогам вселенной“. Люди, „живущие в впотьмах“, мучающиеся своими повседневными заботами, встречают только проклятье со стороны того же Бальмонта. Сологуб восклицает:

Быть с людьми—какое бремя!
О, зачем же надо с ними жить?

Душа Блока „зрит далекие миры“ и молчит, в то время как „кругом о злате и о хлебе народы шумные кричат“.

Уйти в себя, отыскать в пределах своей собственной автономной личности пути к обогащению души—таковы тенденции предреволюционной поэзии. Пути эти многоразличны, начиная с жажды разрушения и эстетизма и кончая утонченной эротикой, извращенными страстями и даже бредом и безумием. Спускаясь все ниже, эта тенденция доходит до сологубовских „Заложников жизни“, издевающихся над старой либеральной общественностью и над всякой принципиальностью во имя морали чистого наслаждения. И еще ниже, к арцыбашевскому „Санину“ и, наконец, к Вербицкой, которая окончательно вульгаризировала мещанские представления о свободе личности, вложив в уста героя „Ключей счастья“ сентенции, в свое время увлекавшие подростков: выше всего цените свои страсти, свои мечты, сегодня

бросайтесь в объятия к одному, завтра целуйте другого, в этом вся (!) правда жизни и т. д.

Было в этой поэзии, по крайней мере, в тоске и порывах ее наиболее тонких и глубоких представителей, нечто созвучное и нашей великой эпохе. Это—ненависть к мещанству, жажда сбросить с себя весь гнет буржуазного уклада, неопределенная тоска по идеалу, феерическая греза о личности, освобожденной для творчества, для благородного человеческого существования. Но чуждые тем классам, которые готовили действительную гибель старому миру, предреволюционные поэты не поняли революции. Истосковавшись в цепях буржуазной общественности, они с ужасом бежали от всякой организованности, и суровый дух революционной дисциплины предстал их воображению, как новые оковы. Только немногие из них смутно почувствовали сродство между грозными бурями революции и мятежными порывами, бушевавшими в их душах.

III.

Крайний индивидуализм, анархическое представление о свободе человеческой личности были лейтмотивом русской поэзии накануне революции. Этим представлением определяли поэты свое отношение к окружающему обществу. Мистицизм, другой основной элемент этой поэзии, окрашивал их отношение к мирозданию, их космические представления. Взоры русских писателей устремлены за пределы земли. они стучатся у железных врат небесного царства, они верят, что таинственные нити связуют их души с тем миром, где, по выражению Метерлинка, все „более значительно", все „довлеет себе". Там—источник и наших радостей и наших печалей. Человеку остается только погружаться в глубины своего собственного духа, потому что ему непосредственно открываются тайны нездешнего мира. Уйти от земного—значит приблизиться к небесному. Отрешиться от участия в строительстве общественных отношений это значит отдаться самому возвышенному, самому главному, единственному, что достойно истинно благородного человеческого существа, т.-е. созерцанию бесконечности.

Индивидуалистические тенденции уводили писателя в сторону от коллектива, от организационных стремлений. Мистика, с другой стороны, ослабляла чувство общественности и гражданского долга. Мистический строй души делает человека нечувствительным к скорбной драме нашего временного бытия. Таковы всегда преобладающие мотивы поэзии в эпоху великих кризисов, когда сотрясаются вековые формы общественных отношений, и связанное с ними мировоззрение, а новый класс не овладел еще всеми сторонами действительности и не утвердил своих представлений. Запредельный мир, созданный фантастикой предреволюционных поэтов, открывался им в самых разнообразных видах. Для Бальмонта его фантастический Бог—друг человечества. Он посылает ему дар освобождающей фантазии, исцеляющей мечты, он окружает его светлыми сновидениями.

Любите, смертные, меня,
Свою мечту боготворите,
Молитесь Митре в блеске дня,
И ночью пойте гимн Таните.
Зовите тысячью имен
Того, Кто сердце вам пробудит,
Благотворите светлый сон,
Который был и есть и будет.

„Тысячью имен" благословляет поэт мечтателей, возносящих молитвы гению божественного света. И злобным презрением дышит его муза к тем, кто ведет борьбу за свое земное существование, организует жизнь на земле. Это жалкие черви, копошащиеся в земле, ужи, рожденные ползать, неспособные к соколиному взлету:

Я проклял вас, люди, живите впотьмах,
Тоскуйте в размеренной, чинной боязни,
Бледнейте в мучительных ваших домах,
Вы к казни идете от казни.

Если одни чувствовали себя прекрасно в этом общении с надземными силами, то другим эти силы рисовались в виде враждебного рока. Леонид Андреев — быть может, самый характерный писатель эпохи, глашатай обанкротившегося поколения, ничего не увидавшего в современной действительности, кроме бессмысленного трагизма, лежащего в его основе. Нелепо все и преступление, и героизм, и акцизная служба, как убежден Сергей Петрович, герой одного из его ранних рассказов. Злой рок издевается над людьми. Мы не властители земли, не творцы своего счастья, мы—игрушка в руках враждебных неведомых нам сил, которые Андреев воплощает в таинственных образах „Некоего в сером", „Некоего охраняющего входы", некоего, укравшего у человечества истину и в других кошмарных героях, которые чудились идеологу поколения, ушедшего от дела общественной борьбы, подавленного царским гнетом, разобщенного, бессильного, в исступлении бившегося у подножий несуществующих церквей, как бились некогда в эпоху мистического средневековья невежественные фанатики о плиты темных готических храмов. Источник страданий андреевских героев—„суровый и загадочный рок", „зловещая и таинственная преднамеренность". Этот рок „тяготел над всей жизнью Василия Фивейского". Он губит и Сергея Петровича, разбивает мечты Сашки, ярко демонстрирует свою бессмысленную жестокость и „Человеку" и Давиду Лейзеру. Да и как мог иначе мыслить писатель, который за пределами земли искал объяснения земным явлениям.

IV.

Революция, как грозовой вихрь, разметала эти порождения фантастики и бессилия. Коллективизм и материализм—вот два устоя, противопоставленные ею индивидуализму и мистицизму предреволюционной эпохи. Вот как рисовались пути новой культуры одному из лучших идеологов пролетариата, рано погибшему Ф. И. Калинину. Вся сила развития пролетариата покоится на растущей власти сознания. „Социалистическое общество представляется как идеально совершенная организованность и дисциплинированность, а это значит наиболее углубленная сознательность... При социализме расширяющаяся власть сознания достигнет максимальной силы. Власть стихийности, неорганизованности, случайности постепенно будет падать и отмирать... Рабство людей перед стихией природы постепенно будет терять свою зависимость, а рабству перед стихией общественных форм уже совсем придет конец. Буржуазная идеологически-духовная культура вырождается в сторону стихийности и первобытного инстинкта, — в сторону индивидуальной счастливой случайности. Пролетарскую культуру определяет материальный базис, создающийся из недр буржуазного капиталистического общества, который создает условия для развития культуры пролетариата в сторону коллективной неведанной

дисциплины, стройности и организованности. Для личного произвола и усмотрения не будет места, — деятельностью людей будут руководить не лица, а логика систем и их внутренний смысл".

Духом Октябрьской революции веет от этих строк, ее пламенной верой в непобедимую силу организованной планомерной деятельности, построенной на ясном и точном учете материальных сил, глубоким убеждением, что мы — творцы своего собственного счастья, а не жалкие игрушки в руках прихотливого рока.

„Новая культура должна охватить все области жизни и творчества, охватить не поверхностно и частично, а глубоко и во всей их широте",—гласит вступительная редакционная статья в первом номере „Пролетарской Культуры".

По всей линии завязался бой между старым и новым миром в сфере идей и образов. Не следует смешивать этой идеологической борьбы с борьбою лиц и школ. Не следует прикреплять того или другого круга настроений и чувств к определенному поэту или к определенной группе поэтов. Писатель, вышедший из рабочей среды, иногда поддается обаянию образов, возникших из ложно-индивидуалистических переживаний и ложной профессиональной гордости старого литературного мира; иногда до такой степени захвачен он старой культурой, что утрачивает свое пролетарское лицо, и трудно становится отличить его от писателей чуждых революции. И наоборот, у какого-нибудь Маяковского и даже у кривляющегося имажиниста вдруг с неотразимой силой проглянет стремление слиться с творческим классом, кующим формы новой жизни, раствориться в нем и вместе с ним участвовать в общем деле борьбы за освобождение человечества.

Рассматривая литературу этого четырехлетия, необходимо иметь это в виду. Мещанство и героизм, профессиональная обособленность и жажда слияния с массой, безответственный анархизм и дисциплина мысли, мистика и сознание, случайность и планомерность, созерцательность и волевое начало, бессильный страх перед природой и техническая власть над нею, беспечный эстетизм и образ, как средство организации души коллектива, небо и земля, личность и общество,— таковы два ряда идей, чувств и настроений, вставших друг против друга как две непримиримые армии, отстаивающие: одна—подгнившее здание умирающего общества, другая — воздвигаемые твердыни грядущего человечества. Поэты могли переходить из лагеря в лагерь, колебаться среди этой бури сталкивающихся между собою идейных вихрей, но это не может скрыть от нас того факта, что не только в области экономической и хозяйственной, но и в области мысли и образов мы присутствуем при начале схватки между старым и новым миром.

V.

Старые поэты в большинстве своем остались чужды тому духу дисциплины и коллективизма, под знаком которого развертывается революция. Вячеслав Иванов отдается воспоминаниям о младенческих годах своей жизни в поэме „Младенчество", в которой чувствуется мистическая потребность населить мир вещими видениями и пророчествами. Он уносится мечтою к своей любимой Элладе и создает нового „Прометея", вплетая в круг идей античного мира настроения нашего времени, причудливо сочетая первобытную наивность только что сотворенных людей с философскими исканиями и сложными переживаниями современной нам души. Он пишет строгие „Зимние сонеты", в кото-

рых много ясной мудрости, грустных, но спокойных размышлений. В них тихое нетревожащее сочувствие к какому-то отвлеченно-постигаемому человечеству и олимпийское равнодушие к бурным потрясениям сегодняшнего дня.

Обманчива явлений череда.
Где морок? Где существенность, о Боже?
И жизнь, и греза—не одно ль и то же?
Ты бытие; но нет к Тебе следа.

Брюсов написал ряд новых восторженных гимнов в славу любви и снова воспел

Рук ласковых касанье; приближенья
Губ стражлущих; истома глаз ночных,
Предчувствующий трепет достиженья;
Прерывный вздох за грань кругов земных.

Он прославляет эти „древние проверенные чары". Голос страсти, вспыхивающей в ночную пору, он слышит и в истории, начиная со времен троглодитов и кончая трогательным сном Тристана и Изольды. И эти же чары владеют им и сейчас „в мертвых небоскребах под скрежет революций в дни войны". Брюсов до того опьянен „воплями, бредами, снами", таящимися „в гибелях, в благостях, в злобах", что не находит даже в наши дни ничего, кроме следующего определения назначения поэзии:

Нам страсти вечный ужас—вечно петь.

Он знает, что „расплавлены устои жизни прежней", что „мечту пронзили миллионы волей", что „мысль, в зареве бесчетных душ зорка", — ломая строит новый Капитолий. Но эти бури возвращают его все к той же мысли о целительной силе страсти.

В святом кругу приветствий и проклятий,
Где жезл судьбы сметает жизнь и кровь,
Язвит цепбэйней серп ночных объятий,
Уста к устам смертельней гнет любовь.

И Бальмонта „тянет домой, и древние манят основы", туда, где „под крышей гнездятся лишь совы". Он гурман слова, продолжает исповедывать свою „старинную правду" и „в расщелинах древних ступенчатых слов" видеть „глаза сновидений". Для него жизнь человека по-прежнему бесцельная смена настроений, осуществление изначального предопределения. В ребенке незримая дремлет страсть, в зрелом возрасте он будет целовать „в сне быстротекущем", потому что „вся жизнь есть сон и в сны он должен впасть". Дальше постепенное остывание и неизбежная смерть.

VI.

Замечательно, что и эти чуждые революции мотивы зазвучали с новой силой именно здесь, а не там за рубежом, куда ушли поэты, бросившие проклятье советской России. Иван Бунин, написавший в свое время чеканный рассказ „Господин из Сан-Франциско", отразивший в нем эфемерность бытия догорающего изолгавшегося буржуазного мира, точно утратил силу глубокого проникновения, с тех пор, как порвал связь со своим народом. Когда читаешь его выпады против революции, когда свою ненависть к ней он с чисто барской брез-

гливостью распространяет на все русское крестьянство, на русский пролетариат и весь народ, то грустно становится не за самые мысли этого изумительного поэта, а за то, что мысли эти не возвышаются над брюзжанием обывательским, что оскорбляет он не революцию, и прежде всего поэзию и литературу, что поэт, так гордо оберегавший суверенное царство поэзии, сам занес туда вульгарные приемы дешевой публицистики. И Алексей Толстой, наделенный даром причудливой фантастики, в которой есть что-то и от Гоголя и от Гофмана, писатель, в новеллах которого насмешливым прыгающим светом озарялись безумные противоречия нашей недавней действительности,— как-то сразу потускнел и стал писать скучные романы, в которых есть что-то фальшивое и нет чутья и понимания великого смысла развертывающихся в России событий.

Оно и понятно. Ведь русская литература всегда была проникнута жаждой героического и ненавистью к мещанству. И не в царстве банкиров и торгашей, не в капиталистических странах Запада, где мещанский дух торжествует свои Пирровы победы, может найти пищу для своего вдохновения ищущая правды душа русского писателя. Русская эмигрантская литература оказалась в тяжелом положении не только в материальном значении этого слова. Русскому писателю приходится переживать там душевную драму Герцена, бросившегося в объятия мещанского Запада, старую драму русского скитальца-писателя в новой форме. Толстым и Буниным, вопреки их поэтической воле, приходится противопоставлять новой России якобы идеальный уклад жизни европейской „демократии". Благодаря одному из тех великих недоразумений, которые так часто встречаются в эпохи исторических катаклизмов, писателям-эмигрантам пришлось объявить себя идеологами чуждых им чувств и стремлений и стать во враждебные отношения к тому порыву, который рано или поздно должен найти естественный отклик в их душе. И до сих пор, когда вспоминаешь прошлое русской литературы, трагическим недоразумением представляется разрыв известной части современных писателей с революцией. Русский писатель всегда не любил власть. Он предпочитал быть в оппозиции. Официальная идеология отталкивала его, и стоило известному строю мысли из гонимого стать властвующим, чтобы лишиться своих апологетов. И коммунистическое миросозерцание, насчитывающее среди русских писателей не мало мучеников и героев, нашло среди них врагов, как только завоевало себе господство. Толстым и Буниным непонятно, что их место здесь, что это господство ближе к тому мученичеству, которое так дорого в воспоминаниях русской литературы, чем к безыдейному произволу, характерному для деспотических правительств. Победа, достигнутая на одном из боевых участков общего пролетарского фронта, еще не дает покоя и сознания власти, погружающего ее носителей в болото ненавистного русскому писателю мещанства. Русскому коммунизму еще не пришло время (и, вероятно, никогда не придет) предаться тем отвратительным радостям, которые в мелких душах рождает чувство власти над подобным себе существом. Наш коммунизм принадлежит к гонимым, а не к торжествующим. Он в оппозиции к мировому капиталу, к церкви, к королям и к эксплоататорам, ко всем тем еще могучим темным силам, которые душат советскую Россию в железном кольце блокады и готовы залить потоками крови одинокий светильник человеческой свободы. Сравнение—лучший путь к познанию истины. Крестьяне, восстававшие против Советской власти, научались ценить ее после того, как испытали прелести белогвардейского режима. Русскому писателю необходимо погрузиться в жизнь европейского поэо

лоченного мещанства, для того, чтобы полюбить свою бунтующую родину. Будем надеяться, что настанет время, недоразумение кончится, зарубежные наши писатели вернутся к своему народу с чувством горькой досады, что их не было с ним в те славные дни, когда он поднял красное знамя борьбы за освобождение эксплоатируемых.

VII.

Не удивительно поэтому, что даже поэты, чуждые революции, творят здесь, среди голода и нищеты, больше и охотнее, чем там, среди сытых и довольных.

В самом деле говорить об упадке или даже о молчании русской литературы в советской России, как это вошло в моду теперь, нелепо. Если причиной этого якобы молчания является суровость цензуры, или отсутствие бумаги, или материальная нужда, то почему молчит литература за рубежом, где царит „свобода печати", где писатели располагают старыми возможностями искать заработка, где сейчас немало выдающихся талантов? Почему там не появляются не только гениальные, но даже сколько-нибудь оригинальные и интересные произведения?

Что обычно разумеем мы, когда задаем вопрос о процветании или упадке литературы? Мы спрашиваем, пишут ли старые мастера, завоевавшие себе славу, нарождаются ли новые таланты и школы. И мы видим, что революция не помешала Брюсову петь свои гимны Афродите, а Вячеславу Иванову уноситься мечтами в древнюю Элладу. Что же касается новых поэтов, то поистине никогда еще русская поэзия не выдвигала такой массы их, как в период этого четырехлетия. Появились сотни поэтов, и чуть ли не каждый день как грибы вырастают новые школы.

Тощий сборник „Сопо" (Союз поэтов), заключающий в себе тридцать страниц, составлен из произведений следующих школ: имажинистов, футуристов, акмеистов, центрифугистов, эклектиков, неоромантиков, парнасцев, символистов, классиков. Сюда же вошли экспрессионисты, эксклюзивисты и Бог знает какие еще „исты". И если видеть процветание литературы в обилии авторов и произведений, то наша бурная эпоха ничем не отличается от предшествующих. Не только старые поэты продолжали заниматься своими фантазиями, уноситься к небесам или к далекому прошлому, не только Алексей Ремизов отделывал „Царя Максимилиана" и писал „Заветные сказы", но фантастика, мистика и всевозможные формы индивидуализма нашли среди молодежи не одного даровитого представителя. Традиции капризничающих Бальмонтов и Сологубов, преобразующих жизнь в „творимую легенду", не только не умерли, но постоянно нарождаются новые продолжатели, которые подходят к действительности со своими причудами и изменчивыми настроениями, хотя и облекают их в новые формы. Среди этой молодежи Борис Пастернак выделяется своим сильным лирическим дарованием. Его поэзия—поэзия мельканий и обрывков. Кажется, будто он смотрит на мир сквозь многогранную стеклянную призму. И дома, и люди, и движения, и леса, и звери перерезываются неожиданными линиями, рассыпаются в бесчисленное количество кусочков и образуют своеобразные феерические картины без плана и без единства. В лице этого поэта судорожный индивидуализм предшествующей эпохи достигает какой-то последней болезненной напряженности. Он играет на любой из струн своей души, по своему произволу. И доста-

точно малейшего толчка из внешнего мира для того, чтобы они задрожали, зазвенели нестройными, но волнующими голосами. Конечно, никому не возбраняется созерцать мир, как ему вздумается, мечтать и петь, и любоваться по прихоти своих настроений. Но эта поэзия от прошлого,—не от грядущего. Она чужда духу суровой дисциплины, организованности и планомерной, коллективной борьбы, тому духу, которым проникнуты творческие классы революции. В этой поэзии нет активного волевого начала, это чистый импрессионизм, это произвол и каприз, достигший своего апогея:

Несметный мир семенит в месмеризме,
И ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме
И радо играть в слезах.
Души не взорвать, как селитрой, залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале,
В трюмо и не бьет стекла.
И вот в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так, после дождей проползают слизни
Глазами статуй в саду.
Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой—
Их шалостью не опоишь.
Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет—и не бьет стекла.

VIII.

Это относится почти ко всем новым поэтам, имена которых стали заполнять плакаты всевозможных кафе во время революции. Все они ищут источника своих вздохновений в экзотических странах или в своих прихотях, все они чужды революции и как-то остались в стороне от ее могучего потока. Таков Кусиков, поэзия которого подернута тихой грустью о родной Кубани. Там стоит его любимый пень „с кольцами лет на сморщенной лысине", на его „обрубленных плечах„ с детства он вынашивал „бред свой". Душа его томится в желании слить Евангелие с кораном („Коевангелиеран"—так называется один из его сборников), покой родного ему Востока с мятежными вихрями русского октября. Но и то и другое прельщает его своей волшебной пестротой. Он чужд тревогам дня. Его подлинный порыв—в „никуда". Всюду царит планомерность: „паденье звезд предрешено от Бога, есть в небе путь, а на земле дорога". Но он одинок, он ничего не знает. „Усну ли я, или не усну—не знаю, проснусь ли я, или не проснусь—не знаю".

Мы бы не кончили, если бы вздумали характеризовать этих поэтов разных дарований и разных настроений, иногда совершенно бездарных, порою искренних. Сергей Буданцев, который пишет „ради дня раскрытого in-folio и небесных вольных мастеров", Адалис, повествующая о том, что „дела любви несложны и невинны" и пользующаяся любовью, как „корабельным лотом" для измерения „светлых глубин", Олег Леонидов, которому „все равно, чем кончится это, что будет: победа, позор или смерть" и который только „приемлет пламенным сердцем поэта этот грохот, которым объята вся твердь",—все они и все другие

имеют то сходство, что чужды историческим задачам эпохи и ищут исхода кто в мечте, кто в любви, кто просто в упоении звуками и образами,—словом, в тех старых путях, которыми всегда шла поэзия. Отдельные удачные и даже прекрасные стихи не могут вознаградить за общий, какой-то бесцельный и серый, характер этой поэзии. Они—эпигоны, а не родоначальники. Их поэтические приемы в прошлом, а не в грядущем. И даже новые рифмы и новые ритмы не могут скрыть от нас убожества содержания.

Эти эпигоны имеют своих застрельщиков. Имажинисты много шумели в эти годы. В теориях имажинистов есть кое-что серьезное, но и это серьезное от гурманства профессионалов. „Для поэта, как и для всякого мастера, прагматически существуют только формы", повествует один из теоретиков имажинизма Иван Грузинов. Другой теоретик, Арсений Авраамов, рассказывает, как он много лет под-ряд носил бесплодную мечту о ритмической поэзии, агитировал тщетно по-одиночке поэтов и однажды, забредши в кафе „Союза поэтов", обрел воплощение своих замыслов, когда услыхал Есенина и Мариенгофа, читающих стихи. Несчастье имажинистов в том, что у них нет талантов, которые могли бы убедить нас, что их теории — действительно начало новой эры, что они действительно нанесли какой-то роковой удар всему прошлому. Имажинисты заменяют это отсутствие талантов шумными рекламными выходками и в общем, на некоторое время, достигли своей цели. Им удалось обратить на себя внимание скучающего мещанства. Слава имажинистов—сестра скандала. И если нужно свидетельство того, как живучи традиции прошлого, атавистические привычки, даже в эпоху коренных переломов, то успех имажинистов мог бы послужить этим свидетельством. Публика знает об имажинистах только по скандальным выходкам и скабрёзным словечкам, которые они не стесняясь бросают и в своих сборниках, и в публичных выступлениях. Больше всех шумят Мариенгоф и Шершеневич, крепче других цепляющиеся за свою фирму, наименее талантливые и потому наиболее крикливые. Действительно, одаренный поэт Есенин, о котором речь впереди, влечет нас к себе не теми выходками, на которых стараются построить свой успех его двое товарищей, а обаянием своего таланта и, еще более, богатством заложенных в нем возможностей. Пресловутая „Магдалина", к которой Мариенгоф как-то обещал притти „в чистых подштанниках", заодно сообщив ей, что он хочет „уюта ее кружевных юбок", у которой руки оказались „белее выжатого из сосцов луны молока" и которую он в конце концов начал за что-то „по черепу стукать поленом",—эта „Магдалина" уже перестала „эпатировать" буржуа, и имажинистами, в специфическом смысле этого слова, как будто перестали интересоваться; вспоминают о них лишь временами, когда им удается придумать какой-нибудь из ряда вон выходящий скандал. Их кафе посещается теперь только искателями и искательницами ночных приключений. Эта публика еще находит там искомое в качестве прелюдии к другим занятиям, более интересным, но столь же далеким от поэзии, как творчество Мариенгофа.

Таковы те течения, которые уходят своими истоками к прошлому, к его мистическим и индивидуалистическим тенденциям. Революция не помешала им выявиться с достаточной полнотой. И в своих ценных достижениях, и в своих уродствах даже поэзия индивидуализма и мистицизма развивалась здесь более яркими махровыми цветами, чем среди русской эмиграции. Бесследно прошла бы революционная буря над полями русской поэзии, если бы мы имели только произведения старых мастеров и их эпигонов. В годы перелома, в годы решительной

схватки между двумя укладами жизни, между двумя формами социальных отношений, — в эти годы началась и борьба между двумя душевными мирами. Поэзия не могла не отметить душевные движения и другого порядка. Человек-творец, человек-организатор возникал среди старых, изломанных людей, мечущихся судорожно на сотрясающихся устоях вырождающегося общества.

П. Коган.

(Продолжение следует.)

16*

Из современных настроений.

(По поводу одного спора.)

> Если в юности Иерониму большого труда стоило смирить свою материальную плоть, как показывает его борьба в пустыне с прекрасными женскими образами, то в зрелом возрасте столь же трудно было ему сладить со своей духовной плотью. „Я предстал мысленно,—рассказывает он, например,—пред судией мира". „Кто ты?" спросил голос. „Я—христианин". „Лжешь!—загремел судия мира,—ты только цицеронианец".
>
> *К. Маркс.*

Два друга — Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон—во время своего пребывания летом 1920 года в одной комнате, в здравнице „для работников науки и литературы", написали друг другу 12 писем, издав их потом отдельной книгой под общим заглавием „Переписка из двух углов".

Переписка посвящена одному из самых жгучих и волнующих вопросов современности—вопросу о ценности культуры.

Блестящие и оригинальные по форме письма глубоко поучительны и по своему содержанию.

Современная культура—на ущербе. Распад экономических и политических связей между передовыми странами и внутри их, распад старой буржуазной идеологии, гигантский рост коммунистического движения, силы, разрушающей основы современной цивилизации,—разочарование, скептицизм и пессимизм на верху социальной пирамиды, неясные и смутные предчувствия новой эпохи,—все это уже общепризнано и нашло себе достаточно яркое отражение в литературной западно-европейской жизни последних лет.

Современная культура гибнет. Не нужно быть большевиком, чтобы это утверждать. Не ясны только сроки, не ясны также размеры распада современного общества, и еще больше всяких сомнений рождается, как только заходит речь о степени ценности того, что связано с понятием культуры прошлой и настоящей. Последний вопрос особенно должен интересовать нас, могильщиков старого мира, ибо в наши дни дело борьбы со старым зашло так далеко, что оценки прошлого наследия давно перестали быть только теоретическими, и с каждым днем все больше и больше приобретают практическое, актуальное значение.

Вот почему „Переписка из двух углов" о культуре не может быть обойдена молчанием, тем более, что вели ее большие знатоки культурного наследства.

Письма Гершензона и Вяч. Иванова поучительны и в другом отношении: они знакомят нас с настроением, с работой мысли и чувства тех кругов, к которым принадлежат авторы писем, значительной части западной и нашей отечественной интеллигенции.

В письмах „двух друзей" темой служат высшие культурные ценности: наука, искусство, техника—кумиры современного общества.—„Мы с вами, дорогой друг,—пишет В. Иванову Гершензон,—диагональны не только по комнате, но и по духу". Для В. Иванова современные культурные наследия—„лестница Эроса и иерархия благоговений. И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне благоговение, от человека и орудий его, и великого труда его, и поруганного достоинства его, до минерала,—что мне сладостно тонуть в этом море"... „Есть в ней (в культуре. *А. В.*) и нечто воистину священное: она есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщается этим посвящениям". Культура дает освобождение человеческой личности: „я утверждаю,—пишет В. Иванов,—что освобождает память, порабощает и умерщвляет забвение"...

Верно ли, однако, что культура есть живая, вечная память? Разве не разрушается „ветхий Египет"? Не преходит образ мира сего? И как, в частности, и в особенности обстоит дело с современной культурой, на которую „воспрянул лев"? В. Иванов отвечает:

„Не будем учитывать случайного, непредвидимого, иррационального в ходе событий; взглянем на состояние умов. Анархические течения не являются господствующими; они по существу кажутся коррелатом и тенью буржуазного строя. То, что именуется сознательным пролетариатом, стоит всецело на почве культурной преемственности. Борьба ведется не за отмену ценностей прежней культуры, но за предносящееся умам, как некая верховная задача, оживление в них всего, что имеет значение объективное и вневременное,—в ближайшие же дни за их переоценку. Лев, не из верблюда возникший, а вышедший из недр и прянувший на утвержденные ценности, не просто хищный зверь... но лев - человек, коему „ничто человеческое не чуждо"; разбивая старые скрижали, он пытается на новых ungue leonis нацарапать новый устав. Я думаю, что при этом испортит он понапрасну немало мраморных плит и вечной бронзы; но думаю также, что некий единственный и глубокий след львиного когтя не изгладится во-век на памятниках нашего древнего Египта. Впрочем, речь идет не о содержании новых „двенадцати таблиц", а о методе отношения к ценностям. Метод революции—метод исторический по преимуществу и социальный, даже государственный, а не утопический и анархический, т.-е. индивидуальный, метод остающихся и оседлых, а не бегунов и номадов"...

Рассуждения Вяч. Иванова окрашены в мистические цвета: хотя он и полагает, что память, т.-е. культурное наследие, освобождает человеческую личность, но абсолютного освобождения он ждет от бога. Жить в боге значит уже не жить всецело в культуре, которая относительна; настоящая жизнь, настоящая свобода там, в „нагорном пути". Нужно верить в бога, тогда человеку вернется утерянная свежесть.

Совсем во власти иных настроений и мыслей, как кажется обоим друзьям, находится Гершензон. „Запредельные умозрения" и „заоблачное зодчество" его не прельщают:

— В последнее время,—отвечает он В. Иванову,—мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу подчас, но не надолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, о всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно: как было тяжело и душно в тех одеждах и как легко без них. Почему это чувство окрепло, я не знаю. Может быть, мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы на нас и удобно облегали тело; когда же, в эти годы, они изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь...

— Я не сужу культуры,—пишет Гершензон в другом письме,—я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности... Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? Огромное большинство их мне вовсе не нужно. В любви и страданиях их мне не надо, не ими я роковых ошибках и нечаянных достижениях медленно постигаю мое назначение, и в смертный час я, конечно, не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум... Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг... за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное простейшее знание, свежее, как летнее утро... Нам не избыть своего разума и не изменить его природы. Но знаю и верю, что возможны иное творчество и другая культура, не замуровливающие каждое познание в догмат, не высушивающие всякое благо в мумию и всякую ценность в фетиш.

Гершензон уверен, что культура разлагается изнутри и „свисает лохмотьями с изможденного духа“. Живой родник духовного бытия отравлен и уже не животворит души, а умерщвляет.

Неясное будущее представляется Гершензону, как торжество личного начала в труде и обладании до конца. Задача состоит в том, чтобы личное стало опять совершенно личным и, однако, переживалось, как всеобщее.

Что касается культурной преемственности, на коей стоит, по мнению Вяч. Иванова, „сознательный пролетариат“, то Гершензон полагает, что никто не может сказать ни о том, что он—пролетариат—видит в культурных ценностях, ни о том, зачем он ими овладевает. Может быть, взяв их в руки, он затем с разочарованием бросит их и начнет создавать новое.

Таков круг мыслей обоих авторов писем по вопросу о ценности и будущем культурного наследия.

Следует прежде всего отметить: едва ли прав Гершензон, утверждая, что он диагонален по духу В. Иванову. Несмотря и вопреки коренному на первый взгляд расхождению точек зрения обоих авторов в споре о культуре, оба они живут в одном и том же духовном квадрате и мысли их и настроения имеют много общего. Вяч. Иванов—мистик. Разрешения „проклятых вопросов“ современности он в конце концов находит в боге, который есть, по его утверждению, „темное рождающее лоно“, живой бытийственный принцип, нечто, обладающее

и личным сознанием. То, чего не дает культура в силу своей относительности, даст бог: совершенную свободу человеческой личности. Гершензон далек от запредельных умозрений своего друга, но все его настроения пропитаны неверием в разум.

Разум обанкротился - вот о чем говорит каждая страница из писем Гершензона. Бесчисленные, омертвевшие, безликие знания опутали живую человеческую личность и леденят ее, не принося пользы. Что же случилось? Почему же разум обанкротился? В переписке М. О. Гершензон говорит, главным образом, о своих современных настроениях, о том, что ему душно от всей современной культуры. Поэтому нам представляется не лишним пополнить переписку мыслями Гершензона из другой его книги „Мудрость Пушкина" (1920 г.). В ней некоторые стороны мировоззрения Гершензона раскрыты им полнее.

— ... Стеклянная кора рационального, — читаем мы там, — давит уже нестерпимо и дух ищет освободиться от собственных своих порождений, ставших его тиранами, от оформленных чувств и идей. И с другой стороны, само сознание поневоле обернулось к своему истоку, во-первых, потому, что, изучая себя, узнало себя, как производное и розысками незаметно было приведено в недра духа, во-вторых, потому, что после века неудач поняло свое практическое бессилие и убедилось, что рычаг человеческой воли—в иррациональном... Очередная задача назрела... Рациональный расчет, такой всесторонний, осмотрительный, точный, жестоко обманул человечество: — оно видит себя банкротом. Теория прогресса, основанная на убедительных научных выкладках, вдруг сорвалась в бездну, и оказалось, что главнейшие-то силы не были учтены, больше того, были просто забыты... Нам надо спуститься вниз, узнать эти темные силы и дать им выход. Пред лицом этой страшной войны нет важнейшей задачи, как раскрыть недра...

Разум обанкротился,— утверждает Гершензон. С этим едва ли можно согласиться. Обанкротился не разум вообще, а разум тех, кто стоял обеими ногами на почве буржуазной идеологии. Сорвались в бездну не только научные выкладки и теории прогресса, сорвались высшие культурные ценности современного общества, его „святая святых". Гершензон упомянул о последней войне. О ней в самом деле следует вспомнить. Великая война обнаружила не только всю немощность высших ценностей, их неспособность предотвратить кровавое бедствие, — она показала и сделала их прямыми сообщниками этого преступления. Во имя чего велась война? Во имя родины, веры, культуры, науки, свободы, искусства, нравственности, справедливости.

Жрецы этих кумиров уверяли, что нужно убивать друг друга во имя торжества и интересов боготворимых ценностей. Нужно разбить Германию, ибо прусский милитаризм покушается на основы цивилизации, на свободу и самодеятельность народов; нужно победить Турцию во имя торжества культурного Запада над варварским Востоком. Другая сторона то же самое твердила о своих противниках. Именно благодаря этим кумирам в значительной мере удалось убедить и заставить миллионы людей истреблять друг друга... „Ценности" оказались удивительно податливыми, приспособленными к тому, чтобы выступить в роли общественного дурмана. Что оказалось на деле, после „торжества победителей", торжества прогресса, культуры, свободы, нравственности, справедливости—всем известно. Циничный грабеж и дележ имущества, вящшее угнетение низов и новая война, новая голодная блокада, — самая жестокая война против нищего народа, осмелившегося выйти из войны особым способом — путем революции. И здесь „ценности" оказались податливыми настолько, что при их помощи можно

было оправдывать любые палаческие действия. Во имя этих ценностей в настоящий момент жрецы их открыто издеваются над 30 миллионами умирающих от голода крестьян. Это, действительно, ценности-вампиры, кровожаднейшие из зверей, кровавые идолы. Неудивительно, что после всего пережитого явилось не мало людей, узревших, подобно Гершензону, что „пышные ризы в эти годы изорвались и повисли клочьями". Подобно герою куприиского рассказа „Аль-Исса", они мечтали о прекрасной богине, чудеснейшей из женщин, а увидели отвратительную старуху с гнилым зловонным ртом и слезящимися глазами. Конечно, здесь трудно сохранить возвышенный взгляд В. Иванова на ценности, как на лестницу Эроса и иерархию благоговений и настроения Гершензона—современней, живей восторгов В. Иванова.

Гершензон отнюдь не одинок в своем отрицании культуры, в своем разочаровании в культурном наследстве. Подобные настроения очень широко разлиты в наши дни в среде и российской и западноевропейско-буржуазной интеллигенции. Помимо указанных причин и особенностей нашей национальной советской действительности,—о чем речь будет ниже,—звучит в этих разочарованиях еще одна нота. При несомненном ущербе современного общества, при той позорной роли, каковую „ценности" исполняют теперь, выступает с особой наглядностью механичность буржуазной культуры, ее внешность, ее сухой, черствый сверхматериализм. Человек изобрел аэроплан, а для духовно-нравственной жизни человека сделано безмерно мало, и человеческое сердце осталось таким же „зверушечьим", одиноким и сирым, каким было издавна, с незапамятных времен. Человеческое знание дифференцировалось до бесконечности, а объединяющие принципы отсутствуют, теряются. В период распада нынешней общественной жизни это несоответствие материальной и духовной культуры, эта специализация и дифференциация знания с особой отчетливостью выступают пред многими, гнетут, порождают острую неудовлетворенность. С этой точки зрения настроения Гершензона положительны, как святая законная тревога и жажда новой грядущей правды.

Было бы, однако, погибельным итти дальше вместе с автором по пути, на который зовет он. Отбросим разум—советует нам он, и обратимся к иррациональному, дадим свободу и простор „недрам духа". В переписке Гершензон выражается очень осторожно: ему мерещится возможность иной культуры, где познание не будет превращаться в догмат, а ценность в фетиш. В своей книге о Пушкине он говорит об этом ясней.

Величайшая непреходящая заслуга Пушкина, по мнению Гершензона, заключается в том, что он бесстрашно заглянул „за стеклянную кору" рационального и увидел, что происходит в сфере иррационального.

Что же увидел он там?

Человек есть сосуд, есть орудие некоей сверхличной стихии. Эта стихия своевольна, безмерна, она есть сплошь беззаконие и буйство, она лишена разумной закономерности. Она произвольно возникает и так же произвольно гаснет. Поэтому личность, воля—ничто, духовная стихия—все. „Все предопределено и человек ни в чем неповинен". „Человек бессилен повелевать своему духу, т.-е. стихии, действующей в нем". Нет закономерности духовной жизни, нет прогресса, нет нравственного совершенствования. Человек может быть сильным и прекрасным только тогда, когда он отдается во власть стихии. „Душа человека первозданна, ничему не подвластна". Таинственное райское состояние, о чем писал Гершензон в довольно туманных выражениях

в переписке, раскрывается таким образом перед читателем в более ясных чертах. Райское состояние—это господство стихии, примат ее над рассудком, волевая анархия, отрицание возможности духовного прогресса. Но ведь это—квиетизм, философия отчаяния, своеобразный анархический нигилизм. С такими взглядами невозможна ни общественная жизнь, ни личная. Нет ни истории, ни прогресса, ни добра, ни зла, ни науки, ни просвещения. Тут на-лицо все элементы общественного разложения. Это глубоко реакционная система взглядов. Это — упадочная идеология... Духовная смерть. У человечества „при райском состоянии" не будет ни Моисея, ни Христа, ни Сократа, ни Джордано Бруно, ни Гуса, ни Марата, ни Робеспьера, ни Гегеля, ни Маркса, ни Толстого, ибо все они законны только постольку, поскольку мы признаем примат разума над стихией.

Мечты, идеал, обращенные целиком к прошлому, к доисторическому, ибо это райское состояние было. В свое время о нем прекрасно рассказал нам Глеб Иванович Успенский. Это — „галочья жизнь", „сплошной быт"; житие Иванов Ермолаевичей, наша родная каратаевщина, возведенная в перл создания,—жизнь без своей мысли, без своей воли, жизнь, как живет галка, жеребенок, дерево. Со своим стройным нравственным мировоззрением, поражающим своей цельностью и верой в благоустроенность всего сущего; с гармонией естественных сил природы [1]). Но жизнь эта имела один существенный недостаток: ее мог разрушить и разрушал любой пустой случай. „Вынуть из этой жизни гармонической,—писал Г. И. Успенский,—хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую нужно заменять своей человеческой волей, своим человеческим умом".

Гершензон утверждает, что он совсем не хочет вернуть человечество к мировоззрению и быту фиджийцев и отнюдь не хочет разучиться грамоте. Возможно, но это — простая непоследовательность. Кто полагает, что нельзя доверять разуму, так как он извращен культурой, кто ищет выхода в господстве стихии, тот неизбежно скатывается к быту фиджийцев, хочет он этого или нет. Да и почему Гершензон не желает этого быта? „Нам не избыть,— пишет он, — своего разума и не изменить его природы". Это, в сущности, только внешнее подчинение факту. Не больше. Но чем меньше разума, тем лучше. Быт фиджийцев представляется все-таки идеалом по сравнению с современной культурой.

У Гершензона есть книга „Видение поэта". Основные мысли этой книги сводятся к следующим положениям. Есть два рода знания: научное, расчленяющее, аналитическое, и высшее, заключающееся в целостном видении мира, свободное, неповторимое видение вселенной, тайнопись вещей, такое же достоверное, как внешнее познание явлений. Лишь избранникам-поэтам доступно длительное внутреннее видение мира, эта личная истина, тайная, но реальная. В душе русского на-

---

[1]) Вспомним кстати удивительную характеристику Каратаева у Толстого. „Главная особенность в его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная, неотразимая убедительность... Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают; но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться и расходиться... Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад... Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи... Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл, только как частица целого. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова".

рода с особой силой живет жажда внутреннего постижения тайнописи вселенной, внутреннего одного всеобъемлющего знания. В ней „бушует необъятная стихийная сила“ и в то же время она жаждет гармонии, тишины, покоя. „Запад давно решил трудную задачу: надо обуздать стихию разумом, нормами, законами. Русский народ ищет другого выхода... Он последнюю надежду свою возлагает на целостное преображение духовной стихии, какое совершается в огненном страдании, или в озарении высшей правды, или в самоуглублении духа“.

Здесь уместно свесть с Гершензоном окончательно гносеологические счеты и, кстати, разрешить вопрос, в какой мере, действительно, он „диагонален по духу“ своему другу-мистику Вячеславу Иванову.

Прежде всего нет никакого иррационального внутреннего „целостного“ познания. Говорить о подсознательном, сверхсознательном сознании то же самое, что называть железо деревянным. То, что Гершензон считает „целостным“ сознанием, внутренним опытом — есть инстинкт. Гершензон разделил это „целостное знание“ от знания разумного непроходимою пропастью. Правда, он утверждает, что „внутреннее знание“ тоже основано на опыте. Но таковой опыт признает и христианское семинарское богословие. Важно то, что это „целостное“, „внутреннее“ знание, употребляя термин Гершензона, является у него обособленным, не связанным с познанием отдельных рядов явлений при помощи внешних чувств. Разделив то и другое, он, естественно, пришел и к разделению мира на „видимый и невидимый“.

Пальму первенства Гершензон отдает этому сверхразумному „знанию“, стихии, инстинкту. Между тем прежде всего история с совершенной очевидностью свидетельствует, что нет решительно никаких оснований это делать. В свое время Маркс писал: „Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т.-е. в представлении работника“ („Капитал“, т. I, стр. 154, изд. 1920 г.).

„Целостное“, внутреннее „познание“, основанное на инстинкте, удивительно точно и безошибочно, но оно лишено предварительного „идеального представления“ и потому делается добычей любого слепого случая. Разум то-и-дело ошибается, но смысл его существования — в наличии предварительного „идеального представления“. Является, следовательно, возможность предвидеть неожиданное, внезапное, случайное. Наука — это предвидение, на предвидении основано действие.

По силе сказанного можно утверждать, что никакой диагональности по духу между Гершензоном и В. Ивановым нет и быть не может. Гершензон — тоже мистик, он также во власти „запредельных умозрений“. Его сверхличная стихия, первозданная человеческая душа, весьма сродни „темному рождающему лону“ В. Иванова, а его преклонение пред иррациональным логически ведет к „заоблачному отечеству“.

Для нас, однако, гораздо важнее другое. Рассуждение Гершензона о русской душе, в которой бушует стихия и которая жаждет постижения „тайнописи вещей“, в отличие от души западно-европейца, как две капли воды похожи на реакционные мечтания растерявшихся западно-европейских буржуазных ученых и наших отечественных бе-

гвардейцев. На страницах нашего журнала отмечались уже эти мечтания. Немецкий мыслитель Поль Эрнст ищет обетованной земли в Китае; модный „христианнейший" философ Генрих Кайзерлинг — на берегах Ганга и в Троице-Сергиевской лавре, а еще более модный Освальд Шпенглер ждет обновления мира от новой неизвестной религии, долженствующей родиться на широких русских равнинах. Еще любопытнее настроения в некоторых эмигрантских наших кругах. За рубежом есть целая группа так называемых „евразийцев" с Н. С. Трубецким во главе. Они тоже разочарованы в современной западноевропейской культуре, они противопоставляют „гнилому" Западу здоровый Восток. Они полагают, что огненная стихия русской души спасет Запад. Эти славянофильские настроения у них связаны с мечтами о гегемонии православия и... царя.

Нужно также упомянуть о группе Устрялова—Бобрищева—Пушкина и Ключникова, группе национал-большевиков, готовых итти в большевистскую каноссу из славянофильско-патриотических соображений, хотя настроения этой группы гораздо сложней и, несомненно, более прогрессивны, чем „евразийцев", Кайзерлинга, Шпенглера.

До царя и православия Гершензон не дошел. Наоборот, свое духовное освобождение он связывает с великой катастрофой наших дней, но родственность настроений его с настроениями западно-европейских мистиков и наших евразийцев несомненна. Им обще: разочарование в современной буржуазной культуре, предчувствие ее гибели и смены иной культурой, неверие в разум и тяга к иррациональному, искание идеала в своеобразном быту фиджийцев — в мистике старого Китая, Индии, в надежде на русскую душу с ее „огненной стихией".

Настроения эти чрезвычайно широко охватили некоторые буржуазно-интеллигентские круги, они не случайны и не мимолетны. В них отразился прежде всего крах не только экономики и политики капиталистического Запада, но и так-называемых высших идеологических ценностей. С каждым днем растет это число разочарованных людей, по своему социальному положению, воспитанию, навыкам связанных с буржуазной цивилизацией. Неспособные, однако, совлечь с себя ветхого Адама, они ищут выхода из настоящего не в будущем, а в прошлом, реставрируя на новый лад славянофильство, проповедуя своеобразное опрощение. Это — неспособные радоваться наступающему утру, но все-таки понявшие и вспомнившие, что ночь была полна кошмаров. То обстоятельство, что значительная часть буржуазной интеллигенции ищет выхода на Востоке — реакционном, а не революционном, свидетельствует, как далеко зашел развал идеологии буржуазного Запада: чего может быть хуже, когда приходится искать возрождения в доисторическом Китае, в Платоне Каратаеве и в Лавре, проклиная разум и все культурное наследие?..

Почему Китай, Лавра, русский мужик прошлого периода? Потому, что некуда уже кинуть, успокоиться, отдохнуть умственному взору на Западе. „Пролетарский лев" только пугает, а остальное пусто, мертво. Потому, что на Западе господствуют одни только отношения угнетения, розни и распрей, и они стали до боли ясными:

Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом...
А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Вот что есть на Западе помимо „пролетарского льва, воспрянувшего на ценности. Восток манит своим вечным покоем, своей примитивностью, своими суевериями, остался„ последний ключ — холодный ключ забвения“. Его ищут на дряхлом Востоке.“

Есть здесь также надежда на то, что вследствие голода, блокады рухнет все-таки ненавистный строй „восточной советской диктатуры“, усилится и восторжествует реакция, тогда... о, тогда... наученный горьким опытом большевизма русский человек, и в первую очередь русский мужик (кулак), установит свое новое царство без всяких измов, весь напитанный ненавистью к коммунизму и взалкавший о боге и о других трансцендентальных вещах, кои спасут „гнилой“ Запад. Придут тогда новые вехисты по стопам старых и возгласят: верим в неизбывную темноту народную, ею же спасетесь. Иначе—путь III Коммунистического Интернационала, он уже ведь стучится в дверь, нужно же ему что-нибудь противопоставить. А за душой нет ничего. Поневоле приходится обратить свой взор на Восток, в надежде на русского мужика, китайского кули и т. д.[1]).

Русскому и китайскому мужику сейчас очень везет. Его призывают спасать и обновлять культуру Запада. Мы думаем, однако, что подобным надеждам не суждено будет осуществиться. Ибо в глубине восточных ущелий уже звучит топор революции, Восток преображается и стряхивает с себя как раз то, на что уповают изверившиеся культурные буржуа Запада и наши вехисты: косность, рабство, суеверие, преклонение перед деспотизмом и насилием, темноту, господство „иррационального“ быта.

Что же касается русского крестьянина, то есть много веских оснований полагать, что „сознательному пролетариату“ удастся и в дальнейшем обособить крестьянство от господ Рябушинских, Гучко-

---

[1]) Г-н Мережковский кликушествует в своей недавно вышедшей книге „Царство Антихриста“:

„Нет никакого сомнения в том, что хозяином освобожденной от большевиков России будет русский крестьянин, мелкий земельный собственник, мелкий буржуй. Но повторит ли он европейского буржуя окаянного? Если да, то большевики правы: дни Европы сочтены, круг ее замкнут в повторениях бессмысленных. Но история бессмысленно не повторяется. Русский буржуй, чтобы оправдать свое существование, должен прибавить к европейскому что-то новое. Что же именно?

... Чтобы выйти из... провала, Россия должна сделать то, чего Европа не сделала, раскрыть не только политическое и социальное, но и религиозное содержание революции, утвердить свободу со Христом—абсолютною личностью.

Проблему социального равенства, задачу, заданную людям богом, в большевизме решает диавол „борьбою классов“, гражданскою войною, братоубийством, как единственной социальной динамикой. Ту же проблему третья Россия должна решить не войною, а миром... соединением классов, обществ, государств, народов в союз всечеловеческий, в Интернационал Белый, революционно-преображенно-молнийно-белый,—в Церковь Христову Вселенскую“ (стр. 30—31).

В „пророчествах“ г-на Мережковского, между прочим, с необычайной ясностью выявляется истинная подоплека всех этих, прочих и подобных высоких и мистических упований на новое христианство и новую религию. Словечки „революционно-преображенно-молнийно-белая“ и т. д. ни в какой мере не скрывают чаяния и вожделений, продиктованных „борьбою классов“ и „гражданской войной“ „Абие, абие,— а выходит: бабие, бабие“. Мужик свергает большевиков, устанавливает мещанское буржуйское царство.

А чтобы подкрасить его, вдунуть в него подобие духовной жизни, г-н Мережковский призывает „революционно-преображенно-молнийно-белую новую церковь“.

В самом деле, что же противопоставить ненавистному III Интернационалу? Ведь Мережковский убедился уже, что западный буржуй—„окаянный“ и что он есть тоже—о, ужас!—большевик.

Мы склонны, однако, полагать, что словесные ухищрения выжившего из ума „пророка“ суть „словеса лукавствия“. Пустые фразы, словесные хлопушки,—не больше.

вых, Струве, Милюковых и Авксентьевых, а также и от магнатов западно-европейского капитала; порука тому: осторожная и гибкая политика, курс зигзаг, в достаточной мере выявившаяся со стороны Советской власти за последнее время.

Круг восточно-мистических взглядов особенно характерен для наших отечественных интеллигентских кругов. То, что на Западе только „при дверях", в России уже прошло „в буре и во грозе".

Большинство нашей интеллигенции не приняло и не поняло октября. Борьба кончилась пока победой не Антанты, а Советской власти. В результате крушений надежд на Антанту, Врангеля и Колчака в среде русской интеллигенции — невиданный разброд. В то время, как часть ее приспособилась и нашла в себе достаточно сил увидеть в большевизме нечто положительное, другая часть, — более значительная, — переживает полосу злейшей внутренней реакции. Теперь нет такого контр-революционного хлама, какой не подхватывался бы недавно народолюбивыми интеллигентами. Естественник занимается в свободное время столоверчением и усердно посещает церковь, правовед в любой момент готов создать 10 процессов Бейлиса, недавний демократ трактует народ, как хама и апокалипсического зверя, а осторожный политик всерьез повторяет слухи с Сухаревки и Смоленского рынка. Особенно сильно дает о себе знать возврат к грубому суеверию и мистицизму. Проповедь М. О. Гершензона о банкротстве разума и о великой русской душе, не в пример гнилому Западу, постигающей „тайнопись" вещей, идет по линии этих настроений. Не следует обольщаться революционной внешностью этой проповеди и тем, что сам Гершензон с пафосом пишет о наших днях: ныне новый мятеж колеблет землю: то рвется на свободу личная правда труда и обладания. Разумеется, это искренно и смело для вехиста Гершензона, но не это возьмут у него его читатели; возьмут они его мистику, его своеобразное славянофильство, его „углубленный" бергсонизм, и из рассуждений его сделают свои выводы, более последовательные, чем это сделает сам автор. И будут правы.

Гершензон пишет: „От пресмыкающихся произошли птицы; мое чувство — как некогда жжение и зуд в плечах, у амфибии, когда впервые зарождались крылья". К сожалению, это не так. Тут скорее более уместно другое сравнение. В одном из своих рассказов И. Бунин привел старинную индусскую легенду: „Ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны и ворон, томимый желанием, пал за ним и выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, далеко, туда, откуда нет возврата — и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет смерть и на который так быстро является она".

„Туша" современного империализма давно уже плывет, разлагаясь по волнам исторического океана. И преклонение перед волевой анархией и иррациональным, неверие в разум, искание выхода на Востоке — это скорее крики обреченных на гибель, сидящих на разлагающейся туше современного общества, отплывшей слишком далеко от берега.

Новому классу, идущему на смену отжившим, нет никакой нужды гасить светильник разума, искать выхода в иррациональном и возлагать свои упования на стихию русской первозданной души. Не менее Гершензона он знает, что современные культурные ценности прев[illegible]

тились в лохмотья, что они — ценности-фетиши, ценности-вампиры. В капиталистическом обществе, раздробленном, где каждый замкнут в своем индивидуалистическом мирку, не только товар фетишизируется, но и так называемые культурные ценности: ускользает их человеческий, общественный характер и они приобретают самоценное, абсолютное значение, живут как бы сами по себе, самодовлеющей жизнью. Отсюда теория: наука для науки, искусство для искусства, нравственность во имя нравственности, и т. д. Причины этого фетишизирования и идеализации давно уже выяснены школой Маркса и прежде всего им самим. Ясно также, что в развернутом социалистическом обществе культурные ценности, получив новое содержание, перестанут быть фетишами, ибо человек будет отчетливо сознавать их „человеческое, слишком человеческое" происхождение, их общественную значимость, их огромную, но служебную роль общественно-полезных факторов прогресса. Не человек для субботы, а суббота для человека. Тогда и личность человека перестанет чувствовать на себе гнет безликих, несметных, живущих якобы своею жизнью ценностей.

За дифференциацией знания человек не будет забывать общего объединяющего. И во имя „отвлеченностей" нельзя уже будет истреблять миллионы людей: венцом всего станет человек и мерою вещей всех. И все остальное будет почитаться подчиненным ему и подсобным.

Но для борьбы за это будущее — повторяем — не нужно, вредно, реакционно ставить примат иррационального над рациональным и искать исхода в восточной мистике. При помощи разума человек идет вперед и выше, преодолевая господство и власть пустого, нелепого случая. Скажем словами Глеба Успенского.

„Культурный человек — это человек, выгнанный из рая неведения, из рая, где всякая тварь служила ему под условием не касаться древа знания... Его выгнали в пустыню, в голую безжизненную степь, на полную волю. И в обиду за неправду, а также и в гордом сознании силы своего ума (ведь вкусил он от древа-то) он, вероятно, сказал, уходя из рая: так будет же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого. И вот, над созданием этого рая он и бьется несчетное число веков. Ему не служат твари — он сделал своих: локомотив его бегает лучше лошади; он выдумал свой собственный свет, который будет светить и ночью; он переплывает океаны в своих собственных умом выдуманных, ихтиозаврах-кораблях; он хочет летать, как летает птица... Будет у него собственный, выдуманный, взятый умом и волею рай". (Из разговоров с приятелями).

Сказанным, нам кажется, дается в основном ответ о преемственности и ценности культуры, поставленной в „Переписке из двух углов". Верно, что „сознательный пролетариат" стоит на точке зрения преемственности, но ему чуждо благоговение и тем более мистический восторг В. Иванова перед культурным наследием: слишком многие из „ценностей" обагрены кровью и в действительности повисли лохмотьями; но в равной мере для творцов будущего неприемлемо причудливое сочетание анархизма со славянофильством и мистицизмом у М. О. Гершензона. Не из мистического преклонения пред памятью предков и их работой Грядущее будет охранять культурное наследие Прошлого. Оно возьмет только то, что будет ему нужно и полезно, что будет жизненно. Оно сохранит знание, давшее человечеству аэроплан и другие чудеса техники; нетленными останутся творения Гете, Шиллера, Маркса, Пушкина, Толстого; но будет обречено на смерть

все, что привело человечество к позору наших лет: формальное политическое равенство без социального, парламенты, философский, религиозный и нравственный дурман, крайний индивидуализм и т. д. Как заботливая хозяйка, Грядущее просеет сквозь историческое сито все содержание нынешней культурной жизни, отделив полезное от вредного.

Все существующее достойно погибели, но никогда новое не рождается, как феникс из пепла.

В переписке Гершензон—это нужно в заключение отметить—выглядит более позитивно и реалистически настроенным, чем в цитированных нами ранее им выпущенных книгах. Если это не случайность, можно только приветствовать подобную эволюцию. Во всяком случае от „Вех" до жажды разрушения современной культуры, о чем мечтает Гершензон,—путь изрядный.

А. Воронский.

Новые вехи.

(О сборнике „Смена Века".)

Интеллигенция есть общественный слой, характерной чертой которого является то, что члены его—работники умственного труда.

То обстоятельство, что интеллигент — работник, казалось бы должно его сближать с другими работниками, с работниками физического труда, с пролетариатом. Но ряд обстоятельств мешает зачислить интеллигенцию в ряды пролетариата.

Прежде всего этому мешает то, что далеко не все интеллигенты являются наемными работниками. В качестве таковых работают учителя, низший медицинский персонал всяких больниц, фабрично-заводские и торговые служащие и т. п., но на-ряду с ними мы имеем такие категории интеллигенции, как адвокаты, врачи, живущие только своей практикой, литераторы и т. п. Они работают не по найму, а независимо от предпринимателя, получая вознаграждение за свой труд или прямо от того, кого они обслуживают, или от капиталиста, которому они продают не свою рабочую силу, а готовые плоды своего труда. Это сближает такие слои интеллигенции с ремесленниками, с мелкой буржуазией.

Пролетарии, рабочие физического труда, при капиталистическом строе неизбежно должны эксплоатироваться капиталом. Капиталистическое производство теряет смысл для владельцев фабрик и заводов, если они не будут выжимать из рабочих прибавочную ценность. Иначе остоит дело с интеллигенции Работник умственного труда не творит ценности, а в таком случае нельзя из него выжать и прибавочную ценность. Поскольку интеллигенция работает в области производства, ее назначение помочь капиталисту повышать производительность труда рабочих или выполнять такие вспомогательные функции, без которых невозможна работа такого громадного и сложного организма, как современное крупное капиталистическое предприятие. Увеличить путем поднятия техники производства и хорошей организации предприятия производительность труда рабочих, увеличить степень эксплоатации рабочих (главным образом, относительную прибавочную ценность)—такова роль интеллигента в капиталистическом предприятии. Конечно, капитал жестоко эксплоатирует широкие слои интеллигенции, интеллигентов, стоящих на низу лестницы. Но, во-первых, платя им ничтожное жалованье, он эксплоатирует их все-таки по-иному, чем наемных рабочих (не выжимает прямо из них прибавочной ценности, а только выделяет им слишком малую долю прибавочной ценности, выжатой из рабочих) а, во-вторых, такая эксплоатация вовсе не обязательна для

капиталиста. Капиталист охотно отказывается от всякой эксплоатации такого служащего, который оказывает ему большие услуги в деле эксплоатации рабочих. Более того, он охотно платит такому интеллигенту (инженер, адвокат и т. п.) громадное жалованье, делится с ним тем, что выжато из рабочего. Не даром Зомбарт называет интеллигенцию „слугами капитала".

А из этого следует, во-первых, то, что интеллигенцию не только нельзя зачислить в ряды пролетариата, но, наоборот, верхи ее по своим интересам близко подходят к буржуазии, а подчас и тесно сливаются с нею. А во-вторых, то, что интеллигенция не заинтересована так, как пролетариат, в уничтожении капиталистического строя, в основе которого лежит выжимание капиталистом из рабочего прибавочной стоимости. Борьба за социализм не является классовой задачей интеллигенции. Классовые интересы толкают рабочего на непримиримую борьбу за социализм. Если же интеллигент становится социалистом, то не из-за классовых побуждений, а приводится сюда совсем другими путями. Его приводит к социализму или наука или нравственное чувство, не позволяющее примириться с жестокой, безжалостной эксплоатацией капитала.

На известной ступени промышленного развития интересы интеллигенции тесно связаны с интересами капитала. Развитие капиталистического производства в стране знаменует повышение техники производства, для чего требуется много инженеров, техников, бухгалтеров и т. п. Развитие капиталистического производства ведет к возникновению целого ряда интеллигентских профессий, косвенно обслуживающих капитал (судьи, адвокаты и т. п.) и к усложнению государственной машины, к сильному развитию бюрократии, что доставляет интеллигенции широкое поле для приложения ее труда. С этой же точки зрения выгодна для интеллигенции завоевательная политика капитала: в покоренных странах интеллигенция находит для себя много выгодных профессий. Немудрено, что русская интеллигенция была поэтому такой ярой сторонницей империалистической войны, завоевания Дарданелл и т. п. До тех пор, пока капитализм идет по восходящей линии развития, интеллигенция стоит на его стороне, является верным „подданным" капитала.

Развитие капитала плохо мирится с голым, грубым самодержавием. Идеалом буржуазии является конституционный, парламентский строй. Интеллигенция со своей стороны не мирится с самодержавным, полицейским государством, которое грубо душит мысль (а интеллигент—работник в области мысли), которое боится просвещения, стремится держать народ в темноте и этим сокращает область приложения труда интеллигенции.

Немудрено, что интеллигенция пылко бросается в борьбу против самодержавия. В этом ею руководят групповые интересы. Но сил одной интеллигенции мало для этой борьбы. Для успеха ее она должна найти себе могучих союзников в среде многомиллионных масс трудового населения. Вся история русского революционного движения, поскольку оно питалось интеллигентской средой,—есть стремление найти себе таких союзников в среде то крестьянства, то пролетариата. Но чтобы увлечь эти слои, интеллигенты-революционеры должны выставить в своих программах требования, идущие гораздо дальше того, что требуется классовыми интересами самой интеллигенции. Крестьянству нужно взять землю у помещиков, и интеллигенты пишут на своих знаменах „Земля и воля" и „Черный Передел"; рабочим нужен социализм, и интеллигенты рядятся в красивые красные одежды револю-

ционного социализма. Для интеллигентов - революционеров, остающихся насквозь буржуазными революционерами, важно увлечь в борьбу трудовые массы, а во время революции они, сильные своими знаниями и доверием масс, сумеют обмануть эти массы, сумеют ограничить их революционную энергию, направить ее в русло чисто буржуазной революции. Так было в Западной Европе; так надеялась сделать революцию и наша интеллигенция.

В 1905 году пришла эта революция. Она дала кое-что (хотя и не все) для буржуазии и интеллигенции. С другой стороны, рабочие и крестьянские массы обнаружили во время революции, что они не ограничатся тем, что нужно буржуазии и интеллигенции, что они „всерьез" вступают в борьбу за землю и революцию. При таких условиях продолжать дальше революционную борьбу стало делом рискованным для буржуазной интеллигенции. Выгоднее было примириться на том, что дала революция 1905 года, перестать будить к революционной борьбе крестьян и рабочих и на почве завоеванного медленно, постепенно, осторожно „по малу, по полсаженки, низком перелетаючи" расширять права и власть буржуазии.

Раньше всех и яснее всех поняла опасность рабоче-крестьянской революции для буржуазной интеллигенции группа литераторов, раньше выступавших социалистами, а потом перекочевавших в лагерь правых кадетов. Эта группа в 1909 году выпустила сборник под заглавием „Вехи". В него входили статьи: П. Б. Струве, Бердяева, Булгакова, Гершензона, Б. Кистяковского, Изгоева и Франка. Этот сборник произвел в свое время на интеллигенцию глубокое впечатление.

Перестаньте быть революционерами, перестаньте играть с огнем. Трудовой народ не помирится на вашей революции; он захочет итти дальше. Власти над ним во время революции вы иметь не будете, ибо народ ненавидит вас. „Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом,—бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одними своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной" [1]). Таковы в коротких словах выводы авторов „Вех".

„Вехи"—это был манифест русской интеллигенции, уходившей от революции и социализма, примиряющейся с царским самодержавием, как только оно сделало буржуазии кое-какие уступки.

Весь сборник „Вехи" ярко проникнут ярко буржуазной идеологией. „Веховцы"—это был авангард русской интеллигенции, открыто переходящей в лагерь буржуазии.

Я уже говорил, что интеллигенции выгодно развитие крепкой, сильной, сложной государственной машины. Ей выгодна завоевательная политика государства, ибо все это расширяет поле приложения труда интеллигенции. Поэтому „веховцы" являются фанатическими сторонниками сильной государственной власти и „Великой России".

Это преклонение перед „великодержавностью" принимает у них яркий мистический характер.

Появление „Вех" вызвало смятение в рядах русской интеллигенции. „Веховцы" слишком откровенно и прямо поставили вопрос о переходе в буржуазный лагерь и о примирении с царизмом, и этим слишком рано и слишком откровенно раскрыли карты буржуазной интеллигенции. Не говоря о журнальных статьях, в ответ „Вехам" были изданы два специальных сборника: один — эс-эрами („Вехи, как знамение времени") и другой—кадетами („Интеллигенция в России"). Авторы обоих сборников, повидимому, резко опровергали веховцев.

[1]) Фраза из статьи М. О. Гершензона в „Вехах".

но — как это ясно показали последующие события — по существу были вполне согласны с веховцами. В самом деле, вся думская деятельность кадетов была прямым примирением с самодержавием. Во время войны вся русская интеллигенция, до меньшевиков включительно, энергично поддерживала империалистическую политику самодержавия. Перед февральской революцией кадеты употребляли все усилия, чтобы предотвратить эту революцию, а с самого начала революции и кадеты, и меньшевики, и эс-эры поставили своей задачей ввести революцию в чисто буржуазные рамки, защитить буржуазную собственность, довести войну „до победного конца" и помешать трудящимся стать у власти. После октябрьской революции кадеты, эс-эры и меньшевики дружно объединились с царскими генералами в борьбе против крестьян и рабочих, комбинировали свою работу с работой этих генералов, входили в состав коалиционных белогвардейских правительств, в которых главной движущей силой были прогнанные из имений помещики, бывшие фабриканты, бывшие царские министры и генералы. Война и революция резко, ребром поставили вопрос о классовой борьбе, толкнули и увлекли всю русскую буржуазную интеллигенцию на тот путь, который за несколько лет до этого указывали авторы „Вех". По дороге, обставленной этими вехами, прошла вся русская буржуазная интеллигенция—и кадеты, и эс-эры, и меньшевики — в лагерь помещичье-буржуазной контр-революции.

Все, что было в ее силах, делала интеллигенция в этой борьбе против русских революционных крестьян и рабочих. Она боролась против них забастовкой, а позже, с оружием в руках, она саботировала работу Советской власти, строила заговоры и т. п. Но все усилия ее были напрасны. Теперь она должна признать свое поражение в этой борьбе.

Поражение учит. Оно заставляет пересмотреть старые программы. Этим-то и занимается теперь русская интеллигенция на досуге за границей.

Особенно бурно происходит теперь этот процесс в рядах кадетской партии. Эта партия, пытавшаяся объединить в своих рядах и помещиков, и капиталистов, и интеллигентов, старавшаяся примирить интересы этих слоев и, обморочив трудовой народ, повести его за собой во время революции, естественно должна была скрывать свой классовый буржуазный характер. Она называла себя „внеклассовой партией". Но эта внеклассовая вывеска никого не обманула. Отсюда стремление у части кадетов, сохраняя свою классовую сущность, переменить вывеску, сблизиться на словах с крестьянством, чтобы попытаться опереться на наиболее кулацкие его элементы. Это—течение Милюкова. Не отрицая своей старой программы и тактики, Милюков находит только, что в настоящее время нужно изменить тактику борьбы, а для этого признать себя классовой демократической партией.

Эта „новая тактика" милюковцев вызывает резкий отпор в другой части кадетской партии, которая в борьбе против крестьян и рабочих еще теснее смыкается с буржуазно-помещичьими элементами. Резкая полемика, грызня, раскол, дробление на группы — вот чем характеризуется теперь жизнь потерпевшей поражение заграничной русской буржуазии и интеллигенции.

В этом процессе образования мелких партий и групп выделяется одно новое, очень интересное течение, представители которого выпустили недавно за границей сборник „Смена Вех" [1]).

---

[1]) «Смена Вех». Сборник статей Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Прага. Июль 1921 года. 183 стр.

„Итак, мы идем в Каноссу, т.-е. признаем, что проиграли игру, что шли неверным путем, что поступки и расчеты наши были ошибочны", — пишет один из авторов „Смены Вех"—С. С. Чахотин—в статье, носящей характерное название „В Каноссу".

„Домой! В Россию! С сознанием, что перестроить ее посветлее и попросторнее можно, только считаясь с главным строительным материалом —„с народом",—пишет второй автор, Ю. Н. Потехин.

Этими двумя цитатами характеризуется основная мысль книги.

Авторы старых „Вех" пролагали путь для интеллигенции из лагеря революции в лагерь контр-революции. Авторы новой книги хотят проложить новый путь, по которому интеллигенция должна вернуться к русскому революционному народу и дружно работать с ним.

Кто же такое эти новые веховцы? Что приводит их в ряды сотрудников Советской власти? Как они оценивают создавшееся положение? И какова судьба начинаемого ими движения?

Прежде всего заметим, что авторы книги — высоко квалифицированные интеллигенты. Трое из них (Ключников, Устрялов и Лукьянов)—профессора. Бобрищев-Пушкин — крупный адвокат. Даже известный фельетонист Александр Яблоновский, встретивший книжку злобной статьей в бурцевском „Общем Деле", озаглавил эту статью „Семь образованных мужчин". (Почему 7, когда в книжке только 6 авторов? — понять трудно. Очевидно, Яблоновскому надо было только хлестко выругать, и он не потрудился не только прочитать книжку и вдуматься в нее, но даже сосчитать число авторов и статей.)

До революции и во время ее хода до последнего времени ни один из авторов не был в рядах революционеров. Наоборот, они были яркими контр-революционерами. Проф. Устрялов был идейным вдохновителем Колчака в Сибири. Бобрищев-Пушкин сам рассказывает, как он перешел фронт и работал в рядах деникинцев.

Мало того: некоторые авторы книжки стремятся и сейчас доказать, что они были правы, что до сих пор нужно было бороться против большевиков и Советской власти. „Пока еще в начале революции, — пишет Ключников, — была надежда остановить революционный разлив,... нельзя было не стремиться укротить революцию... Но революция идет и идет. Растет. Ширится. Углубляется" (46).

„Спрашивается, должна ли русская интеллигенция раскаиваться теперь в своих прежних действиях,—спрашивает С. С. Чахотин и отвечает:—Нет, кажется нам, не должна, так как—по всему—она не могла поступить иначе, чем поступила" (161).

Даже становясь теперь на сторону революционного народа, авторы книги имеют очень странное понятие о революции. Для них русская революция—не проявление борьбы классов, а нечто мистическое. „Мистика подлинная и глубокая—не раскрывалась ли и не раскрывается теперь во всем, что создало из России страну Советов, из Москвы—столицу Интернационала, из русского мужика — вершителя судеб мировой культуры",—пишет Ключников (стр. 8). „Русская интеллигенция уловит начало мистического (курсив как здесь, так и в предыдущей фразе принадлежит Ключникову) в государстве, проникнется мистикой государства",—говорит он на стр. 30. По его мнению, русского крестьянина и рабочего толкали на революцию не классовые интересы, а „мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорбленных всего мира". Чисто по-русски — „пострадать" (40). Как близок этот язык к языку авторов „Вех".

Авторы „Смены Вех“ остаются типичными русскими интеллигентами. Они по-прежнему думают, что интеллигенция — соль земли, что революцию сделали не трудовые классы, а интеллигенция. „Во время революции, — по мнению г. Ключникова, обнаружилась не борьба психологических антитез и антиподов-большевизма и анти-большевизма, — а борьба разных типов и окрасок в лоне одного и того же интеллигентского большевизма“ (стр. 3). (Курсив мой. *Н. М.*) Русская революция, говорит он на стр. 32-й, есть отчасти „интеллигентско-русская революция“. Судьба революции всецело зависит от интеллигенции. „Пока существует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, революция в России не может быть изжита“ (стр. 33).

Авторы „Вех“ употребляли все усилия, чтобы увести интеллигенцию с пути революции на путь мирного сотрудничества с самодержавием, ибо этим надеялись обессилить в корне революцию. Авторы „Смены Вех“ идут в обратном направлении, но они также думают, что интеллигенция будет иметь решающее значение в революционной борьбе.

Авторы „Вех“ были буржуазными либералами. За буржуазным либерализмом они видели будущее. Авторы „Смены Вех“ тоже стоят пока на почве либерализма. Революция для них только предтеча либерализма. „Можно даже утверждать, — говорит г. Ключников, — что, переделывая все, великая русская революция впервые оказывается способной открыть пути для яркого и могучего русского либерализма“ (43).

Нечего говорить о том, что ни в каком социализме, а тем паче в коммунизме, авторы „Смены Вех“ не виноваты.

Авторы „Смены Вех“ являются типичными националистами, мечтающими о сильной крепкой власти и о Великой России. Русская революция, по их мнению, глубоко национальна, в ней сказывается „дух славянофильства“. „Россия должна остаться великим государством, великой державой“ (57). Они горячо мечтают о „воссоединении окраин с центром“ России. В своем национализме, в славянофильской отрыжке, в стремлении к великодержавности, авторы „Смены Вех“ стоят также на одной почве со старыми „веховцами“. Посмотрим теперь, как оценивают положение дел эти типичные, квалифицированные интеллигенты.

Когда началась русская революция? С прекрасных ли дней марта или с суровых дней октября?

Революция, это — могучее народное движение, когда народ проявляет свою волю, творит новую жизнь. Ничего этого в марте не было. Была кучка политиканов, которая хотела надуть народ. Эта кучка шумела и суетилась на политической арене. А неразобравшийся еще в обстановке народ „безмолвствовал“. „Мне кажется, — пишет Ю. Потехин, — что в 1917 году в России вовсе не было политической революции... Только в октябре народ сознательно воплотил свою волю. Брестский мир и Ленин являются единственными подлинными завоеваниями революции“ (стр. 171).

„На мартовской революции она (революция) остановиться не могла, — пишет Бобрищев-Пушкин. — Мартовская революция — жалкий полустанок, на котором стремительный курьерский поезд может стать лишь на две минуты, и затем несется дальше, до конечной станции. Совершенно естественно высшие классы остановились на мартовской революции: они от нее получили все, что им было нужно — политическую реформу. И совершенно естественно, классы, одинаково обездоленные при монархии и республике, пошли дальше — до октябрьской, до экономической, до настоящей революции“ (101—102).

„Октябрьская революция разрушила ту „политическую реформу“, которую дала мартовская революция. Но большую ли ценность пред-

ставляла эта реформа? Она дала парламентаризм и всеобщую подачу голосов. Но „где то время, когда В. Гюго пел вдохновенный гимн парламентской трибуне. Кто теперь верит, что всеобщая подача голосов выявляет волю народа“ (стр. 102). „Народные массы являются игрушкой в руках ловких политиков, достигающих всеобщим голосованием совершенно неожиданных для народа результатов. Для примера достаточно сослаться на наше Учредительное Собрание, оказавшееся явно неспособным выполнить свою миссию, явно несоответствующим воле народа, выбранным с явными злоупотреблениями и не поддержанное народом“ (103). — „Когда низшие классы не имеют средств, чтобы привлечь к защите своих интересов интеллигенцию достаточною оплатою ее труда, так что интеллигенция находится в материальной связи с богатыми и правящими классами, от которых зависит писатель, адвокат, ученый; когда самые низшие классы не обладают достаточным образованием, чтобы разобраться в сложной политической обстановке, намеренно перед ними извращаемой и маскируемой, когда они не обладают средствами, чтобы нанять зал, заплатить типографии за набор газеты, брошюры или афиши, так что на одно их собрание или афишу их противники отвечают сотнями из собственных помещений, собственных типографий, то получается крайнее неравенство в политической борьбе, и равноправие граждан оказывается глубоким лицемерием. Но самое важное — правящие классы никогда не стесняются созданными ими же политическими правами и так называемыми свободами, чтобы просто не подтолкнуть руку судьбы, когда она выбрасывает неугодные им карты на зеленый стол политики“. Но грянула октябрьская революция и „отвергается народом с иронией вся пышная либеральная идеология правового государства, украшенная роскошной живописью лучших интеллигентских умов. Все эти свободы хороши, но текли только по усам народа, не попадая в рот“ (стр. 109).

Критика убийственная. Мало к ней может прибавить и коммунист, но исходит эта критика от чистокровных интеллигентов, вчера еще бывших в рядах либеральной интеллигенции, от людей, боровшихся против революции, да и теперь, временами мечтающих о грядущем расцвете либерализма. Как только уживется их либерализм с этой критикой парламентаризма и буржуазных свобод?

Противники русской буржуазной революции обвиняют ее в том, что она разрушила культуру. Вот, что отвечает на это Бобрищев-Пушкин:

„Чтобы воскреснуть, культура должна умереть. В этом — ответ на вопли, что социальная революция разрушит культуру, что большевики разрушили ее в России. Не будем, чтобы не вызывать лишнего спора, говорить о том, что именно русская социальная революция проявила изумительно бережное и трогательное отношение к художественным ценностям, но твердо, как основную базу спора, выдвинем положение, что нельзя спора о культуре подменять спором о комфорте“ (111).

Здесь г. Бобрищев-Пушкин бьет русских белогвардейцев не в бровь, а в глаз. Для них культура — это действительно комфорт. Революция отняла у них их богатства, лишила возможности вести приятную, роскошную жизнь, и они ненавидят за это революцию. Вот, например, напечатанное в „Последних Новостях“ [1]) письмо из Петербурга какого-то „журналиста-демократа“.

---

[1]) Газета Милюкова, стремящегося теперь организовать крестьянско-кулацкую партию, которой руководили бы интеллигенты.

„Соболя, бриллианты, жемчуга, обнаженные плечи — да неужели же это существует не в мечтах, а в действительности? И вы смеете этим возмущаться? И вам не стыдно сюсюкать, что на одно манто могло бы прожить целое бедное семейство? Большевики вы несчастные! С такого вот сюсюканья и расползлась по земле вся наша коммунистическая пошлятина. Разве вам еще не ясно, что одни обнаженные плечи прекрасной женщины представляют в миллион раз большую абсолютную ценность, чем все бедные и несчастные семейства в мире?"

Большевики культуру не разрушили. „Но по неумолимым социологическим законам каждому крушению рабства предшествует упадок основанной на нем культуры". Так было и с буржуазной культурой, которая „перестала давать свои плоды уже с конца века". „Эта культура родилась в 1789 году, состарилась к концу XIX века и убита в великой европейской войне" (114).

Недостаток места мешает мне привести ряд других интересных цитат, касающихся вопроса о культуре.

Коммунистов упрекают в том, что они установили суровую диктатуру, убили все свободы. Вот, что говорит об этом Бобрищев-Пушкин:

„Что бы ни говорилось про коммунистическую диктатуру, нельзя отрицать, что народные массы таким строем местной жизни (советская децентрализация) привлечены к власти и работают в этих комиссариатах, управляя Россией". „С диктатурой, с суровой централизацией, без которой нельзя было бы и держаться в гражданской войне, своеобразно сочетается очень большая самодеятельность и автономия власти на местах, вышедшей из народа, ибо нельзя же думать, что коммунистов, „насильников", „ничтожной кучки" хватит на всю Россию" (116).

„Жаль, что интеллигенция, не оценив всего значения совершающегося на ее родине, уцепившись за отжившие демократические формулы, забастовкой отказала в своем сотрудничестве России именно тогда, когда оно было наиболее ценно. Сколько эксцессов было бы смягчено и устранено, столько крови не было бы пролито". „Можно, однако, даже при все извратившей забастовке интеллигенции, с уверенностью сказать, что советский строй, сравнительно с парламентаризмом —шаг вперед, ибо устраняет экономическое рабство"... „Каков ни есть этот строй, он нравственно сильнее своих противников". „За ним будущее, а они стремятся повернуть колесо истории" (117).

Советская власть была вынуждена на суровую диктатуру: „Вся доза свободы, которая была первоначально предоставлена интеллигенции, все время была использована для того, что юридически называется стремлением к низвержению существующего государственного строя. Какое правительство потерпело бы это? А советское терпело долго и, наконец, пришло к заключению, что примирение безнадежно, что ни на что другое, кроме борьбы с Советской властью, интеллигенция свободы не обратит. Тогда со свободой было покончено. Долго шло колебание между террором и идиллией, такое характерное для революции вообще. Непримиримость интеллигенции и начавшаяся гражданская война уничтожили совсем идиллию и совсем разнуздали террор" (118).

Вопроса о диктатуре касается и другой автор — Ю. Потехин. „Только диктатурой,— говорит он,— можно властвовать в первый период революции. Только диктатурой можно сковать анархию и потенциальные возможности революции облечь в определенные формы государственности. В этом объяснение того, что большевики у власти удержались" (179).

Большевики лишили буржуазию тех свобод, которыми она пользовалась для борьбы против Советской власти. Но буржуазия, стоя у власти, всегда стесняет свободу трудящихся. „Дорожат ли вообще,— спрашивает Бобрищев-Пушкин,— правящие классы свободами не для себя — для низших классов, дорожат ли легальностью борьбы. Вспомните фразу Ольденбурга на Национальном съезде [1]): „Русское общество не должно рассчитывать на свободу, когда Россия восстановится. Еще, может быть, будет дана та доза свободы, которая была при Александре III, но речи не может быть о свободе, которой оно пользовалось в довоенное время". Итак, вот та „свобода", которую обещает русская контр-революция в случае своей победы.

Революцию упрекают за казни. А вот, как характеризует деятельность деникинцев Бобрищев-Пушкин:

„Первым моим впечатлением, когда я перешел фронт, готовый молиться на добровольцев и их трехцветный флаг, были рассказы офицеров, хваставшихся пытками, которым они подвергали пленных, и количеством расстрелянных" (119). „И какая партия теперь согласилась бы, принимая власть, отменить смертную казнь". Это было бы, говорит он далее, „наивной маниловщиной".

Русская пролетарская революция дерзко нарушила „священное" право собственности. В глазах контр-революции — это величайшее преступление революции.

А вот, как отвечают на это авторы сборника „Смены Вех".

„Или, действительно, можно трон разрушить, но не банки! Пишите против Бога — конечно, никакой революции. Пишите против властей — оппозиция. Пишите против капитализма — опаснейшая революция, каждое слово наливается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. Политическая революция в них не попадает. Разрушающая существующую собственность революция, попадая в цель, одна является настоящею. И именно потому, что она по-настоящему ранит, от нее кричат по-настоящему. Но разве меткость — преступление? Если „на земле весь род людской чтит один кумир священный", то для революции само собою напрашивается тактика — ударить именно в этот кумир и с победной улыбкой слушать растерянные вопли и проклятия его огорченных жрецов. Пусть они, мистически возводя очи к небу, называют посягнувших на такую святыню сынами дьявола или сводят всю великую революцию к украденным серебряным ложкам. Революции им не опошлить — они расписываются лишь в узости и пошлости своего кругозора. Не краденым пользуется русский народ, а взятым.

„Взятым по праву — не по праву собственности, основанному на таких мутных источниках, а по праву вековых страданий, векового рабства и труда. Или делать революцию, или не делать. Как можно было думать, что народные массы возьмут власть в свои руки, оставив дворцы, банки, общественные помещения, типографии и все накопленные на народном поте богатства в прежних руках? Черный передел был неизбежен при захвате государственного аппарата. При ломке всех социальных отношений неизбежна была ломка всех прежних прав... Для социальной, экономической революции это было первой задачей" (127—128).

Коммунистов называют кучкой насильников, которые держатся только благодаря штыкам, благодаря Ч. К. и насилию. Неправда, отвечают авторы „Смены Вех".

[1]) Ольденбург — правый кадет. Национальный съезд состоялся летом 1921 года.

„Вопреки утверждениям эмигрировавших публицистов, народ, часто резко критикуя Советскую власть, проявляя свое недовольство ею, все же смотрит на нее, как на свою родную и смел всех, шедших на нее походом — и отчего за всю историю парламентов не было ни одного, за который народ бы заступился, кто бы их не разгонял. Советская же власть для народа—своя, понятная даже при ее ошибках, эксцессах, произволе, притеснениях... С ней у него общий язык, если хотите товарищество. Его недовольство, местные восстания, все его свары с Советской властью—семейное дело. Ведь в семье подчас летят друг другу в голову горшки и ухваты. Но никого другого на смену Советской власти народ в Россию не пустит и тщетно мечтают, внимая рассказам интеллигентных беженцев, парижские москвичи: „Нас призовут“ (128).

Но русская революция и выдвинутая ею Советская власть сильны не только тем, что сумели крепко, прочно привязать к себе трудовой народ. Второй источник их силы состоит в том, что на их стороне рабочие всего мира. „Россия, изнуренная и голодная, теперь стоит в сознании народных масс всего мира на небывалой высоте. Прежде страшилище для народов, оплот всех реакций, международный жандарм, она теперь ожидаемая всеми народными массами освободительница. Это факт несомненный, которого не может отрицать ни один добросовестный наблюдатель настроений народных масс в любой европейской стране“ (131).

Авторы „Смены вех“, все еще продолжающие стоять одной ногой в лагере буржуазного либерализма, должны, однако, признать, что народные массы всего мира любят не только Советскую власть, но и партию коммунистов. „Коммунисты, — признается Бобрищев-Пушкин, — являются знаменосцами будущей жизни, трубачами объявленной социальной борьбы. За это их ненавидят, за это их любят. За это ненавидят и любят Россию, ставшую во главе того лагеря, которому суждена победа, ибо он—будущее, а официальная Европа—прошлое. И с востока вновь сияет свет. Русский народ „в рабском виде“, в муках неисчислимых страданий, несет своим измученным братьям всемирные идеалы и за них любим“ (148).

При таких условиях Советская власть в России так сильна, что она и только она одна—могла создать в России Красную армию и крепкую власть.

„Испытания последних лет,—пишет бывший колчаковец, профессор Устрялов,—с жестокой ясностью показали, что из всех политических групп, выдвинутых революцией, лишь большевизм... смог стать действительным русским правительством, лишь он один по слову К. Леонтьева „подморозил“ загнивавшие воды революционного разлива и подлинно:

Над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию вздернул на дыбы.

Будущее России,—говорит Бобрищев-Пушкин,—„в крепких, сильных руках, а не в жалких руках тех деятелей, которые оказались недостойными власти и которые цепляются за нее без права, потому что для права на власть необходимо быть сильным“ (146). „У русской государственности сейчас две трудные задачи—те, которые стоят перед всякой государственностью: сдерживать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри натиск анархических, центробежных сил. Справляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит, она настоящая государственная власть. Поддерживают ли ее противники—

эти обе антигосударственные силы? Поддерживают. Значит, они являются противниками русской государственности" (146—147).

А вот характеристика Красной армии:

„По статьям белых социалистов Красная армия далеко не плоха. Она доказала это многими упорными кампаниями и боями, например, в ледяной воде у взятого в три дня неприступного Перекопа... Если бы она не была боеспособна, с ней легко бы справились: Деникин был бы в Москве, а Пилсудский—в Киеве. И кичливые уверения, что достаточно одной регулярной дивизии, чтобы гнать ее, той же пробы, как уверения о скором падении Советской власти".

Западно-европейские государства не признают Советской власти. „Признают или не признают,—говорит Бобрищев-Пушкин, а трехмиллионной армии все-таки нет ни у одного европейского государства. Этого уж не признать нельзя" (144).

Громадные заслуги Советской власти перед народом, проистекающая отсюда крепкая связь с ним и горячее, все более растущее, действенное сочувствие к русской революции пролетариата всего мира привели к тому, что Россия отбила все натиски белогвардейских генералов и поддерживавших их империалистов Запада. Теперь борьба окончена. Все карты белогвардейщины биты. Победа русской революции вполне определилась. Дальнейшая борьба против революции бесполезна и бессмысленна.

На всем протяжении книги авторы ее часто и настойчиво повторяют эти положения. Приведем несколько цитат.

„Гражданская война проиграна окончательно. Россия давно идет своим, не нашим путем. Кризис кончился. Положение определилось. Или признайте эту ненавистную вам Россию, или оставайтесь без России, потому что „третьей России" по вашим рецептам нет и не будет" (91).

Гражданская война кончена, „потому что невозможна интервенция[1]) и потому, что белой армии не существует. Пока есть лотерейный билет, можно надеяться выиграть. Нет билета, нет и надежды на выигрыш. Мы тщетно бы искали во всяких статьях и речах ответа на вопрос: какою механическою силою может быть свергнута Советская власть по мнению ее противников". „Прежде тут были реальные возможности: интервенция, белая армия. Они отпали. Не может быть надежды на интервенцию после определившейся позиции рабочих и солдат любой страны—после одесского возмущения французских солдат, отказа рабочих грузить снаряды для Врангеля и для поляков, позиции английской рабочей партии и т. д.".

Некоторые контр-революционеры надеются на взрыв извнутри, на свержение большевистской власти путем восстаний крестьян. Мы уже видели, что авторы сборника называют эти восстания семейными ссорами Советской власти с крестьянами. „Проклинайте эту подлинную деревню, как исчадие тьмы,—говорит Бобрищев-Пушкин или смотрите на нее, как на будущую творческую силу, но оплота для переворота в пользу парламентаризма и демократии в ней нельзя никак усмотреть.

Да и что может дать свержение Советской власти, если бы оно даже и удалось. Ничего, кроме несчастья, анархии, разорения и гибели России. Интервенция бывших союзников? „Но разве не показали они всей своей политикой, что их главная забота—приспособиться к факту

[1]) Мы только излагаем содержание сборника «Смены Вех». Со многими положениями ее согласиться мы не можем. В частности, по вопросу об интервенции мы думаем, что попытки интервенции далеко еще не прекратились. Но мы также думаем, что оканчиваться они будут победой Советской власти.

отсутствия России в сонме великих держав... Франция, усердно поддерживающая врагов России и ведущая политику расчленения России, думает лишь о том, как бы вернуть следуемые ее мещанам миллиарды" (154). Успех интервенции дал бы страшные плоды. „Россия превратилась бы в колонию, в свалку плохо лежащих богатств, которых не в силах были бы защитить вернувшиеся чудом из-за границы в Россию к власти обанкротившиеся правители".

Внутри страны в случае падения Советской власти, наступит хаос, анархия. „Другой власти быть не может — никто ни с чем не справится, все перегрызутся. Относительно того, что никто ни с кем не справится, дало предметный урок Временное Правительство, составленное из самых лучших популярных лидеров всех либеральных партий, из лучших людей интеллигенции. Относительно того, что все перегрызутся, дала предметный урок эмиграционная политическая свара. Одна Советская власть, против которой были: всемирная коалиция, белые армии, занявшие три четверти русской территории, внутренняя разруха, голод, холод и увлекавшая Россию в анархию сила центробежной инерции,—сумела победить все эти исторически беспримерные затруднения" (100).

Кто может притти на смену большевикам? Наша белогвардейская эмиграция. Но это—враги России, радующиеся ее страданиям. „На берегах Босфора, в гостеприимных славянских странах, в шикарных залах отеля Мажестик в Париже русские смакуют вести о холере, о голоде в России, обсасывают сладострастно миллионные цифры гибнущих и к ужасным фактам любовно добавляют еще более ужасный вымысел" (160). Духовно гниет интеллигенция, находящаяся за границей. „Общность беженства, общность предшествовавших ему переживаний наложили на эту часть интеллигенции тяжкую... печать духовного отчуждения от родины, заразили ее психологией чисто буржуазной. Притом психологией буржуазии специфически русской—жадной, но ленивой, не привыкшей к самодеятельности и трусливой. Все отдавшей и бежавшей при опасности: мечтающей вернуться, чтобы все потребовать обратно, когда опасность минует".

„Когда большевиков не будет, высчитывает промышленник и определенно заявляет: мы должны быть на фабриках полными хозяевами" (171).

Может быть на смену большевикам могут притти и спасти Россию эс-эры, меньшевики и прочие „умеренные социалисты"? Вот характеристика этих людей, которую дает профессор Ключников.

„Непрактичные, недисциплинированные, хаотичные по натуре и по историческому воспитанию—такие, каковы они есть, они призваны лишь поддерживать русский хаос и русское государственное разложение" (26). „С их помощью нельзя ни автоматически управлять массами, ни увлекать их, ни подчинять их. При их господстве не может быть ни революции, ни контр-революции, ни тем более искомого ими среднего. Сплошное ни то, ни се. Какие-то Буридановы ослы в роли вершителей исторических судеб" (25).

„Заметив, что революция отвертывается от них, они обиделись на нее... Испуганные тем, что революция все более и более устремляется влево, они машинально бросились вправо и очутились в радостных объятиях своих недавних противников: промышленников, помещиков, генералов. Одним, как Бурцеву и Алексинскому, новая кампания пришлась вполне по душе и теперь они не всякого еще генерала допустят к себе. Другие то-и-дело разыгрывают сценки и трюки из старинных водевилей: поцелуются и тут же плюнут—опять поцелуются

и опять плюнут. А ведь все-таки целуются". „Их программы давным давно потеряли всякий революционный привкус и превратились в одно из многих революционных недоразумений... Их песня спета еще 27 октября 1917 года" (43—44).

„Поэтому: нет никого, кто был бы в состоянии взять в свои руки после большевиков тяжкий меч власти" (98).

Из всего этого анализа положения, который мы привели возможно полнее, хотя далеко-далеко не исчерпав имеющегося в книжке материала, авторы ее делают вывод: „Пока эмиграция гадает, скоро ли погибнет Советская власть, Советская власть может рассчитать довольно точно, скоро ли погибнет эмиграция. Вырванные с корнем из родной земли растения не могут не засохнуть... Вся такая эмиграция погибнет в несколько лет, если не воссоединится с родиной" (93). Интеллигенция должна примириться с Советской властью. „Еще осталось немного времени для мира... А после окончательного распада эмиграции Советской власти и мириться будет не с кем... Мир нужен ей (интеллигенции), а не России. Россия уже справилась" (143).

И находящаяся в России интеллигенция много виновата в разрухе России. Ее вину, по словам Ю. Потехина, составлял „саботаж, а затем сотрудничество чисто пайковое, работа, насквозь проникнутая психологией лени и распущенности" (170).

Поэтому, говорит С. Чахотин: „Мы не боимся теперь сказать: Идем в Каноссу. Мы были неправы. Мы ошиблись. Не побоимся же открыто и за себя и за других признать это" (159).

„Домой. В Россию. С сознанием, что перестроить ее посветлее и попросторнее можно только, считаясь с главным строительным материалом—„народом",—говорит Ю. Потехин.

А в России жизнь открывает „широкие ворота для практической работы на пользу России".

Итак, авторы сборника признают свои прошлые ошибки и идут на примирение с революцией, с Советской властью, с большевиками. Но они идут еще дальше.

Говоря местами по старой либеральной привычке о будущем расцвете либерализма, они в то же время начинают признавать и мировую социалистическую революцию. Мы привели пару выписок, где ярко выражается мысль, что мы переживаем теперь великую социалистическую революцию, которая победоносно обойдет весь мир.

* *
*

Выше отмечено, что авторы „Смены Вех", подобно всей остальной контр-революционной интеллигенции, во многом стоят еще на почве старых веховцев. Психология старой интеллигенции, которая после революции 1905 года перешла в лагерь буржуазии, ею еще не изжита. А между тем теперь часть этой интеллигенции начинает прокладывать новые вехи на пути, по которому интеллигенция должна уйти из лагеря буржуазии в лагерь революции, социализма. В чем причины этого нового явления, этого нового перехода?

Мы указали выше, что в период восходящего движения капитализма, в то время, когда он развивает производительные силы общества, интересы интеллигенции совпадают с интересами буржуазии, ибо каждый шаг по пути развития капитализма расширяет сферу приложения труда интеллигенции.

Теперь мы видим не то. С трудом, окончив три года тому назад мировую войну, буржуазия никак не может наладить экономическую жизнь. Промышленная жизнь всего мира замерла. На почве, истощен-

ной войной, вспыхнул жестокий промышленный кризис, конца которому не видать. Производительные силы всех стран мира не развиваются, а сокращаются. Армия безработных растет. Фабрики и заводы закрываются. Поле приложения труда интеллигенции сокращается.

Летом мы видели грандиозную всеобщую стачку горнорабочих всей Англии, бастовавших более трех месяцев. За то же время и позже был ряд стачек углекопов в Германии (Силезия), во Франции, в Польше и т. д. Казалось бы, запасы угля должны были истощиться и начаться бурный подъем угольной промышленности. А в действительности теперь, перед наступлением зимы мы видим, что в Англии опять громадный избыток угля; мы видим, что английские угольные шахты закрываются.

Непрерывная волна забастовок во всех отраслях промышленности обходит весь мир. Производство сокращается, а конца кризису не видать конца. Сокращается всюду торговля, сокращается вывоз товаров.

Так же плохо обстоит дело и в области политической. Мировая война окончилась, но она создала ряд новых конфликтов, которые приводят к ряду нескончаемых новых войн. А впереди опасность новой неизбежной мировой войны, которая разорит мир еще сильнее.

Капитализм не может справиться со всеми этими трудностями. Он завел мир в тупик, из которого один выход—пролетарская революция. Дальнейшее существование капитализма ведет не к развитию, а к сокращению производительных сил, не к расширению, а к уменьшению арены применения труда интеллигенции.

Капитализм вступил на нисходящую линию своего развития, и на этой линии интересы интеллигенции перестают совпадать с интересами буржуазии. Интересы интеллигенции влекут ее к тому классу, который в силах построить новое общество, в силах поднять падающие производительные силы, снова расширить поле для применения труда интеллигенции.

Пролетариат, стоящий во главе Советской власти, поставил перед революцией в этом отношении великие цели. Он хочет довести до небывало высоких размеров образование народа, организовать широкую медицинскую помощь, национализировать все производство. Для выполнения всего этого нужны громадные силы интеллигенции. Только разруха да уход интеллигенции от работы мешают революции выполнить свои задания.

Правильно понятые интересы интеллигенции должны привести ее теперь из стана погибающей буржуазии в лагерь победоносной революции. Этот переход и намечают своими вехами авторы сборника „Смена Вех“.

Я отмечал выше, что авторы этого сборника во многом стоят близко к идеологии старых веховцев. И эта близость в некоторых пунктах помогает им—как это ни кажется парадоксальным—новый переход [1]).

Для интеллигента-западника непереварима мысль, что темная, нищая Россия по пути к социализму оказалась впереди просвещенных стран Запада. Всю жизнь они привыкли думать, что свет шел, идет и долго еще будет итти с Запада. Оттуда же могла притти и революция. А от авторов нового сборника сильно пахнет славянофильством. Для них приемлема мысль, что свет революции может засиять на Востоке. Так они и говорят: „С Востока свет“.

Трудно понять горделивому уму интеллигента, как рабочие и крестьяне без их просвещенного руководства могли совершить революцию, построить новую государственную машину, четыре года отбивать натиск, в котором объединились силы интеллигентов, сильных

---

[1]) От редакции. Редакция оставляет за собой право иначе подойти к этому интересному и сложному вопросу.

своими знаниями, генералов и офицеров с их знанием военного дела и буржуазии всего мира, усердно помогавшей контр-революции своими богатствами, своей промышленностью, своей техникой. Для интеллигенции—это явление непонятное, мистическое. И авторы нового сборника склонны к мистике. Тот мистический туман, которым они одевают революцию, помогает им помириться с нею.

Веховцы были националистами. Это было националистическое крыло русской интеллигенции. Авторы „Смены Вех" сохранили в значительной степени свою националистическую окраску.

Советская власть мужественно, геройски защищала Россию от натиска иностранного капитала, стремившегося превратить ее в колонию. Советская власть борьбой своей достигла того, что сгруппировала вокруг своего знамени, вокруг изолированной, разоренной России рабочие массы всего мира. Она достигла того, что оружие, направленное в грудь советской России, ломается при одном соприкосновении с ней или даже обращается против того, кто его направил. Никогда еще Россия не пользовалась такой любовью и уважением в рядах трудящихся всего мира.

Эта сторона деятельности Советской власти привлекает внимание националистически настроенных авторов „Смены Вех". Им кажется, что вся политика Советской власти националистична, что Россия превращает даже III Интернационал в свое орудие. „Проходит пора, когда Россия служила целям III Интернационала",—пишет Ю. Потехин. „III Интернационал начинает быть сильным орудием в достижении национальных целей России. Нигде это не выразилось так отчетливо, как на Востоке... Русское влияние в Малой Азии, Персии, а отчасти и в Индии, русская радиостанция и русские военные инструктора на „крыше света" в Афганистане — реальный факт, крупное достижение России".

Еще оригинальнее выражается национализм у Н. В. Устрялова, который пишет:

„Над Зимним Дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается Красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую исторически-национальную святость, древние куранты играют Интернационал". Это, конечно, коробит национальное чувство наших великодержавников и националистов. Но Устрялов говорит, что у него в душе невольно рождается вопрос:

„Красное ли знамя безобразит собой Зимний дворец или, напротив, Зимний дворец красит собой Красное знамя. „Интернационал" ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота или Спасские ворота Кремлевским веянием влагают новый смысл в „Интернационал" (56).

При таком понимании одна из главных заслуг Советской власти и революции состоит в том, что они подняли славу, престиж и влияние России.

Поэтому „наши внуки на вопрос „чем велика Россия", — по словам Устрялова,— с гордостью скажут: Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русским Петром Великим и великой русской революцией" (56).

Наоборот, русская контр-революция все время пресмыкалась перед Антантой, она предавала ей Россию. Во время войны, благодаря Врангелю, Польша избежала поражения. Этого наши национал-большевики не могут простить контр-революции. Если бы контр-революции удалось бы, говорят они, то „Россия превратилась бы в колонию. в свалку плохо лежащих богатств" для победивших ее хищников мирового империализма. „Русская эмиграция,— говорят они,— стала

рабой всякого стоящего хотя бы на низших ступенях иноземной власти — солдата, бьющего ее на улицах Константинополя, надсмотрщика в африканской пустыне, любого, издевающегося над ее хлопотами о визах наглеца и канцелярин".

Буржуазная интеллигенция была националистична, она вздыхала по крепкой сильной власти, по Великой России, ибо в период капитализма это было нужно ей в ее классовых интересах. Она шла за буржуазией, за контр-революцией, пока думала, что те могут обеспечить такую роль и такое положение для России. Но буржуазия пришла в эпоху упадка: она бессильна, она предает и унижает Россию, и Советская власть делает Россию сильной, и имя ее славным. Это и побуждает национал-большевиков уходить от контр-революции к Советской власти.

Есть французская пословица: „On a les défauts de ses qualités". Достоинства имеют свои недостатки. По отношению к авторам „Смены Вех" пословицу эту надо перевернуть. „On a les qualités de ses défauts". Их недостатки имеют достоинства. Национализм, стремление к великодержавности, отрыжка славянофильства — все это их отрицательные качества, их недостатки. Но они-то и помогают им уйти из лагеря контр-революции. Они делают из них пролагателей вех для этого перехода. Их можно назвать национал-большевиками.

Национал-большевики уходят из лагеря буржуазии. Но они еще не ушли окончательно оттуда. Одной ногой они все еще стоят в буржуазном лагере. На одной странице они превозносят Советскую власть и коммунистов, на другой—вскользь, иногда, ругают последних. В одном месте они говорят, что наша революция — социалистическая революция, что она победоносно обойдет весь мир, что буржуазная культура уже рухнула. В других местах они предвидят в будущем яркое развитие либерализма, говорят, что задача революции — „преодолеть коммунизм".

В книге читатель найдет много противоречий. Их источник — промежуточное положение авторов книги. Они ушли из одного стана, но не пристали еще к другому.

Жизнь учит национал-большевиков. Под влиянием ее уроков они уже проделали крупную работу переделки своего миросозерцания. Жизнь будет продолжать учить их. Уйдя из буржуазного лагеря, они перестают подвергаться его влиянию. Они приблизились к пролетарскому стану, и его влияние будет расти. Надлом в их старом миросозерцании слишком велик. Эту трещину не замажешь. Наоборот, она будет расти, шириться, углубляться.

С другой стороны, буржуазные пережитки их миросозерцания делают их более понятными для интеллигенции, которая сама страдает теми же недостатками. Эта интеллигенция неспособна вступить сразу в лагерь коммунизма, но она может занять промежуточную, более ей понятную позицию авторов „Смены Вех". Поэтому национал-большевики будут оказывать на интеллигенцию глубоко разлагающее влияние. Все новые и новые отряды интеллигенции будут уходить из лагеря контр-революции и пойдут по пути, который авторы книги обставляют теперь своими вехами.

Если бы авторы „Смены Вех" не имели указанных выше недостатков, если бы они сразу выступили коммунистами, то единственным результатом этого было бы то, что в лагере коммунистов прибавилось бы несколько талантливых людей. Их книга имела бы только литературный интерес. Теперь же ее значение большее. Теперь она представляет крупное не только литературное, но и политическое явление.

Н. Мещеряков.

Раскол партии кадетов.

В июле 1921 года в столице буржуазной Франции было официально объявлено о расколе главной партии русской буржуазии — „партии народной свободы" (кадетов). Какие причины привели к расколу? Каково его общественно-политическое значение с точки зрения интересов пролетариата?

I.

— „Что делать после крымской катастрофы?" Этот вопрос был поставлен парижской группой кадетов 21 декабря 1920 года — месяц спустя после изгнания Врангеля из Крыма. В записке, составленной П. Милюковым и получившей затем характер „основного документа", прямо ставился на обсуждение всей партии вопрос о „пересмотре тактики партии народной свободы". С своей стороны парижская группа на основной вопрос: что делать?— отвечала следующим образом.

Примирения с большевизмом быть не может. Но борьба с ним „не может продолжаться в прежних формах. Уже одна перемена обстановки борьбы диктует коренной пересмотр тактики". Прежде всего необходимо учесть ошибки прошлой борьбы. „Недостатки в руководстве этой борьбой... постоянно повторялись, несмотря на смену военных вождей, и роковым образом приводили всякий раз к одной и той же печальной развязке". К чему сводились эти ошибки и недостатки? Парижская группа формулировала их еще 20 мая 1920 года. Неудачу Деникина она объяснила тем, что, помимо промахов военного командования, „совершены были четыре роковые политические ошибки". Какие это ошибки?

> „Попытка перерешить аграрный вопрос в интересах поместного класса оттолкнула крестьянство. Возвращение старого состава и старых злоупотреблений военно-чиновной бюрократии оттолкнуло остальные элементы местного населения и местную интеллигенцию. Узко-националистические традиции в решении национальных вопросов оттолкнули боровшиеся с большевизмом окраинные народности. Преобладание военных, а отчасти и частных интересов помешало во-время восстановить правильное течение экономической жизни".

Прочтя эти запоздалые откровения г.г. кадетов о сущности и программе деникинщины, каждый честный гражданин может сказать:

была ли хоть капля преувеличения в рассуждениях большевиков о Деникине? Он шел под знаменем учредилки—„демократии“ и „свобод“. За пустой демократической фразой мы видели и указывали массам действительную программу капиталиста и помещика. Мы не ошиблись ни на йоту. Когда господа Милюковы нашли нужным сказать правду,—они подтвердили наши заявления.

Итак, в лице Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича на трудовую Россию шли капиталист, помещик, реакционный бюрократ, „зоологический“ националист. Господа Милюковы целиком были с этой доблестной черной ратью. Но рать эта разбита, и Милюков задумывается над вопросом: что сие означает, почему, несмотря на мощную поддержку мирового капитала, случилось поражение? Ответ получается замечательный:

> „Неудача фронтовой борьбы есть, в весьма значительной степени, неудача того социального слоя, который взял в свои руки руководство борьбой и, сознательно или бессознательно, придал ей определенную политическую окраску. Привычки и методы старого правящего класса должны быть заменены теперь методами новой демократической России“.

Из ценного признания, что „неудача фронтовой борьбы есть... неудача социального слоя“, г.г. левые кадеты выводят необходимость „новой“, „демократической“ тактики в борьбе с большевизмом. Однако, вывод напрашивается другой.

В самом деле. Авторы записки сказали полу-правду. В „фронтовой борьбе“ потерпели неудачу капиталисты, помещики, старые бюрократы. От кого потерпели они неудачу? Кто стоял против капиталиста, олицетворявшего „частные интересы“? Кто боролся против „поместного класса“? Рабочие и крестьяне! Они—победители, они разбили в открытой борьбе буржуазно-помещичий „социальный слой“. Они заменили сами „привычки и методы старого правящего класса“ новыми „привычками и методами“, они строят новую Россию, на новом фундаменте. Исторический спор решен, по крайней мере для ближайшего времени. „Неудача фронтовой борьбы“ есть неудача буржуазно-помещичьего блока и победа рабоче-крестьянского блока.

На что же рассчитывают, в таком случае, сторонники новой тактики? На кого они думают опереться в борьбе с большевизмом? Во имя чего должна вестись теперь эта борьба?

Прежде всего сторонники новой тактики мало рассчитывают на вмешательство извне. Правда, после „крымской катастрофы“ „большевизм окончательно стал проблемой международной“. Но „европейские государства только в случае исключительной и реальной опасности со стороны большевиков сделают отсюда практические выводы“. Воевать для нашего спасения с большевизмом европейская буржуазия не может, она слишком занята своими внутренними делами, она слишком сильно чувствует давление собственного рабочего класса. Поэтому в борьбе с большевизмом нужно, главным образом, рассчитывать на внутренние российские силы—прежде всего на крестьянство. Так рассуждает г. Милюков.

Этим определяется его отношение к армии Врангеля. Он говорит, что „мало вероятности, чтобы для эвакуированной армии мог немедленно представиться достойный случай применения ее сил“. Он думает, что „армия не может сохраниться на чужеземной

нейтральной территории, как организованная боевая сила". Что же сделать с остатками армии? Ответ Милюкова и его друзей не отличается определенностью:

„Вооруженная сила, конечно, может понадобиться в дальнейшей борьбе с большевизмом; но это употребление должно быть поставлено, как частность, в зависимость от нового общего плана и никаким образом не должно стоять в преемственной связи с закончившимся периодом борьбы".

Милюков хочет ориентироваться на крестьянство. Армия Врангеля—армия воинствующих капиталистов и помещиков, армия воинствующей реставрации. Милюков полагает, что эта армия „может понадобиться"; но он не хочет, чтобы ее использование было связано с именем Врангеля и других представителей „поместного класса".

Скептическое отношение к армии Врангеля было первым словом „новой тактики". Следующий шаг—„равнение налево", соглашение с эс-эрами.

21 ноября 1920 года парижская группа кадетов выступила с призывом о создании „национального комитета", в целях образования единого антибольшевистского фронта. На призыв откликнулась группа правых эс-эров—Авксентьев, Бунаков, Керенский, Минор и другие. От „национального комитета" эс-эры отказались, зато предложили созыв совещания членов Учредилки. Кадеты охотно отказались от формы, ухватившись за сущность.

В начале января 1921 г. в Париже состоялось совещание членов Учредилки. Из видных эс-эров присутствовали: Чернов, Керенский, Зензинов, Авксентьев, Бунаков, Брешковская, Минор, Руднев, Шрейдер и др. Кадеты были представлены в лице Милюкова, Маклакова, Коновалова, Винавера, Родичева. Октябристов представлял барон Мейендорф, эн-эсов—Чайковский.

В чем заключалась задача совещания Учредилки? В том, чтобы устранить „преграды, стоявшие на пути к объединению левого фланга русской общественности". „На совещании членов Учредилки,—говорит в своей записке парижская группа,—собрался, „вне чисто партийной почвы, круг более или менее авторитетных представителей русской общественности, связанных искренним признанием февральского переворота 1917 года и его логических последствий".

„Искреннее признание" революции в устах кадетских лидеров является сплошным лицемерием. Мы хорошо помним, каково было действительное отношение этих господ к февральскому перевороту. Особенно замечательна эта искренность у г. Родичева, который в июле на страницах правокадетского „Руля" специально издевался над „заветами революции".

Однако „левый фланг общественности" был объединен, коалиция между кадетами и эс-эрами была восстановлена. С какой программой, по мнению Милюкова и его группы, следовало выступать при новых условиях? Мы знаем, деникинская программа и тактика, после поражения Деникина, Врангеля и других, была признана неудачной. Чем ее думает заменить г. Милюков? Какова политическая платформа сторонников „новой тактики"? Парижская группа выдвигала следующие основные положения:

1. „Отделение политической власти от военной и передача первой какому-либо органу гражданской власти, имеющему общественную санкцию". Военное командование обанкротилось не только в

военном, но и в политическом отношении. Даже больше: своей „политикой“ военные круги испортили все дело. „Рассчитывать на возможность улучшения политики военного командования после стольких неудачных опытов мы, очевидно, не имеем права“.

2. „Разрешение в определенном смысле ряда основных вопросов внутренней политики—как вопрос аграрный, национальный и вопрос о форме государственности“. В каком именно направлении? В направлении признания того, что случилось. До сих пор,—говорят авторы записки,—наша партийная программа решение этих вопросов откладывала до Учред. Собрания. „Но вопросы эти решила—или решает—сама жизнь. Оставление их открытыми теперь (подчеркнуто авторами записки) значило бы... отрицательное отношение к данным жизнью решениям“.

Год тому назад,—говорят г.г. Милюковы,—нужно было итти на Москву во главе с Деникиным. Теперь нужно признать факт, нужно согласиться с „решением жизни“ и стараться на основе этих решений делать свое дело. Но авторы записки „решения жизни“ принимают в весьма скромных размерах. Советская власть является фактом жизни—однако, признать этот факт Милюков пока не собирается. Он высказывается за „переход к современному решению аграрного вопроса в интересах крестьянства“, за „удовлетворение новых требований отделившихся от большевистской России народностей“, за республику.

Что значит „современное решение аграрного вопроса“? Может быть следует уплатить бывшим помещикам по „справедливой“ оценке? Сторонники „новой тактики“ в детали не углубляются, они выражаются осторожно. К „решениям жизни“ они подходят с опаской. Что значит „удовлетворение новых требований отделившихся от России народностей“? Идет ли речь о том, чтобы уступить, скажем, Польше тот или иной спорный уезд, или группа Милюкова говорит о праве на самоопределение? Тоже ясности мало.

Таково было „новое слово“ парижской группы кадетов. После разгрома буржуазно-помещичьей контр-революции она пытается перенести центр тяжести на эс-эровско-кулацкую контр-революцию, она признает необходимым сделать уступки „народу“ и по возможности опереться на некоторую часть этого народа в борьбе против пролетарской революции.

В лице Милюкова и его группы буржуазия пытается примазаться к мужику, чтобы при его помощи свалить пролетарскую диктатуру. В ноябре 1905 г. вождь кадетов декламировал о „верховном праве революции“. Теперь, после полученных им оглушительных ударов, он снова ощутил необходимость в „демократической“ декламации.

II.

Вокруг „новой тактики“ в партии кадетов разгорелась жестокая борьба. Левые укрепились в Париже. Они приобрели большую ежедневную газету „Последние Новости“ и открыли широкую кампанию в пользу „новой тактики“. Правые обосновались в Берлине и стали издавать ежедневную газету „Руль“, редактируемую Набоковым, Гессеном и Каминкой.

Для правых было неприемлемо отрицательное отношение к армии Врангеля. Они решительно выступали против соглашения с эс-эрами. Группа Милюкова образовала „левый блок“. Группа Набокова-Гессена

образовала правый „Национальный союз“ в компании с Бурцевым, Гурко, Алексинским. Правая ка-де,—совершенно правильно отмечал Милюков,—„осела на то место, где шла прежняя спайка октябризма с национализмом“.

В конце мая „новая тактика“ подверглась обсуждению на совещании членов кадетского Центр. Комитета. Сторонники „новой тактики“ оказались побитыми,—большинство членов Ц. К. высказалось за „старую тактику“. Но решающее сражение произошло не на заседание Ц. К., а на собрании парижской группы—вернее, на целом ряде заседаний этой группы, начавшихся 7 и окончившихся 21 июля поражением опять-таки сторонников „новой тактики“.

В парижской группе в это время обнаружилась новая, весьма, впрочем, слабая группировка сторонников „третьей тактики“—признания и примирения с Советской властью [1]). Между группой Милюкова и Набокова-Гессена встал центр, решивший по возможности примирить разногласия и не допустить раскола. Но раскол, очевидно, был неизбежным. Еще до начала заседаний парижской группы Набоков выбросил лозунги: „Против неясности и двусмысленности!“, „Надо выбирать и решаться!“, „Никакая словесность не устранит внутренней розни!“, „За попыткой примирить непримиримое последует внутреннее разложение“.

На это Милюков отвечал:

> „Мы вполне разделяем соображения В. Д. Набокова о невозможности и о вреде примирения непримиримого. И в парижской группе „надо выбирать и решаться“. В. Д. Набоков, не в пример многим своим единомышленникам, имеет мужество собственного мнения. Он открыто ведет к „неооктябризму“. Новая тактика так же открыто ведет к последовательному восстановлению и развитию демократических и социальных основ партии. Надо выбирать и решаться“.

21 июля раскол был уже совершившимся фактом. В этот день правые и центр провели компромиссную, но все же резко осуждающую „новую тактику“ резолюцию. Резолюция констатирует, что „попытки проведения в жизнь основ „новой тактики“ не дали результатов“, что, в частности, не удалось создание „широкого демократического фронта“. Далее резолюция указывает, что „переход обеих спорящих сторон к политическим действиям, исключающим друг друга, нанес целости партии тяжелый удар“. Подчеркнув необходимость „учета уроков прошлого“, резолюция в заключение говорит:

> „До пересмотра компетентными органами программы партии, парижская группа в своих действиях должна исходить из основ глубоко демократического духа программы партии и ее вне-классового характера, имея конечною целью свободу личности и гражданина в правовом демократическом государстве—и обязана бороться с политическими и классовыми стремлениями, противоречащими интересам демократического государства, покоящегося на основах частной собственности“.

Эти общие типично-кадетские фразы, эта либеральная фразеология прикрывает деникинскую программу. „Правовое демократическое государство“, „внеклассовый характер“ партии—эти традиционно-кадетские выражения имеют вполне определенный смысл и в данном

---

[1]) См. статью т. Мещерякова о сборнике „Смена вех“.

случае направлены против сторонников „новой тактики". Милюков и его группа поняли это и, когда, 25-ью голосами против 21-го, после провала ряда их поправок, резолюция была принята, сторонники „новой тактики" покинули заседание.

Какие поправки были отвергнуты старокадетами? Что оказалось неприемлемым? „Последние Новости" сообщают:

> „Из предложений П. Н. Милюкова отвергнуты именно: а) упоминание о положительном отношении к группам, преследующим те же (однородные) цели (имеются в виду эс-эры. *И. Б.*); б) необходимость создания общего демократического (курсив „П. Н.") фронта с этими группами; в) толкование некоторых частей программы в демократическом духе; г) защита интересов демократических элементов крестьянского и городского населения без оговорки: „оставаясь на внеклассовой позиции"; д) упоминание о новых условиях, созданных победой народа".

Насколько, однако, реакционным должно было быть большинство, чтобы после четырех лет победоносной революции отклонить эти поправки! Милюкову с горечью пришлось констатировать эту тупую реакционность своих вчерашних политических друзей и заявить, что „дальнейшая совместная работа стала невозможной", что „партия уже теперь раскололась на две группы".

20 августа сторонники „новой тактики" опубликовали заявление об образовании ими „демократической группы партии народной свободы". Новая группа говорила: „По самым коренным и жизненным вопросом современности русская общественность за границей разбилась на два противоположных лагеря. К несчастью, линия раздела прошла как раз среди партии народной свободы". Далее, группа возвращается к спорным вопросам и формулирует их так:

> „В основе расхождения лежало разное отношение к народу и его роли в русской революции. Отсюда истекала и разница взглядов на способ создания власти в освобожденной России и на отношение партии к защите крестьянской собственности. Основными взглядами, отличающими сторонников новой группы, в этих вопросах является: положительное отношение к совершившемуся факту русской революции, поставленным ею задачам национальной жизни и к ее приобретениям. Вера в творческие силы русского народа и вера в невозможность навязать ему власть извне, в форме, отрицающей самодеятельность масс. Готовность защищать интересы народных масс и специально крестьянства от притязаний старого поместного класса".

Здесь все есть, коли нет обмана. Но даже если предположить отсутствие обмана, то остается несомненным слишком большое запоздание новоявленных демократов. Милюков „признает" то, что в его признании давно уже не нуждается. Он обещает защиту тем, кто уже давно защитил свою революцию и свои завоевания—против Деникиных и Милюковых. Летом 1921 года господа левые кадеты прониклись верой в невозможность навязать народу власть извне — „в форме, отрицающей самодеятельность масс". Сейчас г.г. Милюковы за интервенцию, признающую „самодеятельность масс". Мы знаем, что это значит: интервенция должна дополнить внутренние противосоветские восстания. Если бы антоновщина разрослась, если бы

эс-эровские, савинковские, петлюровские и другие банды образовали сильный фронт против республики Советов—г. Милюков согласился бы на вмешательство „извне", хотя бы тех же врангелевских войск. Но „самодеятельность масс" обязательна—теперь Милюков не тот, кем он был за четыре года революции: теперь он—снова „демократ" и „революционер": признает „совершившийся факт".

А какова политика правого крыла партии? „Демократическая группа" доносит:

> „Другая сторона (т.-е. правые) подчеркивала отрицательные стороны революции и извращенность воли масс. Настаивая на внеклассовом характере партии, она затушевывала ее социальные задачи, вытекавшие из ее всегдашнего отношения к аграрному вопросу, и выдвигала вперед политический либерализм партийной программы. Неизбежным отсюда последствием явилось сближение этой части партии с политическими течениями, уже открыто стоящими на стороне интересов поместного класса, работающими для восстановления монархии и готовыми при этом опереться на остатки вооруженной силы, руководители которой все более склоняются к реставрационным тенденциям".

„Обвинительные пункты" формулированы точно. Кадетское большинство осталось на дворянской, монархической, реставрационной позиции. Оно не признает никаких фактов,—в союзе с мировой реакцией оно думает поставить русский народ на колени. „Ново-тактики" этой надежды не имеют, поэтому они ищут „внутренние силы", опираясь на которые можно разбить большевизм.

III.

До раскола правые кадеты оборонялись, сторонники „новой тактики" нападали. После образования „демократической группы" правые переходят в наступление. Принятие милюковцами названия „демократической группы" правокадетский „Руль" считает „грубым приемом": „называя себя демократами в квадрате, они в сущности хотят сказать, что только они—демократы". (Курсив „Руля".) Но—продолжает „Руль"—„никакими для самих себя сочиненными вывесками они не скроют фактов и не переведут Петрункевича, Родичева, Долгорукова, Юренева, Оболенского—в лагерь недемократический или недостаточно демократический". „Руль" уверен, что перечисленные кадетские князья и дворяне—прирожденные демократы...

> „Только с полнейшим негодованием мы можем отнестись к таким утверждениям, которые приписывают против действий „новой тактики" стремление к поддержке интересов поместного класса, к восстановлению монархии и сочувствие реставрационным стремлениям... Мы самым решительным образом заявляем, что сознание социальной справедливости заставляет нас стать на защиту основных идей партии народной свободы и не отрекаться от ее внеклассового характера".

Этот негодующий протест принадлежит четырем виднейшим членам кадетского Ц. К.: Петрункевичу, Родичеву, Астрову и Паниной. Они протестуют, а „ново-тактики" приводят факты: союз с Врангелем,

Гурко, Бурцевым, Алексинским, отказ от требования республики, оставление „открытыми“ вопросов аграрного и национального...

Милюкову его вчерашние друзья могут, конечно, сказать: „Чья бы корова ни мычала, твоя бы молчала“. Но то, что кадетская правая стоит за монархию—факт бесспорный. 22 апреля т. г. „Руль“ в передовой статье „Предпосылки объединения“ писал:

> „Россия будущего немыслима вне форм правового конституционно-демократического государства: вот, казалось бы, бесспорная и достаточная формула, могущая объединить очень широкий фронт... она, в сущности говоря, точнее всего определяет то, что принято называть „завоеваниями революции“... Восстановление России потребует рано или поздно создания сильной центральной власти. В какую форму воплотится эта власть—покажет будущее. В настоящее же время достаточно сказать, что эта форма должна отвечать основному требованию: правового демократического государственного строя“.

В эпоху революции яснее за монархию высказаться трудно. Всякому грамотному человеку известно, что господа юристы (редакторы „Руля“ принадлежат к их числу) в таких терминах говорят именно о монархии. „Правовое конституционно-демократическое государство“. это—псевдоним конституционной монархии. Впоследствии г. Набоков высказывался на страницах „Руля“ в том смысле, что, мол, сначала нам нужно завоевать государство, а там монархия будет или республика, это, дескать, неважно. Союзник Набокова — Бурцев, агитируя за сотрудничество с „умеренными“ монархистами, выбросил лозунг: „Не республика, не монархия, а родина!“ Мы знаем, что это значит...

На съезде кадетской партии в марте 1917 года требование республики было включено в программу партии после жарких дебатов. Республика была навязана кадетам революцией. По существу они всегда были и остаются царистами.

7 сентября берлинская группа кадетов выступила с ответным заявлением на декларацию парижской „демократической группы“. Это заявление является основным документом для правого кадетизма.

Заявление начинается с истории конфликта. Берлинская группа была против сотрудничества с эс-эрами, ибо не сочувствовала идее „левой коалиции“ из кадетов и эс-эров. Жизнь показала, что она была права—коалиция развалилась. Опыт „новой тактики“ только расколол партию—других результатов нет и не будет. Далее берлинская группа оправдывается от упреков „дем. группы“ в антидемократизме. Упреки неосновательны: никто из старо-кадетов

> „не собирается непременно „навязывать народу власть извне“, да еще „в форме, отрицающей самодеятельность масс“. Отрицать „творческие силы своего народа“ значило бы отрицать самих себя, как часть этого народа... Всякому мало-мальски грамотному политическому деятелю ясна невозможность создания в России власти, которая могла бы удержаться, не имея прочной связи с народными массами. Обвинение в „затушевывании“ социальных задач партии и в равнодушии к вопросу о защите крестьянской собственности не менее произвольно“.

Словом, старо-кадеты остались такими же „демократами“, какими были. Милюков на них клевещет. Но как обстоит дело с вопросом об отношении к революции? Милюков говорит о „воле масс“.

Старо-кадеты советуют —

„Отбросить это последнее указание,—ибо иначе приходится прямо звать на путь признания Советской власти, которая ведь в такой же мере может ссылаться на „волю масс", как и временное правительство".

Что здесь логика на стороне правых—ясно: октябрьская „воля масс" больше, сильнее, ярче февральских. Право-кадеты такими пустяками, как „воля масс" не занимаются. Они хотят—

„преодоления бунтарского разрушительного духа, порожденного революцией, оздоровления потрясенных ею нравственных основ во всех ее областях, возможности нового государственного строительства".

Словом, правый кадетизм хочет полной и всесторонней „очистки" России от всяких следов революции. Они выступают сразу и против октября, и против февраля. Если в первой части заявления право-кадеты многое пытаются опровергнуть, то во второй части они высказываются без обиняков:

„Завоевания и заветы революции" никогда до сих пор не было нашим словом, это было слово более левых революционных групп. Нашим словом всегда было утверждение в России демократических свобод и социальной справедливости, как условия для сохранения ее мощи и единства. Благо родины мы всегда ставили выше заветов революции".

Левые группы,—продолжают правокадеты,—высказывались всегда за „революционную демократию", нашим же знаменем была „государственная демократия". Здесь все очень ясно и понятно. Не революция, а „государство", „демократическая свобода", „справедливость"—это все словечки монархического правого либерализма...

Покончив с революцией, право-кадеты переходят к вопросу о социальной базе партии. Милюков в одной из своих статей, написанной „для историка", указывает, что „здесь", т.-е. в вопросе о социальной базе—„все существо нашего конфликта". В чем дело?

Левые кадеты говорят: мы признали революцию, мы—„всей душой стоим на стороне социальных завоеваний народа. Наши противники продолжают беспомощно прикрываться ролью „надклассовых" арбитров и прикрывать этим, теперь уже двусмысленным, лозунгом" интересы имущих классов. Так рассуждает Милюков в „Голосе России" от 5 авг. Встает вопрос: почему „надклассовость" только „теперь" стала „двусмысленным лозунгом"? Не согласится ли г. Милюков, что „надклассовость" всегда была обманом и что он, вождь „надклассовой" кадетской партии, был крупнейшим политическим обманщиком в России? Г-н Милюков думает, что „теперь уже" нельзя обманывать этим лозунгом,—его старые друзья находят, что еще можно прикрываться „двусмысленным лозунгом". И они прикрываются. В заявлении берлинской группы читаем:

„Называя себя партией внеклассовой или надклассовой, партия всегда хотела этим выразить, что мы не сторонники классовой борьбы, а конституционалисты-демократы, защитники идей правового государства, что мы стоим на почве идеи

сотрудничества классов, необходимого для осуществления национального государственного дела. России нужны сейчас начала соединяющие, а не разъединяющие. Совокупность частных, групповых и классовых притязаний, предъявленных к русскому государству в виде демократических и социальных заданий революции, разложила и разрушила его. Государство не выдержало этого напора центробежных сил и частных интересов. Теперь необходим обратный процесс национального и социального собирания и сосредоточения сил; а это не может осуществиться без высшего напряжения надклассовой и национальной идеи, без самоограничения и самоотречения частных сил и классовых интересов".

Партия кадетов называла себя надклассовой. Но верно ли то, что она была надклассовой партией? Для нас азбука, что она не могла быть внеклассовой партией, что такой партии вообще нет в природе. Но любопытно посмотреть, что на деле означала „внеклассовость" кадетов. Ответ на этот вопрос дает Милюков:

„Вопреки частым укорам, я не предлагаю превращать партию кадетов в „классовую". Но она не может остаться и „внеклассовой", в старом смысле, ибо это значило бы, что она хочет и после революции мирить интересы крестьянства с интересами поместного сословия. После революции многие, в том числе и октябристы, ухватились за кадетскую, аграрную программу, как единственно правильную. Но теперь уже поздно. Предпосылки этой программы изменились; „громадный сдвиг" произошел, „желания народных масс" ясны, а „интересы" их непримиримы с интересами прежнего правящего сословия. Теперь надо делать выбор, а не прикрываться „внеклассовой" позицией партии в прошлом".

Сказано очень ясно и вразумительно. До революции „мы" „мирили интересы" крестьян и помещиков, и выходило это очень хорошо: земля оставалась в руках помещиков. После революции „мы" долго пытались тоже „мирить" их при помощи Деникина, но примирить не удалось, и вышло это очень плохо: земля оказалась у мужиков, а господа помещики очутились на чужбине. Дальше „мирить" уже невозможно. Наша аграрная программа—выкуп по нормальной доходности!—уже устарела. Говорить о „принудительном отчуждении" со „справедливой оценкой"—„теперь уже поздно". Сейчас нам, буржуазии, „надо делать выбор": с кем мы, с безземельным помещиком или с захватившим землю мужиком?

Милюков и его группа сделали выбор—они покидают помещика и надеются интересы буржуазии, обеспечить блоком с верхушкой крестьянства. Правые кадеты не могут покинуть безземельного помещика, ибо безземельный помещик это—они сами. Профессор Милюков, фабрикант Коновалов, интеллигенты Винавер, Мандельштам, Ефремов и другие могут под давлением факта жизни поставить вопрос о разрыве с помещиком и сближении с кулаком. Но князья Долгоруковы, дворяне Петрункевичи, Родичевы, Ростовцевы, Набоковы сделать этого не могут. Они, как были, так и останутся земско-дворянскими либералами.

Право-кадеты решительно протестуют против утверждения, что фактически партия кадетов всегда была классовой. Они утверждают,

что „аграрная программа партии народной свободы никогда не брала под свою защиту интересы какого-либо одного класса".

Кадетская аграрная программа защищала помещиков. „Принудительное отчуждение" с выкупом, принятое ими под давлением революции (см. выше), в переводе на денежный язык означало вот что. По вычислениям видного кадетского экономиста Н. Кутлера, 70% выкупной суммы — около трех миллиардов рублей золотом должны были получить 9.573 крупнейших помещика. Половина этой выкупной суммы должна была быть уплачена крестьянством, другая половина—государством, т.-е. в конечном счете тем же крестьянством. Вот как на деле выглядела „надклассовость" г.г. кадетов. Вот почему в 1-й Госуд. Думе половина всех землевладельцев, избранных в Думу, записалась во „внеклассовую" кадетскую фракцию.

Революция 1917 года не заставила кадетов изменить свою аграрную программу. В марте 1917 года они на своем партийном съезде в свою „внеклассовую" программу вписали отчуждение земель с выкупом по нормальной доходности. При этом помещику должно было быть оставлено достаточно земли.

Кадетское большинство не может отказаться от старой помещичьей программы, ибо помещик не отказался еще от мысли вернуть утраченные права и привилегии.

IV.

Милюков говорит, что он хочет создать почти-крестьянскую партию. Старо-кадеты уверяют его, что из этой затеи ничего не выйдет. Крестьянство,—говорят они,—весьма важная сила. Без него никакая „государственно-мыслящая" партия не сможет удержаться у власти. Крестьянство будет иметь свою партию. Но вождями этой партии будут не Милюковы и Винаверы, а какой-нибудь „демагог", „самородок"—человек, во всяком случае, тесно связанный с крестьянством. На это указание Милюков отвечает:

> „В России, в особенности при разнообразии частей ее территории, не может не оказаться несколько крестьянских партий, обслуживающих совершенно различные круги крестьянства и представляющих совершенно различную идеологию. В крестьянстве, ведь, также есть—и еще больше будет в будущем—различные социальные силы, более или менее демократические, с далеко не совпадающими интересами".

Какие же „социальные слои" крестьянства берется защищать группа Милюкова? „Более демократические", для которых приемлемы „республиканские идеалы" и вообще „завоевания революции". Защиту интересов „крепкого" мужика он предоставляет всяким партиям „хлеборобов". Словом, г. Милюков — народник самой чистой пробы. То что он летом 1918 года в Киеве как раз вместе с украинской партией „хлеборобов" поддерживал гетмана Скоропадского — это забыто. Теперь он „демократ", да еще какой! Но не прав ли в данном случае Набоков, который в „Руле" пишет:

> „Совершенно неожиданно он (Милюков) оказывается соперником и конкурентом... Ленина, ставящем ставку на „деревенскую бедноту", на „безземельных", на „батраков": вот где он думает найти подлинно-демократическую идеологию...

идеалы республиканские,— порывание к образованию и к свету. Я боюсь, что в этом соперничестве Ленин будет иметь все преимущества, все шансы одолеть".

Еще более удачно высказался по этому вопросу на страницах „Руля" г. П. Струве:

„Ленин так основательно исторически обобрал (курсив Струве) эс-эров, что на их долю и на долю „новой тактики" П. Н. Милюкова, пожалуй, ничего не осталось, или остались такие крохи, которые не стоят особенного шума".

Г-н Струве совершенно прав: сила русской пролетарской революции в том и заключается, что здесь рабочий класс разрешил ту крестьянскую задачу, которую не смогли решить „крестьянские" партии. Землю крестьянин не только получил, но и защитил только потому, что он находился в союзе и боролся под руководством рабочего класса. Это хорошо знает крестьянин. Он доверяет Ленину, но не доверяет не только Набокову, не только Милюкову, но и Чернову с Мартовым.

Если крестьянину снова придется выступить на борьбу против „поместного класса"—против Деникиных, Набоковых, Родичевых, Долгоруковых,—то неужели Милюков думает, что он, крестьянин, руководство этой борьбой поручит ему, Милюкову, в компании с Черновым? Это, конечно, пустяки. Сам Милюков вряд ли обманывает себя на этот счет. В ответ на указание Набокова, что крестьяне не пойдут за сторонниками „новой тактики", Милюков отвечает: пусть так, но это не значит, что мы не должны итти навстречу крестьянству...

Как в действительности стоит вопрос? Вождь буржуазии Милюков понимает, что крестьянам его „защита" не нужна. Но он говорит о „защите" крестьян от „поместного класса" и этим дает понять, что он признает победу мужика, не угрожает более отнятием земли. Милюков знает, что перетянуть на свою сторону середняка и бедняка будет трудно. Сейчас он об этом и не думает. Его план исторически сводится к тому, чтобы сблизиться с деревенской верхушкой, создать против рабочего класса буржуазно-мужицкий блок, вырвать власть из рук пролетариата.

Разница между „ново-тактиками" и „старо-тактиками" не в том, что одни выступают на защиту крестьянства, а другие не хотят взять на себя этой „классовой" задачи. Разница заключается в том, что Милюковы и Коноваловы считают целесообразным отказаться от войны с мужиком, а Родичевы и Долгоруковы не могут и не хотят прекратить войны с мужиком.

* * *

Раскол партии кадетов означает разрыв блока между „передовой" буржуазией и „либеральными" помещиками. Разрыв этот обусловлен победой революции. Буржуазия чувствует, что она окончательно „пропадет", если и дальше будет связывать свою судьбу с „поместным классом". Помещик не может признать завоеваний революции. Он вынужден нести безнадежную борьбу за реставрацию дофевральских „устоев". „Передовой" буржуа может отказаться от явно безнадежной борьбы и поставить себе исторически возможные цели. Отказываясь от реакционной утопии, буржуа пытается опереться на известные „завоевания революции", чтобы победить пролетарскую диктатуру, а затем уже „исправлять" эти за-

воевания. Недаром так осторожен г. Милюков в определении своей положительной программы.

Цель буржуазии при всех условиях одна: свержение Советской власти. Сегодня эта цель вместе с помещиком недостижима. Значит нужно отступить, переменить позицию, нужно испробовать союз с эс-эрами и меньшевиками, нужно связаться с кулаком, нужно поднесть Учредилку. Правые кадеты с этим несогласны, но Милюков им говорит: „От Учредилки все же ближе, гораздо ближе до Тамбова, чем от Константинополя и Берлина". Это значит: при помощи эс-эров (Тамбов — антоновщина) буржуазия скорее надеялась победить Советскую власть, чем при помощи Врангеля. (Константинополь—Берлин).

Теперь все видят: „от Учредилки" тоже порядочно далеко „до Тамбова". Но буржуазия с своей точки зрения все же была права, когда она, после разгрома Врангеля, предпочла эс-эров правым „внеклассовым" кадетам. Совершенно бесспорно, что весной 1921 года эс-эровские банды были более опасны Советской власти, чем врангелевское воинство...

Буржуазия вынуждена делать „равнение налево", ибо революция укрепилась. „Поместный класс" не может итти этим путем. Левые кадеты пытаются создать буржуазно-демократический фронт. Правые кадеты создали и укрепляют дворянско-аристократический фронт. Милюков старается собрать вокруг себя буржуа всех степеней. Набоков собирает вокруг старого кадетизма все обломки старо-дворянской сановно-бюрократической, царистской России.

Каждый победный шаг революции вперед будет усиливать раскол, углублять пропасть между правым и левым крылом кадетской партии, которая уже сейчас представляет собою две партии. Бесплодность „новой тактики" будет питать и усиливать сторонников „третьей тактики",—тактики примирения с республикой Советов. От признания „завоеваний революции" путь лежит—к капитуляции перед революцией!

Ил. Вардин.

За рубежом.

Англия.

Экономические последствия мировой войны.

Мировая война, которой все боялись и которая неизбежно должна была разразиться, нанесла трудно излечимые раны как побежденной, так и победившей стороне. Повидимому, меньше всех из воевавших стран пострадали Соединенные Штаты, так как им пришлось и жертв принести меньше. Впрочем, свирепствующий вот уже год жестокий мировой кризис захватил и это государство, где по официальным данным сейчас около шести миллионов безработных. — Неизмеримо тяжелее пострадала от войны Англия.

Вероятно, нет в мире страны (кроме России), которая с такой силой привлекала бы к себе общее внимание, как Англия. Как сложна и даже драматична обстановка, в которой развиваются в ней события. Во всех областях ее жизни — экономической, политической и социальной совершаются сейчас глубоко интересные процессы, которые постепенно должны разрушить старую индивидуалистическую Англию. В этой статье мы остановимся на экономических последствиях войны.

Всем известно, что одним из результатов мировой войны является выступление на передний план Соединенных Штатов. Во-первых, Америка оказалась сейчас всеобщим кредитором. Долг Европы Соединенным Штатам достигает четырех с половиной миллиардов фунтов стерлингов, при чем долг Англии С. Штатам составлял к 31-му марта 1921 г. 972.704.000 ф. ст. На Америку сейчас льется золотой дождь, что, впрочем, приносит хозяйственному организму С. Штатов немалый вред, и им грозит, по словам английского экономиста проф. Keynes'а, очутиться в положении мифического царя Мидаса, напрасно молившего о более удобоваримой пище, чем золото, в которое превращалось все, к чему он прикасался.

Во-вторых, С.-А. Штаты скоро опередят Англию, как морскую державу. Пока еще Англия удерживает свое первенство, но американская судостроительная программа так обширна и выполняется она с такой энергией, что в более или менее недалеком будущем С. Штаты будут первой морской державой. То же надо сказать и о торговом флоте. Достаточно упомянуть, что до войны С. Штаты занимали пятое место по величине морского торгового флота (второе место — Германия, третье — Норвегия, четвертое — Франция). Теперь они занимают второе место. Если говорить только о морских пароходах, построенных из железа и стали, их было у С. Штатов в июне 1914 г. $1_{,8}$ миллионов тонн; в июне 1921 г. их было $12_{,8}$ миллиона тонн. Увеличение в 7 раз

В-третьих, есть уже немало признаков, говорящих об ослаблении роли Англии на международном рынке. У Англии явился опасный конкурент в лице С. Штатов. Если это так, Англии предстоят тяжелые удары, которые поколеблют не только ее мировое значение, но и произведут глубокие изменения внутри страны.

Прежде всего напомним, что для Англии внешняя торговля имеет особенно существенное значение. Вот маленькая табличка, показывающая ее зависимость от других стран:

	Производится дома.	Ввозится.
	В процентах.	
Пшеница	18	82
Говядина и телятина . .	59	41
Баранина	35	65
Свинина	28	72
Сыр	26	74

(«Times», 25-го июня 1921 г.).

Итак, Англия производит дома меньше одной пятой нужного ей хлеба (Англия потребляет только пшеницу). Затем известно, какую важную роль играет в Англии текстильная промышленность, при чем все сырье — весь хлопок, шерсть и т. д. Англия получает из колоний или из Америки. Известно также, какое значение для Англии имеет ее вывозная торговля углем.

В 1913 г. из всего количества добытого угля (287.412.000 тонн) Англия потребила внутри страны 189.692.000 тонн (66%). Остальное было вывезено за границу. Надо заметить, что насколько незначительна роль угля в общем экспорте Англии, если оценивать этот вывоз в фунтах стерлингов, настолько он важен, если выразить его в тоннах. В тоннах вывоз угля составлял в 1913 г. 74% всего английского вывоза, а если прибавить сюда кокс и угольный агломерат, то даже 81%. Если взять всю внешнюю торговлю Англии в целом — экспорт и импорт,— вывоз угля составит 50% всех грузов (в тоннах), вывезенных и ввезенных в Великобританию в 1913 г.

Это громадное количество вывозимого угля играет весьма существенную роль. Нагруженные углем суда заходят во все уголки мира — на крайнем востоке в Тихий Океан, в Южную Америку и т. д., выгружают там уголь и забирают столь необходимые для Англии сырье и продовольственные продукты. В английском флоте находится большое количество (60% всего торгового флота) так называемых бродячих кораблей (трампы), которые, в противоположность линейным кораблям, совершающим определенные рейсы, не связаны никаким направлением. Эти трампы, которых особенно много в Англии (вообще торговый флот Англии составлял в 1913 г. 40% мирового флота, а английские трампы 66% мирового количества трампов) тесно связаны с торговлей углем. Если такое „бродячее“ судно не нагрузить углем, оно не отправится за продовольственными продуктами, без которых не может жить Англия, или же оно должно будет специально ехать за ними, из-за чего значительно вырастет их цена. Отсюда видно, как важна для Англии эта вывозная торговля углем, в какой зависимости находится Англия не только от своей угольной промышленности, но и от того, обеспечены ли ей угольные рынки во всех концах мира.

И вот в этом особенно чувствительном месте не все сейчас благополучно. До войны никто не оспаривал у Англии ее первенства в

вывозной торговле углем, а отсюда вытекало ее господство на морях. Теперь этому привилегированному положению грозит опасность.

Вот прежде всего цифры, показывающие вывоз из Англии угля.

Вывезено угля из Англии:

	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920
Тысячи тонн . . .	73.400	61.500	43.500	38.300	34.900	31.700	35.200	24.900
Тыс. фунт. стерл. .	50.700	42.200	36.300	46.300	46.500	48.500	83.200	99.600

В 1920 г. было вывезено в три раза меньше, чем в 1913. Ноябрьская забастовка углекопов продолжалась три недели, так что ею одной нельзя объяснить низкой цифры вывоза.

А вот цифры для С. Штатов. Вообще надо заметить, что С. Штаты, в полную противоположность Англии, имеют все нужное для промышленности сырье, и в частности уголь потребляют, главным образом, у себя дома. Но в С. Штатах идет колоссальное развитие производительных сил, и все бо́льшее и бо́льшее количество продуктов поступает на международный рынок.

Вот сравнительные цифры вывоза угля из Англии и С. Штатов.

	1913	1920
	Тысячи тонн.	
Из Англии	73.400	24.900
Из С. Штатов	17.986	34.300

Американский уголь появляется уже в европейских странах, например, во Франции, несмотря на близость английского угля и на немецкий уголь, поступающий во Францию по Версальскому договору.

Ввезено угля во Францию:

	1918	1919	1920
	Тысячи тонн.		
Из Англии	[illegible]	15.314	11.570
Из С. Штатов	17	297	2.659
Из прочих стран	16.722	19.107	24.262

Очень интересны цифры вывоза угля во внеевропейские страны.

Ввезено угля в Аргентину:

	1913	1920
	Тонны.	
Из Англии	3.694.000	273.668
Из С. Штатов	139.500	1.718.000

Ввезено угля в Бразилию:

	1913	1920
	Тонны.	
Из Англии	1.887.000	158.144
Из С. Штатов	239.000	965.000

(«The Times Trade Supplement», 7-го мая 1921 г.).

Ввезено угля в Египет:

	1913	1919	1920
	Тысячи тонн.		
Из Англии	1.162	1.598	986
Из С. Штатов	—	36	501

(«L'Information», 2-го июня 1921 г.).

Цифры весьма знаменательные!

Любопытно, что война произвела перемены и в другом направлении. Она сдвинула с мертвой точки такие страны, которые до недавнего времени зависели от привоза угля. Вот интересные данные

Мировая добыча угля:

	1913	1920	Увеличение (+) или уменьшение (—) %%.
	Миллионы	тонн:	
Сев. Америка	531,[illegible]	601,3	+13,2
Англия	287	229	—20,3
Европа	730	597,8	—18,1
Азия	55,[illegible]	75,[illegible]	+35,[illegible]
Африка	9,[illegible]	11,8	+22,[illegible]
Южн. Америка	[illegible]	1,7	+ 6,2
Весь мир	1.3[illegible]	1.300	— 3,2

(«Economist», 21-го мая)

„Еще десять лет тому назад,— пишет „Manchester Guardian“,— английский уголь доходил до Сингапура на востоке, до Чили и Перу на западе. Теперь его редко можно найти к востоку от Цейлона, и он скоро будет недоступен по цене на западных берегах Америки. Происходит это не только от уменьшения добычи угля в Англии, но и от высокой цены на уголь. Американский уголь продается за 33 шиллинга, тогда как английский (Южный Уэльс) стоил в марте 58 шилл. 6 пенс. Если принять во внимание расстояние американских копей от моря, разница окажется еще более значительной. На месте добычи уголь хорошего качества стоит в Пенсильвании от 11 до $13^1/_2$ шиллингов, тогда как южноуэльский — 55 шилл. Конкуренция в этих условиях невозможна, и те выгоды, которые извлекают английские экспортеры от близости моря, аннулируются высокими ценами. В феврале этого года, по официальным данным, заработная плата углекопа составляла 29 шилл. на тонну английского угля, тогда как на тонну американского угля приходилось 7 ш. 6 п. заработной платы. Уменьшение добычи угля и крайне высокая заработная плата — таковы главные причины уменьшения вывоза угля“.

Следующие цифры дают яркую картину того, в каком положении находится английская угольная промышленность:

	1913	1920	Увеличение (+) или уменьшение (—).
Всего добыто угля в Англии	287 милл. тонн	229 милл. тонн	—20%
Число рабоч., занятых в угольн. пром.	1.111.000	1.210.000	+ 9%
Одним рабочим добыто тонн угля	259	193	—25%
Средняя заработная плата углекопа	82 ф. стерл.	223 ф. ст.	+172%
Зар. плата на тонну добытого угля	6 шилл. 3 пенса	23 ш. $1^1/_2$ пенса	+270%
Средняя цена тонны угля	10 шилл. 2 п.	33 шилл. 6 пенс.	+229%

(«Times», 27-го мая 1921 г.).

Сейчас по всему трудовому фронту предприниматели ведут войну против „высокой“ заработной платы. Не понимая, что в основе современного промышленного кризиса лежат чрезвычайно сложные причины и что выйти из кризиса можно лишь путем радикальной перестройки старого здания, все капиталисты обвиняют рабочих в том, что они своими нескромными требованиями расшатывают эко-

номические основы государства, и в понижении заработной платы видит спасение от всех бед. Но, во-первых, ту же борьбу за понижение заработной платы предприниматели ведут одновременно во всех капиталистических странах, так что те сбавки, которые удастся отвоевать английским хозяевам, не улучшат их положение на международном рынке, раз такие же сбавки будут произведены в других конкурирующих странах. А, во-вторых, рабочие не так легко соглашаются на ухудшение своего положения, на понижение standard of life'a, что, между прочим, доказала трехмесячная забастовка углекопов, нанесшая неисчислимый вред всей английской промышленности. Кроме того, читатель помнит, что те сбавки, на которые временно согласились английские углекопы, не так велики, чтобы сколько-нибудь значительно увеличить вывоз угля.

Тот, кто следил за развитием весенней забастовки английских углекопов, знает, что борьба велась не только из-за заработной платы. Уже в начале забастовки углекопы соглашались на некоторое понижение заработной платы. Но они до конца настойчиво боролись за организованность хозяйства, „за объединение всех угольных копей страны в единую целостно-организованную отрасль хозяйства, допускающую максимальный технический и экономический прогресс". Читатель, прочитавший интересную статью т. Смита, помещенную в первой книжке этого журнала, помнит, что не только рабочими, но и английской радикальной интеллигенцией указывалось, что для устранения разорительности теперешней системы, ведущей к падению средней добычи на душу, необходимо организовать и контролировать угольную индустрию так, чтобы она была превращена в отрасль общественного хозяйства.

Падение средней добычи на душу действительно существует. Мы это уже видели выше. Вот более подробные цифры:

Годовая добыча угля в тоннах на одного рабочего:

	1886—1890 г. г.	1905—1910 г. г.	1911—1913 г. г.	1920
Англия.	312	275	257	193
С. Штаты	400	596	651	Нет данных.

(«Times», 3-го мая 1921 г.).

Это понижение средней добычи английского углекопа объясняется специалистами тем, что оборудование копей сильно износилось и давно не возобновлялось, и вообще технической отсталостью их.

Как это ни странно, эта техническая отсталость Англии наблюдается и в других отраслях промышленности.

Укажем на одну интересную статью в английском „Economist'е" от 19-го февраля 1921 г. под заглавием „Производительные силы британской индустрии". В ней автор напоминает прежде всего, что как паровая машина, так и большинство машин, применяемых в современной индустрии, изобретены в Англии. В недалеком прошлом английская промышленность, в смысле технического оборудования, была первой в мире. Теперь она уступила первое место С. Штатам. Для доказательства этого автор берет цифры, характеризующие производительность английской индустрии для 1907 г.,— единственный год, относительно которого эти цифры имеются. Ближайший год, относительно которого имеются подобные данные для С. Штатов,— 1909 г. Затем автор статьи берет оптовые цены товаров английской и американской индустрии, относящиеся к этим двум годам, при чем он

замечает, что цены эти для С. Штатов и Англии стояли в то время приблизительно на одинаковом уровне, так что английские и американские товары свободно конкурировали на всех рынках.

	Число рабочих.	Стоимость всех продуктов. (Фунт. стерл.)
С. Штаты—одна только частная промышленность в 1909 г. . .	6.615.046	4.134.421.000
Англия—вся промышленность в 1907 г. Сюда включены и такие предприятия, как газовые заводы, водопровод и т. п. . .	6.019.746	1.617.340.000

Итак, если выразить производительность одного рабочего в оптовых ценах, окажется, что в период 1907—1909 г. г. производительность американского рабочего была в два с половиной раза выше производительности английского рабочего, т.-е. что два американских рабочих производили столько, сколько пять английских. С тех пор, по мнению автора указанной статьи, положение скорее ухудшилось для Англии, чем обратно. Кроме того, надо заметить, что для С. Штатов не взяты такие предприятия, как газовые заводы, водопроводы, электрические станции и т. п., на которых, несомненно, производительность труда выше нормы.

Чем же объясняется такое превосходство американского рабочего? Прежде всего технической отсталостью Англии. В текстильной промышленности превосходство Америки не велико, и, поскольку оно существует, оно объясняется широким распространением автоматических ткацких станков (изобретенных, кстати сказать, в Англии), которые почти не встречаются в Англии. (Автор винит в этом тред-юнионы, которые боятся, что применение автоматических станков выбросит за ненужностью многих рабочих, и потому не позволяют вводить их.) В таких отраслях промышленности, как сталелитейная, железообрабатывающая и машиностроительная, превосходство С. Штатов весьма велико, и это автор объясняет отчасти гораздо более совершенным оборудованием американских предприятий, отчасти отсутствием тех ограничений в производстве, которые сковывают английскую индустрию. Автор говорит, что в тех случаях, когда английский капиталист вводит в своем предприятии дорого стоющие и значительно сберегающие труд машины, рабочие отказываются вырабатывать с их помощью более того, что вырабатывалось при старых машинах. Отсюда невыгодность больших затрат на технические улучшения.

Превосходство американского рабочего распространяется и на добывающую промышленность. Американский сельско-хозяйственный рабочий производит значительно больше английского вследствие гораздо бо́льшего применения машин в С. Штатах по сравнению с Англией. В угольной промышленности, если сравнить дневную добычу (в Америке угольные шахты эксплоатируются не круглый год), окажется, что американский углекоп почти в пять раз превосходит английского. При этом надо принять во внимание, что, вообще говоря, американский углекоп хуже английского, так как в большинстве случаев это иммигрант, неквалифицированный рабочий, английский же—высоко квалифицированный. И так во всем. Например, в Англии при постройке дома рабочий укладывает в день 350 кирпичей. До войны американский рабочий клал 200 кирпичей в час, а при применении системы Тейлора даже 350 в час, т.-е. столько же, сколько английский рабочий кладет в день.

В другой статье („Economist", 5 марта) тот же автор прибавляет еще несколько штрихов к нарисованной выше картине. Он говорит: хлопчатобумажная промышленность—одна из наилучше оборудованных отраслей промышленности в Англии. И тем не менее, при сравнительно одинаковых рыночных ценах, английский рабочий в 1907 г. производил в год на 236 фунт. ст., а американский рабочий в 1909 г. на 332 ф. ст. В этой промышленности производительность американского рабочего на 50% выше английского. В среднем же американский рабочий вырабатывает больше английского на 150%.

Британская и американская хлопчатобумажная промышленность употребляет почти одинаковое число лошадиных сил: в Англии—1.239.212 в 1907 г., в С. Штатах—1.296.517 в 1909 г. Но в то время, как в С. Штатах на тысячу рабочих приходится 3.433 лошадиных сил, в Англии на тысячу рабочих—2.214 лошадиных сил.

Относительно хлопчатобумажной промышленности приведем следующую цитату из доклада тарифного бюро С. Штатов, напечатанного в 1912 г.:

„В случае простых станков (не автоматических) английский ткач редко обслуживает более четырех станков; американский рабочий редко обслуживает менее шести, чаще восемь и иногда двенадцать станков. Далее. На английской хлопчатобумажной фабрике трудно встретить автоматические станки. Их было менее 6000 в мае 1911 г. во всей Англии. В С. Штатах их сейчас более 200.000. При автоматических станках один ткач обслуживает обычно двадцать, иногда двадцать восемь станков". И здесь раздается то же обвинение по адресу английских тред-юнионов, не позволяющих вводить автоматические станки из боязни сокращения числа рабочих или не желающих увеличивать интенсивность труда без соответствующего увеличения заработной платы.

В доказательство того, что причиной низкой выработки является техническая отсталость английской индустрии, а не более высокие качества американского рабочего, приводится, между прочим, то обстоятельство, что на американских хлопчатобумажных фабриках часто вывешиваются объявления на двенадцати языках, и что в промышленности этой заняты большей частью плохо обученные рабочие-иммигранты, далеко уступающие английским квалифицированным рабочим

Относительно кладки кирпичей американец Тейлор в своей книге „Основа научного ведения дел" рассказывает о лондонском рабочем: „В одном иностранном городе (Лондоне) тред-юнионы каменщиков постановили, чтобы рабочий клал не более 275 кирпичей при постройке городских зданий и 375—при постройке частных домов!"

Выше мы видели, что английские углекопы обвиняют шахтовладельцев в крайне нерациональном ведении предприятия, и против разорительности теперешней системы видят одно средство—превратить угольные копи в единое целостное хозяйство так, чтобы государство при этом затрачивало достаточно средств на техническое оборудование копей и научную обработку их. В этом с углекопами согласны и радикальная интеллигенция, и представители науки—техники и экономисты. С другой стороны, капиталисты обвиняют тред-юнионы в том, что они своей близорукой политикой задерживают естественную техническую эволюцию и этим наносят большой вред английской индустрии. Как бы то ни было, остается несомненный факт—техническая отсталость Англии по сравнению с С. Штатами все более и более затрудняет для Англии конкуренцию с американ-

скими товарами. А между тем Америка неизмеримо богаче Англии естественными рессурсами: в С. Штатах добывается около половины мирового количества угля, более двух третей мировой добычи нефти, две трети мирового количества хлопка, и вообще имеется почти неистощимый запас всевозможного сырья, необходимого для промышленности.

Выше мы упомянули, что война дала толчок развитию промышленности в тех странах, которые до войны были объектом эксплоатации европейских государств и С. Штатов. Особенно чувствительны для Англии те перемены, которые происходят сейчас в Индии.

Известно, какое громадное значение имеет для всей английской промышленности эта богатейшая страна с населением более трехсот миллионов человек. Известно, с какой нервностью и подозрительностью английское правительство на протяжении многих лет относилось ко всем продвижениям России в Средней Азии, и как эта боязнь России из-за Индии влияла на английскую политику. Для текстильной промышленности, одной из основных отраслей промышленности Англии, всегда имел существеннейшее значение индийский рынок, и потому все усилия английского капитала были направлены на то, чтобы не дать развиться текстильной промышленности в Индии. Знаменитая Ост-Индская компания, правившая Индией в течение ста лет, употребляла грубую силу, чтобы заставить индийского ремесленника оторваться от своего ремесла и уйти в деревню добывать сырой материал, столь нужный для английской промышленности. Вследствие этой политики Англии, Индия оставалась до начала XX века почти исключительно земледельческой страной.

Но постепенно произошли перемены. Уже в конце XIX века, несмотря на все усилия британского правительства обеспечить монополию английского капитала, начинает пускать ростки туземный капитал. Сначала выступает на сцену индийский купец, являющийся посредником между английским капиталистом и туземным потребителем и производителем сырья. Но постепенно появляется—главным образом, в текстильной промышленности—и туземный промышленный капитал, который, впрочем, вследствие того, что вся правительственная власть находится в руках английского капитала, на первых порах действует робко и влачит довольно жалкое существование. И это несмотря на близость сырого материала и на дешевизну рабочих рук.

Но вот в первые годы XX века на сцене появляется новый фактор—японский капитал, который сразу становится опасным конкурентом английских экспортеров в Китае. Чтобы иметь возможность конкурировать с японской промышленностью, поставленной в очень выгодное положение, благодаря близости рынка сбыта и дешевизне рабочих рук, британский капитал решается ослабить тиски, сдавливавшие до сих пор развитие в Индии отечественной промышленности. Покупая продукты индийской текстильной промышленности, английский капиталист получил бы дешевый товар, который мог бы конкурировать с японским товаром в Китае. Таким образом был дан первый толчок развитию индийской промышленности. Второй и более могучий толчок дала мировая война.

Как известно, во время войны большая часть английской промышленности была мобилизована для производства военных материалов. Уже одно это должно было значительно уменьшить экспорт в Индию английских текстильных товаров. К этому прибавилась еще подводная блокада, затруднившая для Англии сообщение с далекими

странами. Так или иначе Англия должна была предоставить свободу индийскому капиталу и устранить все препятствия к промышленному развитию страны.

Ранее существовавшие фабрики, работавшие до войны в крайне неблагоприятных условиях, теперь, получив свободу, стали быстро развивать свою производительность. Особенно выиграла текстильная индустрия. Но дан был толчок к развитию и других отраслей промышленности. Железообрабатывающие и сталелитейные заводы подверглись государственному контролю и получили гораздо лучшее оборудование для приспособления их к производству предметов военного снаряжения. По окончании войны заводы остались. Получив свободу, туземный капитал лихорадочно заработал по всем направлениям. Всюду стали строиться всякого рода фабрики и заводы. В то время, как в 1914 году, кроме джутовых и текстильных фабрик, было очень мало предприятий с машинным производством, принадлежащих туземному капиталу, теперь в Индии 336 бумаготкацких фабрик, 1.428 фабрик по обработке хлопка, 96 джутовых фабрик, 93 машиностроительных завода, 11 железообрабатывающих и сталелитейных и т. д., и т. д. Вот еще несколько цифр. В 1913—1914 г.г. капитал, вложенный в акционерные компании, составлял 35 миллионов фунт. ст., в 1918—1919 г.г.—255 миллионов. Число предприятий, принадлежащих частным капиталистам, в 1913—1914 г.г. было 1.300, в 1918—1919 г.г. 3.600. В 1919 г. было зарегистрировано 290 акционерных компаний— в три раза больше, чем в предыдущем году, с капиталом в 5 раз большим. В 1920 г. было зарегистрировано 903 акционерных компании с капиталом 275 миллионов фунт. ст. Вот табличка, показывающая, как распределялся этот капитал в 1920 г. (цифры взяты из статьи Роя в журнале „Народное Хозяйство"):

Отрасли промышленности.	Вложенный капитал (фунт. ст.).
Банки	24 280.000
Судоходство и кораблестроение	31.290 000
Хлопчатобумажная промышленность	33 410 000
Джутовая промышленность	16 620 000
Шерстяная промышленность	6 120 000
Производство растительного масла	6 790 000
Угольная промышленность	13 790.000
Производство сахара	10.220 000
Чайные плантации	21.600 000
Страхование	36.180 000
Торговля	71.230.000

Но что наиболее интересно, это—изменения, происшедшие в характере внешней торговли. До войны главной статьей ввоза были мануфактурные товары, а вывоза—сырье. Под влиянием расцвета индийской индустрии прежде всего происходит уменьшение ввоза продуктов хлопчатобумажной промышленности. Именно, ввоз хлопчатобумажной пряжи уменьшился в 1920 г. по сравнению с 1914 г. на 60%, хлопчатобумажных тканей на 36,5%. В 1914 г. ввоз хлопчатобумажных товаров составлял выше 50% всего ввоза в Индию, в 1920 г.—28%. Но в то время, как уменьшился ввоз хлопчатобумажных товаров, **увеличился ввоз машин.**

С другой стороны, в 1920 г. вывоз сырья по сравнению с 1914 г. уменьшился на 19%. Между прочим, вывоз джута составлял до войны

24% всего вывоза. Теперь три четверти всего джута остается дома и обрабатывается на индийских фабриках. Вывоз сырого хлопка уменьшился в 1920 г. на 22%, а вывоз готовых хлопчатобумажных изделий увеличился на 120%. Все производство хлопчатобумажной промышленности увеличилось на 41%.

Читатель понимает, какие опасения должны вызывать эти цифры и факты в Ланкашире.

Но война вызвала и другие перемены. То участие, которое приняли в ней колонии Англии, усилило в них протест против подчиненного их отношения к метрополии. В течение войны Англия должна была пригласить в Лондон премьеров всех колоний для совместного обсуждения ряда вопросов, связанных с ведением войны. Эта конференция имела большие последствия в том движении к независимости, которое охватило всю обширную Британскую империю. Колонии запротестовали против самого названия „колония" и объявили себя полноправными членами одного целого—British commonwealth. Летом этого года состоялась вторая конференция премьеров всех доминьонов (так называются теперь бывшие колонии), на которой обсуждались такие вопросы, до сих пор решавшиеся одним английским правительством, как союз Англии с Японией, отношение к Ирландии и т. д. Отныне голос доминьонов будет играть существенную роль в общей политике Англии.

Индия занимала всегда особое положение в Британской империи. Она не была колонией в том смысле, как Канада, Австралия и т. д., не имела своего парламента и управлялась непосредственно из Лондона. Война внесла коренные изменения и в политическое положение Индии. Англия должна была провести целый ряд политических реформ: уменьшен контроль британского правительства над правительством Индии, увеличено число индийских членов исполнительного комитета вице-короля Индии и—главное—учреждено нечто вроде парламента в виде двух законодательных палат, в которые перешла законодательная деятельность, сосредоточившаяся прежде в канцеляриях вице-короля Индии. Правда, как состав, так и полномочия этого парламента совершенно не удовлетворяют большинство населения, которое объединяется около своего национального вождя Ганди, ведущего борьбу за настоящее самоуправление—Swaraj; но все же произведенная реформа увеличила силу и значение индийского капитала и помогла ему в борьбе с английским капиталом. Прежде всего почувствовал это Ланкашир, и почувствовал очень сильно, так как как раз сейчас он и без того переживает очень тяжелое время в связи с общим промышленным кризисом.

Речь идет об увеличении пошлины на английский импорт в Индию. Сначала эта пошлина—в размере 3½%—была введена во время войны. Имелось в виду увеличить доходы для финансирования войны. Но чтобы эту пошлину не почувствовал английский капитал, было одновременно обложено 3½% акцизом все индийское производство. Этот акциз, удовлетворивший Ланкашир, был очень невыгоден индийскому капиталу, и потому в 1917 г. объявлено было новое повышение пошлины на английский импорт до 7½%, без соответствующего увеличения акциза. Весть эта, как громом поразила английский капитал и, по словам английского „Economist'a" от 5 марта, „вызвала такую бурю в парламенте, что правительство спаслось только тем, что апеллировало к патриотическому чувству в критический момент войны". Но вот в начале марта этого года над Ланкаширом разразился новый удар: по телеграфу пришло известие, что индийское законодательное

собрание опять повысило пошлину—на этот раз до 11% и опять-таки без соответствующего увеличения акциза. Застигнутым врасплох (так как, по заявлению министра по делам Индии м-ра Монтэгью, пошлина эта уже вошла в силу с 1-го марта) капиталистам Ланкашира оставалось только изливать свое негодование в прессе, посылать депутации к министру и настаивать на несправедливости этой меры. Министр ответил, что правительство Индии назначит комиссию, которая примет во внимание все затронутые интересы. Но взбешенные хлопчатобумажные короли, устами „Economist'a", заявили: решение—сперва увеличить пошлину, а затем подвергнуть эту меру обсуждению, равносильно тому, как если бы сначала повесили человека, а потом назначили бы суд над ним. Любопытны еще вопрос и ответ, которые „Economist" советует ланкаширским фритредерам запомнить. Вопрос, заданный членом парламента Джойнсон-Гиксом министру Монтэгью: „Может ли мой достопочтенный друг успокоить нас что он будет чистосердечно защищать интересы империи?". М-р Монтэгью: „Я очень буду стараться, чтобы во всех вопросах фискальной политики Индия заняла место, подобающее ей, как свободному члену Британской империи". Эти совершенно необычайные слова в устах английского министра по делам Индии свидетельствуют о том громадном сдвиге, который произошел в отношениях между Англией и Индией.

И действительно, Англии приходится сейчас быть очень осторожной в ее отношениях к Индии, так как там, несомненно, растет революция, и английскому правительству предстоит еще немало серьезных уступок индийской буржуазии, чтобы оторвать ее от движения, охватившего весь народ. Мы не будем останавливаться на этом движении, так как это выходит из рамок нашей статьи. Отметим только ту своеобразную борьбу, которая сейчас ведется в Индии против Ланкашира.

Известно, каким влиянием пользуется в Индии ее национальный вождь Ганди, выступивший с проповедью пассивного сопротивления Англии. Сейчас он проповедует независимость Индии от английского ввоза мануфактурных товаров. Почему,—восклицает он,—Индия, классическая страна хлопка и ткачества, должна отправлять свое сырье за границу и получать оттуда готовый продукт? Чтобы сделать ненужным всякий импорт, он предложил, чтобы, как в старину, каждая семья обзавелась прялкой и ткацким станком. А так как эти примитивные орудия производства почти уже вышли из употребления, он предложил собрать, путем всенародной подписки, десять миллионов рупий (около 10.000.000 золотых рублей) на изготовление этих орудий, которые затем будут розданы населению. Многие скептики не верили в возможность собрать эту сумму, так как и Индия сейчас переживает трудное время в связи с мировым кризисом. Но они ошиблись: деньги собраны, и притом в сравнительно короткое время—в три месяца.

Нет, конечно, сомнения, что эта реакционная утопия не будет иметь успеха. Мы уже говорили о только что начавшемся расцвете индийской индустрии, в частности—текстильной промышленности, и ей, а не домашнему ткачеству, предстоит будущее. Но происходящее сейчас в Индии движение все же чрезвычайно характерно. Оно захватило широкие массы, которые идут за своим вождем, и свидетельствует о том всенародном порыве, который приведет скоро к освобождению Индии от вековой зависимости ее от Англии. Нет сомнения, что капиталисты Ланкашира, так возмутившиеся повышением пошлины на английский импорт, получили только первое предостережение. Дальнейшие удары еще впереди!

Английская внешняя торговля переживает сейчас острый кризис, и вся беда в том, что испытываемые английскими экспортерами затруднения—не временного характера, как это бывало много раз прежде. Наследие войны оказывается во многих отношениях особенно тяжелым для Англии.

Посмотрим прежде всего, на чем строилась внешняя торговля Англии до войны (данные взяты из „Statistical Abstract for United Kingdom", 1903—1917, стр. 86—87).

В 1913 г. английский вывоз составлял $525,_3$ миллионов фунт. ст.

Из этой суммы $195,_3$ милл. фунт. ст. получили английские колонии, в том числе в Индию было вывезено на $70,_2$ милл. фунт. ст.

Из остающейся суммы—330.000.000 ф. ст.—более половины (184 милл. ф. ст.) получила Европа, менее одной пятой получили Азия и Африка вместе, только одну десятую—С. Штаты, Куба и Филиппины и, наконец, одну седьмую получила Южная Америка.

Мы видим, что из общей суммы вывоза в 525 милл. ф. ст. на долю Европы пришлось 184 миллиона, т.-е. **Европа получила несколько более трети всего английского вывоза.** Итак, несмотря на то, что по всем морям и океанам земного шара крейсировали английские суда, все же весьма солидное количество английских товаров совершало только небольшое путешествие и оставалось в Европе. Сейчас мы увидим, что лучшим покупателем английских товаров был очень близкий сосед Англии—Германия.

В самом деле, из этой суммы 184 милл. ф. ст., приходившейся на долю Европы, Германия получила в 1913 г. на $40,_7$ миллионов, т.-е. немногим менее четверти всего вывоза в Европу. Заметим еще, что Россия получила в 1913 г. из Англии на сумму $18,_1$ милл., Франция—$28,_9$ милл., Италия—$14,_1$ милл., Бельгия—$13,_2$ милл., Голландия—$15,_4$ милл. и Дания—$5,_8$ милл.

Укажем между прочим, что из всех стран земного шара Англия больше всего вывозила в Индию (на $70,_2$ милл. ф. ст.), затем в Германию (на $40,_7$ милл.), в Австралию (34,[illegible]), С. Штаты ($29,_3$), Францию ($28,_9$), Канаду ($23,_8$).

Что же произвела война?

Особенно интересно, как отразилась она на торговле Англии с европейскими странами. Для простоты не будем рассматривать все европейские страны, а возьмем шесть главных стран для английского экспорта. При этом заметим следующее: для того, чтобы сравнить цифры 1920 г. с цифрами 1913 г. „при прочих равных условиях", необходимо перевести цены 1920 г. на цены 1913 г., так как нас интересует не движение цен, а количество вывезенных товаров. К тому же, хотя цены выражены в фунтах стерлингов, но и эта денежная единица упала в цене с 1913 г. на 19 . В последнем столбце печатаемой ниже таблицы читатель найдет выражение внешней торговли в 1920 г. в ценах 1913 г. (*см. табл. стр. 297*).

В 1920 г. цены стояли на чрезвычайно высоком уровне по сравнению с 1913 г. Поэтому обращаем внимание на последний столбец.

Итак, мы видим, что по всем странам произошло значительное сокращение английской внешней торговли (экспорт и импорт) почти в два раза (на 48). Как и следовало ожидать, более всего уменьшилась внешняя торговля с Германией (почти в шесть раз) и с Россией.

И это сделала не только война, но и мир, так как версальский договор наложил такие тяжелые обязательства на Германию, что, пока

Миллионы фунтов стерлингов.

	1913 г.				1920 г.				Увеличение или уменьшение в 1920 г. в %%.	Вся внешняя торгов. в 1920 г. по ценам 1913 г.	
	Ввоз.	Вывоз.	Вторичный вывоз[1]).	Вся внешняя торговля.	Ввоз.	Вывоз.	Вторичный вывоз[1]).	Вся внешняя торговля.			
Германия. .	80,4	40,7	19,8	140,9	31,1	21,7	29,4	82,2	— 41,7	26,2	—81,0 %
Франция.	46,4	28,0	11,9	87,2	76,0	136,6	39,8	252,4	+190,0	81,5	—6,5 %
Россия . .	40,3	18,1	9,6	68,0	34,2	11,9	4,8	50,9	— 25,1	16,4	—76,0 %
Голландия.	23,6	15,4	5,1	44,1	89,3	47,9	14,5	101,7	+130,6	32,8	—25,5 %
Бельгия . .	23,4	13,2	7,4	44,0	45,0	49,1	19,5	113,6	+158,2	36,7	—16,5 %
Дания . .	23,8	5,8	0,6	30,2	31,2	30,6	4,1	65,9	+118,2	21,3	—29,0 %
Всего . .	237,9	122,1	54,4	414,4	256,8	297,8	112,1	666,7	+ 61%	215,0	—48,0 %

(«Economist», 7 мая, 1921 г.)

он не будет пересмотрен, Германия не сможет занять прежнего места среди покупателей английских товаров.

Посмотрим теперь, как изменился после войны вывоз в другие страны. В этом отношении особенно поучительны данные вывоза угля: мы видели, какое большое значение имеет вывоз угля не только в общей сумме английского экспорта, но и для судьбы Англии, как мировой морской державы:

Вывоз угля из Англии в тысячах тонн.

	1912 г.	1919 г.	1920 г.
Франция.	12.776	16.205	11.691
Германия.	8.952	4	13
Италия.	9.647	4.641	2.905
Россия	5.998	221	93
Швеция.	4.563	1.592	1.372
Аргентина	3.694	639	273
Египет	3.162	1.674	985
Дания	3.034	1.743	1.040
Норвегия.	2.298	1.331	801
Испания	2.534	806	290
Бельгия	2.031	144	671
Голландия	2.018	402	239
Бразилия.	1.887	189	158
Алжир.	1.282	523	511

---

[1]) Вторичный вывоз, иначе реэкспорт, это вывоз чужеземных товаров, уже ввезенных в данную страну.

Вывоз угля из Англии в тысячах тонн.

	1912 г.	1919 г.	1920 г.
Португалия	1.202	544	301
Австро-Венгрия	1.057	143	99
Греция	728	139	98
Уругвай	724	185	117
Чили	589	7	7

(«Ueberseedienst» № 15, стр. 619.)

Вывоз угля упал не только по сравнению с довоенным временем, но и после 1919 г. В таких странах, как Бразилия, Аргентина и т. д., английский уголь, как мы видели, вытесняется американским.

После угля особенно интересны данные для текстильной промышленности.

Вывоз текстильных товаров из Англии (в тоннах).

	1913 г.	1920 г.
Франция	12.630	17.017
Другие европейские страны	64.091	10.536
Всего в Европу	76.721	27.553
Индия	50.437	17.916
Китай и Гонг-Конг	3.382	2.616
Япония	19.688	8.051
С. Штаты	3.939	1.745
Южная Америка	12.879	2.239
Австралия	1.417	633
Другие страны	9.611	2.549
Всего	178.074	63.332

(«Economist», 23 июля 1921 г.)

Чрезвычайно поучительно одно исключение из общего правила — падение вывоза в последние годы по сравнению с довоенным временем. Увеличился вывоз из Англии машин и, в особенности, текстильных машин! Так, в июле этого года больше всего было вывезено этих машин в Индию—на сумму 739.576 ф. ст. (в 5 раз больше, чем в 1913 г.); затем во Францию—296.514 ф. ст., в Китай—132.671 ф. ст. (в восемь раз больше, чем в 1913 г.), в Японию—191.112 фунт. ст. (в 4 раза больше, чем в 1913 г.). Всего за 7 месяцев с января 1921 г. было вывезено из Англии на 11.458.183 ф. ст. прядильных машин и на 2.180.713 ф. ст. ткацких станков („The Manchester Guardian Commercial", 18 авг. 1921 г.).

Но ведь эти прядильные машины и ткацкие станки, вывезенные в таком количестве в Индию и Китай, ускорят там темп развития туземной текстильной индустрии и принесут новые беды промышленности Ланкашира. И, что особенно интересно, вывоз машин в 1921 г. увеличился по сравнению с прошлым 1920 г., хотя вследствие тяжелого кризиса, переживаемого сейчас Англией вместе с другими капиталистическими странами, в 1921 г. значительно сократился вывоз по всем категориям товаров.

Вывоз (в фунтах стерлингов).

За семь месяцев: январь—июль.

	1920 г.	1921 г.
Уголь	63.828.924	16.093.200
Железо и сталь и изделия из них	72.365.121	41.004.607
Машины	31.166.090	47.251.107
Хлопчатобумажная пряжа и ткани	235.446.625	104.531.355
Шерстяная пряжа и ткани	83.132.832	35.652.879
Всего готовых изделий	640.657.261	355.934.541
Всего вывезено	774.918.788	412.067.426

Итак, в то время, как весь вывоз за 7 мес. 1921 г. по сравнению с тем же периодом в 1920 г. упал на 47%, вывоз машин возрос на 51,6%.

Сравнивая довоенное время с послевоенным, мы намеренно не приводили цифр настоящего года, так как, вследствие разразившегося над всеми капиталистическими странами кризиса при сравнении 1921 г. с 1913 г., мы все время должны были бы принимать в расчет страшный застой в торговле, вызванный этим кризисом. 1920 год тоже нельзя назвать благополучным, так как в течение его как раз и разразился небывалый кризис. Но, с другой стороны, этот год, во всяком случае первая половина его, был для Англии годом небывалого расцвета и небывало высоких цен. Начался он при „самых лучших“ предзнаменованиях, при лихорадочной деятельности, охватившей промышленность и торговлю, при неслыханно вздутых ценах, которые еще продолжали расти, пока этот расцвет не сменился жестоким кризисом, вызвавшим стремительное падение цен и застой в торговле и промышленности. Но этот застой со всей силой проявился лишь в настоящем году. Почти весь прошлый год цены росли и достигли наивысшей точки в ноябре.

Средние цены в процентах по сравнению с июлем 1914 г.

1920 г.	%%	1921 г.	%%
1 января	125	1 января	165
1 февраля	130	1 февраля	151
1 марта	130	1 марта	141
1 апреля	132	1 апреля	133
1 мая	141	1 мая	128
1 июня	150	1 июня	119
1 июля	152	1 июля	119
1 августа	155	1 августа	122
1 сентября	161		
1 октября	164		
1 ноября	176		
1 декабря	169		

Мы не будем рассказывать истории этого кризиса, так как об этом писалось уже много раз. Не будем долго останавливаться и на рисующих этот кризис цифрах. Вообще этот год был для Англии не-

бывало тяжелым. Грандиозная забастовка углекопов потрясла хозяйственный организм до самого основания. Ничего подобного еще не приходилось переживать Англии. Любопытно, что лондонцы в первый раз в своей жизни дышали чистым воздухом. Перед их глазами открылась далекая панорама, которая до тех пор всегда была окутана дымом и туманом, и удивленные жители громадного города по-своему наслаждались. К тому же в этом году была необыкновенно ранняя, солнечная весна, так что не надо было топить каминов, и с этой стороны поэтому не чувствовалось истощения запасов угля.

Вследствие забастовки углекопов остановилась работа не только в шахтах, но и на очень многих заводах (вследствие отсутствия угля). Вот цифры производства чугуна и стали в 1921 г. по сравнению с 1920 г:

В тысячах тонн.

	Чугун.		Сталь.	
	1920 г.	1921 г.	1920 г.	1921 г.
Январь	665	642	754	493
Февраль	645	464	798	483
Март	699	386	840	359
Апрель	671	60	794	70
Май	739	14	846	6
Июнь	726	1	845	3
Июль	751	10	790	117
Август	752	—	709	—
Сентябрь	741	—	885	—
Октябрь	533	—	544	—
Ноябрь	4 3	—	505	—
Декабрь	683	—	747	—

(«Economist», 20 августа.)

Как видим, работа на чугунно-и сталелитейных заводах почти совершенно остановилась.

Но эти цифры показывают также, как сократилась деятельность этих заводов еще до забастовки, как быстро падала выплавка чугуна в первые три месяца этого года.

Так же сократился и вывоз железа и стали в эти месяцы (до забастовки):

Январь—март.

В тысячах тонн.

	1913 г.	1920 г.	1921 г.
Вывезено железа и стали	1 215,2	788,0	550,1

Вот еще цифры вывоза хлопчатобумажных тканей в 1921 г.:

В тысячах квадратных ярдов.

	Китай.	Бомбей.	Бенгал.	Все страны.
Январь	28.454	30 206	48.841	249.300
Февраль	16.609	33.406	71.376	244.725
Март	15.018	20.737	61.589	231.931
Апрель	14 537	11.859	54.086	1[illegible]6.760
Май	9.041	10.674	37.166	145.603

(«Manchester Guardian», 10 июня.)

Вывезено хлопчатобумажных тканей в кв. ярдах за первое полугодие:

192 г.	2.396.798.000
1921 г.	1.211.021.700

(«Industrie und Handelszeitung», 15 июня 1921 г.)

Так же уменьшился и ввоз сырья.

Например, вот как изменился ввоз американского хлопка в европейские страны:

В кипах (кипа—от 14 до 18 пудов).

	1 авг. 1920 г. по 31 июля 1921 г.	1 авг. 1919 г. по 31 июля 1920 г.
Ввоз в Великобританию	1.749.000	3.326.000
Германию . . .	1.325.000	420.000
Францию . . .	577.000	584.000

(«Ekonomist», 20 августа 1921 г.)

Во Франции ввоз хлопка почти не изменился за год, в Германию в три раза увеличился, в Великобританию уменьшился почти в два раза.

Наконец, вот цифры внешней торговли Англии:

Вывоз в тысячах тонн.

	Уголь, кокс и др. топливо.		Другие товары.	
	1913 г.	1921 г.	1913 г.	1921 г.
Январь	6.374	1.830	1.341	728
Февраль	5.823	1.871	1.118	575
Март	5.832	2.110	1.166	546
Апрель	6.605	660	1.358	619
Май	6.148	33	1.341	467
Всего	30.782	6.504	6.324	2.935

(«Times», 29 июня 1921 г.)

В 1921 г. вывоз в четыре раза меньше, чем в 1913 г.

Перед нами прошел ряд цифр, рисующих тяжелое экономическое положение Англии после войны. Блестящие надежды, вызванные поражением Германии, разлетелись, как дым. Именно это поражение и ее результат — версальский договор — являются сейчас серьезным источником больших затруднений для английской промышленности.

Германия разбита, обессилена экономически. Ее торговый флот, до войны второй в мире, сейчас занимает одно из последних мест (рядом с греческим). Казалось бы, английский капитал должен был бы торжествовать победу и извлекать колоссальные выгоды от устранения своего прежнего опасного конкурента. Но вышло наоборот.

Во-первых, как мы видели, обессиленная Германия почти не существует сейчас, как покупатель английских товаров, а мы знаем, как велика была до войны внешняя торговля Англии с Германией.

Во-вторых, те тяжелые уплаты натурой и деньгами, которые наложены на Германию версальским договором, бесконечно запутывая ее экономическое положение, создают затруднения и для английской

промышленности. Германская марка чрезвычайно обесценилась. Последнее время (в конце сентября этого года) она стоила в тридцать раз меньше, чем до войны (доллар стоит сейчас 125 ¼ марки).

Но так как заработная плата в Германии не увеличилась соответственно падению марки и так как вообще издержки производства производимых в Германии товаров, переведенные на фунты стерлингов, значительно ниже издержек производства английских товаров, то естественно, что германские товары легко конкурируют в Англии с английскими. Отсюда вопль о германском засилии и требования защиты от опасной конкуренции. Получается нелепейшее противоречие: с одной стороны, „союзники" принуждают Германию к уплате громадных сумм, принимают репрессивные меры (чрезвычайно вредные для всей хозяйственной жизни Германии, а значит и для ее платежеспособности) с целью понудить ее к уплате требуемых сумм; с другой же стороны, они хотят защитить себя высокой стеной от немецких товаров. Как же Германия будет платить долги, которые насчитали ей на сумму 11 миллиардов ф. ст.? Несомненно, для этого вывоз ее должен превышать ввоз. Она должна сократить потребление внутри страны и из всех производимых ею продуктов удерживать значительную часть для уплаты долгов. И вот это-то не позволяют ей делать те самые государства, которые с применением карательных мер требуют от нее уплаты долгов.

Чтобы „спасти" английскую промышленность от наплыва дешевых германских товаров, в мае этого года в парламент внесен был так называемый Anti-dumping Bill. Наиболее существенна 2-я часть этого билля, в которой говорится, что министр торговли может путем особого декрета наложить ввозную пошлину в 33⅓% на все товары, которые предъявляются к продаже в Англии: а) по ценам ниже издержек производства и б) по ценам, которые, вследствие низкой денежной валюты ввозящей страны, стоят ниже цен, по которым эти товары могут с выгодой продаваться в Англии. Этим биллем, между прочим, нарушается старый английский принцип, по которому в Англии могут вырабатываться лишь те товары, производство которых не дороже или дешевле, чем в прочих странах. Обратно же товары, которые в Англии могут производиться по ценам более дорогим, должны ввозиться из-за границы.

Но жизнь не считается ни с какими биллями.

„Manchester Guardian Weekly" (30 сент.) пишет: „Уплата Германией громадного долга должна неизбежно обозначать колоссальный, непрекращающийся, длительный поток германских товаров всех наименований во Францию, Бельгию и Англию. И этот поток, это наводнение началось. К своему удивлению, англичане видят, что в августе произошло резкое увеличение по всем статьям германского вывоза в Великобританию. Так, железа и стали вывезено на 73 046 ф. ст. больше, чем в июле, химических красок на 37.019 ф. ст. больше. Мы заплатили за игрушки почти вдвое больше, чем в июле. Мы получили в большом количестве—гораздо больше, чем прежде—часов, ножей, канцелярских принадлежностей, бритв, ламповых стекол. Странно, — иронизирует газета,—что эти груды товаров не вызывают восторга у тех людей, которые два года тому назад громче всех кричали, что Германия заплатит за все. Та же паника, что у нас, замечается и в Париже. „Matin" говорит, что германские фирмы завалены заказами, в то время как в Англии и Франции выходят из строя одна за другой доменные печи и растет безработица".

А германский министр Ратенау сказал недавно: „Выполнение нами

наших долговых обязательств принесет гораздо больше вреда всему миру, чем нам. В Англии три миллиона безработных, в Америке — шесть миллионов. Чем больше будет работать Германия, тем больше будет безработных в других странах".

Разбитая, униженная Германия мстит за себя и вносит смуту в ряды победителей. И выхода из противоречия, созданного версальским договором, нет и не может быть.

Что ждет Англию в будущем? Правы ли те экономисты, которые предсказывают, что одним из главных последствий мировой войны будет ослабление роли Европы в мировом хозяйстве и что центр тяжести мировой хозяйственной деятельности перейдет в Великий океан, где рядом с Соединенными Штатами и Японией выдвигается Китай, таящий в себе громадные возможности? Или же мировая война нанесла смертельный удар всему старому миру, и на развалинах изжившего себя капитализма, приведшего к небывалому взаимоистреблению и нагромоздившего неразрешимые противоречия, возникнет новый мир, построенный на началах, завещанных великими творцами социализма? Что касается Англии, несомненно, что тот фундамент, на котором строилось ее мировое могущество, дал широкие трещины, и в ней уже сейчас происходит глубоко интересный революционный процесс.

С. Антропов.

Внутри советской России.

От войны к миру.

I.

Первая половина 4 октябрьского года в сов. России прошла под знаком сильнейшего социально-политического кризиса. Победа над Врангелем, как это ни странно, послужила для него исходным пунктом. Окончание войны поставило советскую Россию перед труднейшими задачами. Из стадии гражданской войны она должна была переходить к миру.

Советская власть строилась и вела ожесточенную войну на многочисленных фронтах силами двух революционных классов—пролетариата и крестьянства. Между этими двумя классами в дни октябрьского переворота было заключено соглашение, целью которого было: установление Советской власти, ликвидация империалистической войны, захват земли и промышленности и борьба не на жизнь, а на смерть с буржуазией и с помещиками. Для победы над общим врагом пролетариат и крестьянство приносили великие жертвы.

К концу гражданской войны советская Россия представляла из себя сплошную язву. Боль ран заглушали революционная страсть и переживания боя, но когда прекратились сражения, то со всех сторон раздались стоны. Массы пролетариата истощали, устали, исстрадались и требовали отдыха, спокойствия и улучшения материального положения.

Крестьянство также почувствовало всю тяжесть своих жертв и стало выражать недовольство существующим положением. Во время войны крестьянство мирилось с разверсткой и другими государственными повинностями. Но после того, как контр-революция была разгромлена и непосредственная опасность буржуазно-помещичьей реставрации миновала, крестьянство потребовало пересмотра октябрьского соглашения. Соотношение классовых сил в стране изменилось не в пользу пролетариата. В стране разразился социально-политический кризис. Обще-политическое положение еще более обострилось экономическими кризисами: топливным, продовольственным и транспортным, которые к тому же свалились на голову республики, совершенно неожиданно, благодаря нерасчетливости и беспечности соответствующих органов.

Мелко-буржуазная стихия полезла из всех щелей. Стали оправляться эс-эры. В деревне развивался бандитизм. В Тамбовской губернии оперировали шайки бандита Антонова, достигавшие многих тысяч человек. В Поволжье бандитскими отрядами сжигались ссыпные пункты, в Сибири вспыхнуло большое кулацкое восстание, и восставшие прервали на некоторое время железнодорожные сообщения между Европейской Россией и Сибирью. Бандитское движение шло под

эс-эровскими лозунгами и под непосредственным руководством эс-эровских организаций. Влияние мелко-буржуазной стихии проявлялось и среди пролетариата. Эс-эры под видом беспартийных все чаще появлялись на рабочих митингах, прилагая усилия к тому, чтоб увлечь рабочую массу за собой. Успеху эс-эровской агитации способствовало тяжелое продовольственное положение рабочих. Недовольство крестьянства разверсткой, собранной в 1920—1921 году, особенно энергично также находило отклик среди пролетариата. Работа на предприятиях происходила с большими перерывами, так как рабочие, не получая продовольствия, время от времени устраивали „волынку". Настроение рабочих очень ярко выявились на московско-губернской конференции металлистов, происходившей ранней весной. В числе многих требований, которые вынесла конференция, стоявшая, несмотря на некоторую свою оппозиционность, в общем и целом на платформе Советской власти, было требование замены разверстки натуральным налогом.

Кронштадтские события были тем штрихом, который дополняет всю картину и делает ясным ее смысл. Кронштадтские мятежники восстали против Советской власти под лево-эс-эровско-анархическими лозунгами. Мелко-буржуазная стихия бунтовала против твердого режима пролетарской диктатуры и ее проводника—коммунистической партии и провозгласила лозунг беспартийных советов.

Буржуазно-помещичья контр-революция оказала полную поддержку кронштадтским мятежникам, понимая, что советы без коммунистической партии будут игрушкой в ее руках. В первые же дни мятежа между восставшими матросами и белогвардейскими кругами за границей протянулись нити идейной и организационной связи. Против октябрьской революции образовался единый фронт „3 революции" от Петриченко до Врангеля.

Проявления социально-политического кризиса, особенно в деревне, сильно напоминали события лета 1918 г. Тот же колоссально быстрый и внезапный рост эс-эровского влияния среди крестьянства. То же отражение крестьянских настроений среди пролетариата. Тот же клубок махрово-черносотенных махинаций и анархо-эс-эровского бунта.

Кризисом лета 1918 г. были подвергнуты испытанию две партии: мелко-буржуазная—левые эс-эры и пролетарская—коммунисты. Левые эс-эры на лозунге войны против германского империализма свернули себе голову. Партия пролетариата, взяв в полном соответствии со всей обстановкой и желанием масс твердый курс на мир с Германией и в то же время провозгласившая беспощадный террор и войну всем внутренним врагам революции, поддержанным иностранным капиталом в виде чехо-словаков и многочисленных десантов, преодолела все препятствия и победоносно закончила гражданскую войну.

Кронштадтские события пролили яркий свет на картину движения социальных сил в России и ясно обнаружили природу и возможные последствия кризиса в случае его дальнейшего развития. Среди масс, увидевших за Кронштадтом притаившегося врага, началось отрезвление.

Общий политический кризис нашел свое отражение и в партии: во весь свой рост встала проблема „верхов и низов", появились настроения и неоформленные уклоны политической мысли в виде так называемой „рабочей оппозиции". В партийных рядах чувствовался некоторый психологический разброд.

Страстная дискуссия о профсоюзах,—дискуссия по вопросу организационному показали, что у партии нет общепризнанной и ясной для всех оценки международного и внутреннего положения республики.

нет ясной перспективы развития революции и потому существуют разногласия в вопросах практического строительства.

Между тем ход событий требовал от партии внутреннего единства и быстрых решительных действий. Партия должна была не только разрешить назревший социально-политический кризис, но в условиях тяжелой разрухи провести сложнейшие государственные мероприятия в связи с переходом от военных задач к мирному строительству.

В частности, демобилизация армии при разрушенном транспорте и недостатке продовольствия требовала напряжения всех сил партии и Советской власти.

Десятый съезд коммунистической партии происходил в дни наивысшего обострения кризиса, когда вспыхнуло кронштадтское восстание и происходила „волынка" на заводах Петербурга и Москвы. Съезд дал оценку международному и внутреннему положению республики, и, исходя из этой оценки, пересмотрел октябрьское соглашение между пролетариатом и крестьянством, сделав последнему уступку в виде замены продразверстки натурналогом. Замена разверстки налогом была в первую голову актом политическим, имевшим целью в условиях мира сохранить и упрочить союз рабочих и крестьян. С точки зрения экономической введение натурналога означало изменение методов нашего хозяйственного строительства. Решения съезда подействовали на разбушевавшуюся мелко-буржуазную стихию, как масло, вылитое на бурные волны. Кронштадт был взят 17 марта красными войсками, во главе которых шли на штурм крепости делегаты X коммунистического съезда. Вскоре мелко-буржуазная контр-революция потерпела поражение и на заводах Москвы.

Эс-эры устроили забастовку на зав. Бромлей и пытались путем демонстрации увлечь на выступление против Советской власти другие предприятия и красноармейские части. Ни одно предприятие и ни одна воинская часть не поддержали преступную авантюру эс-эровских крикунов из завода Бромлей.

Договоры с Англией (18 марта), с Польшей (18 марта) и с Турцией (16 марта) закрепили международное положение советской России. Труднейшие дни остались позади.

II.

Во время гражданской войны главным и наиболее тяжелым обязательством, которое крестьянство выполняло по соглашению с пролетариатом ради победы над буржуазно-помещичьим блоком, была продовольственная разверстка. Продразверстка была одним из способов осуществления государственной монополии на продукты сельского хозяйства. Крестьянство по разверстке обязано было сдавать все излишки своего хозяйства продорганам. Благодаря соблюдению классового принципа в обложении, разверстка как бы стригла все хозяйство под одну гребенку. Малая культурность и техническая неорганизованность низших ячеек взимающего аппарата делали неизбежными многочисленные неправильности и злоупотребления в сборе продразверстки. Вследствие того, что размер налагаемой разверстки был совершенно случаен и заранее не мог быть предусмотрен, крестьянское хозяйство не могло даже произвести элементарных хозяйственных расчетов и жило в состоянии полной неопределенности. Продразверстка убивала в крестьянине стремление к улучшению и развитию и даже удержанию на прежнем уровне его хозяйства. По этой

причине, а также под влиянием общих условий разрухи крестьянское хозяйство принимало потребительский характер, становилось самоснабжающимся. Сильно сократилась посевная площадь, катастрофически уменьшились посевы специальных культур. Количественно и качественно пало животноводство.

Замена разверстки налогом открыла клапан для выхода скрытой энергии крестьянского хозяйства. Отмена круговой поруки и большая определенность налоговых ставок создали устойчивость положения и дали уверенность в завтрашнем дне. Уменьшение налога по сравнению с разверсткой и право свободно распоряжаться излишками, остающимися в хозяйстве после выполнения налога, пробудили интерес к хозяйствованию и поднятию производительности хозяйства.

Весенняя посевная кампания прошла с огромным подъемом. Крестьянскую массу не пришлось двигать на посев рычагом посевкомов. Нужна была лишь широкая политическая кампания по разъяснению значения натурналога для крестьянского хозяйства, чтобы внушить доверие крестьянам к новому закону и еще более усилить уже пробудившиеся хозяйственную инициативу и энергию. Декрет 8-го съезда советов об укреплении и развитии крестьянского хозяйства способствовал концентрации всех партийных и советских сил на посевной кампании. Политическая кампания была проведена с большим успехом и крестьянство даже в самых захолустных углах было осведомлено о значении для крестьянского хозяйства введения натурналога. Но Советская власть оказала крестьянству и реальную помощь. Повсюду организовались большие работы по починке крестьянского инвентаря, мобилизовались с этой целью рабочие и перебрасывались необходимые материалы. Из запасов Наркомпрода в распоряжение земотделов для распределения среди крестьян было отпущено свыше 30 миллионов пудов семян. Крестьянство само стремилось к увеличению площади запашки и если где и оставляло землю незасеянной, то только по причине отсутствия семян.

Семенная помощь со стороны государства производила на крестьян самое благоприятное впечатление. По всей России была проведена „неделя красного пахаря", которая во многих губерниях растягивалась на месяцы. Посевная площадь по сравнению с 1920 г. значительно расширилась.

Во время весенней посевной кампании были сделаны первые шаги и в смысле массового улучшения техники сельского хозяйства. Посевкомы путем агитации и принуждения побуждали крестьян к ранней вспашке пара и в некоторых губерниях, напр. Тульской и Иваново-Вознесенской, добились значительных результатов. Подобная же кампания за улучшение техники крестьянского хозяйства была проведена и осенью, когда посевкомы широко распространили зяблевую вспашку и лущение. Замена разверстки налогом и энергично проведенная кампания помощи крестьянскому хозяйству во время весенних посевов оказали свое воздействие на крестьянство и изменили его отношение к Советской власти. Ход весенней посевной кампании показал, что крестьянство удовлетворено результатами пересмотра своего соглашения с пролетариатом, и что с введением продналога путь для развития крестьянского хозяйства открыт.

Отменив монополию на с.-х. продукты и разрешив товарооборот, мы перевернули еще одну страницу в нашей аграрно-крестьянской политике.

Краеугольным камнем нашей земельной политики является „Основной закон о социализации земли". „Социализация земли есть

программа мелко-буржуазного использования государственного земельного фонда. Содержанием этой программы является национализация земли и распределение национализированных земель между крестьянами по потребит.-трудовым нормам, т.-е. по рабочим силам и едокам. В дни октября пролетариат принял эту хотя и революционную, но все же несоциалистическую программу аграрной революции, так как она являлась вернейшим путем к ликвидации помещичьего землевладения и феодальных земельных отношений и вместе с тем обеспечивала пролетариату в его борьбе с буржуазно-помещичьим блоком наибольшую поддержку со стороны крестьянства. Советская власть не имеет оснований пересматривать этот пункт соглашения с крестьянством. Наоборот, перед ней стоит задача скорейшего проведения уравнительного распределения земель по закону о социализации, чтобы упорядочить земельные отношения и более рационально организовать крестьянское хозяйство. С этой целью необходимо упростить технику землеустройства и увеличить кадры землеустроителей. Что касается утопий, построенных эс-эрами на вполне реальной крестьянской программе уравнительного распределения национализированных земель, то Советская власть может спокойно не считаться с этими утопиями, так как они оказались настолько нежизненными, что крестьянские массы за все время революции не оказали им никакого внимания и посейчас ничего не знают о них. Среди крестьянства после введения продналога наблюдается усиленная тяга к земле и в связи с этим увеличение интереса к вопросам землеустройства и землепользования. Между прочим, очень часто крестьяне запрашивают о том, как относится Советская власть к выделам на хутора. Советская власть не придает самодовлеющего значения формам землепользования. Не раз в официальных документах подтверждалось равноправие всех форм землепользования: общинной, подворной, хуторской и т. д.

Решающим критерием для жизненности этих форм будет их влияние на производительность хозяйства.

Изменившиеся экономические условия требуют пересмотра нашего законодательства в отношении к аренде и наемному труду в сельском хозяйстве. И тот и другой институт в настоящее время очень широко распространены в деревне. Их нужно легализовать и поставить в определенные рамки.

Земельная политика у нас в сильнейшей степени определяется продовольственной политикой.

При продовольственной разверстке земельная политика получила свое законченное выражение в виде государственного посевного плана. Силой, которая должна была поднять, улучшить и укрепить крестьянское хозяйство, было принуждение. Продовольственной разверстке соответствовала разверстка посевная. Крестьянину присваивалась роль государственного работника на государственной земле, а некоторые путники даже окрестили крестьянское хозяйство „крестхозом".

Разрешив свободный товарооборот, мы открыли крестьянское хозяйство влиянию рынка. Если при отсутствии рынка было трудно рассчитывать на успех принудительных мероприятий в деле восстановлении и развития крестьянского хозяйства, то теперь, когда крестьянское хозяйство ориентируется на рынок, принудительное регулирование его безусловно окажется несостоятельным. Приказ посевкома не сможет успешно конкурировать с требованиями рынка.

В новых условиях нужно отказаться от руководства крестьянским хозяйством путем принуждения и перейти к политике экономического регулирования крестьянского хозяйства. Никаких особых ме-

роприятий в целях понуждения крестьян к расширению площади посева теперь уже не требуется, так как крестьяне сами увеличивают до возможных пределов свой посев. Для влияния же на крестьянское хозяйство в смысле расширения необходимых для промышленности специальных культур, государство имеет в своем распоряжении достаточно средств экономического воздействия. Изменяя налоговые ставки на те или иные культуры, государство может увеличить или уменьшить их засев. По мере того, как советский товарообменный аппарат будет овладевать рынком и на последнем будут играть все большую роль государственные спрос и предложение, средства экономического регулирования крестьянского хозяйства в руках государства будут все более увеличиваться и делаться более многообразными. Политика договоров с крестьянами о засевах тех или иных специальных культур также может дать большие результаты. Отказ от посевного плана не означает отказа от планового воздействия на крестьянское хозяйство. Посевной план должен быть заменен планом агрономической работы. С.-х. районирование России должно лечь в основу плана агрономических мероприятий. Опыт с.-х. кампании истекшего года показал, что в области агрономической работы применимы методы принудительного воздействия. В таких кампаниях, как взмет раннего пара, зяблевая вспашка и т. п. массовая пропаганда с помощью рядовых агитаторов несложных технических приемов по улучшению земледелия и принудительные меры, побуждающие крестьян применять эти приемы, дают заметный полезный эффект. И впредь в области агрономического воздействия на крестьянское хозяйство нужно итти тем же путем. С таким мощным орудием агрикультуры, каким должны стать наши совхозы, советская агрономия может сделать чудеса в повышении техники крестьянского хозяйства.

Огромная роль в поднятии производительности земледелия выпадает на с.-х. кооперацию. В период гражданской войны с.-х. кооперация сильно пострадала: продразверстка лишила ее масс, в процессе всеобщей ломки были нарушены ее организационные связи.

Теперь с.-х. кооперация начинает востанавливаться. Высшие органы власти ей оказывают в этом всемерную поддержку. Отношение власти к с.-х. кооперации характеризуется такими актами, как постановление С. Н. К. от 17 мая, которым все органы власти обязываются оказывать кооперативным организациям всяческую помощь,— и декрет С. Н. К. о с.-х. кооперации от 16 августа. Ни в одном буржуазном государстве таким попечением со стороны власти крестьянская кооперация не пользуется.

При наличии вольного рынка с.-х. кооперация является лучшим средством воздействия на крестьянское хозяйство. Вместе с тем через кооперацию может быть установлена наиболее тесная экономическая связь между государственной промышленностью и крестьянским хозяйством. Одной из основных линий, характеризующих новый курс, является самодеятельность масс, а высшей формой этой самодеятельности для крестьянских масс является кооперация. Приходится с огорчением констатировать, что еще очень многие и не только провинциальные, но и центровые работники не дооценивают роли кооперации в системе „союза пролетарской диктатуры и государственного капитализма" и с опаской поглядывают на ее развитие. Между тем должна быть ясной для всех та мысль, что максимальное развитие всех видов кооперации и особенно сельско-хозяйственной является одной из главнейших предпосылок благополучного существования пролетарской диктатуры в такой преимущественно крестьянской стране, как

России. Чем больше обрастет аппарат пролетарской диктатуры кооперативными организациями мелких производителей, тем он будет сильнее в экономическом отношении и тем устойчивее будет социальное равновесие внутри России. Поощряя при новом курсе даже частную промышленность, мы тем большее внимание и содействие должны оказать кооперативной самодеятельности. Не опасны ли для пролетарской диктатуры мощные объединения мелких производителей? Нет и нет. В тысячу раз для нас опаснее миллионы распыленных хозяйств, находящихся во власти вольного рынка. С помощью же кооперации Советская власть может овладеть рынком. Борьба за среднее крестьянство между Советской властью и капиталом будет происходить на рынке и главным орудием Советской власти в этой борьбе будет с.-х. кооперация. Поставить с.-х. кооперацию в зависимость от Советской власти, подчинить ее государственному контролю, сделать ее на деле Советскою невозможно путем мелочной придирчивости, организационных заплаточек, бюрократического надзора. Всего этого можно достигнуть только путем экономических мероприятий и установления деловых хозяйственных связей между государством и кооперативными организациями. Всесторонняя экономическая зависимость с.-х. кооперации от государства, которая создается в результате всесторонней же государственной помощи с.-х. кооперативам и в процессе выполнения последними государственных заданий, приведет к политической лойяльности кооперации по отношению к Советской власти. Политикой поощрения мы можем добиться полного сочувствия и поддержки со стороны кооперативных масс. Поэтому для нас приемлема максимальная экономическая программа с.-х. кооперации. Поэтому революционным долгом каждого советского деятеля является поддержка всеми силами и средствами кооперативной инициативы населения.

В 20-х числах августа состоялся Всероссийский съезд с.-х. кооперации. На этом съезде был намечен план и организация с.-х. кооперативной работы. Были отмечены особо производственные задачи с.-х. кооперативов. Этот особый интерес к производственным задачам с.-х. кооперации объясняется, с одной стороны, тем, что улучшение техники сельского хозяйства в связи с засухой является важнейшей задачей с.-х. кооперации, а с другой—влиянием на кооператоров широко распространенного в коммунистической среде мнения, что задачей с.-х. кооперации является улучшение крестьянского хозяйства путем его кооперирования, а не торговые операции сбыта и закупок или организация мелкого кредита. Мы полагаем, что все указанные виды с.-х. кооперативной деятельности должны находить у нас равную поддержку.

Не обошлось на съезде и без политики. Но благоразумие провинциальных практиков взяло верх и политиканство не получило поддержки. На выборах в правление и в совет шла борьба между двумя группами, из которых одна называла себя „деловой". Руководителями ее считают А. В. Чаянова и председателя правления Всеросс. с.-х. коопер. союза Садырина. Нельзя не приветствовать образование такой группы, которая, если ее деловая линия будет взята „всерьез и надолго", может принести большую пользу с.-х. кооперации.

Вопрос о с.-х. кооперации дебатировался также на Всеросс. конференции Всеработземлеса, состоявшейся в конце сентября. Конференция подошла к нему при обсуждении вопроса о роли и дальнейшей судьбе с.-х. коллективов (коммун, артелей, товариществ). Признав их вполне правильно высшей формой кооперации, конференция постановила распространить на них декрет от 16 августа о с.-х. коопе-

рации. Но конференция сделала тактическую ошибку, постановив союз с.-х. коллективов слить с союзом с.-х. кооперации. Это неосторожно. Конторками коллективного движения не усилишь, а сливая не перешедшие еще на новые рельсы с.-х. коллективы с неопределившейся и находящейся еще в стадии организационной неразберихи с.-х. кооперации, можно причинить огромный вред и той и другой организации. На конференции говорилось о „завоевании“ с.-х. кооперации. В результате этого „завоевания“ (а по-нашему штопанья) может получиться то, что коммуны и артели начнут рассыпаться, а крестьянин не пойдет в с.-х. кооперативы, увидев там „коммунию“. Нужно надеяться, что позиция, занятая в этом вопросе конференцией, не встретит одобрения в высших профессиональных и советских инстанциях. Конференция разрешила много вопросов чисто профессионального характера. В декабре предполагается Всеросс. съезд Всеработземлеса, к которому нужно усиленно готовиться. Перед Всеработземлесом в новых экономических условиях встают колоссальные задачи по сплочению деревенской бедноты и организации классовой борьбы в деревне.

При новом курсе экономической политики неизбежно начнется процесс дифференциации крестьянства. В отношении к зажиточному крестьянству, политика экспроприации должна быть заменена политикой подавления его возможных антисоветских выступлений. Чтобы не дать зажиточному крестьянству экономически закабалить бедноту и закрепить за собой политическое руководство в деревне, чтобы защитить бедноту от эксплоатации, политически парализовать кулачество и усилить позиции пролетариата в деревне, необходимо приступить к организации классовой борьбы среди крестьянства на почве отстаивания повседневных хозяйственных интересов бедноты. Такими практическими и жизненными вопросами, которые могут заинтересовать в организации пролетарские и полупролетарские элементы деревни, являются вопросы крестьянской земельной аренды и наемного труда в сельском хозяйстве.

Завоевание деревни Всеработземлесом как путями классовой борьбы, так и агрикультурной и культурной работой является в настоящее время важнейшей задачей в области нашей аграрно-крестьянской политики. Новая аграрно-крестьянская политика Советской власти преследует цель полного развития производительных сил в земледелии и всемерной помощи крестьянскому хозяйству.

Часто наши агитаторы ставят крестьян перед дилеммой: капитализм или социализм? Между тем так пока вопрос перед крестьянством не стоит. Крестьянству нужно выбирать между крестьянской политикой пролетарской диктатуры и гнетом диктатуры буржуазной. Если бы случилось величайшее историческое несчастье—пала Советская власть, то союз иностранного капитала и русской реакции нажал бы своим эксплоататорским прессом прежде всего на крестьянское хозяйство. Победа контр-революции для крестьянства означает, помимо кровавых экспедиций, расплату за исторические грехи русской буржуазии и царизма и перенесение всех последствий империалистической и гражданской войн на крестьянские плечи. Массовая пролетаризация, обнищание и вымирание крестьянства явились бы первейшими предпосылками возрождения капитализма в России. Пролетарская диктатура исключает возможность эксплоатации иностранным капиталом русского народа. Восстановление разрушенного народного хозяйства и дальнейшее развитие производительных сил при Советской власти будет происходит для крестьянства более безболезненно, чем при бур-

жуазно-помещичьем режиме. Сохранение основных для крестьянства завоеваний октябрьской революции: земли, советской демократии и политики мира, которую неуклонно проводит Советская власть, обеспечивают крестьянству быстрое развитие и улучшение его хозяйства. Пусть свободный крестьянин выбирает между Советской властью и рабством у русского и иностранного капитала.

III.

Голод ждали. Еще в 1920 г. засуха сильно повредила урожай в Тульской, Рязанской, Орловской, Брянской и других центральных губерниях. Ученые специалисты предсказывали наступление ряда засушливых лет. Припоминали теорию Брюкнера, по которой в северном полушарии существует периодичность: 17 лет влажных благополучных по урожаю сменяются 17 годами засухи и неурожаев. Эти семнадцатилетия намечены Брюкнером в таком виде: 1857—1874 — засушливый период, 1874—1891 — влажный период, 1891—1908 — засушливый, 1908—1925 — благополучный, 1925—1941 — засушливый. Россия согласно этим предположениям находится сейчас в преддверии к засушливому периоду. Теория Брюкнера недостаточно подтверждена опытными наблюдениями, но правильность ее все же весьма вероятна. На Советскую Россию надвигается неотвратимая сила стихии. К борьбе с ней русский крестьянин совершенно неподготовлен. Агрономы говорят, что засуху делает сам земледелец. Истощенность наших почв, примитивные приемы обработки земли, однообразие и убожество систем севооборота, нищенское техническое оборудование крестьянского хозяйства и пр. — все это делает наше земледелие беззащитным в борьбе с засухой и угрожает величайшими бедствиями и полным развалом народного хозяйства России в наступающий засушливый период. Поэтому одной из важнейших задач, которую русский народ в ближайшие годы должен во что бы то ни стало и всеми средствами разрешить, является повышение техники сельского хозяйства. Как велико надвигающееся бедствие, так же колоссальны должны быть наши усилия для разрешения этой задачи. Есть много приемов, вполне испытанных агрономией и осуществимых в крестьянском хозяйстве, с помощью которых можно с успехом бороться с вредным влиянием засухи. Переход к многополью с полевыми культурами пропашных растений, ранний взмет паров, вспашка под снег, лущение и т. п. смягчают или даже устраняют совсем губительные последствия засухи. Нужна широкая програма мер по борьбе с засухой и улучшению техники нашего земледелия. Необходимо применение методов массовой работы для осуществления этой програмы. Проект заведующего Шатиловской опытной станции проф. Лебедянцева о массовой разработке фосфоритов, планы широкого распространения полевой картофельной культуры, энергично пропагандируемые проф. Прянишниковым, програма восстановления с. х. на юго-востоке, разработанная проф. Рыбниковым, свидетельствуют о том, что наша научная агрономическая мысль усиленно работает в указанном направлении. Земельные органы с помощью всего советского и партийного аппарата должны в течение зимы 1921—22 года провести энергичную кампанию по подготовке крестьянских масс к борьбе с засухой будущим летом.

Неурожай в Поволжье превосходит по своим размерам все предыдущие голодовки и в том числе даже голодовку 1891 года. Солнце буквально выжгло Волжские степи. В Татарскойресп., Чувашской обл.,

Самарской губ., Саратовской губ., в Немкоммуне урожай собирали по колосьям.

Население пострадавшего района было ошеломлено разразившейся катастрофой и в панике начало перекочевывать в Сибирь, Туркестан, Украйну и в Западные губернии, повсюду ища спасения от голода. „Вся губерния на колесах“—так характеризовали официальные представители власти положение дел в голодных районах. Некоторая растерянность чувствовалась и среди советских и партийных работников Поволжья—слишком страшны оказались размеры бедствия. Когда из донесений местных властей и докладов специальной комиссии, посланной В. Ц. И. К. в голодный район, выяснились примерные размеры катастрофы, центр немедленно приступил к организации помощи. Прежде всего нужно было помочь крестьянству пострадавших от неурожая губерний засеять озимой клин. Семенная помощь требовалась немалая. Сначала семенной наряд был определен в количестве 9 милл. пудов, а впоследствии, когда выяснилась возможность превышения этого наряда, к вывозу в Поволжье было назначено 11 милл. пудов семян. Никогда еще, нам думается, не работали с такой энергией и подъемом, с таким желанием во что бы то ни стало добиться успешного завершения работы советские и коммунистические организации, как в эти дни семенной помощи Поволжью. Все препятствия были преодолены, семенное зерно в нужном количестве было собрано, погружено благополучно и во-время доставлено жел. дорогами по назначению и распределено среди поволжских крестьян. Пахари, качаясь от голода, прошли по своим пашням и бросили зерно в землю. Самый большой подвиг был совершен голодными — они не съели полученного зерна. Всего в Поволжье было отправлено 13 милл. пудов семян (в том числе 1.000.000 пуд. закупленных за границей). В результате по всему Поволжью была засеяна площадь озимого клина, равная или немного меньшая прошлогодней. В смысле определения нашего успеха весьма ценно свидетельство агронома Н. М. Тулайкова—профессора Саратовского университета, который (см. „Правда“ № 222), констатируя успешный ход посевной озимой кампании в Саратовской губ., „считает возможным, что там будет посеяно не меньше, а может быть и больше, нежели в прошлом году (846.000 дес.)“.

В то время, как Советская власть все силы напрягала к тому, чтобы спасти крестьянское сельское хозяйство Поволжья от гибели, русские белогвардейские круги за границей использовали голод для новой травли советской России и для интервенционистских интриг. Белогвардейская печать ожила: пеной забила ядовитая слюна клеветы, вновь расцвели надежды на реставрацию в России. Все „бывшие люди“, ныне обивающие пороги сомнительных кафе и дежурящие у вешалок в передних европейских министров, вдруг встали в грозную позу прокуроров и произнесли обличительные речи против Советской власти. Самые отпетые головорезы и погромщики из сонма Мих. Архангела, люди, запродавшие себя всем охранкам и контр-разведкам, какие только существуют на свете, журналисты, ценящие свой талант, как проститутка свое тело, генералы, „погулявшие с казацкой вольницей“, бывшие министры, профессора, купцы, заводчики, дворянчики, шантанные певицы—вся эта братия объявила Советскую власть виновницей голода в Поволжье.

Воззвание Врангеля вторило декларациям учредиловцев, „Последние Новости“ Милюкова пели в унисон с „Двуглавым Орлом“, „Социалистический Вестник“ Мартова и эс-эровская „Воля России“ послали проклятия и потрясли кулаками по адресу советской России.

Вся белогвардейщина от Врангеля до Чернова стоит за интервенцию. Одни — тайно, дипломатично, с подходцами, другие — явно и напролом. Учредиловцы на всех перекрестках клянутся, что они против интервенции. Но будет тот круглым дураком, кто поверит, что они активно не работают для интервенции. Учредиловцы не только сами из кожи лезут вон, чтобы вызвать вооруженное нападение на советскую Россию, но являются наймитами, агентами и проводниками политики самого бешеного врага советской России — буржуазной Франции. Не раз радио демонстративно сообщало, что Милюков, Авксентьев, Керенский и другие учредиловцы против политики в деле помощи голодающим. Кто этому поверит, когда в первые дни голода „Последние Новости" явно были настроены в один тон с политикой „помощи" французского кабинета, а Керенский бывал на „беседах" у Бриана. В дни, когда французское правительство в своем нахальстве дошло до назначения Нуланса в международную комиссию помощи, когда Польша предъявила нам свой ультиматум и Румыния принимала наиболее воинственные позы — в эти дни учредиловцы, а за ними и весь прочий контр - революционный шабаш, продолжали обливать помоями Советскую власть и демонстрировали свои продажные симпатии к Франции и ее сподручным бандитам—Румынии и Польше. Отношение белогвардейской эмиграции к делу помощи можно проследить и по той явно подлой и лживой информации о положении в советской России, которой заполнялись столбцы всех эмигрантских газет. В телеграммах „из самых достоверных источников" сообщались такие потрясающие новости, как, напр., о сражениях Красной армии с сотнями тысяч голодающих, о кровавых бунтах на улицах Москвы, о расколе среди коммунистов, об отказе коммунистов от власти и т. п. Во время обострения отношений с Польшей особенно часто во всех белогвардейских газетах, и в том числе учредиловских, попадались провокационные заметки о продвижении голодных вооруженных банд к западным губерниям России на Польшу. Бесстыдной травлей встретила белая печать воззвание Горького. Не противореча ни на йоту исторической правде, мы можем с полной уверенностью сказать, что в дни голода вся контр-революционная эмиграция вплоть до Милюкова и Керенского активно работала и работает на интервенцию и помогает буржуазной Франции вымогать от советской России царские долги. Много восторгов вызвало среди белогвардейцев воззвание московских эс-эров, в котором эти господа призывают к вооруженной борьбе с Советской властью. На фоне всего этого каннибальства между различными белыми группами идет кукольная борьба за влияние, за представительство и т. п. В каждом крупном европейском центре, где скопилось много русских белогвардейцев, образовалось минимум по 2 комитета помощи. Тут же находятся Минины и Пожарские, которые призывают к „братскому единению" во имя спасения Руси. Суммы, собранные белыми комитетами, до смешного малы.

Когда началась кампания помощи голодающим внутри России, то многие стали припоминать, как организовывалась борьба с голодом в царской России. Вспомнили и о так называемой общественной помощи голодающим. Во времена царизма помощь так называемых общественных, т.-е. буржуазных и интеллигентских, организаций играла значительную роль. Более живые и деятельные общественные организации проникали туда, куда не доходил малоподвижный царский бюрократический аппарат, кроме того общественные организации пополняли путем различных сборов недостаточные ассигнования государства. Подобное разделение на власть и общество в старое время было вполне

естественно. В царской России был, с одной стороны, бюрократический аппарат, оторванный даже от широких слоев буржуазии и враждебный народным массам—и с другой— буржуазные и интеллигентские организации, связанные с самыми различными слоями народа. В советской России такое деление неприменимо. Советская власть — не только власть, но вместе с тем общественная организация, своими корнями уходящая в самые низы народа, непосредственно опирающаяся на эти низы и из них черпающая свои силы. Советский аппарат силен не только своим бюрократическим централизмом, но также и своими творящими чудеса методами массовой общественной работы. В советской России нет и прежней общественности, так как нет буржуазии и буржуазных организаций, а вся интеллигенция впитана советским аппаратом. В советской России есть общественность, но это общественность совсем иного сорта—у нас рабоче-крестьянская общественность. Все эти, казалось бы, азбучные истины были, однако, позабыты и на свет божий из тьмы небытия были извлечены бывшие общественные деятели старой России. Существовало мнение, что капиталистические правительства и общественные круги Европы и Америки скорее откликнутся на призыв о помощи голодающим, если увидят, что Советская власть привлекла к делу помощи деятелей старой буржуазной России. Ход переговоров советского правительства с буржуазными государствами о помощи голодающим,—переговоров, продолжающихся и поныне,—показал, насколько наивен был взгляд, что европейские и американские капиталисты раскроют для голодающих свои сундуки, лишь только увидят „гарантии“ в виде „маститой“ фигуры г. Головина или прекрасных глаз г-жи Кусковой.

Еще неосновательнее были доводы, что „общественные деятели“ своим участием могут усилить приток пожертвований и влить новые силы в организации помощи. Меньшевистский Цека, обиженный тем, что представители Р. С.-Д. Р. П. оказались невключенными в число членов Обществ. Комитета Помощи в своем воззвании, распространявшемся по Москве, указывали на бессилие этого комитета, ввиду отсутствия у входивших в его состав „общественных деятелей“ связи с массами. Мы целиком присоединяемся к этому компетентному свидетельству тем более, что меньшевикам со стороны было виднее.

Как бы то ни было „Всероссийский Комитет помощи голодающим“ с участием так называемых „общественных деятелей“ был все же создан. Декретами В. Ц. И. К. от 21 июля были определены его функции, права и состав. 21-го июля состоялось предварительное заседание Всер. Ком. помощи голодающим. На этом заседании от имени „инициативной группы“ Н. М. Кишкин прочитал декларацию, в которой подчеркивалась аполитичность дела помощи; вся работа вновь созданного Комитета ставилась под знак „Красного Креста“. В ответной речи т. Каменев указал, что советское правительство окажет со своей стороны полную поддержку деловой работе Комитета, подтверждает аполитичность начинания и не связывает себя никакими политическими обязательствами. Теперь смешно вспоминать об этой высоко-торжественной минуте, когда покрывшиеся плесенью и забытые всеми „деятели“ вдруг заговорили высоким штилем о „гарантиях“, а представитель советской республики отвечал им с совершенно серьезным видом.

Есть наивные люди, которые до сих пор продолжают верить, что „общественные деятели“ из Комитета помощи серьезно говорили о своем отказе от политических целей. Нет сомнения в том, что руководящая группа „общ. деятелей“ в Комитете строила на организации

помощи совершенно определенные политические расчеты. И разве не является ярким доказательством этого первый № выпущенной Комитетом газеты „Помощь".

Издатели демонстративно придали газете облик бывших „Русских Ведомостей", передовая статья кончалась весьма прозрачным намеком об „архитекторе" (Учредиловское копыто и уши торчали и здесь), г-жа Кускова в бойкой статье тонко пригрозила „заграницей". У господ общественных деятелей оказались слишком преувеличенными надежды на силу голода и слабость Советской власти, от похвал заграничных друзей у них вскружилась голова, и они, что называется, заигрались. Белогвардейщина за границей встретила организацию Комитета торжествующим воем. Со страниц белой печати не сходили сообщения о готовящейся передаче власти в России Комитету помощи. Вся контр-революционная эмиграция сразу признала „своими" „обш. деятелей" из Комитета помощи. Если бы „общественные деятели" на самом деле не занимались политической игрой и не потеряли в этой игре чувства такта, то они, видя такое отношение к себе со стороны белогвардейских кругов, не предъявили бы в тот момент советскому правительству требования о пропуске делегации Комитета за границу. Им из России было ясно видно политическое безрассудство кампании, поднятой белогвардейцами, и они спешили за границу, чтобы обуздать слишком ретивых друзей и наметить с ними общую, более осторожную и соответствующую реальным условиям тактику. Советское правительство не могло допустить в тот момент поездки делегации Комитета за границу, так как появление там делегации осложнило бы переговоры о помощи, которое вело советское правительство с буржуазными государствами.

Президиум В. Ц. И. К. предложил Комитету вместо посылки делегации за границу командировать как можно больше своих членов на места для организации помощи голодающим. Комитет отверг это предложение правительства и в ультимативной форме поставил вопрос о немедленной поездке своей делегации за границу. На заседании от 23 августа Комитет вынес резолюцию, в которой указал, что „Комитет сочтет себя вынужденным прекратить свою работу, если правительство не изменит своего решения относительно немедленного выезда делегации". Вместе с тем Комитет отверг предложение правительства о выезде возможно большего числа его членов на места. После такой демонстрации, политический характер которой был ясен даже для младенцев, правительству ничего другого не оставалось делать, как распустить Комитет. Декрет В. Ц. И. К. о роспуске Комитета был подписан 27 августа. Призраки прошлого бесшумно исчезли с политического горизонта. В России ликвидация Комитета в обычной революционной сутолоке прошла для широких слоев населения совершенно не замеченной, никто и никак не реагировал на это событие. Было совершенно очевидно, что просуществовавший 2 месяца Комитет не сумел чем-либо проявить себя и не оставил по себе никаких следов своей деятельности. За границей сообщение о роспуске Комитета тоже было принято весьма равнодушно. Даже для белогвардейской печати это событие не послужило источником вдохновения для новой клеветы на Советскую власть.

В памяти современников осталось только обидное название Комитета—Прокукиш! Бывшие члены Комитета стыдливо скрывают свое участие в нем. Нет, как видно, ничего хорошего не ожидает покойников, когда они воскресают.

Между тем сообщения из Поволжья рисовали с каждым днем

все более потрясающие картины бедствия. Уже в июле и августе миллионы людей питались суррогатами. Чем дальше шло время, тем ниже по своему качеству становились суррогаты. Главным элементом голодного „хлеба" в наиболее пострадавших местах являются: травы, листья, кора деревьев, кало животных, опилки, глина. Смерть от голода в Поволжье стала обычным явлением. Население вымирает целыми селами. Особенно свирепствует голод в татарских, башкирских, мордовских и других инородческих районах, где население менее культурно и бездеятельно.

Никакому описанию не поддаются страдания детей, которых десятками тысяч бросают на произвол судьбы обезумевшие от голода матери. После семенной помощи паника в населении улеглась, поголовное бегство приостановилось, и население немножко подбодрилось, получив надежду на продовольственную помощь со стороны Советской власти. Местные советские и партийные организации, специальные комиссии помощи развивают энергичную работу по борьбе с голодом, само население организуется в комитеты взаимопомощи—самодеятельность спасает от голода многие жертвы. Но положение все же продолжает оставаться отчаянным. Государство сможет прокормить относительно очень небольшую часть голодающих. Согласно „смете" кормления голодных, разработанной Наркомпродом, государство сможет питать максимум 1.500.000 детей и 1.750.000 взрослых. Между тем с марта месяца число голодающих дойдет безусловно до 12.000.000 человек. Отсюда становится понятной необходимость самой широкой помощи голодному Поволжью со стороны всего трудящегося населения России. Путем взаимопомощи мы должны сделать по крайней мере столько же, сколько берется выполнить от скудных государственных ресурсов правительство. Для этого нужно изменить всю постановку дела взаимопомощи. Организацией помощи голодающим в центре ведает особая комиссия при Президиуме В. Ц. И. К., а на местах комиссии при исполкомах. Несмотря на то, что комиссиям помощи со стороны органов власти уделялось много внимания, все же аппарат этих комиссий пока очень слаб и в нынешнем его виде безусловно не справится с теми колоссальными задачами, которые стоят перед ним. Налоговая кампания и топливный трехнедельник до сих пор привлекали к себе главные силы партии и советских организаций. Теперь же, когда большая часть продовольственного и топливного заданий выполнена, можно, если не перебрасывать работников с этих работ на организацию помощи, то во всяком случае более полно использовать весь советский аппарат, и в том числе продовольственный, для дела помощи. В целях сосредоточения большего внимания всех организаций и населения на деле помощи, усиления кампании добровольных пожертвований, укрепления организаций помощи людьми и средствами В. Ц. И. К. с 15 сент. по 15 окт. объявил „неделю помощи". Мы еще не располагаем данными о результатах этой „недели", но несомненно, что она двинула вперед организацию помощи во многих отношениях.

Огромное значение, с точки зрения организационной, имеет привлечение к делу помощи беспартийных рабочих и крестьян. На эту работу человеколюбия, лишенную какой бы то ни было политической окраски, пойдут тысячи и тысячи честных беспартийных тружеников, привлекая которых Советская власть не только улучшает дело помощи, но и связывается самыми интимными и прочными нитями с народной массой. К сожалению, комиссии помощи до сих пор не практикуют в широком масштабе привлечение беспартийных, так как не

сумели найти нужный подход к ним. Важнейшей очередной задачей комиссий помощи является переход от сборов случайных пожертвований к системе постоянных добровольных отчислений в пользу голодающих всего населения благополучных по урожаю районов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны в виде прикрепления голодных губерний к губерниям благополучным, что усиливало моральную ответственность последних за положение голодающих в порученных им губерниях и делало более систематической их работу по организации сбора пожертвований. Такую приписку нужно провести до низших административных единиц — волостей и сел. Чем непосредственнее будет связь между жертвователями и голодающими, тем энергичнее и участливее будет помощь.

Большим шагом вперед была бы организация хлебного займа, который, по нашему мнению, будет иметь большой успех. С организацией хлебного займа нужно торопиться, так как во второй половине зимы продовольственные рессурсы у крестьян значительно сократятся и они уже не так охотно откликнутся на призывы о помощи. Помощь Поволжью из-за границы до сих пор поступает в минимальных размерах. Выделяются своей работой в этом отношении лишь Американские благотворительные организации, Нансеновская организация, Германский Красный Крест, Скандинавские страны. Отношение союзников, и в первую голову Франции и Англии, лучше всего характеризуется фактом назначения Нуланса председателем международной комиссии помощи и постановлениями Брюссельской конференции союзников, созванной в начале октября специально по вопросу о помощи. Наш заем за границей французские и английские банкиры обусловливают возвращением царских долгов. Весь мир теперь видит, что капиталисты Антанты помышляют не о помощи голодным, а о наживе и закабалении советской России.

Энергичнейшая кампания помощи по инициативе и под руководством Коминтерна проводится среди мирового пролетариата. Мобилизация революционных сил на Западе и в Америке происходит в настоящее время под лозунгом помощи голодающим России. Несмотря на сильнейшую безработицу во всех странах, рабочие Европы и Америки отчисляют значительные суммы в пользу голодающих и, напр., только одни американские рабочие собрали в сентябре свыше 2 милл. золотых рублей. По инициативе итальянских товарищей ставится вопрос о рабочем займе для советской России в буржуазных государствах. Спасем ли мы трудящихся Поволжья от гибели? Да, если наша организованность будет сильнее голода.

IV.

23-го марта был распубликован декрет В.Ц.И.К. о замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом. В качестве основного мотива замены в декрете выдвигается желание Советской власти обеспечить крестьянину „правильное и спокойное ведение хозяйства на основе более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами". В этой формулировке нашли свое выражение как намерение пересмотра соглашения между пролетариатом и крестьянством, так и направление нового курса экономической политики в отношении к мелким производителям.

Налог должен быть меньше разверстки и сумма его должна покрывать самые необходимые потребности армии, рабочих и неземле-

дельческого населения. Налог является мерой временной и размеры его должны уменьшаться по мере того, как будет восстанавливаться промышленность и увеличиваться в руках Советской власти количество фабрично-заводских продуктов, которые она будет обменивать на продукты сельского хозяйства. Налог должен быть прогрессивным и наиболее малосильные хозяйства освобождаются от платежа налога. Хозяйства, выдающиеся своей старательностью и культурностью, могут получать льготы. Круговая порука отменяется и устанавливается единоличная ответственность за выполнение налога.

Излишки продуктов, остающиеся у хозяйств после выполнения налога, находятся в полном их распоряжении и могут быть использованы ими для обмена. Таковы те принципы, которые легли в основу нашего налогового законодательства. 21-го апреля был издан декрет о натуральном налоге на хлеб, картофель и масличные семена.

Налог был значительно уменьшен по сравнению с разверсткой. Для Р. С. Ф. С. Р. (без Украины и Туркестана) налог на разные продукты был установлен в следующих размерах: на хлебные продукты—240 милл. пуд. против 423 милл. пуд., назначенных в 1920 г. по разверстке, на картофель—60 милл. пуд. против прошлогодних 112 милл пудов, на мясо 6½ милл. пуд. против 30 милл. пудов и т. д. Украина по налогу должна была дать 159.000 милл. пудов. Неурожай хлебов в Волжско-Камском районе с губерниями Киргизских и Башкирских степей, на Юго-Вост.—Ставропольская губ. и часть Донской обл. и во всех уездах украинских губерний, прилегающих к Черному морю—сильно расстроил все расчеты Наркомпрода. Засуха вынела из продовольственного строя самые хлебные районы: Поволжье, Кавказ и Южную Украину. Хлебо-фуражный баланс республики получился весьма неблагоприятный. По вычислениям т. П. И. Попова (см. „Экон. Жизнь" № 222), по всей Р. С. Ф. С. Р. и Украине он сводился с небольшим плюсом в 29 милл. пудов. Главным поставщиком продовольствия для Советской республики за все время революции было Поволжье. Из всего полученного по разверстке продовольствия Поволжские губернии дали 36%. С губерний, пострадавших от неурожая, налог был снят. Общая сумма хлебного налога по Р. С. Ф. С. Р. вместо первоначально назначенных 240 милл. пуд. была определена в размере 165 милл. пудов. Переход от разверстки к налогу был вообще связан с большим риском. В течение 3-х лет революции мы с такой энергией внушали крестьянам, что разверстка полезна, нужна и неотвратима и с такой настойчивостью и последовательностью проводили ее, что крестьянство, когда наши агитаторы заговорили о необходимости замены разверстки налогом, с недоверием отнеслись к этой перемене. До тех пор, пока мы не подтвердили на деле поворот нашей экономической политики, крестьянские массы склонны были рассматривать налог как новую форму разверстки. Это недоверие впоследствии рассеялось, но в начале оно внушало серьезные опасения. На успешность сбора продналога в неблагоприятном смысле могла повлиять также сложность налоговой техники. При разверстке государство имело дело с сельским обществом и для него определяло размер продовольственной повинности. При налоге должны быть точно установлены государственные обязательства для каждого земледельца в отдельности. Недостатки статистического материала о состоянии сельского хозяйства, остро чувствовавшиеся и раньше, когда накладывалась разверстка, теперь при установлении налоговых обязательств, стали еще более ощутимы и грозили создать большую путаницу в исчислении налога. В земорганах и статбюро не было точных сведений о количестве пашни,

находящейся в пользовании отдельных сел и волостей, а это значит что отсутствовал материал об основном объекте обложения. Еще хуже обстояло дело с учетом посевных площадей урожайности. Можно найти много причин, объясняющих недостатки нашей с.-х. статистики и особенно статистики урожайности, но от объяснений этих недостатков не становится легче работать. Вследствие дефектов статистики в нашей продовольственной практике наблюдаются величайшие уродства, которые калечат крестьянское хозяйство, обостряют отношения крестьянства к Советской власти и дезорганизуют продовольственную работу. Улучшение постановки с.-х. статистики, и в особенности изыскание новых приемов по собиранию точных сведений о посевных площадях и урожайности являются одним из главных условий, при которых будет возможна рационально поставленная продовольственная работа.

Неудовлетворительность статистических материалов, на основании которых должен был исчисляться налог и сложность налоговой техники при малой культурности низших ячеек власти — сельсоветов, на которых было возложено исчисление размеров обложения в селах, могли создать значительные препятствия в проведении налога. Много труднее по сравнении с разверсткой представлялась и реализация налога. Разверстка взималась при круговой поруке всего сельского общества, при сборе же налога необходимо следить за каждым плательщиком, нужно каждого плательщика в отдельности доставать щупальцами государственного аппарата. Ясно, что система круговой поруки вернее гарантировала выполнение продовольственной повинности, чем единоличная ответственность. Но наибольшей опасностью для государственных заготовок по налогу являлась свобода товарооборота. По опыту разверстки нам было известно, каким тормозом для государственных заготовок служили вольные закупки продовольствия отдельными лицами и организациями. Прорыв мешечниками в том или ином месте продовольственного фронта всегда кончался или ослаблением, или полным провалом разверстки в соответственном районе. Введя налог и разрешив свободную торговлю, мы открыли национальные продовольственные рессурсы для всех мешечников. При реализации урожая неизбежно должна была начаться между государством и вольным рынком состязание: кто скорее и больше выкачает хлеба у крестьянина? Не меньшие опасности угрожали и государственному товарообмену с крестьянством, который должен был пополнить недостаточные продовольственные рессурсы, собранные по налогу. Неурожай в максимальной степени увеличил риск перехода от разверстки к налогу. Лишив нас на текущую продовольственную кампанию наиболее надежных в смысле обеспечения государства продовольствием губерний, неурожай вместе с тем значительно увеличил размеры необходимого для государства продовольственного фонда. В начале июля уже обозначились размеры неурожая и четко обрисовались те опасности, которые стояли на пути к успешной реализации продналога. Поволжское бедствие придало особую нервность заготовительной кампании и ускорило ее начало. Поволжье требовало семян.

Чтобы спасти „сельско-хозяйственную крепость" России, их нужно было дать во что бы то ни стало.

Активная подготовка к налоговой кампании началась на местах в двадцатых числах июля. В деревне к этому времени наступило значительное успокоение. Бандитизм быстро разлагался, теряя с каждым днем свою и без того убогую политическую идеологию и превращаясь

в неподдельный разбой. Бандиты уже не делали разницы между „защищаемым“ ими крестьянством и „самодержцами комиссарами“ и грабили всех одинаково. В местностях, где бандитизм был еще силен, крестьяне чувствовали себя отданными на поток и разграбление бандитских шаек. Даже зажиточное крестьянство, которое весной совершенно определенно сочувствовало бандитам, отвернулось от них. Такое отношение крестьянства к бандитизму давало возможность закончить борьбу с этим явлением, опираясь на само крестьянство. К началу продовольственной кампании бандитизм исчез с политического горизонта и его „охвостья“ остались лишь в голодных губерниях Поволжья, на казацком юго-востоке, но и там он не принимал значительных размеров. Наши продовольственные кампании навсегда останутся образцом политической постановки хозяйственной работы. Ставится цель: в кратчайший срок выполнить в 100% назначенное продовольственное задание. В губернском масштабе это означает заставить сотни тысяч крестьянских хозяйств отказаться в пользу государства от части своего дохода и свезти эту часть на государственные приемные пункты,— принять, рассортировать и должным образом организовать сохранение этих продуктов, одновременно с заготовительной работой выполнить несколько „боевых заданий“ Наркомпрода по отправке заготовленных продуктов. Чтобы привести в движение сотни тысяч, а в российском масштабе десятки миллионов крестьянских хозяйств и заставить их сдать часть своих продуктов государству, необходима огромная организационно-политическая работа. Всякая политическая кампания среди крестьянства требует большой продуманности. Мотивы агитации должны быть тщательно разработаны в отношении к каждому слою крестьянства. В агитации должны быть приняты во внимание экономические и политические условия каждого района. Нужно внимательно проанализировать встречную агитацию, которую будут развивать наши враги, и этой агитации противопоставить свои доводы. Из мотивов агитации нужно выбрать важнейшие и наиболее широко распространить их не только среди крестьянства, но и среди рабочих, красноармейцев, среди всех трудящихся, чтобы выступления против продовольственной повинности нигде не нашли сочувственного отклика.

Все партийные и советские организации должны проникнуться убеждением, что выполнение государственных продовольственных заданий является важнейшим делом и что все они должны содействовать успеху кампании в максимальной степени. Естественно, что на каждую продовольственную повинность крестьянство реагирует волной недовольства, которая захватывает сначала деревню, затем перебрасывается в город и здесь иногда влияет даже на советские и партийные круги. Такие настроения наблюдаются перед каждой продовольственной кампанией и первейшей задачей руководителей кампании является рассеять их и, наоборот, мобилизовать общественное мнение всех трудящихся в пользу выполнения продовольственной повинности. Необходимо добиться того, чтобы крестьянство усвоило необходимость безоговорочного выполнения назначенного продовольственного задания. Все агитационные силы должны быть брошены на эту работу и все агитационные приемы использованы. Большое внимание при подготовке кампании должно быть уделено мобилизации партийных и технических работников. Мобилизация на продработу должна охватить наибольшее число и притом лучших работников. Успешное проведение кампании не под силу одним продорганам. Только при участии всех советских и партийных организаций можно рассчитывать на благоприятные результаты кампании. При этом, чем больше будет поворот

всего советско-партийного аппарата в сторону разрешения продовольственных задач, тем быстрее и безболезненнее будет выполнена продовольственная повинность. В продовольственную кампанию 1920—1921 г.г. задачи концентрации и объединения всех партийных и советских сил на продработе были возложены на продсовещания во главе с уполномоченными В. Ц. И. К. В текущую кампанию продсовещания в большинстве губерний также функционировали, но их роль в бо́льшей мере выполняли исполкомы. В ряде губерний продсовещаний в этом году не было — их целиком заменили исполкомы. Чем ближе стоит к сельскому населению исполком, тем полнее и непосредственнее делается его участие, а также и участие всех его отделов в продовольственной работе. Низшие органы власти — волисполкомы и сельсоветы—на время кампании фактически превращаются в продовольственные органы.

Как известно, весь наш продовольственный аппарат построен на началах, так называемой, продовольственной диктатуры. Продовольственное администрирование имеет очень много общих черт с военным управлением.

Строжайшая централизация, последовательно снизу до верху проведенная ответственность за порученную работу, приказ с последующей проверкой его выполнения, систематическая отчетность, тесная связь между высшими и низшими органами, суровые взыскания за неисполнительность — таковы главные черты, характеризующие заготовительную продовольственную работу.

Прекрасно поставленная отчетность дает возможность производить объективную оценку работы отдельных организаций и лиц. Публичная оценка работы при усиленном интересе к заготовительной кампании со стороны рабочих и партии создает такую обстановку, что продработники чувствуют себя работающими на виду у всех под постоянным и гласным контролем. Такой общественный, в полном смысле этого слова, контроль заставляет подтянуться работников и дает возможность путем гласной сравнительной оценки их работы широко поставить товарищеское соревнование. Массовой энергичной агитацией и умелым комбинированием методов принуждения и убеждения можно в течение 2—3 недель добиться решительного перелома в настроении крестьянства и поголовного выполнения им повинности.

До конца заготовительной работы не следует ослаблять административного нажима и агитации. Вся кампания должна носить характер бурной политической атаки. Огромное влияние на ход кампании имеют волостные и сельские органы власти. Кулацкие волисполкомы и сельсоветы могут своим саботажем сорвать всю кампанию. Волисполкомы и сельсоветы, бездействующие по своей неорганизованности или разгильдяйству, могут парализовать самую напряженную работу высших органов. Благодаря своей близости к населению волостные и сельские органы, состоящие даже из вполне преданных Советской власти элементов, легко поддаются влиянию крестьянских масс и потому с прохладцей и неохотно выполняют распоряжения сверху, если эти распоряжения встречают недоброжелательное отношение со стороны крестьян. К сожалению, не подобрались еще такие кадры волостных и сельских работников, которые бы, точно и неуклонно выполняя распоряжения центра, в то же время умели ладить с крестьянской массой. Потому, что этот недостаток существует, приходится во время продовольственной кампании уделять сугубое внимание волостному и сельскому аппарату, тщательно проинструктиро-

вать его, если нужно — подтянуть и все время с неустанным вниманием следить за тем, чтобы он был хорошим проводником распоряжений высших органов.

Необходимость полного и безоговорочного выполнения продовольственных заданий следует внушить не только крестьянству, но не в меньшей степени и в первую очередь крестьянским органам власти. Замена разверстки налогом заставила внести некоторые изменения как в структуру продорганов, так и в методы их работы. Установление вместо круговой поруки единоличной ответственности вызвало необходимость создания специального аппарата, который бы своими щупальцами достигал каждого отдельного плательщика. Такой аппарат был создан в виде налоговой инспекции. Кадрами для формирования инспекции послужили продовольственные рабочие отряды. Рабочие реквизиционные отряды были брошены впервые в деревню в дни комбедов для борьбы с кулачеством. Впоследствии их боевые задачи постепенно вытеснялись организационной работой, их работники заняли важнейшие посты в продорганах и теперь они послужили ядром для создания налоговой инспекции.

Взимание разверстки часто сопровождалось грубыми нарушениями продовольственных законов и прямыми злоупотреблениями. Нарушения закона происходили главным образом вследствие невозможности точно учесть крестьянское хозяйство и на основании этого учета произвести правильное обложение. Институт круговой поруки, делая размеры обложения весьма неустойчивыми и зависимыми от случайного соотношения сил различных групп крестьянства в сельском обществе, также служил источником всяких ненормальностей в продовольственной практике. Средства понуждения к выполнению разверстки были главным образом административные. В кампанию 1920—21 г. в некоторых наиболее передовых губерниях начали применять по отношению к неисправным плательщикам судебную репрессию вместо административной, но тогда этот опыт не получил всеобщего распространения. Сбор налога должен был с самого начала отличаться от взимания разверстки большим порядком и строгой законностью. Чтобы внушить крестьянским массам доверие к новой продовольственной политике, Советская власть приняла все меры к тому, чтобы при сборе налога была соблюдена наибольшая справедливость: ограничены права продовольственных комиссаров по наложению административных взысканий, осуществлено широкое участие судебных органов в разбирательстве продовольственных дел, к раскладке налога привлечены представители групп плательщиков. К сожалению, как это было при разверстке, так повторилось и теперь при налоге, интересы бедноты оказались недостаточно защищенными. Представительство групп плательщиков не было достаточно использовано для того, чтобы облегчить налоговое бремя для бедноты.

Продовольственные кампании, втягивая в себя на значительный период времени все силы советского аппарата и партии, являются хорошей школой администрирования и политработы для наших работников. Во время кампаний на продработу в большом масштабе привлекаются беспартийные рабочие. Они начинают свою работу обычно в продотрядах и, затем вырастая на работе, нередко поднимаются до самых ответственных постов. Весь провинциальный аппарат Компрода пропитан пролетарскими элементами и этим в значительной мере объясняются его организованность и работоспособность. Прекрасным средством вовлечения беспартийных рабочих в дальнейшем для Компрода будет служить аппарат налоговой инспекции. Опыт Нарком-

прода по вовлечению беспартийных рабочих в советское строительство желательно применить и в других наших учреждениях.

Организация налоговой кампании происходила по лучшим образцам продработы наиболее передовых губерний в прошлом году. Прелюдией к продовольственной кампании текущего года явилась кампания семенной помощи Поволжью. Как мы уже говорили выше, она прошла блестяще. Голод заставил встрепенуться всех и вызвал новое напряжение сил. К середине сентября семенная кампания в основном была закончена. Вслед за этим огромным успехом обозначились демобилизационные настроения, и кампания начала ослабевать. Но в это время был дан новый боевой приказ о сборе до морозов картофеля и новая волна энергии захватила всех. Благодаря тому, что теплая погода стояла дольше, чем ожидали, картофельная кампания была закончена благополучно. В этом году нам не придется мучительно краснеть на рабочих митингах за помороженный картофель.

В губерниях Центральной России было собрано к 1 октября 30.569.000 пуд., т.-е. 32%. К этому времени развернулась кампания и на Украйне. В кампанию 1920—21 г. Украйна далеко не выполнила возложенных на нее продовольственных заданий. В этом ей помешал бандитизм. Нынешняя кампания там протекала в несравненно более благоприятных политических условиях, чем в прошлом году. Главные силы бандитов были разбиты. Советский аппарат имел в деревне твердую опору в виде комнезаможных. К концу сентября стало ясно, что Украйна в смысле советизации далеко шагнула вперед и что успех налоговой кампании там обеспечен. На 1 октября в Украйне было собрано около 20 милл. пудов. В Сибири кампания началась с большим опозданием. Впереди всех по выполнению налога в Центральной России оказались губернии: Иваново-Вознесенская, Тульская, Орловская, Тверская, Брянская, Витебская и Московская. На Украйне отличились: Полтавщина и Киевщина.

На открывшейся 5 октября 4 сессии В. Ц. И. К. были подведены предварительные итоги кампании. Сессия констатировала успешный сбор продналога и дала категорическую директиву всем местным органам собрать полностью и в кратчайший срок весь продналог. После двухмесячного опыта сбора продналога мы можем теперь с удовлетворением сказать, что в нашей продовольственной практике новый курс оправдал себя в полной мере. Крестьянство сдает продналог без особого принуждения — военной силы не пришлось применять почти совсем. Социально-политический кризис осенью во время реализации продналога не повторился — значит крестьянство удовлетворено результатами пересмотра своего соглашения с пролетариатом и согласно ссужать Советскую власть продовольствием для восстановления национализированной промышленности. К этому весьма важному политическому выводу все же необходимо сделать оговорку. Не все слои крестьянства одинаково относятся к налогу. Кулак справляется с налогом легко. Середняк сводит концы с концами и даже находит излишки для вывоза на базар. Тяжело выполнять налог бедняку. Теперь (конец октября) половина пути уже пройдена — около 50% налога по губерниям Европ. России (кроме Украйны) выполнены. Впереди самая трудная часть кампании. Придется взимать налог не только с упорных злостных неплательщиков, но и с малоимущих бедняков. Уже в настоящее время даже на рабочих митингах в городе чувствуются отзвуки недовольства некоторых групп бедноты налогом. В деревне недоброжелательное отношение бедноты к налогу сразу бросается в глаза. Во второй половине кампании эти настроения недо-

вольства беднейших слоев деревни налогом могут проявиться еще более заметно. Мы привыкли к нашим продовольственным кампаниям. Нам они кажутся вполне естественным явлением. Мы даже гордимся ими, как своего рода достижениями, чтем едва ли не как социалистическое завоевание. Но, если не смотреть на это дело глазами ведомственной самовлюбленности, а взглянуть на него объективно со стороны, то в наших продовольственных кампаниях, как в зеркале, мы увидим всю ненормальность нашего хозяйственного положения, весь трагизм нашей невероятной разрухи. В течение 6-ти, а то даже 8-ми месяцев мы занимаемся только тем, что заготовляем продовольствие. Мы все кричим, понукаем и поощряем друг друга, тужась изо всей силы и стараясь вывезти из голодной трясины советский воз. Почувствовать бы под колесами торную дорогу, не растрачивать бы так безумно наших сил!

В. Кураев.

В порядке дискуссии.

Еще о новой экономической политике.

(К четвертой годовщине октябрьской революции.)

Октябрьская революция была соединением, на основе назревающей международной пролетарской революции, двух революций: пролетарской, социалистической в городе, и крестьянской, мелко-буржуазной в деревне. К эпохе октябрьской революции наметились на мировой арене следующие силы: русское революционное крестьянство, русский революционный пролетариат, медленно „зреющий" для революции (притом с различной скоростью для разных стран) мировой пролетариат, начинающие революционную освободительную борьбу колониальные страны. Против этого мирового революционного фронта стоял мировой контр-революционный фронт империализма. А между этими двумя фронтами колебались многочисленные мелко-буржуазные слои и прослойки.

Эти основные стратегические силы мировой революции остались и по настоящее время на ее арене и еще останутся на довольно продолжительный период времени.

Для обоих фронтов, революционного и контр-революционного, в настоящее время характерно отсутствие однородности и единства.

На революционном фронте силы отличаются пестротой (крестьянство, пролетариат, колониальные народы), при чем у различных участников этого фронта и объективно, и субъективно цели борьбы различны (хотя враг общий): пролетариат объективно, а часть его и субъективно, идет на социалистическую революцию, единства в его рядах в мировом масштабе еще нет, но оно увеличивается (развитие III Коминтерна). Крестьянство объективно тянет к капиталистическому строю, при чем часть его готова итти вместе с пролетариатом. Наконец, колониальные страны также идут к капитализму, при чем в тех, которые уже индустриализированы, отдельные отряды пролетариата готовы итти с мировым пролетариатом непосредственно к социализму.

Контр-революционный фронт мировой революции отличается гораздо бо̀льшей однородностью, но единства в нем нет и не может быть в силу непримиримой борьбы между национальными группами империалистов, вызываемой неустранимыми, без перехода к социализму, противоречиями капитализма.

Таким образом, в мировом масштабе революционный фронт идет к большему единству, контр-революционный фронт единства добиться не может.

Р. К. П., начиная от февральской революции (и даже ранее), учитывала эту общую стратегическую обстановку и на ней именно

основывала стратегический план октябрьской революции. Четырехлетнее существование Р. С. Ф. С. Р. подтвердило правильность и учета мировой стратегической обстановки, и стратегического плана октябрьской революции.

За эти четыре года, однако, стратегическая обстановка, оставаясь в основе своей одинаковой, все же несколько изменялась. Так контр-революционный фронт мирового империализма обнаружил наибольшую слабость к моменту окончания империалистской войны, затем несколько окреп, а за последнее время (после разгрома Врангеля) вновь начал ослабевать. Революционный фронт также колебался в своей силе, но в общем и целом сила его за эти четыре года значительно возросла. Достаточно указать на III Коминтерн, чтобы убедиться в этом.

Если остановиться на русском участке мировой революции,—единственном участке, где мировая революция одержала победу и прервала контр-революционный фронт,—то дело представится в следующем виде. В борьбе на этом участке приняли участие почти все перечисленные выше стратегические отряды мировой революции и мировой контр-революции, одни—непосредственно, другие—косвенно. Роль непосредственных бойцов выпала на долю русского пролетариата и русского крестьянства, союз которых против мирового империализма был закреплен двойной октябрьской революцией. Именно в этом соединении двух революций—пролетарской и крестьянской—была сила русского участка.

Но в этом же заключается и его слабость. Крестьянская революция, вместе с окончанием гражданской войны исчерпала себя. Крестьянство получило все, что могла ему дать победоносная до конца крестьянская революция. Крестьянство перестало быть революционным и стихийно потянулось к капитализму, т.-е. против социализма, т.-е. против пролетарской диктатуры. По отношению к крестьянству произошло, примерно, то, что случилось бы, если бы революция 1905 г. была победоносной и если бы в результате этой победоносной революции была осуществлена тогдашняя программа Р. К. П. (т.-е. тогдашних большевиков), включавшая демократическую республику и национализацию земель. Не к чему иному, как к капиталистическому строю, к буржуазно-демократической республике, победоносная революция 1905 г. и не могла повести. Это большевики твердо и категорически заявляли и тогда. Февральская революция 1917 г. плюс крестьянская революция в октябре дали в сумме победоносную революцию 1905 г. А к этой революции прибавилась (в результате империалистской войны и вызванной ею революционной ситуации во всем мире) октябрьская революция пролетариата.

Русский участок, таким образом, как раз после отбития трехлетней вооруженной атаки со стороны мирового империализма, ослабел вследствие отхода крестьянства от революции. Но, с другой стороны за те же годы западноевропейский пролетариат и революционно-освободительное движение в колониальных странах настолько окрепли, что новое вооруженное наступление на русский участок, по крайней мере на известный период, стало невозможным. В силу этого трудности военного характера на русском участке исчезли. Но они заменились трудностями экономического порядка и связанными с ними трудностями политического свойства.

В экономической области эти трудности делятся на две категории: во-первых, чрезвычайное разорение и обнищание страны, огромное расстройство и падение сельского хозяйства, промышленности и транспорта; во-вторых, стремление крестьянства к восстановлению своего

хозяйства, ведущее в условиях частно-собственнического индивидуального хозяйничания к возрождению капитализма в деревне.

Здесь перед пролетарской диктатурой стоит противоречивая задача: чрезвычайное разорение и обнищание страны требует в интересах укрепления этой диктатуры немедленных и решительных мер к восстановлению сельского хозяйства, промышленности и транспорта. А по отношению к сельскому хозяйству осуществление этой задачи невозможно без предоставления простора частно-владельческому индивидуальному крестьянскому хозяйству, что неминуемо ведет к восстановлению капитализма в сельском хозяйстве, т.-е. к подрыву пролетарской диктатуры.

На первых порах, в течение известного периода, восстановление капитализма в деревне не представляет угрозы пролетарской диктатуре. Но в дальнейшем ей придется иметь дело с чрезвычайно устойчивым, историческим процессом стихийного роста капитализма, на почве многомиллионного частно-собственнического индивидуального крестьянского хозяйства.

Таким образом в начале этот процесс поможет пролетарской диктатуре укрепиться, а затем станет для нас угрозой. Следовательно, в будущем русскому участку с этой стороны угрожает наступление нового врага. В зависимости от стратегической обстановки на других участках мирового фронта здесь придется либо медленно отступить (отступать здесь можно, ибо здесь второстепенный фронт), либо дать решающие бои, если напор с этой стороны окажется чересчур преждевременным по сравнению с ходом борьбы на других фронтах.

Мы сказали, что здесь второстепенный фронт мировой революции. Несомненно, мировая борьба будет решена на Западе, решающий фронт находится там. И после победы на решающих фронтах, хотя бы и частичной, никакой деревенский капитализм не будет опасен для пролетарской диктатуры в России.

Но в ожидании этой победы необходимы меры для того, чтобы ослабить нажим со стороны возрождающегося в сельском хозяйстве капитализма. Эти меры, по крайней мере в ближайший период, менее всего могут заключаться в непосредственном препятствии росту деревенской буржуазии, притом по двум причинам: во-первых, чтобы не воспрепятствовать быстрому подъему сельского хозяйства, который жизненно необходим пролетариату, и без кулака такого быстрого подъема не будет; во-вторых, чтобы преждевременно, пока пролетарская революция на Западе не окрепла, не вызвать политического наступления против русской пролетарской диктатуры со стороны крестьянства.

Организация пролетарских и полупролетарских слоев деревни, укрепляющая диктатуру пролетариата, а потому, безусловно, необходимая, не может ослабить роста капитализма в деревне, как она не препятствует в самых демократических республиках росту кулака. Она только ослабляет эксплоатацию. При пролетарской диктатуре эта организация может сыграть значительно более крупную роль против деревенского капитализма, но не в русских условиях—при очень сильном крестьянстве и крайне ослабленном пролетариате.

Производственная кооперация может несомненно ослабить напор деревенского капитализма на пролетарскую диктатуру.

Если при капитализме кооперация не могла выдерживать борьбы с капиталом, то при пролетарской диктатуре она может сыграть значительную роль. Но полагаться только на нее не следует. В стране, имеющей миллионы частно-собственнических хозяйств, производствен-

ная кооперация может развиваться лишь медленно, да к тому же может попасть в руки деревенского кулачества. Поэтому кооперация не очень надежное обоюдоострое оружие. Мы должны использовать острие кооперации, направленное против кулака, и принять предохранительные меры против острия кооперации, направленного против диктатуры пролетариата.

Основное средство против сельского капитализма заключается в крупном производстве. Это средство уже испытано в капиталистических странах с большим успехом. Оно настолько могущественно, что, даже еще до победы пролетарской революции на Западе, оно может остановить рост деревенского кулачества и убить его экономически. Сумеем ли мы на деле восстановить и развить крупное производство в промышленности и сельском хозяйстве и „обогнать" рост капитализма в деревне без непосредственной хозяйственной помощи западно-европейского пролетариата?—Решить этот вопрос сейчас невозможно.

Но вывод отсюда тот, что, не препятствуя в настоящее время непосредственно (государственными мерами) росту деревенского капитализма, мы должны сосредоточить все усилия на восстановлении крупной промышленности, на быстрейшей электрификации страны, на развитии крупных сельско-хозяйственных государственных предприятий.

В то же время мы заинтересованы на ближайший период в наискорейшем развитии революции на Западе с тем, чтобы поднять ее на такую высоту, которая обезопасила бы нас от всяких внешних нападений. Это—основное условие для того, чтобы мы могли сосредоточить силы на крупном производстве.

Из предыдущего вытекает, что „новая экономическая политика" есть продолжение октябрьской революции, что в самой структуре октябрьской революции, в ее двойственном характере, заложено было то же соотношение классов, на котором покоится теперешняя „новая" экономическая политика.

В октябре 1917 года была закончена начатая в 1905 г. и продолженная февралем 1917 г. буржуазно-демократическая революция, доведенная до конца, т.-е. до полного уничтожения всех остатков феодализма, вплоть до национализации земли. Но одновременно, в октябре же, произошла пролетарская революция. И из соединения этих двух революций, различных по объективной цели, получилось то, что называется в истории октябрьской революцией.

Пролетарская революция, рвавшаяся вперед к коммунизму, получила увесистый крестьянский привесок, который тянет ее „назад к капитализму".

Непосредственная связь „новой" экономической политики с октябрьской революцией становится особенно ясной, если предположить, что за октябрьской революцией не последовал бы трехлетний период гражданской войны.

Какова была бы наша экономическая политика в этом случае? Чем она определялась бы? Конечно, тем же самым соотношением классов, которое сложилось в эпоху октябрьской революции, сохранилось до сих пор и сохранится еще надолго. **Не будь гражданской войны**, мы в 1919—1921 г.г. **вели бы ту же самую по существу „новую" экономическую политику** (а не политику „военного коммунизма", на которую нас вынудила война). Национализацию мы проводили бы с гораздо большей осторожностью, ограничившись лишь крупнейшими предприятиями, на которых и сосре-

доточили бы все наши усилия. И к продналогу от разверстки перешли бы гораздо раньше. Сил и средств у нас в этом случае было бы гораздо больше, а нищеты и разорения гораздо меньше. Поэтому не потребовалось бы от нас той заостренности в вопросе о восстановлении сельского хозяйства, на которую мы вынуждены теперь.

„Новая экономическая политика" есть прямое продолжение октябрьской революции. Этого основного положения многие товарищи еще не поняли, но поймут, поймут...

С. Гусев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

Уважаемая редакция! Прошу поместить в дискуссионном отделе Вашего журнала следующее: Веселый товарищ Бухарин! Из состояния аванпостных стычек—а наша дискуссия именно таковыми стычками и была, как выяснилось из обоюдного с вами разговора—размеры журнальной статьи в 1/4 печ. листа нам выйти не позволят, а важность вопроса „зело треба" решающего боя, т.-е. углубленного обсуждения вопроса по существу,—так не прекратить ли нам с вами к радости редакции „Красной Нови" веселые променады на ослах или вокруг них и с серьезными минами перекочевать на гостеприимные страницы журнала „Народное Хозяйство", который отведет подобающее для столь „народнохозяйственно"-важного вопроса место, и не только в плоскости „общей" теории, но и „исключений" из нее?

С комм. приветом Вл. Сарабьянов.

Когда ж он проснется?

(Крестьянский сон.)

Господи-боже, давно ли?
Будто вчера.
Будто вчера.
Плечи мне ломит от боли.
Спит разомлелое поле.
Эка жара!

Рожь шелестит под косою:
Шу! Шу-шу-шу!
Шу! Шу-шу-шу!
С утренней встал я росою.
В пятый иду полосою.
Сам я кошу.

Сам я берусь за уборку.
Копны кладу.
Копны кладу.
Кто там идет с косогорку?
Хлебца бы, хлебца хоть корку!
Ох, упаду!

* * *

Ушла жена в село за хлебом.
И нет ее. И нет ее.
И я в слезах под знойным небом
Упал на жесткое жнивье.

Там, дома, дети плачут тоже...
Пустое, нищее жилье...
Где справедливость, правый боже?
Где милосердие твое?

К попу ли жирному с тоскою
Жена стучит в глухой забор?
Или с протянутой рукою
Пошла к помещику на двор?

И барин, может быть, за крошки,
Которых так я жадно жду,
Ей расчищать велел дорожки
В своем запущенном саду?

* * *

Я так устал. Так сердце остро ныло.
Кончался день. А я не ел с утра.
Все помню я, как будто это было,
Как будто было все вчера.

Я так устал. И голова кружилась.
Я ржи своей не докосил в тот день.
День угасал. И на поля ложилась
Вечерняя густая тень.

И кто-то мне глаза накрыл рукою.
Иль это ночь глаза закрыла мне?
Иль то был сон, не давший мне покою?
И не доселе ль я во сне?

* * *

Лежу я, братья, в темноте великой,
В темноте великой,
Среди равнины дикой,
Глухой и дикой.
О-о-о-о-й!
В разбитом теле все онемело,
Все онемело.
И злые пьявки впились мне в тело,
Впились мне в тело.
О-о-о-о-й!
Я истекаю последней кровью,
Последней кровью.
Кто отзовется на мой стон с любовью,
На мой стон с любовью?
О-о-о-о-й!
Не слышат люди. И бог не слышит,
И бог не слышит.
И смертный ужас в лицо мне дышит,
В лицо мне дышит.
О-о-о-о-й!
Я встать хочу, хочу рвануться,
Хочу рвануться,
Хочу кричать, хочу проснуться,
Я не могу проснуться!
О-о-о-о-й!

* * *

По чугунному небу вдали...
Вдали...
У края земли,
Средь чадного, дымного марева,
Зажглись, протянулись, легли

Огневые полосы зарева.
О, страшная, страшная, страшная жуть!
Роковая морока всесветная!
Ползет на меня, заграждает мне путь
Чудовищ клубящихся сила несметная!..
Спа-си-те!.. Спас-си... Я не в силах дохнуть...
Я не в силах дохнуть моей грудью придавленной!
Не уйти, не уйти мне от страшной змеи,
Все крепче сжимающей кольца свои,
Закрывшей полнеба губой окровавленной!..
О-о-о-о-й!
Я встать хочу, хочу рвануться,
Хочу рвануться,
Хочу кричать, хочу проснуться,—
Я не могу проснуться!
О-о-о-о-й!

* * *

Заря!.. Заря!.. В ее свете ясном,
В ее свете ясном,
Пришли бойцы в одеяньи красном,
В одеяньи красном:
— „Гей-гой!“
Мечей их крепких сильны удары,
Сильны удары.
Бегут и тают ночные чары,
Лихие чары.
— „Гей-гой!“
Простерлись гадов немые туши,
Гнилые туши.
И клич победный вошел мне в уши,
Вошел мне в уши:
— „Гей-гой!“
— „Вставай, простися со сном суровым,
Со сном суровым!
Восходит солнце над миром новым,
Над миром новым!
Гей-гой!“
Я встать хочу, хочу рвануться,
Хочу рвануться,
Хочу кричать, хочу проснуться!..
Я не могу проснуться!!
О-о-о-о-й!!

[illegible] г. Октябрь.

Демьян Бедный

Критика и библиография.

I.

А. Бибик. «На черной полосе». Роман. Журнал «Творчество» № 1—3, 1921 г. Изд. Моск. Сов. Р., К. и Кр. Депутатов.

Имя Бибика известно всякому, мало-мальски знакомому с пролетарской литературой по его большой вещи «К широкой дороге», появившейся в свет еще задолго до революции.

В новом романе обрисована эпоха, непосредственно следующая за 1905 годом.

Автор в романе отразил все то, чем характерны были отдельные моменты этой эпохи.

Здесь и устремление выбиться в «люди», стыдливо завуалированное (Кириллыч, стр. 29), устремление к «вкусу» (Гринев, Сенткорин, стр. 5), и выпивка «за молодость души» (Владимир, стр. 20) и торжествующая свинья мещанства в пролетарской среде (Трофим Пахомыч, стр. 31), и философия «практической мудрости» Ивана (стр. 45): «чтоб я из-за какой-нибудь сволочи жизни решился—да будь они трижды проклятые», и, наконец, сам герой романа Игнат с его личной жизнью и семейно-сердечными неудачами, занимающими в романе крупное место.

Эпоха схвачена автором очень даже, пожалуй, слишком объективно. Он не боится выводить отрицательных типов из пролетарской семьи, не щадит себя, как бы боясь, что его заподозрят в пристрастии, в стремлении скрасить картину развала после поражения пролетарских сил в 1905 г.

Если типы, выводимые автором, верны, а они верны несомненно, то это отнюдь еще не оправдывает того общего тона, которым проникнут весь роман.

Тон глубокого пессимизма, несмотря на всякого рода оговорки, пронизывает всю полосу жизни Игната Пастернака.

Игнат живет двумя моментами: первый—его семейная жизнь, любовь, его «Сказочка» Нина жена; второй—пролетарская масса, с которой он жил, прожил тяжелый искус революционной подготовки и пережил с нею тяжкое поражение революции.

И с первых строк романа настроение Игната совершенно определяется.

Он уже не в революции, он психологически уже не с нею, по отношению к массе у него уже настороженность отчуждения и сознание необходимости жертвы для того... чтобы оправдать себя перед массой.

Здесь отчетливо противопоставились масса и я, Игнат и рабочие завода, представителем которых был он. И все дальнейшее с железной логикой развивает это основное, что явилось у Игната в первый момент пребывания у ворот завода и в кабинете директора.

Разбитая, побежденная масса рабочих у ворот завода. Нужно итти на работу, договариваться с администрацией.

Единство пролетарской силы разбито. Магнит борьбы отпал и в толпе, когда с трудом ей удается выделить трех лиц для переговоров с конторой, раздается голос:

— То-есть ни одной сволочи нет, все разбежались!

— Ни марксеночка, ни эсэсеночка, ха, ха,—подчеркивает другой.

Игнат, которого ищут, ловят шпики, не выносит этой позиции и решается итти на переговоры с верным риском «сесть».

«Что он, однако, делает? Лезет именно в крокодилову пасть! Но отступать было неловко» (стр. 5).

Он уже почти в руках полиции, и интересны мысли его в этот момент:

«Конечно! Пасть крокодила закрылась... и сейчас только почувствовал, как он страшно устал, устал и душою и телом. Как будто сейчас только ощутил ужас падения с головокружительной высоты, где так гордо развевались знамена победы, сверкали огни и песни звучали, как гимны весенним богам. После ярких огней внизу стало еще темнее и еще неприглядней. Нина! Ах, вот что, пожалуй!.. Что-то она будет думать?.. Что? Ах, да не все ли равно! Ха, ха...—Так, именно так и должно быть!».

«Вы,—он мысленно обратился к рабочим,—не хотите признать в нас простых людей, выполняющих свой долг?—вы требуете от нас сверхчеловеческого? Жертвы? Отлично! Вот—жертва! Жертвую своей свободой и сказкой. Да, да, чтобы вас черт побрал, даже сказкой! Только не шипите, как змеи, не лгите, не кривляйтесь».

И с этим прямым обвинением массе Игнат не расстается на всем протяжении романа.

Дальше отшибленный от станка Игнат работает на полулегальном положении в чертежной, не будучи чертежником. Это глубоко враждебная среда. Его травят, но он терпит, ибо всякие конфликты больно отзываются на Нине, его жене.

Круг внешних восприятий вышибленного из колеи Игната, восприятий тяжелых, давящих, пополняется кругом личной его жизни.

Там с ним его жена, интеллигентка Нина, и не входивший в программу их супружеской жизни, но тем не менее появившийся на свет Валик, годовалый отпрыск Игната.

В отношении Игната к массе и Нины к Игнату есть несомненное равенство. Игнат идеализировал массу. Нина идеализировала Игната (он женился в ссылке). Игнат изверился в массе, Нина изверилась в нем.

Нина счастливее Игната, она имеет шансы найти себе в лице обладающего красивым голосом Валериана.

«Пролетариат—знаменосец свободы и новой высокой морали,—ах, как же он неприглядеен в его буднях! Как он темен, дик и корыстен!»—говорит Игнат.

«Как ты дурно пахнешь и какие у тебя грязные ногти!»—сказала она (Нина) недавно.

Игнат уже не с массой.

«Да и было ли,—спрашивает он себя,—у него когда-нибудь чувство настоящей искренней близости, к рабочей массе, к ее горю и радостям, к быту ее?!»...

«Но он хочет служить угнетенному классу и только ему!.. Но и это не было веско»...

Он остановился и почувствовал себя так, как-будто у него и в самом деле под ногами не стало почвы. «Но это было лишь одну минуту».

«Пробуждение мысли! Пробуждение человека в забытом рабе!—вот что может делать он, токарь Гудимов»...

Но опять и снова но.

«Не то время»...

«Довольно с него будней, бесследно пожирающих жизнь и стремления!»

«Но загореться ярким пламенем в невероятном напряжении, хотя бы на час, на минуту, и затем погаснуть навсегда—на это у него как раз хватит сил!»

Таковы мысли и настроения Игната.

Он «не дома» с массой и вопрос еще для него «дома ли» он со своей «Сказочкой».

— Помоги, Боже, бесприютному скитальцу,—хочется сказать по адресу героя. Революции нет, счастье любви—заплата. Что делать? Является мысль о самоубийстве.

Привычный круг мыслей виденный нами в произведениях многих и многих писателей переволюционной полосы.

Роман близко стоит к другим произведениям, где эпоха 1907—1910 годов отражалась с той же психологической напряженностью, разочарованностью и расслабленностью, как, например, Коновалова «Записки агитатора» и др.

Здесь удар по революции, удар по массе в первую голову ударяет по революционной верхушке, она падает, если не физически от пуль усмирителей, то психологически, как то случилось с героем «На черной полосе»—Игнатом.

Цепь событий, фактов, отдельных эпизодов мелко-повседневных, узко-мещанских, разъедает сознание революционера, вытравляет из него то, что делает его разрушающей и вместе с тем творящей силой.

Масса ушла и не поддерживает больше Игната. Он уже бросает ей упреки. Она—враждебная ему сила. Он во имя ее но с легкой душой и глубоким сознанием необходимости жертвовать личным, а со злобой идет на жертву для массы, из которой он вырос и от которой оторвался.

Роман дает возможность сделать из него разные выводы.

Первый из них, наиболее легкий и наиболее поверхностный, может быть формулирован так:

Смотрите, вот революционер, всей душой преданный массе, во имя ее шедший на великие жертвы, отдавший ей свои силы, мысль, способности и готовность к борьбе.

И что же? В один из ответственнейших моментов масса отбрасывает от себя эту силу, формулировавшую сознание этой массы, двигавшую ее на великие завоевания.

Вывод отсюда: масса—тупа, инертна, темна, в нее нельзя верить до конца, на нее нельзя надеяться, ибо в один из тяжелых моментов борьбы она бросит своего вождя и легко толкнет его в жестокие объятия врага.

За этим следует недоуменный вопрос: неужели же это те товарищи, которые героически шли умирать, а теперь, как голодные собаки, толпятся у ворот и или жаждут в бессильной злобе перегрызть горло врагу—и не перегрызут, конечно,—или готовы склонить голову перед силой капитала и пойти вновь в его ярмо.

Можно было бы остановиться на этом. Автор достаточно ярко, хотя и с огромной долей индивидуалистического элемента, отобразил эту эпоху развала. Пролетарий, беллетрист в художественной форме отобразил совершенно объективно, беспристрастно то, что мучительно переживал из этой черной полосы разочарований—и спасибо ему за это. Верно, художественно, правдиво. Хорошо.

Но... Все дело в том, что художественное произведение живет и влияет, организует сознание пролетария, читателя, устанавливает для него некоторое, пусть частичное, credo его бытия и отношения к жизни.

И мы позволим себе здесь несколько иной критический подход к оценке произведения.

Какова задача пролетарского художника,—а к таковым мы причисляем Бибика?

Кого из нас не ранила больно жестокая струя мещанства в пролетарских массах, всегда в прошлом сильная в нем и ныно в процессе великой российской и мировой революции снова захлестывающая пролетарские массы своей мутной волной.

Подвижничество подполья, каторги и ссылки и огненный романтизм баррикад—вот две стороны жизни, наполнявшие собою бытие революционера. И были моменты, когда казалось, что первая тяжкая полоса уже в прошлом, что вот—победа, вот новый мир, новая жизнь—и... крах: революция разбита! Кто виноват? Объективно никто. Субъективно, как у Бибика,—масса.

Такой же приблизительно вывод делают многие сейчас в связи с новым курсом нашей экономической политики, говоря: «у нас нет пролетариата, а есть спекулянты, лавочники, водырив и т. д., и т. п.

Те же самые психологические и общие предпосылки и те же самые выводы.

Но разве это неверно? Да, верно! Но... поверхностно.

Достоинство художника не в том, что он способен схватить внешнее его окру-

жающее или непосредственно в действии выражающиеся мысли и настроения класса,— а, главным образом, в том, что он способен увидеть в толще класса, за корою грязной накипи, выявить и взлелеять ту неумирающую никогда в пролетариате силу, которая в конечном счете через терни поражений приводит его к розам побед. Этого Игнат, а с ним и автор, ибо роман несомненно биографичен, не увидел.

Я загородило собою мы. Органическая связь порвалась и сила, питавшая героя, иссякла,—затуманились глаза, притупилась острота зрения и... я гибнет.

Блестящий пример для современных пролетарских художников, раненых настроением нашей действительности и... ищущих утешения или в злой критике того, кому верили, или в формальных дебрях святого искусства.

Но задача критики, пролетарской критики,—напомнить всем пролетарским художникам:

Не в «объективном» отражении настроения пролетарских масс задача пролетарского художника. «Отображение и утверждение творческой воли пролетариата,—как удачно формулировал один из наших товарищей,—вот задача современного пролетарского художника».

Но через призму раненого и оскорбленного я, а через призму всей суммы глубочайших и едва уловимых порою переживаний пролетариата художественное око пролетарского поэта должно освещать пути пролетарских масс к их великому будущему.

Роман Бибика помимо своей несомненной художественной ценности будет ценным человеческим документом, детально описывающим болезнь увлечения собственным я. Он поможет борьбе с этой болезнью, не изжитой еще в среде молодой пролетарской творческой массы.

Анчар.

Варвара Бутягина. Лютики. Стихи. Издание Петербургского Государственного Издательства 1921 г.

Когда вы несколько часов под-ряд стоите у станка, у раскаленной печи—не хочется ли вам выпить свежесть майского вечера? Когда ваш мозг устал от вычислений и усиленной работы—не хочется ли вам отдать себя приятному отдыху, музыке и звону потухающего вечера? Вот вы кончили огромный и серьезный труд, и вам хочется выпить вина свежих зорь. Наконец, вам хочется быть молодым, легким и способным любить. Жизнь перед вами раскрывает двери, и кто бы вы ни были, вы чувствуете, что радостей много впереди. Вы спешите к зорям и они освежают вас. А потом вы вновь у станка, освежете и полны энтузиазма в труде.

В минуты отдыха загляните в небольшую книжечку В. Бутягиной «Лютики», и вы почувствуете отдых и удовлетворение.

Книжечка издана великолепно и внешний ее вид вполне гармонирует содержанию.

Правда, политический сектант, прочтя книжечку, непременно скажет, что он ее не приемлет. Ведь в стихах Бутягиной, подобранных для обложки «Лютики», нет и помину о революции, октябре, о бунте и прочей известной программе. Там общее, самоцветное молодости, задору, вешние зори и чуть-чуть весенняя печаль. Вас останавливает каждая строчка свежестью и нежной музыкой. Это ваши переживания и настроения, которые свойственны вам, как человеку, органически связанному с природой.

Да в чем, наконец, революционность поэзии?—спросит читатель после прочтения книжки стихов Бутягиной.—Да не в том ли прежде всего, что она возвышает, освежает душу, поднимает радостные чувства и дает силу стремлению к жизни? Может быть, это самая первая основа всякой революционности. Прав т. Луначарский, когда он кончает предисловие к книжке: «Товарищи, не будьте сухи, не будьте слишком односторонни даже в это суровое время».

В. Бутягина молода в поэзии и вопрожит ваше внимание красивым чеканным образом, в котором вы чувствуете отголоски вашей души. И в то же время в ни-

живет то, чему предписано быть мертвым и неподвижным. Камень, цветок, облако— входят в ваше сознание, как нечто родственное вам. Вы познаете самого себя и познаете то, что окружает вас, окружает не случайно, не потому, что поэтесса заставила, а потому, что вы сумели разложить себя на атомы мира и вновь слили их, освежив ими радостью бытия.

Моя радость—птица долго билась
В клетке из железного «нельзя»...

Старая психология начертала это «нельзя». И вот оно разбито

Солнце в травы пряжу заронило,
Ею пряди выпили цветов.
Не держась за белые перила,
Я взошла на башню облаков.

Эта дерзость разбивать «нельзя» и взбираться от будней на башни облаков свойственна молодости. Здесь нет искусственных взлетов имажинизма—искренность и непосредственность руководит поэтессой. Правда, эти взлеты еще маленькие, только проба крыльев и нередко с поддержкой других, более сильных.

Отыскавши дверцу потайную,
Я услышу звездный перезвон;
Это ветер птицу золотую
Выпустил на синий небосклон.

Молодости не свойственны брюзжанье и нытье. Путь молодости к «зорям» может быть еще не совсем опознанным, брезжущимся зорям, но зорям зовущим. Поэтому пусть

Злые ветки в потемках колются
И у темной шуршат двери...

Молодость их не боится.

Моих дней перейду околицу,
Уйду по тропе зари.

И путь молодости—путь бесконечный, без остановок:

Ни на что душа не оглянется,
Нигде не скажу «причаль».

Куда ведет этот путь? Она, может быть, и сама не знает, но она знает одно, что

Раскрыты в мир все окна настежь
За ними взморье и ветры.
Звенят натянутые снасти—
Мой белый радостный порыв.

И этот порыв уничтожает на своем пути и «сегодня» и «завтра», а отдает «все миги солнечным часам». Но той же молодости свойственны и печаль и «вечный сторож—тоска». Но не устеречь тоской ночи ранних зорь, не устеречь тоске сердце молодости.

О, вечный сторож мой, тоска,
Ты не нужна мне больше ныне...

Поэтому:

Тебе меня не устеречь.
Не перестанет сердце биться
И вечером тревожных встреч
Провеет каждая страница.

В. Бутягина принадлежит к школе образников. Без образа она не может прожить мгновения. И образ ее стихов—внутренне-глубокий, свежий. И вообще в стихах молодой поэтессы чувствуются большие художественные достижения.

Наши души—озера проточные,
Все отечет и уйдет через сны;
У ребенка с глазами цветочными
Покупаю на грошик весны.

Или:

Куда отсыльну по скату золотому?
А с каждым днем все звонче и нежней
Кладет закат в вечернюю истому
Пригоршни бус и розовых камней.

В стихах Бутягиной почти нет натяжек, подбора слов ради рифмы и новой формы, а между тем свежесть формы весьма чувствуется.

Да, я уйду и до встречи с тобою не лягу.
Солнце встанет из алькова, где зори [illegible].
Кто удивится, что щедро плескаю я влагу:
Звонкие ведра несу на цветном коромысле.

Конечно, много еще наивного в стихах поэтессы, есть промахи. Досадное чувство рождается у читателя от частого повторения одних и тех же слов. Например, золотой, белый склоняются во всех падежах и от частого повторения теряют свое значение и власть.

Встречаются рядом с узорным образом и такие прозаизмы, как «лучший апостол», «отыскавши» и т. п.

Но уже то, что дано поэтессой в книжечке «Лютики», говорит о ее большом, очень большом даровании.

И если только Бутягина будет умело восходить на «башни облаков», не отмахиваясь от земных радостей и печалей—и сумеет оторваться от некоторой подражательности Ахматовой и др., то в будущем сумеет дать более самобытное и глубокое, чего в праве требовать и ожидать читатель.

П. Яровой.

II. Политика и экономика.

Л. Троцкий. Новый этап. (Мировое положение и наши задачи.) Госиздат. 1921 год.

Т. Терентий Забытый писал про т. Троцкого, что любит он слова, «нарочито их выбирает».

Как не подходит эта характеристика к лучшему в мире памфлетисту, который не был бы им, если бы нарочито выбирал слова. Нет! Они сами подбираются и в вихре крутятся вокруг стержня центральной мысли вдохновенного, вдохновляющего и большого ума оратора-памфлетиста.

Был еще один оратор пера—Поль Лафарг, и невольно их сравниваешь, и хочется пальму первенства отдать не покойному, а среди нас и в наши сердца вонзающему свои стрелы медно-звонких слов. В чем его преимущество? Перечтите все его памфлеты и речи, и вы найдете ответ: т. Троцкий всегда в гуще сегодняшнего дня, а его «сегодня» всегда лишь звено четкой цепи в будущее. Он всегда боец теперешних баррикад и одновременно теоретик эпохи настоящего, упирающейся в конечное торжество мирового пролетариата.

Улыбчиво звучит слово «теоретик» в характеристике т. Троцкого, а между тем это так.

Но его «теория»—априорного характера. Он не любит исследовать все экономические категории, ему достаточно основных, центральных; он не станет доказывать десятью различными способами, если имеется один решающий.

Таков его последний памфлет—«Новый этап». Нужно дать экономическую и политическую оценку наступившего периода, «набросать» (именно набросать) общую характеристику мирового положения и соответственно перестроить тактику Интернационала.

Троцкий берется за эту задачу и—блестяще решает ее.

У профессионалов экономистов, а тем паче статистиков, метод его вызовет усмешку и ни в какой мере не удовлетворит. Не им постичь достоинства красного памфлета.

Например: «Хозяйственный упадок Европы в цифрах» т. Троцкого. Национальная собственность участвовавших в последней войне стран исчисляют приблизительно в 2.400 миллиардов золотых марок. Годовой доход всех этих стран—в 340 миллиард марок. «Сколько же израсходовала и уничтожила война?»—спрашивает наш автор. «Не больше и не меньше, как 1.200 миллиардов»—математически точный ответ, способный перевернуть все желчные внутренности какого-нибудь экономиста немецкой исторической школы, пустившей кое-какие корни и у нас в России. «Расходы войны,—продолжает автор,—покрывались прежде всего из текущих доходов. Но если мы примем, что национальный доход каждой страны во время войны уменьшился хотя бы на одну треть, вследствие огромного отвлечения рабочих рук, и стало быть (это «стало быть» буквально великолепно! *Вл. С.*) стал равен 225 милл. мар....» и т. д.

Читатель жестоко ошибется, если примет все эти цифровые выкладки т. Троцкого за статистический метод разрешения вопроса. Автору совершенно безразлично, больше или меньше половины национальной до войны собственности пошло в жертву богу войны, его не тронет разница в 10, 20, 50 миллиардов марок в определении цифры послевоенного дохода воевавших стран. Ему нужно выявить суть, а подробности—пустяки! Он наблюдает тенденции, а не ее кривую. Разве не шаржно звучит фраза: «... европейские страны, участвовавшие в войне, потеряли более третьей части своего национального достояния, а некоторые—как Германия, Австро-Венгрия, Россия, Балканы—значительно более половины». Стало быть, более и даже значительно более половины?

Кто хочет о состоянии мирового капиталистического хозяйства узнать из столбиков и рядов цифр, составленных по всем правилам статистики, тот пусть не читает т. Троцкого. Имеется специальная литература: т. Варга, Финн-Енотаевский, ряд авторов в «Комм. Ин-ле», «Нар. Хоз.» и т. д.

Что хочет показать автор «Нового этапа»? Глубокую революционность мировой обстановки и дальнейших перспектив. Достаточно ли отчетливо сделано им это? Да, поскольку мы имеем в виду читателя, знакомого с работами т. Варга, Финн-Енотаевского etc. В общем и целом т. Троцкий делает все те выводы, к которым пришли и эти последние. Но только сказал ярко, талантливо-памфлетно, не по специальному,—языком гения-вождя, верущегося и водительствующего. Там, где они констатируют факт отказа Соед. Штатов от аннулирования долгов Англии этим последним и долгов Европы Англии, Троцкий не может не прибавить, что «Англия при этой операции должна была остаться в барышах».

Он не просто «объективно» исследует. Нет! Он все время разоблачает, устраивает личные ставки Англии с Америкой, Америки с Японией, Франции с Англией. Троцкий был и в «Новом этапе» остался памфлетистом, наносящим удары оружием теоретической критики.

«Первым источником революции является упадок Европы». Имеются ли признаки выздоравливания Европы? Нет, утверждает Троцкий. «В то время, как Балканский полуостров европеизируется, Европа балканизируется» (блестяще!)

«Сейчас главная масса европейской железной руды находится в руках Франции, главная масса угля в руках Германии. Первейшим условием возрождения европейского хозяйства является производственное сочетание французской руды с немецким углем, а такое сочетание, безусловно необходимое для хозяйственного развития, смертельно опасно для английского капитализма».

«Американский уголь вытесняет английский во всем мире, и даже в самой Европе. А между тем, мировая торговля Англии опиралась, прежде всего, на вывоз угля». 82% мировой добычи нефти—в руках Соединенных Штатов. Европа задолжала Америке 18 миллиардов долларов. В 1924 г. флот Соедин. Штатов по боевой силе будет превосходить суммированные флоты Англии и Японии. Европа ввозит больше, чем вывозит. Производство сокращается. «Чудовищный квартирный голод», сокращается добыча угля, железнодорожные пути в достаточной мере не обновляются, паровозный парк изнашивается.

«Вторым источником революционной борьбы являются резкие сотрясения всего экономического организма Соединенных Штатов».

Если на долю последних приходится 30% тоннажа мирового торгового флота, то как до войны они имели не более 5%. Соединенные Штаты производят стали и железа 40%, олова—40%, серебра—40%, цинка—50%, угля—45%, алюминия—60%, столько же меди и хлопка, нефти—от 66 до 70%, маиса—75% и автомобилей—85%. Между тем «покупательная способность Европы пала. Ей нечего давать в обмен на американские товары... Если Европа страдает от худосочия, то Соединенные Штаты сейчас не меньше страдают от полнокровия». В результате же в Америке есть теперь не менее пяти, а некоторые говорят и шести миллионов безработных».

Вообще же перед нами один общий вопрос: восстановлено ли и может ли быть

восстановлено мировое равновесие? Этот большой вопрос Троцкий со свойственною ему отчетливостью расчленяет в свою очередь на 4 вопроса.

Он спрашивает: восстановлено или нет «мировое разделение труда», на котором держится мировое хозяйство? Ответ мыслим, конечно, только отрицательный.

Капитализм построен на определенном соответствии между городом и деревней, между различными отраслями добывающей и обрабатывающей промышленности.

Это соответствие войной нарушено. Восстановлено оно или нет?—спрашивает Троцкий. До войны существовало равновесие классов, «так называемый вооруженный мир» между пролетариатом и буржуазией: война нарушила его, приведя «к колоссальному стачечному движению во всем мире». Достигнуто и возможно ли в будущем это равновесие? «Нужно восстановить расстроенный производственный аппарат» а для этого «нужно усилить накопление, т.-е. повысить интенсивность труда и понизить заработную плату»,—отвечает Троцкий.

«Нужно восстановить валюту, ибо мировой рынок немыслим без всеобщего мирового эквивалента», а для этого необходимо меньше ввозить и больше вывозить, то есть меньше потреблять и больше производить, то есть понизить заработную плату и повысить напряженность труда. Так отвечает на 3-ий вопрос Троцкий.

«Далее стоит вопрос о международном равновесии, т.-е. о мировом сосуществовании капиталистических государств, без чего, разумеется, невозможно восстановление капиталистического хозяйства. Достигнуто ли равновесие в этой области или нет?»

Глубокость революционности мировой обстановки установлена, но отдельные классы занимают не одинаковые позиции в мировой битве. Если пролетариат все еще стоит на почве оборонительной экономической борьбы, то буржуазия давно уже перешла к нападению, всеми силами и средствами вызывая отдельные части пролетариата на бой и разбивая его по частям. «Умелая тактика и крепкая организация»—вот что необходимо нам, заключает Троцкий 1-ую часть своей книги-речи.

Во 2-ой, носящей название «Школа революционной стратегии», автор подчеркивает, что этот период, в котором находится Европа и весь мир, является, с одной стороны, эпохой распада производительных сил буржуазного общества, а с другой стороны, эпохой высшего расцвета контр-революционной стратегии буржуазии, которая «создавала и разрушала всякие режимы», которая развивалась «при чистом абсолютизме, при конституционной монархии, при парламентской монархии, при демократической республике, при бонапартистской диктатуре, при государстве, связанном с католической церковью, при государстве, связанном с реформацией, при государстве, свободном от церкви, при государстве—гонителе церкви»..., и «весь этот разнообразнейший и богатейший опыт, который вошел в плоть и кровь правящих кругов буржуазии, ныне мобилизован ею для того, чтобы удержаться у власти во что бы то ни стало».

При таких условиях нам необходимо буржуазному искусству борьбы противопоставить свое, чтобы не только героически бороться, но—прежде всего—и побеждать. «Поражения неизбежны. Но эти поражения не должны происходить по вине партии».

Первым же условием победы является симпатия к нам рабочего класса в целом.

«Как, какими методами привлечь рабочих-социалистов в коммунистическую партию?»

Нужно, чтобы коммунистическая партия на деле себя обнаружила, чтобы вожди ее на опыте показали, что они сделаны из другого теста, чем вожди старой партии, нужно не просто призывать к революции, но и готовиться к ней, подготовить же революцию значит разъяснить передовым рабочим вопросы, связанные с завоеванием власти, очищать свои ряды от тех, которые не хотят завоевания власти, подбирать и воспитывать надежные кадры боевиков, создавать ударные ячейки, способные овладеть оружием, и захватить ее в нужную минуту...

И когда некоторые «левые» товарищи ставят себе в заслугу, что их партия «выступая на борьбу, не спрашивала себя о том, пойдет или не пойдет за ней рабо

чий класс», Троцкий определенно заявляет им: «С точки зрения субъективного революционизма или левой эс-эровщины—это превосходно, но с точки зрения марксизма—это чудовищно!»

Теория постоянной оффензивы и частичной борьбы методами вооруженного восстания есть вода на мельницу контр-революции. «Ничего лучшего буржуазии и не нужно!»

В тот период, когда коммунистическая партия растет с превосходной быстротой и все более и более распростирает свои крылья над всем рабочим классом, буржуазия провоцирует наиболее нетерпеливую и боевую часть рабочих вступить в преждевременный бой—без поддержки основной рабочей массы, дабы, разбивая пролетариат по частям, подкопать в нем веру в его способность победить буржуазию».

«Эпоха работает на нас,—заканчивает т. Троцкий.—Не бойтесь, что революция ускользает у вас из рук. Организуйтесь, укрепляйтесь —и тогда вы приблизите час, который станет часом действительной решающей оффензивы, и тогда партия не только скомандует «вперед», но и доведет наступление до победоносного конца!»

Вл. Сарабьянов

Г. Гортер. Империализм, мировая война и социал-демократия. Госиздат. Москва 1920 г.

«..., несмотря на грандиозный сдвиг, совершившийся во всем мире, остается много застойных пластов, которые еще не пришли в движение и своею инертностью своим сопротивлением ослабляют разгоревшуюся борьбу. Если принять во внимание эти пласты, все еще не отбросившие старых вождей, старых иллюзий и предрассудков то нам придется признать, что во многих отделах книга Гортера сохраняет не только исторический интерес, но до сих пор остается и современной книгой».

Так писал ноября 1920 г. в предисловии рецензируемой нами книги т. Степанов. Судя же по тому, что Госиздат напечатал, а т. Степанов сопроводил ее предисловием, «Империализм...» Гортера признан, очевидно, и ценной, интересной, полезной «современной» книгой.

Что она для 1920 г. современна, в этом у нас нет никаких сомнений; ведь и детская болезнь «левизны» в коммунизме современная болезнь, но ценность ее и полезность под весьма большим знаком вопроса.

Нужно считать «застойные пласты» за поддающиеся сдвигам под влиянием одной лишь агитационной фразы, чтобы бросать в их ряды книгу Гортера.

Но и в этом случае последняя принесла бы больше вреда, чем пользы, так как в агитационную форму облечена теоретическая тема, а в теории Гортер отчаянно плох: он совсем ничего не понял у Маркса, а детской болезни его уже полных 7 лет (книга написана в 1914 г.).

«Какой социалист с давних пор не надеялся, не ждал, не стремился к тому, чтобы, наконец, совершилось сплоченное выступление всех буржуазных партий, всех национальностей международного капитала против всемирного пролетариата, против всемирного рабочего класса?» Судя по дублированию последних слов фразы, Гортер здесь вознесся до высших граней агитнастроения и всерьез суть его мысли никто из здоровых марксистов не принял бы.

Действительно: мы немалую толику надежд своих возлагали и возлагаем на национальные (государственные) противоречия внутри мирового капитализма, мы записывали себе в «кредит» межбуржуазные потасовки, мы радостно потирали себе руки, всматриваясь на янки, взъерошенного от страха и злобы перед скалящим зубы со своих дредноутов англичанином.

Но Гортер не оговорился—в этом его credo. Он считает империализм эпохой целесообразности, где крупное национальное государство обладает крупными силами для того, чтобы (курс. наш. *Вл. С.*) расширить в борьбе с другими национальными государствами капиталистическое производство и превратить его в

мировой» Гортер пользуется сланным в архив истории субъективным методом, сугубо идеалистическим методом.

Он явно смешал капитал с субъектом его—буржуазией, которая так именно и рассуждает: «для того, чтобы».

И когда Троцкий говорит: «Сущностью настоящей войны является возмущение производительных сил против их национально-государственных форм эксплоатации»,—когда Троцкий утверждает, что «политика империализма служит прежде всего доказательством того, что старое национальное государство пережило себя и представляет из себя невыносимый тормоз для развития производительных сил», что «война 1914 г. означает прежде всего крах национального государства, как самостоятельного целого», что «война возвещает развал национального государства»,—когда, как видит читатель, Троцкий нанизывает одно марксистское положение на другое, Гортер заявляет, что «это кажется марксизмом, но на самом деле не является таковым», что «лишь фразеология остается марксистской», что «изображение Троцкого представляет из себя лишь мираж»... Гортер не видит главного,—что империализм, это та ступень капитализма, на которой производительные силы уже не выдерживают национальных пут, и которая все же является ступенью капитализма, немыслимого вне национально-государственных форм. Противоречие, разрешаемое пролетариатом **актом** захвата власти, не одновременно, ибо империализм—не единое что-то, а комбинация в достаточной мере однородных капиталистических тел.

«Слова Маркса в «Комм. Манифесте» о том, что рабочие каждой отдельной страны должны сначала покончить со своей буржуазией, превращены империализмом в ничто, перестали отвечать истине», уверяет «марксист» Гортер и противопоставляет этому: «Теперь—мировая схватка... **ради** власти над миром, **ради** того, чтобы капитал совершил свое последнее победное шествие через весь земной шар, **ради** консолидации всемирного капитала» (все курсивы и в дальнейшем наши), а **потому** «методом борьбы против империалистической войны может быть **лишь** национальное массовое выступление пролетариата, начатое **одновременно** всем международным пролетариатом».

Субъективизм чистейшей воды: буржуазия крупного государства **хочет** поглотить себе буржуазию других государств, а **потому** вся буржуазия (см. первую цитату из Гортера) уже объединилась и выступает без различия национальностей против пролетариата, а «слова Маркса... превращены в ничто»; нам **хочется** одновременного выступления пролетариата, а **потому** единственно правильный метод борьбы, это одновременное... и так далее.

А какая бездна теоретической безграмотности то там, то здесь, то в тексте, то в примечаниях!

1. «Благодаря колониальной политике в XVI и XVII столетиях, в Европу потекли потоки благородных металлов и **таким образом** в Голландии, Англии и Франции был создан современный капитализм». Прямо-таки из хорошего старого учебника политической экономии: капитал, это—деньги и пр. в том же духе.

2. «Как будто бы мелкая буржуазия не поддерживает империализм», так «бьет» Каутского Гортер, когда первый указывает, что мелкую буржуазию следует перетянуть на свою сторону. И невольно спрашиваешь себя: да читал ли наш «абсолютистский» автор Маркса, давшего прекрасный анализ существа мелкой буржуазии в капиталистическом обществе, класса-маятника.

3. «Последняя ступень развития капитала, достигнутая им теперь, представляет собою долгий процесс, который продлится **десятилетия**». Простительно было Лассалю мыслить десятками лет, но члену марксистской партии империалистического государства эпохи мировой войны представлять себе старость капитализма продолжительнее и самого зрелого возраста совсем непростительно.

4. Из области методологии: выступая против реформистов Каутского и Кунова, Гортер их обвиняет в приверженности... революционному диалектическому методу, ибо они «не преодолели еще заблуждения относительно катастрофической революции переворота одним ударом».

Мы-то считали сердцем марксизма его диалектику, ясно отражающую процесс противоречий бытия, когда количество переходит в качество скачком, прыжком, единым актом! А вот Гортер полагает, что «каждая победа, которая будет достигнута отныне над новыми формами капитализма, над крупным банком, тем или иным трестом, союзом предпринимателей, синдикатом — или (это «или» прямо-таки упоительно *В. С.*) над империалистическим государством, над империализмом — уничтожает частично капитализм и представляет из себя тем самым победу социализма».

Бог ты мой, и нужно же так испортить себе мозги! А вот т. Степанов пишет: «Конечно, в настоящее время Гортер не написал бы этих строк. Как опыт России, так и — пока! — неудачные опыты Германии»... и т. д.

Нет, т. Степанов, уж вы лучше не оправдывайте неудачного автора и... Россию. Ведь революции бывали и до 1917 г., а Маркс с Энгельсом оставили блестящие работы о Парижской Коммуне, о бакунистах за работой...

Троцкий удачно наклеил нашим «левым» товарищам ярлык «пролетарской лево-эс-эровщины», а эта последняя — продукт мещанства, революционизированного условиями определенных времени и места, продукт от мелкой буржуазии, которая одинаково вмещает в себя и социализм, и империализм, и революцию, и эволюцию, но в каждый данный момент своего бытия либо то, либо другое.

И у Гортера то же: то «единовременное» выступление мирового пролетариата (не против же банка?), то «постепенное» преодоление капитализма. «Под руководством пролетариата этих двух стран (Англии и Германии. *В. С.*), пролетариат Европы, всего мира преодолеет постепенно высшие формы проявления капитала, монополии и империализма и осуществит, наконец (!), социализм». И т. Степанов полагает, что этим можно убить Каутского... его же собственным оружием?

При чтении Гортера мы начали отмечать страницы с ошибками и подозрительными местами. Бросили: скучно ставить бесконечный ряд цифр.

Отметим лишь одно достойное внимания положение Гортера: настоящая война является войной за колонии (в узком смысле этого слова), и Франция мечтает не о железе и угле Германии, но об африканских владениях, о Сирии, Германия же стремится к Месопотамии и Конго. Кале же и Булонь ее «так же мало интересовали», как Кент или Ирландия. А потому и Россия мировым хищникам ни капельки не интересна и «они никогда не пойдут на то, чтобы... поработить» ее.

Ведь поскольку крупные капиталистические государства «стремятся завоевать и подчинить себе также другие капиталистические государства, они делают это не из экономических, а из политических или стратегических причин». Это называется историософией! А вот и концовка к основному тону: «Капитализм, который распространяет по земле науку, технику, общественное сознание (? *В. С.*), усовершенствованные методы труда, высшее богатство, наконец, социализм, достигал этого всегда и достигает этого теперь лишь путем убийства и войны».

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Народники прошлого века, великие ненавистники западного капитализма благословляют вас, т. Гортер!

В этом базис пролетарской лево-эс-эровщины, детской болезни, диагностированной т. Лениным — в этом теория. А вот надстройки:

«Рабочие увлекаются тоже этим безумным потоком (антикультуры империализма. *В. С.*). Тщетно пытаются они сопротивляться ему и общими усилиями добиваться освобождения. Одиночные, они увлекаются потоком».

И дальше:

«Кто вырвет власть у владельцев после войны? Разоренный, придавленный налогами пролетариат, развалившиеся организации, рабочий класс, рабски признавший власть империализма?» — жалобно вопрошает Гортер.

Полное непонимание эволюции класса, абсолютное безверие в отношении пролетариата, откуда невольно вырастает народническая вера в критически мыслящую личность.

«Если бы эти рабочие группы (мы, «левые»! *Е. С.*) нашли путь к применению этого метода (одновременного мирового выступления *В. С.*) ясно представили его се-

бе, они не только избрали бы его сами, но увлекли бы (уж будьте уверены! *В. С.*) за собой широкие рабочие массы». По-марксистски, т. Степанов?

Не так категорично, но в том же духе: «...может быть, нам и не удалось бы воздействовать на правительства, возможно, что и массы пролетариата еще не откликнулись бы на наш зов, но мы думаем, что они бы откликнулись». Очень убедительно! И Госиздат покорно головой поник.

А вот вам и оборотная сторона мещанства, мелко-буржуазности: долой всякую личность, да здравствует масса без вождей, смерть авторитету!

«От пассивной борьбы пролетариат должен перейти к активной, вместо мелкой борьбы через представителей, пролетариат должен сам, один, без вождей, или с вождями на втором плане, сделать крупный шаг вперед»...

Так, так. Да здравствуют Советы без коммунистов! Так диалектически обора чивается Гортер-мещанин против Гортера-коммуниста, члена 3-го Интернационала, великого вождя мирового пролетариата.

Так-таки никуда и не годится книга Гортера?—спросит читатель.

Нет, не совсем так. В целом она вредна, достойна архива, но есть в ней превосходные страницы. Там, где в Гортере прорывается поток благороднейшего, искреннейшего негодования на буржуазию, ее лакеев соц.-демократов, на «культуру» империализма,—там Гортер хорош, как мало кто. Перепечатать эти страницы—великолепно! Но они—лишь ложка меда в бочке дегтя.

Вл. Сарабьянов.

—

«*Восстановление хозяйства и развитие производительных сил юго-востока* Р. С. Ф. С. Р.». Изд. общегос. план. ком.

Чрезвычайно широкие размеры голода и чрезвычайно острые формы неурожая давно уже являются уделом Юго-Востока России, по причине как климатических (частые засухи), так и социально-экономических условий (в том числе неустойчивой системы земледелия с крайне низкой техникой хозяйства). Отсутствие мелиорации и общегосударственной помощи населению также влияли на низкий хозяйственный уровень края. В результате неурожай в России стал хроническим явлением и, как говорит Плеханов, русский крестьянин чаще сеял не хлеб, а голод. Советская власть, покончив с фронтами и с сопротивлением буржуазии, все свое внимание в настоящее время отдает на поднятие производительных сил. Понятно, что главной заботой государства в связи с голодом на ю.-в. является восстановление и дальнейшее развитие хозяйства юго-востока. При Совете труда и обороны существует государственная общеплановая комиссия. Этой комиссии предложено было разработать план конкретных мероприятий, могущих разрешить основные причины кризиса, определить направление, в котором должно пойти развитие сельского хозяйства края, и разработать план конкретных мероприятий. Общеплановая комиссия выделила специальную с.-х. секцию, поручив ей вплотную заняться составлением этой задачи. Как ни сложна и трудна проблема, поставленная перед секцией, тем не менее мы имеем перед собой уже первую коллективную работу виднейших специалистов, соответственно намеченной программе. Само собой разумеется, что это только начало работы, что во всем своем объеме работа еще не закончена. Записка государственной комиссии выясняет размеры постигшего юго-восток неурожая, дает характеристику естественно-исторических условий края и устанавливает ближайшие меры помощи пострадавшему населению. Таким образом записка вплотную подходит к вопросу рационализации сельского хозяйства на юго-востоке в связи с землеустройством и мелиорацией, что должно быть объектом дальнейших трудов секции. Записка начинается со статьи проф. Буринского: «Характеристика почвы района, пораженного неурожаем 21 г.». Статья краткая, губернии и области рассмотрены бегло, тем не менее обрисованные естественно-исторические и почвенные условия рисуют специфические особенности края, при которых неурожай и засуха являются для северных губерний (Вятской, Казанской, Уфимской) и т. п. явлением случайным, для южных (Самарской, Саратовской, Астра

)анской, Уральской) и т. д.— явлением периодическим, повторяющимся почти со стро-гой закономерностью.

Вторая статья Бляхера: «Сельско-хозяйственная характеристика юго-востока» исследует значение этих неблагоприятных условий подробным указанием на то обстоятельство, что главным занятием населения юго-востока служит почти исключительно земледелие, ибо внеземледельческим промыслом занято в среднем 4% сельского населения. Таким образом земледелие этой области играет чрезвычайно крупную роль в сельско-хозяйственной жизни и, стало быть, вообще в экономике всего края. Разница между Нижне-Волжским и Верхне-Волжским районами в отношении основного занятия населения совершенно незначительна, она имеется лишь в отношении размеров землевладения: в Нижне-Волжском районе обширные степи дают больший простор для свободного развития земледелия, чем в Верхне-Волжском. Переходя к вопросу об основных элементах сельского хозяйства, Бляхер характеризует весь юго-восток, как крайне однородный по составу культуры, а это обстоятельство само по себе должно повлечь за собой низкий уровень, так как из года в год из почвы извлекаются одни и те же химические элементы, доводя качество почвы до истощения. Насколько пагубна такая однородность культуры, для урожайности, Западная Европа знала еще в сороковых годах прошлого столетия. Вспомним знаменитый вывод Либиха: «Все искусство земледелия сводится к восстановлению в почве равновесия, нарушаемого питанием растения». На этом выводе, как на основном законе, построена рационализация с.-х. на Западе Европы.

Третья статья проф. Куликова: «Будущее хозяйство юго-востока и задачи этого строительства» является логическим «производственным» продолжением первых двух статей. Основная мысль этой статьи—признание необходимости ввести разнообразие культурных растений для того, чтобы застраховать хозяйство от неурожая. Эта мысль является не только теоретическим выводом, но и результатом практических опытов, производимых на с.-х. опытных станциях: урожаи хлебных растений на опытных станциях и в среднем по губерниям имеет такую огромную разницу, которая вполне отвечает разнице примитивных и научных способов обработки. Статья заканчивается указанием на необходимость применения широких мелиоративных работ и улучшенных приемов культуры земли. Этим же вопросам в их практическом разрешении посвящены и все прочие статьи: «Продукты культуры при рационализации сельского хозяйства», Турчанинова—«О советских хозяйствах», Костикова—«О мелиорации на юго-востоке», Спаро—«Об оросительных работах на юго-востоке» и т. д. Все статьи создают твердое впечатление в том, что недостаточное увлажнение юго-востока осуждает крестьянские хозяйства на периодические неурожаи, если не будут своевременно приняты коренные меры для правильной организации сельского хозяйства в отношении орошения и общих агрикультурных методов. Таким образом перед нами не просто записка сельско-хозяйственной секции, а, так сказать «производственная программа», и она рисует ясно и определенно задачи коммунистов и направление их работ в деле поднятия сельско-хозяйственной продукции юго-востока России. Остается пожелать возможно более широкого распространения этой книги и быстрого издания следующих статей записки.

Такие книги для нас важнее тысячи шаблонных бессодержательных «воззваний», они лучший матерьял для агитаторов, инструкторов, лекторов. Это и есть наша производственная пропаганда.

Б. Э.

Л. Крицман. Единый хозяйственный план и Комиссия Использования. 9 стр. Госуд. Издательство. 1920 г.

У нас часто и помногу говорят о едином хозяйственном плане и о социализме, как универсальном учете. Эта тема не сходит со столбцов повременной печати. Но сущность ее всегда расплывается в пылу и страстности полемики апологетов различных ведомств, из которых каждое мнит себя призванным к монопольному проведению

единого плана. А на деле... «воз и ныне там». И не только широкая читающая публика, но и массы работников народного хозяйства на местах не знакомы с осуществлением попыток поставить этот вопрос практически.

Л. Крицман в своем очерке знакомит читателей с идеей проведения единого плана в области распределения материальных ресурсов и с работой органа этого распределения—Комиссией Использования. Автор постепенно развертывает сущность тех предпосылок, которые в условиях новых форм хозяйственной жизни с железной необходимостью диктовали необходимость планового регулирования как производства, так и распределения.

Принимая и повторяя «плановую» фразеологию на каждом шагу, еще до сих пор многие деятели в области хозяйственной жизни не могут уяснить, что одно и то же учреждение не может совмещать функции производства и распределения, распределения и снабжения. Автор с научной объективностью останавливается на этих положениях и постепенно приводит читателя к идее, легшей в основу учреждения Комиссии Использования, и знакомит с ее работой.

В назначениях ресурсов Комиссия Использования не применяет «знаменитое» процентное удовлетворение, широко практиковавшееся органами снабжения и удовлетворения». От этого удовлетворения всегда отдавало «тришкиным кафтаном».

В основу исчисления потребности кладется: реальный размер хозяйственной деятельности потребителя и технический расчет расходования продукта или материала на единицу выработки. В этом отношении деятельность Комиссии Использования тесно связана с Центральной Производственной Комиссией, которая разрабатывает производственные программы. При составлении планов использования в первую очередь удовлетворяются, независимо от прочих соображений, потребности технические и хозяйственные.

В назначениях ресурсов Комиссия Использования в основу исчисления потребностей Наркомпрода (для гражданского населения), Главснабарма и Ц.У.С.А. (для красноармейцев) принимает в соображение численность снабжаемых и душевые нормы потребления. Для этого К. И. регулярно рассматривает и утверждает погубернские таблицы населения с разделением на рабочих и их семьи, различных категорий городского и сельского населения. Кроме того, отдельно устанавливаются количества железнодорожников, водников и др. профессиональных категорий рабочих. Душевые нормы снабжения установлены для 36 продуктов питания, обуви, мануфактуры и т. п.

Автор знакомит читателя с построением планов использования, приводя для образца планы распределения мыла. О премировании труда представление дают приведенные образцы постановлений, которые идут из резервного фонда К. И. Справка о реализации планов говорит о том, что работа К. И. не носит «бумажный» характер, как говорят некоторые скептики. Включая в сумму распределяемых ресурсов и то, что должно быть произведено, К. И., учитывая всякие случайности, которым подвергнута наша промышленность,—все же верно определила количество, так как в среднем % исполнения планов превышает за 10 месяцев 1920 г.—100%.

В приложении к очерку приведена полемика по основным вопросам работы и сферы компетенции К. И., кстати сказать, не прекращающаяся по тем или иным поводам и сейчас.

Книжка Л. Крицмана вводит читателя в интересную область практики планового распределения и заслуживает внимания читающей публики. К тому же и написана она вполне доступным даже для неискушенного в «экономике» читателя языком.

Гр. С-ор

Г. В. Плеханов. «Год на родине»... Полное собрание статей и речей 1917—1918 г. в двух томах. Париж. Изд. Поволоцкого 1921 г., т. I—стр. VIII+248; т. II—стр. 270 (с приложением двух портретов и биографического очерка—Ю. Арзаева).

Его же.—Речь на московск. госуд. совещании.—Историческая справка.—Предисловие Ю. Фердмана.—Давос 1921 г., стр. 32.

В последнее время в нашей партии, в кругу молодого поколения ее, весьма заметно намечается тяга к «старому» Плеханову.

Во всех партийных школах, курсах, кружках штудируются его статьи и книги, забыт Плеханов последних лет, доставивший так много горя лучшим и сознательнейшим представителям рабочего класса, в памяти сохранился лишь прекрасный образ последовательного, настойчивого непримиримого теоретика марксизма, неустанного борца и беззаветного революционера.

Почему так скоро рабочий класс забыл Плеханова-оборонца? Не потому ли, что его оборончество менее всего было связано со всем его ученьем, со всей его революционной деятельностью, со всеми идеями, которые он проповедывал?

Я думаю, что так. Кто в этом сомневается, тому следует только перечитать его статьи из «Единства», день за днем, и сравнивать их с его прежними литературными произведениями.

Там—если начать сравнение с внешней стороны—уверенный в победе и гордый этой уверенностью, наступающий даже в обороне. Плеханов победоносно боролся с буржуазией, с ее влиянием на рабочий класс.

Шел впереди рабочих полков, чувствовал это.

Здесь... но здесь трудно узнать «старика».

Лишь его прекрасный язык и остроумные шутки напоминают о «былом» Плеханове.

Две—три мысли, которые он пытается защищать, именно защищать, в 120 слишком статьях, сами по себе удивительно банальны и не оригинальны. Теперь, спустя четыре года, особенно кажутся они бедными и неверными.

Эти статьи и собрала Р. М. Плеханова и издала в Париже под заглавием «Год на родине».

Само издание прекрасно, снабжено двумя портретами Г. В. снимками. Имеется и библиографический «очерк» составленный некиим г-ном Арзаевым. «Мы пополним настоящий очерк,—обещает в начале очерка г-н Арзаев,—некоторыми чертами, неизвестными читающей публике и почерпнутыми нами из неизданных еще воспоминаний Р. М. Плехановой».

Мы не знаем, в какой мере он исполнил свое обещание, но биография от этого не выиграла, нового г-н Арзаев не сообщил ничего, а фактических ошибок — целый ряд.

Из всего сборника больше всего интереса вызывают, конечно, три последние статьи Г. В. Плеханова: «А все-таки движется», «Похороны Н. А. Некрасова» и «Буки-Аз—Ба».

Летом нынешнего года вдова Г. В., доведенная до отчаяния злоупотреблением именем мужа Алексинским, выступила в «Последних Новостях» Милюкова с протестом, где она утверждала, что Г. В. был ярым противником иностранной интервенции. Ее показания, разумеется, весьма ценны, но статья его «А все-таки движется», являющаяся ответом на приветствие меньшевиков-оборонцев, не оставляет на этот счет никакого сомнения. Он считал октябрьскую революцию ошибкой пролетариата, однако, глубоко скорбя об его ошибках, от которых жестоко пострадает вся страна,—а прежде и больше всего он сам, он пишет: будем по мере наших сил разъяснять ему правильный способ действий.

Он не обманывает себя, он знает, что это—задача не из легких, нередко придется услышать резкие нападки и даже, может быть, физически пострадать от тех, просветить которых собирается, но с этим надо заранее примириться. «С какими бы недоверием ни относились к нам бессознательные—пока еще, увы, слишком многочисленные—рабочие, они были и остаются нашими братьями, просвещению которых каждый из нас обязан служить до последнего своего издыхания». Пусть судит читатель, какой единомышленник Плеханову г. Алексинский, который трудится над созданием «единого фронта» от себя до Кривошеина (фронт, впрочем, небольшой).

«Похороны Н. А. Некрасова» представляет из себя прекрасно и живо написанную страницу воспоминаний из эпохи 70 годов, когда Г. В. Плеханов был «землевольцем».

Речь идет об участии общества «Земля и Воля» в похоронах Н. А. Некрасова. К тому времени в Петербурге собрались многие из южно-русских «бунтарей»,—землевольцы и решили с их помощью «открыто явиться на похороны в качестве революционной социалистической организации». Венок их с надписью «От социалистов», окруженный вооруженными револьверами бунтарями, благополучно достиг кладбища. У гроба произносили речи Засодимский, Достоевский, Г. В. Плеханов от землевольцев и один рабочий. Как известно, во время речи Достоевского разыгралась сцена, которая изображается у разных авторов по-разному.

Когда Достоевский, говоривший в общем очень сочувственно о Некрасове упомянул, что по своему таланту Некрасов был не ниже Пушкина, то группа учащихся закричала ему из толпы: «Выше, выше».

Сам Достоевский в своих «Дневниках» утверждает, что раздался лишь один голос. Г. В. Плеханов в своей статье дает возможность точно восстановить этот инцидент. Оказывается, что закричал не один, а «дружно и громко закричали» все присутствовавшие землевольцы—«он был выше Пушкина», и когда Достоевский, несколько растерявшийся, сказал с раздражением: «Не выше, но и не ниже Пушкина».—«Мы стояли на своем: «Выше, выше». Достоевский, очевидно, убедился, что нас не переговорит, и продолжая свою речь, уже не отзывался на наши замечания» (т. II, стр. 255).

И, наконец, последняя статья «Буки Аз—Ба» трактует вопрос, который в первые дни после октября так волновал демократические и интеллигентские круги,—вопрос о том, «должны ли мы, революционеры, в своей практической деятельности держаться каких-нибудь безусловных принципов».

Его со всех концов начали упрекать в том, что он был родоначальником большевизма в России, что «аморальный» принцип относительности всех демократических принципов впервые в обиход социалистов был введен им и т. д. По этому поводу он и преподнес несколько азбучных истин эс-эрам и иным, поднявшим шум. Он отметил прежде всего, что принцип, о котором идет речь, не его изобретение, а берет начало от Гегеля. Научный социализм унаследовал от него этот принцип, он также не знает ничего абсолютного, ничего безусловного, кроме беспристрастной смерти или вечного возрождения. Он настойчиво и последовательно развивает то положение, что все зависит от обстоятельств времени и места (стр. 260, т. II).

Научный социализм и на правила политической тактики отказывается смотреть, как на безусловные. Он считает наилучшими те из них, которые вернее других ведут к цели; и он отбрасывает, как негодную ветошь, тактические и политические правила, ставшие нецелесообразными. Нецелесообразность—вот единственный критерий его в вопросах политики и тактики» (т. II стр. 261).

Не человек для субботы, а суббота для человека. Переведите это положение на язык политики и оно будет гласить: не революция для торжества тех или других тактических правил, а тактические правила для торжества революции. Кто хорошо поймет это положение, кто станет руководствоваться им во всех своих тактических соображениях, тот—и только тот—покажет себя истинным революционером» (т. II,

стр. 261). Плеханов в этой же статье отказывается признать большевиков за своих прямых последователей. Однако, всякий беспристрастный читатель его статьи увидит, что большевики именно тем и показали себя всему миру хорошими «[illegible] революционерами», что достаточно хорошо усвоили идеи Г. В. Плеханова. В предисловии к другой реферируемой брошюре Г. В. Плеханова г. Фердман (он же [illegible] Арзаев) делает попытку доказать, что Г. В. Плеханов никогда не был сторонником «...классового над народным и национальным» (это выражение автора М. Вишняка, а известно, как невразумительна всегда речь ав-ра), что он отродясь был за коалицию с буржуазией и в экстазе заявляет, что никто с подобной глубиной не обосновывал «национальную идею», как Плеханов. Бедный Плеханов! Должно, не раз в гробу перевернулся, пока г-н Фердман сочинял все свои благоглупости.

В. Ваганян

Белая печать.

Похмелье.

Г. Кирдецов. «У ворот Петрограда», Берлин 1921 г., 355 стр.

После поражения Колчака, Юденича, Деникина, Врангеля за рубежом в изобилии начали выходить из печати книги белогвардейских литераторов и публицистов, посвященные подвигам контр-революционных армад и их руководителей. Авторы этих книг по большей части имеют одну общую основную черту. В момент наступления и активной борьбы они обычно занимали видные места в белом стане, призывая союзников и являлись идейными вдохновителями погромов и всяческих изуверств, учиненных ошалевшим буржуазно-помещичьим охвостьем. Очутившись у разбитого корыта, они не растерялись, вооружились снова перьями и принялись убедительно и обстоятельно доказывать, что тактика Деникина и К° неминуемо вела к поражению и катастрофе, что они это предвидели, что в белых армиях царили хаос, развал, лихоимство и т. д. При этом из книги видно, что автор, имя рек, ни в какой мере не считает себя ответственным за все эти «действа» погромного воинства. Даже больше, почтенный публицист уже успел подбочениться и уже отчитывает главных героев «компании»:

— Друг мой, Павел,
Будь моих правил:
Делай то-то и то-то;
Не делай того-то
Кажется, ясно?
Прощай, мой прекрасный.

Читаешь и только диву даешься, с какой легкостью иной белый публицист не жалеет красок для того, чтобы опорочить дело, ко орому, казалось, был недавно предан до гробовой доски: за одну ночь убеждения переменились.

Г-н Кирдецов принадлежит именно к этому разряду контр-революционных писателей. В книге его «У ворот Петрограда» описан юденический поход на Петроград.

Он был редактором «Свободы России», официоза г. Юденича. Г. Кирдецов ездил с поручениями дипломатического характера в Париж, Лондон, к эстонцам и пр. Это не мешает ему теперь подвергнуть весь поход злосчастного генерала беспощадной критике и заявлять, что банды Юденича пытались «насильственно остановить непреложный ход неизбежного исторического процесса демократизации России».

О чем говорится в книге г. Кирдецова?

Читатель помнит, вероятно, всю напряженность момента в конце 1919 года. Деникин подходил к Туле, Колчак оправился, Юденич находился «у ворот Петрограда». Ждали выступления белофиннов, английская эскадра угрожала Кронштадту, рассчитывали на более активную помощь эстонцев. Но помощь не пришла: Деникин, Кол-

чак и Юденич были разбиты. Г. Кирдецов дает обстоятельный ответ, почему не была оказана помощь со стороны финнов, эстонцев и англичан. Юденич был ставленником Колчака и в качестве такового отстаивал идею «великой, неделимой России», т.-е. по существу был против самостоятельности Финляндии и Эстонии. Русские белогвардейцы не могли сговориться в нужную минуту со своими финскими и эстонскими собратьями. Г. Кирдецов рассказывает о своих переговорах с видными столпами так называемого парижского политического совещания. «П. Б. Струве, с свойственным ему доктринерским упрямством, на все мои доводы в пользу подлинно-демократической здоровой политики в Финляндии и Эстонии... отвечал, что лишь национальная идея спасет Россию, а национальная идея не допускает «распродажи» России равным эстонцам и финляндцам»... (стр. 151). Свел г. Кирдецов эстонцев с «настоящим демократом» Чайковским, главой «северного правительства». Эстонцы изложили свои взгляды, сводившиеся к самостоятельному бытию Эстонии и к конвенции. Выслушав их, Чайковский заявил:

— Но русская демократия пойдет войной на Эстонию, если у нее отнимут Ревель. Поймите же, это для нас вопрос жизни и смерти.—Эстонцы переглянулись... (стр. 162). На такую же точку зрения тогда стал и Савинков. Переговоры ни к чему существенному не привели. Правда, северо-зап. правительство г. Лианозова потом заявило, что оно признает независимость Эстонии; точно так же еще до Лианозова полит. совещание г. Карташева признало «суверенное» положение Финляндии, но признало, как «совершившийся факт». Отношения были настолько испорчены и с Эстонией и Финляндией, что словесные заверения уже не были действительны.

Что касается англичан, то г. Кирдецов полагает, что англичане играли все время двойственную роль: им невыгодно было создание сильной могущественной России и потому они поддерживали белых на-половину. Весьма приподнятым тоном г. Кирдецов повествует о предательстве англичан в самый решительный момент. «Через 10 дней после удара Бермондта на Ригу, когда северо-западная армия, сдвинувшись наконец с места, одним наскоком подходит к стенам Петрограда и английская эскадра по условию, положенному в основание всей петроградской операции, должна взять под обстрел дальнобойных орудий с особых так называемых «галлипольских» мониторов Кронштадт и укрепленный район Красной Горки, в эту решающую минуту адмирал Кован благородно воздерживается от обещанного выступления... и только на четвертый день кровопролития, когда сражение под Петроградом уже явно проиграно сев.-зап. армией, по Красной Горке «приличия ради» выпускается несколько снарядов... без попадения» (стр. 341).

Книга г. Кирдецова в той части—а этому уделено две трети ее,—где излагается ход переговоров с эстонцами и финнами —служит прекрасной иллюстрацией на тему: труд объединяет, собственность разъединяет. Господа белые публицисты очень любят сравнивать строительство сов. России с вавилонским столпотворением. Но истинную вавилонскую башню строил империалистический мир; строили не достроили: смешались языки и не могут недавние строители сговориться об элементарных вещах. В этом—историческая Немезида.

Деникин, Колчак и Юденич ратовали за единую, неделимую великую Россию, но по сути дела были жалкими марионетками в руках союзников. Это мы, коммунисты, утверждали изо дня в день гражданской войны. Тогда—господа Кирдецы возмущались «ложью» и «демагогией» большевиков. Теперь, после краха белых банд, они подтверждают это. Послушайте, что г-н Кирдецов рассказывает о том, как образовано было так назыв. северо-зап. правительство. Английский генерал Марш однажды нашел, что полит. совещание с Карташевым не соответствует видам английского правительства.

— 10-го августа генерал Марш пригласил в помещение английской военной миссии в Ревеле некоторых местных русских общественных деятелей демократического оттенка... После открытия заседания ген. Марш обратился к присутствующим с речью... Русские люди, любящие свою родину, должны действовать, а не терять время на разговоры. Поправить положение дела на фронте возможно лишь при условии

признания Эстонии совершенно независимым государством и такое признание должно исходить... от правительства. Поэтому ген. Марш предлагает собравшимся образовать в своем составе прав. сев.-зап. области.... Затем ген. Марш заявил, что он удаляется, чтобы дать возможность собравшимся обсудить его предложение, и просит не уходя из комнаты к 7 часам (т.-е. через 40 минут) образовать правительство, при чем он вручил на английском языке распределение портфелей и сообщил, что лиц, указанных в списке, союзники хотели бы видеть в составе правительства (стр. 219—220).

Собравшиеся, разумеется, согласились. Так было свергнуто кадетское правительство Карташева и образовано новое «демократическое» с г. Лианозовым во главе. В течение 40 минут, «не выходя из комнаты», при чем присутствующие имели все основания считать себя... арестованными. Г. Кирдецов пишет:—«я, конечно, далек от оправдания солдатского образа действия ген. Марша. Еще бы!..

В состав «правительства» вошли, между прочим, два эс-эра и два соц.-дем. меньшевика—Горн, Богданов, Филипео и Пешков. Что касается эс-эров, то г. Кирдецов утверждает, что они вошли с ведома не только группы соц.-рев. северо-зап. области, но и при явном попустительстве эс-эровских заправил. Ни тогда, ни после они не были за это преданы анафеме пражским или парижским комитетами. Напротив, насколько мне известно, В. М. Чернов, посетив Ревель после бегства из сов. России осенью 1920 г. и выслушав заявления местных эс-эров об условиях, в которых они принимали участие в деятельности сев.-зап. правительства, вполне одобрил их тактику. Мало того, Блок русских социалистов в Ревеле... вотировал ему (правительству. *А. Б.*) доверие и поддерживал его декларации (стр. 170).

Политические двурушники, как известно, считают «демагогией» и «наглой ложью» наши утверждения, что ни эс-эры, ни меньшевики и д е л е никогда не отказываются играть роль «левых ослов» при союзниках и черных генералах. Но в том же самом северо-зап. правительстве они играли до последней степени позорную роль. По свидетельству г. Кирдецова Юденич прямо говорил, что в Петроград он «эту сволочь не пустит», имея в виду весь состав сев.-зап. правительства, а когда было временно взята Гатчина — он «открыто стал игнорировать сев.-зап. правительство, членом которого он состоял» (см. стр. 142—143 и др.).

Мы полагаем, что Юденич не был далек от истины в своих энергичных выражениях по адресу правительства Лианозова. А какое единение царило в первые дни! «Член кабинета, государственный контролер В. Л. Горн (соц.-дем.), чуть было не похлопывал Юденича по животу»... (стр. 143). «Для тебя одного, друг любезный, я как цвет одинокий цвела»...

Первым актом «правительства», помимо «демократических» деклараций, была жульническая операция: в начале сентября оно выпустило объявление о выпуске новых денежных знаков, при чем пункт 6-й был отредактирован намеренно так, что у публики получалось впечатление, что выпуск гарантирован английским правительством в фунтах (см. стр. 145 и др.). На самом деле ничего подобного не было. Г. Кирдецов скромно называет это жульничество «трюком». «Правительство» вытворяло «трюки», а военное начальство «сев.-зап. армии» печатало фальшивые керенки (стр. 193). Если прибавить сюда «войска» Балаховича, деятельность юденичского интендантства, сплошь занявшегося грабежом имущества, то картина получается столь выразительная, что нам остается поблагодарить г-на Кирдецова за его книгу.

Каков был «сам» главнокомандующий ген. Юденич?

«У меня сложилось впечатление, что это человек с ограниченным умом и столь же ограниченной волей. Он минутами не постигал самых простых вещей. Ближайшие его сотрудники по Кавказу рассказывали, что только по злой иронии судьбы Юденич прослыл «героем Эрзерума»: план взятия Эрзерума и его выполнение принадлежали другому незаметному лицу, но лавры присвоил себе Юденич» (239).

Очень интересно снаряжали Юденича в поход. На территории Финляндии Юденич не смел показываться в генеральском мундире. Переодевание совершилось уже в каюте парохода на пути в Ревель к войскам. Но тут оказалось, что у «глав-

нокомандующего не оказалось стоих орденов. Выручил адъютант, добывший ордена «взаимообразно».

В книге г. Кирдецова много попутных ценных признаний.

Вот что пишет он, например, о роли врангелевцев в войне с польской шляхтой.

«Они (врангелевцы. *А. В.*) собственными «патриотическими» руками помогли полякам оттяпать от России кусок Белоруссии и часть Украйны, ибо, по стыдливому признанию польского генерального штаба, только необходимость бросить подкрепления на врангелевский фронт заставила большевиков убрать десяток красных дивизий с польского фронта в разгар наступления на Варшаву» (стр. 173).

Паки и паки мы не знаем, почему такие же заявления со стороны большевиков есть «ложь» и «демагогия», а со стороны г. Кирдецова, признавшего это в 1921 г.,—правда.

Любопытный штрих г. Кирдецов сообщает о нравах и настроениях деятелей парижского полит. совещания. Бывший министр Временного Правительства Коновалов, встретясь с автором, попросил дать ему список «большевистских деятелей... евреев, скрывающихся под псевдонимами», пояснив, что это требуют французы. Разговор происходил при Бурцеве и Струве, не нашедших в нем «ничего особенного».

Анализируя внутреннее состояние Финляндии, г. Кирдецов заявляет: «никогда, ни до, ни после Бобрикова, отношения к русским и ко всему русскому не отличались в Финляндии таким сердечным благожелательством, как во время коммунистического правления с 16 января по 12 мая 1918 года» (стр. 23).

В заключительной главе автор пишет:

— У большевиков сказалось их дьявольское умение выходить из затруднительных положений... Никаких восстаний и рабочих забастовок, на которые Юденич столь очень легко рассчитывал, в Петрограде не было. Наоборот, Троцкому относительно коммунистко удалось сорганизовать в самом Петрограде сильные духом рабочие коммунистические отряды и бросить их в гущу борьбы. По свидетельству штаба Юденича эти-то отряды... дрались как львы, они лезли на танки со штыками наперевес... (стр. 351—352).

Никаких выводов в своей книге из юденической эпопеи г. Кирдецов не делает, если не считать тощих рассуждений его о необходимости демократизации России, но ... «имеющий уши слушать, да слышит»,—выводы и так ясны.

У автора несомненно была мысль отгородить себя от баснословной авантюры Юденича. Это напрасно: г. Кирдецов в полной мере ответственен за весь этот поход к воротам Петрограда». Да и теперь он обеими ногами стоит на точке зрения, неизбежно приводящей и впредь к опытам Юденича. Нетрудно выступать с признаниями после того, как ничего другого не осталось. Это не мешает, конечно, работе г. Кирдецова быть интересной. В книге много разного рода официальных документов и материала, полезного для историка. Написана она вполне литературно и, пожалуй, гораздо обстоятельней, чем книга г. Раковского «В стане белых».

Объективно полу-покаянная публицистика Кирдецова, Раковского и др. выражает своеобразную новую ориентацию. Это желание—приспособиться к новой ставке, к ставке на мелко-буржуазную стихию. Это—пересмотр прошлого с точки зрения новой тактики г. Милюкова. Надо полагать, что это г. Кирдецовым удастся: есть опыт в прошлом: при цариме работал в газете г. Протопопова, потом помогал Юденичу, теперь пристраивается к беспартийным советам г-на Милюкова. Своевременно и современно: таких теперь много.

А. Воронский.

Эс-эры и колчаковщина.

Сибирские авантюры и ген. Гайда. Из записок русского революционера—Б. Солодовникова. Собственное издание. Прага.

Прежде всего бросается в глаза внешность брошюры гр. Солодовникова: на обложке—лес, полотно железной дороги, телеграфные столбы, а на столбах висят десять повешенных... Книжка приподнимает завесу над «бездонным морем кровавых ужасов».

Летом 1917 года автор стоял во главе добровольческого движения в Москве. 29 октября—на пятый день после Октябрьской революции—он в Петрограде принимает участие в восстании против Советской власти. В декабре—он белый комендант в Ростове-на-Дону. Весной 1918 года автор—видный участник кровавой эс-эро-учредиловской авантюры.

Показания такого человека особенно ценны. Что же говорит гр. Солодовников? Кто являются виновниками кровавой сибирской авантюры?

Начало было положено восстанием чехо-словаков. Как известно, эс-эры отрицают свое руководство в деле чехо-словацкого восстания. Они уверяют, что восстание было «спровоцировано» Сов. властью. Солодовников утверждает:

> «Никакой случайности не было в самом факте вмешательства чехо-словаков в наши русские дела. Еще в начале мая 1918 года, в Москве, на квартире адвоката Виленкина при полковнике ген. штаба Н. Пораде, в обозе, я встретился однажды с известным эс-эром, полковником В. И. Лебедевым, и понял, что, подготовляя восстание, эс-эры возлагали надежды на чехо-словаков».

Чехо-словацкое восстание передало эс-эровской Учредилке среднее Поволжье и Урал. Образовалось правительство Учредилки—была восстановлена «демократия», почтенчто на деле сначала: полная свобода эс-эрам, меньшевикам, кадетам, черносотенцам и смерть—большевикам. Чехо-словаки и их генерал Гайда, полк. Каппель и другие были героями дня, «спасителями отечества», «дорогими братьями».

Но «дорогие братья» помогать и дальше эс-эрам проливать кровь во имя русской «демократии» уже не хотели. С каждым днем у них пропадала охота бороться. Эс-эрам нужно было самим проявить «государственные способности», создать армию, установить порядок и продолжать борьбу за «демократию».

Эс-эры создали массу учреждений, проявили много чванства и помпадурства, завели контр-разведку, понасажали шпионов и провокаторов, но армию не создали и порядка не установили. Мобилизация —говорит гр. Солодовников,—провалилась. «Во всех случаях новобранцы оставались в частях лишь до получения мундирной одежды и вооружения». Дезертиров беспощадно расстреливали. В день сдачи Самары было расстреляно 900 новобранцев, отказавшихся выступать против красных. На ст. Чишма было расстреляно 120 пленных красноармейцев и т. д., и т. п.

Но это не спасло г.г. учредиловцев. С запада на них нажимала и наносила грозные удары Красная армия. А в Омске—Колчак, при содействии ген. Гайды, члена эс-эровской директории ген. Болдырева и других, произвел переворот, свергнув «демократию». Эс-эры взывали о помощи к братьям-чехам, но чехи оставались безучастными зрителями белого переворота...

Эс-эры очутились в подполье. Колчак жестоко стал расправляться с ними. Вскоре оказался ненужным и ген. Гайда. Последний обосновался во Владивостоке и под прикрытием союзнической охраны начал игру в подготовку восстания против Колчака.

Колчаковщина вышла из эс-эровской Учредилки. Оспаривать этого эс-эры не могут. Но за то они утверждают, что свергнута колчаковщина была во всяком случае ими. Эту басню эс-эры усиленно распространяют как в России, так и за границей.

Гр. Солодовников вскрывает эс-эровское пустое бахвальство. Он был в центре эс-эровского «восстания». А центр этот находился в поезде... чешского генерала Гайды, предавшего эс-эров Колчаку. Теперь эс-эры снова поверили Гайде и вместе с ним стали подготовлять восстание против Колчака.

Эс-эр Якушев, председатель Сибирской областной думы, был главным «вождем» восстания со стороны эс-эров. Он уверял, что вся Сибирь поднимется по их первому зову, что обеспечена поддержка кооперативов, земств, городов...

«Поезд Гайды» начал подготовлять восстание. Поезд пользовался какой-то «странной неприкосновенностью». 21 сент. 1919 г. колчаковский генерал Розанов окружил поезд Гайды внушительной силой, однако,—рассказывает гр. Солодовников:

«вмешательство трех милиционеров международной милиции... сразу изменило картину. Войска Розанова были распущены, а сам Розанов вошел в вагон Гайды, где оба генерала обменялись любезностями и дали друг другу слово не начинать военных действий без предупреждения...

Подготовка восстания продолжалась. Организация была разбита на отделы: политический, военный, финансовый и дипломатический. Работа начала налаживаться, но—темп ее оставался прежним: вялым, нерешительным, характерно-эс-эровским, преобладали разговоры... Попутно выяснилось, что информация, полученная мной о состоянии и связях организации, оказалась без конца преувеличенной, а за спиной первого избранника Сибири А. И. Якушева никого и ничего... С финансами было еще хуже. Вместо ссуды в несколько миллионов, кооператоры в октябре нашли возможным отпустить полторы или две сотни тысяч... Общая сумма выпущенных воззваний на громадную территорию Приморской области в течение трех месяцев едва ли превышала 30.000 экз.»

Таковы дела эс-эров. Так они «свергали» Колчака.

Восстание началось 17 ноября. За четыре дня до восстания Гайда ездил к ген. Розанову и... предупредил его о предполагавшемся восстании—согласно рыцарского уговора 21 сентября. В день восстания он вел какие-то переговоры с японцами.

При таких условиях восстание неизбежно должно было кончиться неудачей. Гайда был взят в «плен», многие были убиты, остальные разбежались. Японцы активно выступили против повстанцев. Американцы и чехи, на помощь которых рассчитывали повстанцы, обманули их.

Так кончилась одна из эс-эровских авантюр.

Но почему союзники позволяли Гайде и эс-эрам открыто подготовлять восстание? Очевидно, это было результатом известной междусоюзной дипломатической игры. Часть союзников хотела иметь на всякий случай под руками и противоколчаковскую «демократическую» силу. Как всегда, так и в данном случае эс-эры являлись орудием в руках иностранных дипломатов. Колчаковщина была рождена эс-эрами и меньшевиками. Ликвидирована она могла быть только Советской властью.

Ил. Вардин.

Наши журналы.

«Природа». Журнал. № 10—12. 1919 год. Редакция проф. Н. К. Кольцова, проф. Л. А. Тарасевича и академика А. Е. Ферсмана, стр. около 90 большого формата.

Последние №№ журнала за 1919 год вышли из печати лишь весною текущего 1921 года. Это обстоятельство достаточно характеризуют условия, в которых печатался журнал, и определяют содержание выпуска. Все статьи журнала написаны два года назад и являются несколько устаревшими к настоящему времени.

В нем помещено 5 оригинальных статей.

1) Статья Кольцова: «Физиология исхудания» содержит интересные данные по этому животрепещущему вопросу, но, как признает сам автор, даже для того времени, не исчерпывает фактических знаний по этому вопросу, ибо в то время русская наука была совершенно отрезана от Запада и мы не имели у себя иностранных журналов. Таким образом эта статья, особенно же глава о «липоидах», оказывается значительно устаревшей по сравнению с современными данными науки о питании.

2) Статья Борисяка: «Памяти Кювье» приурочена к полутора-вековой годовщине дня рождения (1769—1919) великого ученого. Но эта статья имеет интерес, выходящий за пределы простой юбилейной статьи: она проводит новый взгляд на Кювье и на его роль в развитии биологических наук. Как известно, его имя обычно связывается с поражением первых провозвестников эволюционной идеи—Ламарка и Жоффруа-Сент-Илера, при чем Кювье изображается при этом как столп ретроградства и консервативности.

Это несправедливое освещение роли Кювье в развитии биологических наук начинает, наконец, сменяться более беспристрастною оценкой трудов и общего миросозерцания этого гиганта науки. Одним из первых, кто с большим талантом и авторитетностью реабилитировал Кювье в этом последнем отношении, был французский палеонтолог Депере, автор прекрасного труда, переведенного на русский язык: «Превращения животного мира».

Борисяк в этой своей заметке повторяет, в сущности, идеи Депере, но ценно то, что этим он вводит их в массы более широких кругов читателей. К сожалению, эта заметка написана несколько суховато.

3) Третья статья—Степанова посвящена описанию геологоминералогических музеев Европы и Америки и позволяет хорошо ориентироваться в «истории развития и современном состоянии» важнейших музеев культурных стран.

4) Далее идет статья Омелянского о «душистых микробах».

В ней дается много интересных сведений о биологии и техническом значении многочисленных микробов, вырабатывающих в процессе своей жизни те или иные пахучие вещества.

5) Наконец, 5-ая статья принадлежит известному путешественнику по Монголии П. К. Козлову и посвящена «Современному положению зоопарка «Аскания Нова». Козлов около 1½ лет (в статье указано—с 10-го декабря 1917 по 4 апреля 1918, на

это опечатка: надо читать 1919 года) провел в этом единственном в мире «зоопарке», который поистине должен составлять гордость культурной России. Описание и список животных, обитающих в зоопарке, данное Козловым в журнале, значительно устарели для настоящего времени. Автор этой рецензии провел в Аскании Новой около полугода уже после отъезда из нее Козлова и уже при мне погибли последние представители некоторых из ценных видов, перечисленных Козловым. С тех пор, по имеющимся у нас новейшим сведениям, животное население Аскании еще больше поуменьшилось в связи с тревогами военных событий (ведь Аскания все эти годы находилась в центре военных событий и махновских восстаний, как преддверие Крыма—она расположена немного севернее Перекопа). Но все это отнюдь не убило Асканию, как учреждение и как научное начинание высокой ценности. В связи с этим еще и в настоящее время большой интерес привлекает основная часть статьи Козлова, где он обрисовывает хозяйственно-экономическое положение Аскании, ее земельные и племенные ресурсы и предлагает план основных мероприятий, направленных к сохранению и развитию этой «жемчужины России». Здесь у нас нет возможности входить в подробное обсуждение предлагаемых им мероприятий, но в общем нужно признать их весьма целесообразными, равно как и его указание наиболее ценных лиц, служащих при парке, в большой опытности и добросовестности которых я лично также мог убедиться. Некоторое сомнение в осуществимости вызывает лишь тот пункт мероприятий, который воспрещает посещение асканийской территории «без надлежащего письменного разрешения»—поскольку я представляю себе современные условия жизни всей этой области таковы, что это постановление осталось бы лишь писанным на бумаге и лишь создало бы излишние трения с окружающим Асканию населением.

С большим прискорбием должен отметить, что предложение «полной неприкосновенности» кабинета ученого И. И. Иванова, работавшего в Аскании много лет, является запоздавшим: как кабинет, так и квартира И. И. Иванова были разгромлены еще в 1919—1920 г.г. во время проходивших через Асканию фронтовых волн.

Этой интересной статьей заканчивается отдел оригинальных статей журнала.

Далее идут 2—3 столбца «научных новостей и заметок», которыми и кончается журнал.

Этот отдел «научных новостей», постановкой которого могла так справедливо гордиться «Природа» в ее еще недавном прошлом, производит здесь жалкое впечатление своей скромностью и незначительными размерами. В этом, конечно, не вина редакции: дело в тех общих условиях научной печати, которые создались для нее в связи с общим экономическим кризисом. Журнал открывается статьей по «физиологии исхудания».—Он сам испытал и являет вид исхудания, значительно изменивший его прежний облик.

Нельзя не пожалеть об этом.

«Природа» в течение около 20 лет с честью несла заслугу быть основным источником, снабжающим русские научные и интересующиеся наукою круги данными о новейших успехах науки. По своей постановке она во многом была удачнее параллельных заграничных журналов, вроде английского «Nature». С тех пор, как «Природа» почти прекратила свою жизнь, русские ученые и педагогические круги лишились этого столь необходимого источника пополнения своих знаний. Ученые-специалисты лишены возможности держаться на уровне современных знаний, педагоги—обогащать свою работу новым и свежим материалом, широкие круги интеллигенции вообще—держаться в курсе новейших завоеваний русской и западной науки.

В настоящее время мы как бы вступаем в новую полосу развития: изменившиеся условия привели к тому, что вновь стали появляться к жизни такие же красные толстые журналы, как «Красная Новь» и «Печать и Революция». Нам кажется вполне уместным именно теперь посчитать, что следующим шагом на этом пути восстановления нормальной интеллектуальной жизни было бы возрождение к жизни «Природы», как лучшего из русских естественно-научных журналов, доступных для широких кругов читателей.

Б. Завадовский

«Печать и Революция». Журнал критики и библиографии под редакцией А. В. Луначарского, Н. Л. Мещерякова, М. Н. Покровского, В. П. Полонского, И. И. Степанова-Скворцова. Книга первая. Май—июль. Книга вторая. Август—октябрь. Государственное Издательство. Москва 1921 г.

Хорошо, что у нас понемногу начинают возрождаться «толстые» журналы и вдвойне хорошо, что мы имеем два номера «Печати и Революции». Потребность в таком основательном критико-библиографическом журнале, каким является «Печать и Революция», не только, как говорится, назрела, но сделалась прямо-таки жгучей. И здесь дело не только в том, что работа Госиздата, его отделений, оживление в частной издательской деятельности настоятельно требуют регистрации, оценки и освещения. Дело гораздо глубже. У нас пропала книга. В советской России издается, несмотря на всякие кризисы, не мало книг. Но до читателя они не доходят. Книги попадают куда угодно, только не к читателю: они валяются на складах, расхищаются, идут на цигарки, захватываются так называемыми ответственными советскими и парт-работниками. При таком вопиющем положении дел роль критико-библиографического журнала поистине огромна. Попадет к читателю номер такого журнала, и он к удивлению своему узнает, что в сов. России книга есть, книжное дело не умерло и что по интересующим его, читателя, вопросам есть целая новая серия книг. «По нонешним временам», эта «весточка»—великое дело; а если «весточка» дается со знанием и внимательным любовным отношением—то пред нами целое литературное событие. И знания дела, и любовного внимательного отношения к книге у «Печати и Революции» есть вполне достаточно. Центр тяжести, конечно, лежит в отзывах о книгах. И в первом и во втором номере их очень много—70—80 в каждой книге. Отзывы по самым разнообразным отраслям научного и художественного знания. Некоторые отзывы занимают 4—5 страниц петита, так что речь идет не о мелких, часто в силу мелкости бессодержательных отзывах, от которых ничего не остается в голове, а о серьезном разборе рецензируемой книги. Редакцией собраны крупнейшие имена ученых, публицистов и критиков, оставшихся в советской России: сменовеховцы и беспартийные: Скворцов, Мещеряков, Покровский, Луначарский и т. п. на-ряду с Анучиным, Бобровым, Сакулиным, Сторожевым, Ив. Кубиковым, Эфросом и другими. Разнобоя однако благодаря умелому подбору со стороны редакции не получается. С этой точки зрения журнал выгодно отличается от петербургского своего собрата «Книги и Революции», журнала полезного и нужного, но имеющего среди прочих иных мелких один существенный недостаток: отсутствие выдержанной линии и общих обзорных статей, являющихся в критико-библиографическом журнале как бы пространным введением и руководством.

Что касается общих статей в «Печати и Революции», то они представляются нам весьма интересными и ценными. Особенно во втором номере. Очень хорошо сделал т. Полонский, что, начиная со второй книги, изменил характер статей в этом отделе, занимающем, кстати сказать, почти половину книги. В первой книге общие статьи тяжелой и подчас слишком специальны. Такие статьи, как статья тов. Шендеровича о полиграфической промышленности, более уместны в отчетах, чем в критико-библиографическом журнале. Здесь несомненно больше на месте такие статьи, как П. С. Когана о Блоке, обзоры эмигрантской литературы и пр.

Касаясь этого отдела, нужно прежде всего отметить статью проф. А. А. Сидорова в №№ 1 и 2 журнала: «Искусство книги». Тема оригинальная и совершенно свежая для русского читателя. И разработана она прекрасно. Речь идет о том, как нужно издавать, какую роль играет внешность книги и чем нужно руководствоваться, имея в виду хорошо издать книгу. У нас в этом отношении, кстати сказать, очень далеко пошло вперед петербургское отделение Госиздата и на обе ноги хромает московский центр.

Очень содержателен обзор иностранной и русской литературы по вопросу об омоложении, сделанный В. Завадовским, содержателен, хотя немного устарел, не по вине, очевидно, редакции, обзор эмигрантской белой печати, данный во втором номере

в ряду статей. Другие статьи: Луначарского о коммунистической драматургии, Левидова о русской революции в западной литературе, Степанова и др. читаются также с интересом и легко.

Думается, однако, что задача такого журнала, как «Печать и Революция»—не должна ограничиваться критикой и библиографией в том смысле и направлении, в каком это мы имеем в двух вышедших номерах журнала; одна из существенных задач в том, чтобы поднять стяг борьбы против больших и малых недостатков нашего «книжного механизма». Нужно прежде всего возродить наше чудесное художественное слово, находящееся в вагоне и по сию пору. И в этом отношении роль такого журнала, как «Печать и Революция», несомненно может быть огромной. Следует побольше помещать таких статей, как статья тов. Горева «К вопросу о распределении книг в республике», ибо они говорят о том, о чем молчать преступно. Надлежит также обратить внимание на провинцию. В провинции выходит не мало ценных книг, о которых ничего никто не знает,—но выпускается также макулатура или отчеты без конца и меры. (Попытайтесь взвесить последний отчет Вологодского исполкома, не книга и не фолиант даже, а настоящая Голубиная книга!)

Разумеется, обо всем этом легче «критически» писать, чем выполнять. Насколько нам известно, редакция журнала обставлена более чем скромно с материальной и технической стороны.

Изданы книги журнала превосходно. Скромная приятная обложка, хорошая бумага, тщательно подобранный шрифт—книжка просится в руки. Второй номер почти в два раза больше первого. Отрадно.

А В.

СОДЕРЖАНИЕ.

За рубежом.

Внутри советской России.

В порядке дискуссии.

Критика и библиография.

Вышел из печати № 2 журнала „Печать и Революция".

СОДЕРЖАНИЕ.

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Книга первая.

Всеволод Иванов. Партизаны. Рассказ. — *М. Пожарова.* Стихи. — *С. Подьячев.* „Голодающие“. (С натуры). — *Д. Семеновский.* Современные частушки. — *Николай Колоколов.* Стихи. **Политико-экономический отдел.** *Н. Ленин.* О продовольственном налоге. — *Ш. Двойлацкий.* Накопление капитала и проблема империализма. — *К. Радек.* Третий год борьбы советской республики против мирового капитала. — *А. Хрящева.* К характеристике крестьянских хозяйств периода войны и революции. — *Н. Крупская.* Система Тэйлора и организация работы советских учреждений. **Искусство и жизнь.** *А. Луначарский.* Наши задачи в области художественной жизни. — *В. Фриче.* Ромэн Роллан. **Отдел научно-популярный.** *А. Тимирязев.* Периодическая система элементов Менделеева и современная физика. **Научная хроника.** *Вл. Архангельский.* Наши достижения в аэрогидродинамике. — *В. Баженов.* Успехи применения радио за границей. **Внутри советской России.** *Е. Преображенский.* Новая полоса. — *И. Вардин.* „После Кронштадта“. **Иностранное обозрение.** *М. Смит.* Производственные и социально-политические предпосылки забастовки английских углекопов. — *М. Павлович.* Кемалистское движение в Турции. — *М. Павлович.* С. Штаты и советская Россия. **Из прошлого.** *Вяч. Полонский.* Вейтлинг и Бакунин. **В порядке дискуссии.** *М. Ольминский.* О книге т. Бухарина. *Не-ревизионист.* О книге т. Бухарина. — *Н. Бухарин и Г. Пятаков.* Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия. **Из зарубежной прессы.** *Н. Мещеряков.* „Наши за границей“. — *А. Воронский.* Уэльс о советской России. **Критика и библиография.** 1. *А. Воронский.* Об отшельниках, безумцах и бунтарях. — 2. *Нурмин.* Леонид Андреев. „Дневник сатаны“. — 3. *А. Меньшой.* „Парализованные“. — 4. *Нурмин.* Феликс Гра. „Террор“. — 5. *А. В.* Распад идеологии. — 6. *М. Кантор.* „Народное хозяйство“, ежем. экон. журнал. — *Проф. Реформатский.* Наука и ее работники. — 8. *Мих. Павлович.* Мих. Лемке. „250 дней в царской ставке“. — 9. *Я. Шафир.* Н. Ашешов. Софья Перовская. — 10. *Я. Ш.* Л. Г. Дейч. „Русская революц. эмиграция 70-х годов“. — 11. *А. Аросев.* Ген. Слащев-Крымский. Требую суда общества и гласности. — 12. *А. Аросев.* Мих. Павлович. Экономическое развитие и аграрная программа в Персии XX века. — 13. *Подземский.* „Красный журналист“.

Книга вторая.

Вячеслав Иванов. Алтайские сказки. — *Дмитрий Семеновский.* Песнь весне. Стихи. — *Ольга Форш* (А. Терек). Чемодан. Рассказ. — *Мих. Артамонов.* Из полевых песен. Стихи. — *А. Аросев.* Страда. Записки. — *В. Александровский.* Из поэмы „Деревня“. Стихи. — *Павел Низовой.* Крыло птицы. Рассказ. — *Борис Пастернак.* Уральские стихи. **Политико-экономический отдел.** *Евгений Варга.* Как строилась промышленность и разрешался земельный вопрос в советской Венгрии. — *Мих. Фрунзе.* Единая военная доктрина и Кр. армия. — *Я. Шафир.* „Экономическая политика белых“. **Научно-популярный отдел.** *Г. Кржижановский.* Заметки об электрификации. — *Д. Прянишников.* От азота воздуха к азоту нервной и мышечной ткани. — *А. Тимирязев.* Принцип относительности (в теории Эйнштейна). — *А. Тимирязев.* Успехи физики в сов. России. **Из прошлого.** *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы М. Бакунина. **Искусство и жизнь.** *Роза Люксембург.* В. Короленко. — *В. Фриче.* От войны к революции. — *А. Воронский.* Литературные заметки. **Внутри советской России.** *С. Клепиков.* Неурожай 1921 г. — *Н. Месяцев.* Голодное переселение. — *Я. Яковлев.* Махновщина и анархизм. — *Ил. Вардин.* Реакционная демократия. **Вопросы международного рабочего движения.** *К. Радек.* Комментарии к третьему Конгрессу Комм. Интерн. — *Мих. Павлович.* Восточный вопрос на III Конгрессе. **Отклики на зарубежную печать.** *М. Покровский.* Противоречия г. Милюкова. — *Н. Мещеряков.* Легкомысленный путешественник. **В порядке дискуссии.** *Сарабьянов.* От примитивов к крайностям. — *Н. Бухарин.* Настоящая потеха и настоящее мучение. **Критика и библиография.** *Анчар.* „150.000.000“. — *Нурмин.* О новой книге В. Короленко. — *П. Яровой.* — Быт в произведениях А. Неверова. — *Н. Захаров-Мэнский.* — Поэзия никитинцев. — *В. Невский.* Взаимодействие или монизм. — *Вад. Смушков.* Из эпохи „Звезды“ и „Правды“ (1911—1914 г.г.). — *В. Смушков.* На службе германской революции. — *А. Воронский.* От народнического утопизма к контр-революционной кулацкой идеологии. — *Нурмин.* К эволюции русского либерализма. — *Мещеряков.* Мечты и мечта. — *Дон Аминадо.* „Зеленая палочка“. — *П. С. Коган.* Александр Блок (некролог).

От редакции.

Статьи о Некрасове и Достоевском будут напечатаны в № 4 журнала.

Редакция обращается к читателям с просьбой присылать воспоминания, отрывки, дневники, очерки, освещающие февральский, октябрьский периоды русской революции, борьбу на красных фронтах.

Адрес редакции: Сретенский бульвар, 6. 6-й подъезд (вход с Юшкова переулка), кв. 67. Тел. 2-44-19.

Издатель Главполитпросвет

Редактор А. Воронский.

Важнейшие опечатки.

Страница:	*Строка:*	*Напечатано:*	*Следует читать:*
95	сверху 1	Я—зерно, гниющее страдая.	Я—зерно гниющее. Страдая,
95	снизу 4	На закланье я иду	На закланье я иду.
97	„ 14	Пишу—и небо, и забор?	Пишу—и небо, и забор.
201	сверху 2	Всякая наука	Всякая нация
204	снизу 9	преграждает след дальнейшему пути разаития	преграждает ему путь к дальнейшему развитию
207	„ 15	среднее кулачество	среднее крестьянство
208	сверху 25	эта настройка	эта пестрота
208	снизу 23	специалистов	социалистов
212	„ 10	всякие предложения к расширению зоны за отступление. Эти позиции нужно рассматривать, как объективно контр-революционные.	всякие предложения к расширению зоны отступления за эти позиции нужно рассматривать, как объективно контр-революционные.
256	сверху 2	(О сборнике „Смена века).	(О сборнике „Смена вех").
355	снизу 15	блеснословный	бесславный